


Борис Пастернак



ВОЗДУШНЫЕ
ПУТИ

Горис
Пасщернак
ВОЗДУШНЫЕ ПУТИ

Горис
Пасщернак

ВОЗДУШНЫЕ
ПУТИ







Борис Пастернак

*ВОЗДУШНЫЕ
ПУТИ*

ПРОЗА
РАЗНЫХ
ЛЕТ

Москва
Советский писатель
1983

В книгу вошли прозаические произведения выдающегося советского поэта Бориса Пастернака (1890—1960), созданные автором в разное время с 1915 по 1957 год. Повести, рассказы, очерки и статьи Б. Пастернака печатались в книгах, журналах, газетах и альманахах, ныне ставших библиографической редкостью.

Помимо широко известных повестей «Детство Люверс» и «Охранная грамота» в сборнике представлены рассказы, очерки, а также статьи об искусстве. Книга открывается вступительной статьей академика Д. С. Лихачева. Комментарии к произведениям Б. Пастернака составлены С. С. Гречишкиным и А. В. Лавровым.

В книге впервые воспроизведены более 70 рисунков отца поэта, академика живописи Леонида Осиповича Пастернака (1862—1945), выбранные из части архива, которую во время Великой Отечественной войны сумел сохранить Борис Пастернак. Им же установлены время исполнения и тематика рисунков

Вступительная статья академика *Д. С. ЛИХАЧЕВА*

Составление, подготовка текста и подбор иллюстраций
Е. В. ПАСТЕРНАК и *Е. Б. ПАСТЕРНАКА*

Комментарии *С. С. ГРЕЧИШКИНА* и *А. В. ЛАВРОВА*
В книге воспроизведена серия рисунков академика живописи
Л. О. ПАСТЕРНАКА

Оформление художника
НИКОЛАЯ ЛАВРЕНТЬЕВА



ЗВЕЗДНЫЙ ДОЖДЬ

Проза Б. Пастернака разных лет

Читая прозу Б. Л. Пастернака, мы узнаем его стихи. «Итак, на дворе зима, улица на треть подрублена сумерками и весь день на побегушках. За ней, отставая в вихре снежинок, гонятся вихрем фонари» («Охранная грамота», ч. 1; 2). Иногда в прозе Пастернак прямо говорит стихами: «В силках снастей скучал плененный воздух». Это о прошлом Венеции («Охранная грамота», ч. 2; 16).

Мелькают образы его будущих стихов. В «Апеллесовой черте» мы уже замечаем будущие стихи — «Гамлет»: это встреча Гейне с Камиллой.

«— Я вас не понимаю. Или это — новый выход? Опять подмостки? Чего вы, собственно, хотите?»

— Да, это снова подмостки. Но отчего бы и не позволить мне побыть немного в полосе полного освещения? Ведь не я виной тому, что в жизни сильнее всего освещаются опасные места: мосты и переходы. Какая резкость! Все

остальное погружено во мрак. На таком мосту, пускай это будут и подмостки, человек вспыхивает, озаренный тревожными огнями, как будто его выставили всем напоказ, обнесши его перилами, панорамой города, пропастями и сигнальными рефлекторами набережных (...)

— Синьора, — театрально восклицает Гейне у ног Камиллы, — синьора, — глухо восклицает он, спрятав лицо в ладони, — провели ли вы уже ту черту?.. Что за мука!..» («Апеллесова черта», III).

И через несколько страниц снова возвращение к той же теме, которая, в сущности, и не прерывалась:

«Той же тошнотворной, карусельной бороздой тронулась, пошла и потекла цепь лиц... эспаньолок... моноклей... лорнетов, в ежесекундно растущем множестве навидимых на нее...» («Апеллесова черта», V).

Это не проза, это пророчество о будущих стихах, — о «Гамлете»:

Гул затих. Я вышел на подмостки.
Прислонясь к дверному косяку,
Я ловлю в далеком отголоске,
Что случится на моем веку.

На меня наставлен сумрак ночи
Тысячью биноклей на оси.
Если только можно, Авва Отче,
Чашу эту мимо пронеси.

Я люблю твой замысел упрямый
И играть согласен эту роль.
Но сейчас идет другая драма,
И на этот раз меня уволь.

Далее ограничимся короткой поэтической прозой Пастернака, включенной в этот сборник.

О соотношении стихотворного романа «Спекторский» (1924—1930) и «Повести» (1934) сам Б. Пастернак писал: «Между романом в стихах под названием «Спекторский», начатым позднее, и предлагаемой прозой разноречья не будет: это — одна жизнь» («Повесть», I).

Почему так? Разве не лежит пропасть между прозой и поэзией? У Пастернака этой пропасти нет. Он объединял поэзию и прозу как единое искусство слова. В заметке 1919 г. «Несколько положений» Пастернак писал: «Не от-

делимые друг от друга, поэзия и проза — полюса. По врожденному слуху поэзия подыскивает мелодию природы среди шума словаря и, подобрав ее, как подбирают мотив, передается затем импровизации на эту тему. Чутьем, по своей одухотворенности, проза ищет и находит человека в категории речи, а если век его лишен, то на память воссоздает его, и подкидывает, и потом, для блага человечества, делает вид (речь идет о прозе. — *Д. Л.*), что нашла его среди современности. Начала эти (поэзия и проза. — *Д. Л.*) не существуют отдельно». Поэтому он едино и поэтично характеризует Лермонтова, Тютчева, Гоголя, Чехова, Достоевского, Толстого. Будничный «сор жизни», как и живую разговорную речь, Пастернак воспринимал поэтически. Поэзия начиналась в прозе. Поэтому, по свидетельству его сына Е. Б. Пастернака, поэт Пастернак восхищался живой разговорной речью письма Ксении Годуновой как прямым предвестием поэтического языка Пушкина, легшего в основание русской литературы. На Первом съезде писателей Б. Пастернак говорил: «Поэзия есть проза, проза не в смысле совокупности чьих бы то ни было поэтических произведений, но сама проза в действии, а не в беллетристическом пересказе. Поэзия есть язык органического факта, т. е. факта с живыми последствиями. И, конечно, как все на свете, она может быть хороша или дурна, в зависимости от того, сохраним ли мы ее в неискаженности или же умудримся испортить. Но как бы то ни было, именно это, то есть чистая проза в ее первородной напряженности, и есть поэзия». Обратите внимание на это последнее утверждение. Оно особенно важно. Оно говорит о том, что поэзия требует наиболее ясного, отчетливого отпечатка жизни во всей ее прозаической «первородной напряженности». И проза и поэзия сближаются до нерасторжимости именно потому, что и в то, и в другое входит действительность; действительность, правильно воспринятая, принятая человеческим сознанием, и есть поэзия, которая одновременно является и первородной прозой. Это многое объясняет в существе пастернаковской художественности.

Пастернак живет в едином мировосприятии, и мир, действительность для него нечто гораздо большее, чем его восприятие этого мира. Поэтому для него вообще существует единое и неразделенное искусство. И на мир он смотрит не только глазами поэта или прозаика, но и

музыканта, и художника. Не случайно он сын знаменитого художника и европейски известной пианистки. В письме к М. А. Фроману от 17 июня 1927 г. («Вопросы литературы», 1972, № 9, с. 103) Б. Пастернак пишет: «... я сын художника, искусство и больших людей видел с первых дней и к высокому и исключительному привык относиться как к природе, как к живой норме. Социально, в общении оно для меня от рождения слилось с обиходом. Как размноженное явление оно для меня не выделено из обиходности цеховым помостом, не взято в именные кавычки, как для большинства. Размежевающей строгой нотой сопровождается у меня только моя собственная работа».

Музыкальному композиторству Пастернак учился и даже получил признание у Скрябина. Остались три законченных его произведения, из которых одно издано в 1979 г. («Соната для фортепьяно», изд. «Советский композитор». М., 1979).

Но кроме искусств Пастернак много занимался философией. Философию Скрябин считал необходимой основой творчества. Пастернак слушал лекции по философии в Московском университете, в частности у Г. Г. Шпета, который первым из представителей феноменологического направления обратился к истории и к философии языка. Историческую науку Г. Шпет воспринимал как «чтение слова» и придавал огромное значение истолкованию документов, или герменевтике (см.: Г. Шпет, «Внутренняя форма слова». М., 1927). При этом — что особенно важно для понимания творчества Б. Пастернака — он превыше всего ставил действительность. В неопубликованной работе «Герменевтика и ее проблемы», хранящейся в архиве Г. Шпета, он писал: «Мы идем от чувственной действительности как загадки к идеальной основе ее, чтобы разрешать эту загадку через осмысление действительности, через усмотрение разума в самой действительности, реализованного и воплощенного» (с. 248—249). В дальнейшем мы увидим, насколько это положение важно для уяснения поэтики творчества Пастернака.

Стремление прикоснуться к основам европейской философии побудило Пастернака поехать на два месяца в центр тогдашней философской мысли — Марбург, где тогда преподавали Г. Коген, П. Наторп и Н. Гартман. В «Охранной грамоте» (ч. 1; 9) Пастернак выделяет реалистический подход Марбургской школы и говорит о ней как о

теоретической философии интеллекта, основанной на знании и критическом чтении источников. Несмотря на положительное отношение к нему профессоров (и в частности Когена), Пастернак оставил философию, главным образом не выдержав воздержания от искусства и осудив академическое, нетворческое безучастие подражателей и учеников Когена, о чем он писал в письме к А. А. Штиху от 19 июля 1912 г.: «Что меня гонит сейчас? Порядок вещей? Понимаешь ли ты меня? Я видел этих женатых ученых; они не только женаты, они наслаждаются иногда театром и сочностью лугов; я думаю, драматизм грозы также привлекателен им. Можно ли говорить о таких вещах на трех строчках? Ах, они не существуют, они не спрягаются в страдательном (страдательном залоге.— Д. Л.). Они не падают в творчестве. Это скоты интеллектуализма».

Что значит это обвинение марбургских философов в том, что они «не спрягаются в страдательном» залоге? Объяснение этому во всей философии художественного творчества Пастернака. Деятельность художника — вся в «страдательном залоге». И это ключ к пониманию практики его как поэта и прозаика.

Искусство по Пастернаку создается не творцом, а действительностью. Поэзия разлита в мире. Она не в поэте, а в окружающем. В образе преображенной действительности она является творцу, как некогда являлась поэтам муза. Мир сам говорит с поэтом и заявляет о себе в его поэзии. Пастернак пишет: «Искусство реалистично как деятельность и символично как факт. Оно реалистично тем, что не само выдумало метафору, а нашло ее в природе и свято воспроизвело» («Охранная грамота», ч. 2; 7). И еще об искусстве в том же роде: «Будучи запримечена, природа расступается послушным простором повести, и в этом состоянии ее, как сонную, тихо вносят на полотно» («Охранная грамота», ч. 2; 17). «Я узнал далее, — пишет Пастернак, — какой синкретизм сопутствует расцвету мастерства, когда при достигнутом тождестве художника и живописной стихии становится невозможным сказать, кто из троих и в чью пользу проявляет себя всего деятельнее на полотне — исполнитель, исполненное или предмет исполнения... Надо видеть Веронезе и Тициана, чтобы понять, что такое искусство» («Охранная грамота», ч. 2; 17).

В какие отношения вступает действительность с худож-

ником, требуя от него собственного отображения? Вот как отвечает на этот вопрос Пастернак: «Мы перестаем узнавать действительность. Она предстает в какой-то новой категории. Категория эта кажется нам ее собственным, а не нашим состоянием. Помимо этого состояния все на свете названо. Не названо и ново только оно. Мы пробуем его назвать. Получается искусство» («Охранная грамота», ч. 2; 7).

Внутренний мир поэта необыден, внешний же мир обыден. Поэтому поэзия, самая праздничная, самая богатая неожиданностями, самая торжественная, слагается из обыденностей, но в их необыденном положении — в их активности, в их вторжении во внутренний мир поэта. «Мы втаскиваем повседневность в прозу ради поэзии», — пишет Пастернак («Охранная грамота», ч. 1; 6).

Окружающее всегда активно, во всех его формах, фактах и проявлениях. Когда автора постигает горе, он пишет: «Утро знало меня в лицо и явилось точно затем, чтобы быть при мне и меня никогда не оставить» («Охранная грамота», ч. 2; 5). А далее: «Я должен был где-то в будущем отработать утру его доверие» (там же). Это в описании постепенного исцеления автора от обрушившегося на него несчастья. Все приходит извне; даже доброта природы, исцеление.

Вторжение во внутренний мир всегда внезапно, всегда победительно и производит решительные изменения. Поэтому так часты и в поэзии, и в прозе выражения и слова вроде следующих: «с разбега», «опрометью», «во всю мочь», «неслыханный», «напролет» или «поверх»...

И, как Маяковский, Пастернак говорит об искусстве как о пощечине равнодушию: «...равнодушие к непосредственной истине, вот что приводит его в ярость. Точно это пощечина, данная в его лице человечеству» («Охранная грамота», ч. 2; 17).

Факты действительности сгорают в художественном творчестве. Их мало, но они вспыхивают метафорами (они названы), превращая действительность в фейерверк поэтической праздничности.

Образы Пастернака неожиданны, ибо факты внешнего мира вообще неожиданны и даже случайны по отношению к внутреннему миру поэта. Поэтому они врываются в сознание поэта, они диктуют ему мысли, как поэтические поступки... и, больше того, диктуют ему стихи и прозу.

Факты из действительности вторгаются в земной мир поэта как метеориты, так же внезапно и «случайно», вспыхивают и сгорают, но этот момент вспышки надо успеть запечатлеть стихами, прозой — чем угодно. Его надо запечатлеть, ибо он прекрасен и мгновенен. Поэт торопится, ему некогда, ибо он запечатлевает мир в движении, в его вторжениях. Сравнение Пастернаком поэзии с губкой, впитывающей окружающий мир, следует расширить — губка слишком мала. Нет, поэт — это околоземная атмосфера, окружающая огромный внутренний мир поэта, в нее-то тысячами и вторгаются метеориты фактов.

* * *

Говоря о вторгающейся в поэтическое сознание Пастернака действительности, мы должны представить себе — что такое действительность Пастернака. Это не только природа, но и само искусство, — искусство, вышедшее из веков. Оно становится активным фактом, также входящим в поэзию извне. «Италия кристаллизовала для меня, — пишет Пастернак, — то, чем мы бессознательно дышим с колыбели. Ее живопись сама доделала для меня то, что должен был по ее поводу додумать, и пока я днями переходил из собрания в собрание, она выбросила к моим ногам готовое, до конца выварившееся в краске наблюдение» («Охранная грамота», ч. 2; 18).

Действительность — это и история. «Имена городов, — пишет Пастернак про места, через которые он ехал поездом по Германии, — становились все громче. Большинство из них поезд отшвыривал с пути на всем лету, не нагибаясь. Я находил названия этих откатывающихся волчков на карте» («Охранная грамота», ч. 1; 9). И еще: «Исконное средневековое открывалось мне впервые. Его подлинность была свежа и страшна, как всякий оригинал. Лязгая знакомыми именами, как голой сталью, путешествие вынимало их одно за другим из читанных описаний, точно из пыльных ножен, изготовленных историками» (там же).

Воспоминания заключают в себе для Пастернака самостоятельную и обнаженную ценность. Поэтому он пишет без документов. Ему важно мелькнувшее впечатление о прошлом. Оно полно свежести, извлечено из пыли, будь это воспоминание об истории человечества или о своей соб-

ственной жизни. Прошлое для него целиком в настоящем. Поэзия рождается и там, где прошлое вторглось через воспоминание в настоящее, влетело в него падающим дождем звезд. И потому, может быть, в искусстве Пастернака (и в поэзии, и в прозе) так много атмосферных явлений, полного ночного света или дневной темноты. Поэтому он так любит черную воду венецианских каналов, отблеск света в стекле, в воде, в росе, так часты в его произведениях дождь и снег, ветер по всей земле. Для него нет остановок, как не могут остановиться в воздухе падающие дождем метеориты. Умерший Маяковский для него лишь спит, и спит «со всех ног», и весь он со всей своей поэзией врезается «с наскоку в разряд преданий молодых».

И традиция культуры для него жива, движется, летит в пространстве, постоянно влетает в его поэзию цитатами и образами предшествующей поэзии. «Всем нам являлась традиция, всем обещала лицо, всем, по-разному, свое обещанье сдержала. Все мы стали людьми лишь в той мере, в какой людей любили и имели случай любить» («Охранная грамота», ч. 1; 2). Традиция и привязанность к ней — это любовь к людям, далеким и близким, уже умершим и с ним живущим рядом (как, например, Маяковский, которого он так любил). «Отчего же, — спрашивает Пастернак, — большинство ушло (от традиции. — Д. Л.) в облике сносной и только терпимой общности? Оно лицу предпочло безличье, испугавшись жертв, которых традиция требует от детства. Любить самоотверженно и беззаветно, с силой, равной квадрату дистанции, — дело наших сердец, пока мы дети» (там же). А Пастернак остался ребенком до конца. Он сохранил свежесть впечатлений — от мира, от прошлого, от той традиции, в которой важен не шаблон, а необычное и индивидуальное.

И вместе с тем он требует знать цветы по Линнею, через ботанику. Всегда активная природа рвется к словам, к имени, к названиям, «точно из глухоты к славе»¹. Человек,

¹ О сочетании в поэте ребенка и ученого Пастернак пишет так: «...Как... десятилетку (ребенку десяти лет. — Д. Л.) открылась природа. Как первой его страстью в ответ на пятилепестную пристальность растения явилась ботаника. Как имена, отысканные по определителю, приносили успокоенье душистым зрачкам («зрачкам» цветов. — Д. Л.), безвопросно рвавшимся к Линнею, точно из глухоты к славе» («Охранная грамота», ч. 1; 2).

вооруженный словом, — сознание природы. Действительность открывается через обращение к науке. «Культура в объятия первого желающего не падает» («Охранная грамота», ч. 3; 2).

Как часто проносится в поэзии и прозе Пастернака (особенно, может быть, именно в прозе) образ поезда, навстречу которому летит природа, история, станции, вокзалы, перроны: «...в тот же миг поезд пронесился мимо, судорожно бросаясь вверх, вниз и во все стороны сразу. Сноп его барабанного света попадали в хозяйские кастрюли» («Охранная грамота», ч. 2; 1). Это поезд проносится мимо кухни немецкой хозяйки, в квартире которой живет Пастернак. Но чаще всего сам Пастернак в поезде проносится мимо мира, истории, стран, городов, перронов, дебаркадеров, грачей, придорожной пыли: «...под крыши перронов вкатывались спящие города» («Охранная грамота», ч. 1; 9).

Внезапно, неожиданно появляются образы, метафоры, сравнения. Отсюда его торопливый лаконизм: «жарко цвели яблони», «выжидательно чирикали птицы» («Охранная грамота»), «итальянская ругань, страстная, фанатическая, как молитвословие» («Апеллесова черта», IV), «пизанская косая башня ведет целое войско косых зарев и косых теней приступом на Пизу» (это вечером, когда солнце садится. — Д. Л.; там же, I); «Пизанская косая башня прорвалась сквозь цепь средневековых укреплений» (солнце село; там же).

Отсюда же его поразительные суждения и определения, похожие на афоризмы, но крепко вплетенные в содержание того, о чем он говорит: про метаморфозы XIX века он говорит: «...века, пустынного, как зевок людоеда» («Охранная грамота», ч. 2; 1). Разве это не метко? Ведь за девятнадцатым веком последовал двадцатый... «Венеция — город, обитаемый зданиями» («Охранная грамота», ч. 2; 15) и далее: «Пустых мест в пустых дворцах не осталось — все занято красотой» (там же). Ведь так сказать можно было только о Венеции. «Пустые дворцы» — пустые от их былых обитателей, но «занятые красотой». И афоризмы эти крепко впаяны в текст. Картина Венеции в «Охранной грамоте» точно принадлежит Кандинскому: и тот, и другой открыли в Венеции черный цвет ее воды. Один перенес его в свои абстракции, другой — в его густо насыщенную образами прозу. Вот он говорит о венецианских каналах, где

полощется «маслянисто-черная вода»: «В высоте поперек черных, как деготь, щелей, по которым мы блуждали, светлело небо, и все куда-то уходило» («Охранная грамота», ч. 2; 13). Или как необыкновенно сказано у Пастернака о Библии, когда он знакомился с картинами итальянских художников на библейские сюжеты: «Библия есть не столько книга с твердым текстом, сколько записная тетрадь человечества». И в свете сказанного Пастернаком можно понять, что искусство во все века человечества вписывает в эту тетрадь каждый раз новое, свое понимание библейских тем. Как это верно! А разве не верно такое необыкновенное суждение Пастернака: «Замечательно перерождаются понятия. Когда к ужасам привыкают, они становятся основаниями хорошего тона» («Охранная грамота», ч. 2; 16). Это суждение, равно верное для всех веков, сказано по самому конкретному поводу: увиденной им «львиной щели», куда венецианское правительство сбрасывало не угодных ему лиц. Сравните и то, что он пишет далее: «...мало-помалу стало признаком невоспитанности упоминание о лицах, загадочно провалившихся в прекрасно изваянную щель, в тех случаях, когда сама власть не выражала по этому поводу огорчения» (там же). Или вот что он говорит о властном духовнике Елизаветы Венгерской: «тиран, то есть человек без воображения» («Охранная грамота», ч. 2; 1), или опять-таки о взаимоотношениях их обоих, когда Елизавете пришлось уступить духовнику: «Так приходится иногда природе отступать от своих законов, когда убежденный изувер чересчур настаивает на исполнении своих» (там же).

Художественные открытия Пастернака разнообразны до чрезвычайности. Вот что он пишет о колокольном звоне мелкого колокола: «...юродствовал, трясаясь в лихорадке, тоненький сельский набат» («Охранная грамота», ч. 1; 2). И вот тут же, в той же «Охранной грамоте», через две три страницы о звоне больших колоколов в Великий пост: «Сонной дорогой в туман погружались всякие языки колоколен. На каждой по разу ухал одинокий колокол. Остальные дружно безмолвствовали всем воздержаньем говешей меди» («Охранная грамота», ч. 1; 3).

Графика этих образов по своей остроте и тонкости напоминает графику метеоритного дождя: стальной иглой до яркой меди прочерчен рисунок черный лаковый фон.

Читать прозу Пастернака — это промывать золото в

золотоносном песке. Золото в изобилии, но его надо добыть. Но и сам этот труд по добычанию золота становится драгоценностью. Читателя, который хоть немного любит труд чтения, начинает бить «золотая лихорадка» — безудержное стремление к духовному и словесному обогащению.

Золото... но оно не одно. И наряду с ним есть и явные неудачи. Эти неудачи надо понять, чтобы они не засорили чтение. Они от чрезмерности впечатлений.

Бывают драгоценные камни «в рубашке» — коктебельский сердолик, например. «Рубашка» эта — чуждая камню простая порода, стягивающая или облепляющая драгоценность. Таких простых неудач у Пастернака немало. Вот несколько фраз, вкрапленных в великолепное описание московской весны: «Там, отдуваясь, топтались облака, и, расталкивая их толпу, висел поперек неба сплывшийся дым несметных печей. Там линиями, точно вдоль набережных, окунались подъездами в снег разрушавшиеся дома. Там утлую невзрачность прозябанья перебирали тихими гитарными щипками пьянства, и, сварясь за бутылкой вкрутую, раскрасневшиеся степенницы выходили с качающимися мужьями под ночной приборой извозчиков, точно из гогочущей горячки шаек в березовую прохладу предбанника» («Охранная грамота», ч. 1; 6). Не хочется продолжать и приумножать примеры, — количество таких нарочитостей не следует преувеличивать, даже если их и найти несколько на одной странице.

* * *

Когда Пастернак возмужал как художник, «внутренняя атмосфера его души» стала не такой экзальтированной по отношению к вторжению в нее фактов внешнего мира. Метеориты перестали сгорать в метеоритном дожде в таком чрезмерном изобилии метафорического их восприятия, но звездный дождь его поэзии и прозы не стал от этого менее прекрасен. Пастернак стал простым, но не менее изумительным в своей праздничной простоте:

В родстве со всем, что есть, уверясь
И знаясь с будущим в быту,
Нельзя не впасть к концу, как в ересь,
В неслыханную простоту.

В ранней прозе Пастернака господствует до времени праздничная сложность, перерабатывающая обыденность. Простота эта «всего нужнее людям»,

Но сложное понятней им.

Почему сложное «понятней»? Потому, что жизнь сложна, если в нее поэтически вникнуть. Сложное интенсивнее пробуждает духовное начало, заставляет всматриваться, вслушиваться, вдумываться. Сложное будит сознание, будит понимание.

Не спите днем...

В письме к отцу в Берлин от 25 декабря 1934 г. Пастернак пишет о вторичной простоте своего творчества последних лет: «А я, хоть и поздно, взялся за ум. Ничего из того, что я написал, не существует. Тот мир прекратился, и этому новому мне нечего показать. Было бы плохо, если бы я этого не понимал. Но по счастью я жив, глаза у меня открыты, и вот я спешно переделываю себя в прозаика диккенсовского толка, а потом, если хватит сил, в поэта — пушкинского. Ты не вообрази, что я думаю себя с ними сравнивать. Я их называю, чтобы дать тебе понятие о внутренней перемене. Я бы мог сказать то же самое по-другому». Характерна эта последовательность, которую намечает себе Пастернак в переменах к простоте: сперва — проза, потом — поэзия.

Простота идет от прозы, как от прозы идет и поэзия. Но одновременно в поэзии наметки прозы. В «Замечаниях к переводам из Шекспира» Пастернак пишет: «Стихи были быстрой и непосредственной формой выражения Шекспира. Он к ним прибегал как к средству наискорейшей записи мыслей. Это доходило до того, что во многих его стихотворных эпизодах мерещатся сделанные в стихах черновые наброски к прозе». Опять мы констатируем: поэзия и проза в творчестве Пастернака едины. Они идут одним галсом. Но в какой-то момент своего относительно позднего творчества он им командует: «Поворот «Все вдруг!»» Поворот к конечной простоте.

Пастернак всегда сознательно культивировал в себе свежесть и непредвзятость взгляда, впечатлительность и верность воспоминаниям детства. Пастернак воспринимал мир с какой-то особой детскостью, которую в нем отмечала Анна Ахматова в своих разговорах о нем с пишущим эти

строки. И эту свою детскую, праздничную отзывчивость на все вторжения действительности неоднократно отмечал в себе сам Борис Леонидович. Он писал: «...единственное, что в нашей власти, это суметь не исказить голоса жизни, звучащего в нас» («Несколько положений», 1919). В журнале «На литературном посту» (1927, № 5—6) Пастернак отмечал: «Мне кажется, что в настоящее время менее, чем когда-либо, есть основание удаляться от пушкинской эстетики». Но и к концу своего творчества он уже более отчетливо формулировал свое стремление не только к простоте и непосредственности восприятия, но и к простоте выражения. Говоря о Маяковском, Асееве и себе на вечере в университете в 1944 г., Пастернак заявлял: «Мы были сознательными озорниками. Писали намеренно иррационально, ставя перед собою лишь одну-единственную цель — поймать живое. Но это пренебрежение разумом ради живых впечатлений было заблуждением. Мы еще недостаточно владели техникой, чтобы сравнивать и выбирать, и действовали нахрапом. Высшие достижения искусства заключаются в синтезе живого со смыслом».

* * *

Лирика Пастернака тоскует по эпосу, как она тоскует по широко понятой действительности. Поэзия Пастернака тоскует по прозе, по прозаизмам, по обыденности. Пастернак пишет, что «эпос внушен временем» (журнал «На литературном посту», 1927, № 4, с. 74). Он сам стремится быть всегда открытым времени. Он ищет возможности в лирике перейти к эпосу, в поэзии перейти к прозе. Но эпос его остается лиричен, а проза — поэзией. Это бунт против всего косного и неподвижного. Это восстание против устоявшихся жанров и разграничений. И поэтому Пастернак — сын своего времени, времени трех революций, когда рушились не только старое государство и старый общественный строй, но все перегородки и когда все пришло в движение. Пастернака нельзя понять вне его времени, вне революций и войн. «Я стал частицей своего времени и государства, и его интересы стали моими», — пишет Пастернак в письме к отцу от 25 декабря 1934 г.

Очень рано в словесном искусстве Пастернака появились «бастующие небеса», «солдатские бунты и зарницы».

Здания прошлого становятся снарядами в будущее. Московский Кремль в 1918 году.

Несется, грозный, напролом,
Сквозь неистекший в девятнадцатый...

Революционной становится сама природа: «В это знаменитое лето 1917 г., — пишет он, — в промежутке между двумя революционными сроками, казалось, вместе с людьми митинговали и ораторствовали дороги, деревья и звезды. Воздух из конца в конец был охвачен горячим тысячеверстным вдохновением и казался личностью с именем, казался ясновидящим и одушевленным» (архив Н. В. Банникова).

След ветра живет в разговорах
Идущего бурно собранья
Деревьев над кровельной дранью.

Возражая существу поэзии Хлебникова, Пастернак писал: «Поэзия моего понимания все же протекает в истории и в сотрудничестве с действительной жизнью» («Охранная грамота», ч. 3; 8).

Словесное искусство Пастернака по своему содержанию и форме целиком соответствовало стилю революций: первой русской революции, первой мировой войне как прологу ко второй революции и революции Октября. Обыденная действительность вторгалась в сознание. Рабочие входили в дворцы, крестьяне — в усадебные дома. В Зимнем устраивались танцевальные вечера рабочей молодежи, в помещениях усадеб — школы ликвидации неграмотности и кружки самодеятельности. Действительность празднично преобразовывалась. Революционные празднества следовали одно за другим; праздновались и взятие Бастилии, и день Октябрьской революции, и день Труда. Толпа, нарядная от красных и зеленых галифе, сшитых из сукна, содранного с письменных столов бюрократов, и от ярких толстовок, выкроенных из бархатных портьер буржуазных квартир, куда была переселена беднота с окраин, восторженно приветствовала в дни революционных праздников звездный дождь военных ракет.

Видимые и невидимые нити протягивались между революционной действительностью и той действительностью, что властно вторгалась в произведения Пастернака.

* * *

Проза не была для Пастернака попутным явлением, чем-то второстепенным.

В письме к Е. Д. Романовой от 23 декабря 1959 г. Пастернак так писал о прозе: «Дороже всего мне Ваше знание того, на чем Гоголь с ума сошел или чем измучился: того, чем может быть настоящая художественная проза, какое это волшебное искусство, на границе алхимии... «*Beau comme la prose*», — говорил Карамзин о настоящей поэзии, может быть, о молодой пушкинской, когда желал похвалить ее»¹.

Д. С. Лихачев

¹ Текст этого письма, как и других, цитированных выше писем из архива Б. Л. Пастернака, любезно предоставлен мне его сыном Е. Б. Пастернаком. — *Д. Л.*



ВОЗДУШНЫЕ ПУТИ



АПЕЛЛЕСОВА ЧЕРТА

...Передают, будто греческий художник Апеллес, не застав однажды дома своего соперника Зевксиса, провел черту на стене, по которой Зевксис догадался, какой гость был у него в его отсутствие. Зевксис в долгу не остался. Он выбрал время, когда заведомо знал, что Апеллеса дома не застанет, и оставил свой знак, ставший притчей художества.

I

В один из сентябрьских вечеров, когда пизанская косая башня ведет целое войско косых зарев и косых теней приступом на Пизу, когда от всей вечерним ветром раздужен-

ной Тосканы пахнет, как от потертого меж пальцев лаврового листа, в один из таких вечеров, — ба, да я ведь точно помню число то: 23 августа, вечером, — Эмилио Релинквимини, не застав Гейне в гостинице, потребовал у подобострастно расшаркивающегося лакея бумаги и огня. Когда тот, сверх просимого, явился еще с чернилами, с ручкой, палочкой сургуча и печаткою, Релинквимини брезгливым жестом отстранил его услуги. Вынув из галстука булавку, он раскалил ее на свече, кольнул себя в палец и, выхватив карточку с фирмой трактирщика из целой стопки ей подобных, загнул ее с краю уколотым пальцем. Затем он протянул ее безразлично предупредительному лакею со словами: — Передайте г-ну Гейне эту визитную карточку. Завтра в эти же часы я повторю свое посещение.

Пизанская косая башня прорвалась сквозь цепь средневековых укреплений. На улице число людей, выдавших ее с моста, ежеминутно возрастало. Зарева, как партизаны, ползли по площадям. Улицы запружались опрокинутыми тенями, иные еще рубились в тесных проходах. Пизанская башня косила наотмашь, без разбору, пока одна шальная исполинская тень не прошла по солнцу... День оборвался.

Но лакей, вкратце и сбивчиво осведомляя Гейне о недавнем посещении, все же успел за несколько мгновений до полного захода солнца вручить нетерпеливому постояльцу карточку с побуревшим, запекшимся пятном.

«Вот оригинал!» Но Гейне тотчас же догадался об истинном имени посетителя, автора знаменитой поэмы «Il sangue»¹.

Та случайность, по которой феррарец Релинквимини оказался в Пизе как раз в те дни, когда еще более случайная прихоть путешествующего поэта занесла сюда его самого, вестфальца Гейне, — случайность эта не показалась ему странной. Он вспомнил об анониме, от которого получил на днях небрежно написанное, вызывающее письмо. Претензии неизвестного выходили из границ дозволенного. Как-то вскользь и туманно пройдясь насчет племенных и кровных корней поэзии, неизвестный требовал от Гейне... Апеллесова удостоверения личности.

«Любовь, — писал аноним, — кровавое это облако, которым сплошь застилается порою вся наша безоблач-

¹ «Кровь» (итал.).

ная кровь, — скажите о ней так, чтобы очерк ваш не превышал лаконизма черты Апеллесовой. Помните, только о принадлежности вашей к аристократии крови и духа (эти понятия неразрывны) — вот о чем единственно любопытен Зевксис.

Р. С. Я воспользовался вашим пребыванием в Пизе, о чем был своевременно извещен моим издателем Конти, чтобы раз навсегда покончить с терзавшим меня сомнением. Через три дня я лично явлюсь к вам взглянуть на росчерк Апеллеса...»

Прислуга, явившаяся по зову Гейне, была облечена им следующими полномочиями:

— Я уезжаю с десятичасовым поездом в Феррару. Завтра вечером меня будет спрашивать известное уже вам лицо, предъявитель этой карточки. Вы из рук в руки передадите ему этот пакет. Прошу подать мне счет. Позовите факино.

Тем призрачным весом, коим на вид пустой пакет все-таки обладал, он был обязан тоненькой бумажной полоске, очевидно вырезанной из какой-то рукописи. Клочок этот заключал в себе часть фразы, без начала и конца: «но Рондольфина и Энрико, свои бывшие имена отбросив, их смелить успели на небывалые доселе: он — «Рондольфина!» — дико вскрикнув, «Энрико!» — возопив — она».

II

На тротуарных плитах, на асфальтированных площадях, на балконах и на набережных Арно пизанцы сожигали благовонную тосканскую ночь. От черного ее сгорания еще тяжелее дышалось в душных и без того проходах, под пыльными платанами; ко всему еще знойный, маслянистый блеск ее довершали рассыпные снопы звезд и пучки колючих туманностей. Искры эти переполняли чашу терпения итальянцев; с жарким фанатизмом произнося свои ругательства, словно бы это молитвы были, отирали они при первом же взгляде на Кассиопею грязный пот со лбов. Носовые платки мелькали впотьмах, как сотрясаемые термометры. Показания этих батистовых градусников удручающей пагубой проносились по улице: духота распространялась ими, как кем-то подхваченный слух, как поветрие, как панический ужас. И так же, как распадался без прекословия коснеющий город на кварталы, дома и

дворы, так точно состоял ночной воздух из отдельных неподвижных встреч, восклицаний, ссор, кровавых столкновений, шепотов, смешков и шушуканий. Шумы эти стояли пыльным и частым плетевом над тротуарами, стояли в шеренгах, вращая в панели, точно уличные деревья, задыхающиеся и бесцветные в свете газовых фонарей. Так причудливо и властно положила пизанская ночь крепкий предел человеческой выносливости.

Тут же, об этот предел рукой подать, начинался хаос. Такой хаос царил на вокзале. Носовые платки и проклятия сходили здесь со сцены. Люди, мгновение назад почитавшие чуть что не пыткой естественное передвижение, здесь, ухватясь за чемоданы и картонки, бушевали у кассы, как угорелые набрасывались штурмом на обуглившиеся вагоны, осаждали ступеньки и, меченные сажей, как трубочисты, врывались в отделения, перегороженные горячею коричневой фанерой, которая, казалось, коробилась от жару, ругани и увесистых толчков. Вагоны горели, горели рельсы, горели нефтяные цистерны, паровозы на запасных путях, горели сигналы и расплющенные парами исходящие вопли далеких и близких локомотивов. Семена своими вспышками, щекоочущим насекомым засыпало на щеке машиниста и на кожаной куртке кочегара тяжкое дыханье растворенной топки: горели машинист с кочегаром. Горел часовой циферблат, горели чугунные перекаты путевых междоузлий и стрелок; горели сторожа. Все это находилось за пределами человеческой выносливости. Все это можно было снести.

Место у самого окна. В последний миг — совершенно пустой перрон из цельного камня, из цельной гулкости, из цельного восклицанья кондуктора: «Pronti!»¹ — и кондуктор пробегает мимо, вдогонку за собственным восклицанием. Плавно сторонятся станционные столбы. Огоньки снуют, скрещиваясь, как вязальные спицы. Лучи рефлекторов заскакивают в окна вагонов, подхваченные тягою, проходят насквозь, наружу, через противоположные окна, растягиваются по путям, подрагивая, оступаются о рельсы, подымаются, пропадают за сараями. Карликовые улочки, уродливые, ублюлочные закоулки. Гулко глотают их зевы виадуков. Бушеванье вплотную

¹ Готово! (*итал.*)

к шторке подступающих садов. Отдохновенная ширь курчавых, ковровых виноградников. Поля.

Гейне едет на авось. Думать ему не о чем. Гейне пытается вздремнуть. Он закрывает глаза.

«Что-нибудь да выйдет из этого. Наперед загадывать нет проку, да и возможности нет. Впереди — упоительная полная неизвестность».

Померанцы, вероятно, в цвету. Душистые широты садов — в разливе. Оттуда набегают ветерок соснуть хоть капельку на слипшихся ресницах пассажира.

«Это — наверняка. Что-нибудь да выйдет. А то с какой это радости — аа-ах,— зевает Гейне, — с какой это радости, что ни любовное стихотворенье у Релинквимини, то неизменная пометка: «Феррара!»

Скалы, пропасти, сном пришибленные соседи, смрад вагонный, газовый язычок фонаря. Он слизывает с потолка шорохи и тени, он облизывается, и он задыхается, когда скалы и пропасти сменяются тоннелем: гора, грохоча, сползает по вагонной крыше, распластывает паровозный дым, загоняет его в окна, цепляется за вешалки и сетки. Тоннели и долины. Путь в одну колею плачет заунывно над горной, о камни разбившейся речонкой, с каких-то невероятных, чуть брезжущих во тьме высот сорвалась она. Там-то и чадят и дымятся водопады, глухой их рев всю ночь кружит вокруг поезда.

«Апеллесова черта... Рондольфина... За сутки, пожалуй, ничего не успеть. А больше нельзя. Надо скрыться бесследно. А завтра... Ведь он с места же сорвется на вокзал, как только лакей ему скажет о моем маршруте!»

Феррара! Иссиня-черный, стальной рассвет. Холодом напоен душистый туман. О, как звонко латинское утро!

III

— Невозможно, номер «Voce» уже сверстан.

— Да, но я никак, ни за какие деньги и ни в чьи руки, не передам своей находки, между тем более одного дня я не могу остаться в Ферраре.

— Вы говорите, в вагоне, под диваном, записная его книжка?

— Да, записная книжка Эмилио Релинквимини. Мало того, записная книжка, содержащая среди массы обычных записей еще большее множество неопубликован-

ных стихотворений, ряд набросков, отрывочных заметок, афоризмов. Записи велись весь этот год, большей частью в Ферраре, насколько можно судить по подписям.

— Где она? Она с вами?

— Нет, я оставил вещи на вокзале, а книжка в саквояже.

— Жалко! Мы могли бы доставить книжку ему на дом. Феррарский адрес Релинквимини известен редакции, но вот уже с месяц, как он в отъезде.

— Как, разве Релинквимини не в Ферраре?

— В том-то и дело. Я, собственно, в толк не возьму, на какой исход можете вы надеяться, объявляя о своей находке?

— Единственно на то, что через посредство вашей газеты установится надежная связь между собственником книжки и мною, и Релинквимини в любое время сможет воспользоваться любезными услугами «Vосе» в этом деле.

— Что с вами поделаешь! Присядьте, пожалуйста, и благоволите составить заявление.

— Виноват, господин редактор, я вас побеспокою, у вас настольный телефон — разрешите?

— Пожалуйста, сделайте одолжение.

— Гостиница «Торквато Тассо»?.. Какие номера свободны?.. В котором этаже?.. Прекрасно, оставьте восьмой за мною.

«Ritrovamento»¹. Найдена рукопись новой, готовящейся к выходу книги Эмилио Релинквимини. Владельца рукописи или его доверенных в течение всего дня до 11 часов ночи будет ждать у себя, в гостинице «Тассо», лицо, занимающее № 8 названной гостиницы. Начиная с завтрашнего дня редакция газеты «Vосе», равно как дирекция гостиницы, будут периодически и своевременно извещаться вышеозначенным лицом о каждой новой перемене его адреса».

Гейне, утомленный дорогой, спит мертвым, свинцовым сном. Жалюзи в его номере, нагретые дыханием утра, горят, точно медные перепонки губной гармоники. У окошка сетка лучей упала на пол расползающейся соломенной плетенкой. Соломинки сплачиваются, теснятся, жмутся друг к другу. На улице — невнятный говор. Кто-то заговаривается, у кого-то заплетается язык. Проходит

¹ «Находки» (итал.).

час. Соломины уже плотно прилегают друг к другу, уже солнечною лужицей растекается по полу плетенка. На улице заговариваются, клюют носом, на улице заплетаются языки. Гейне спит. Солнечная лужица разжимается, словно пропитывается ею паркет. Снова это — редеющая плетенка из подпаленных, пляющихся соломин. Гейне спит. На улице говор. Проходят часы. Они лениво вырастают вместе с ростом черных прорезей в плетенке. На улице говор. Плетенка выцветает, пылится, тускнеет. Уже это — веревочный половик, свалывшийся, спутанный. Уже стежков и нитей не отличить от петель. На улице — говор. Гейне спит.

Сейчас он проснется. Сейчас Гейне вскочит, помяните мое слово. Сейчас. Дайте ему только до конца доглядеть последний обрывок сновиденья...

От жара разошедшееся колесо раскалывается вдруг по самую ступицу, спицы выпирают пучком перекушенных колышков, тележка со стуком, с грохотом падает набок, кипы газет вываливаются. Толпа, парасоли, витрины, маркизы. Газетчика на носилках несут — аптека совсем поблизости.

— Вот видите! Что я говорил! — Гейне вскакивает. — Сейчас!

Кто-то нетерпеливо, с остервенением стучится в дверь. Гейне спросонья, взлохмаченный, во хмелю еще, хватается за халат.

— Виноват, сию секунду! — Чуть что не металлически брякнув, тяжело опускается на пол правая нога. — Сейчас. Ах, да!

Гейне подходит к двери.

— Кто тут?

Голос лакея.

— Да, да, тетрадь у меня. Попросите у синьоры от моего имени извиненья. Она в салоне?

Голос лакея.

— Предложите синьорине подождать минут десять. Через десять минут я весь к ее услугам. Слышите?

Голос лакея.

— Постойте, камерьере!

Голос лакея.

— Да не забудьте передать мадмуазель, что синьор-де выражает неподдельное свое сожаление по поводу того, что не может сию же минуту выйти к ней, чувствует себя

перед ней глубоко виноватым, но постарается... Слышите ли вы, камерьере?..

Голос лакея.

— ...но постарается через десять минут полностью заглядить свою непростительную оплошность. Да поучтивей, камерьере, я ведь не из феррарцев.

Голос лакея:

— Ладно, ладно.

— Камерьере, дама в салоне?

— Да, синьор.

— Она одна там?

— Одна, синьор, пожалуйста. Налево, синьор. Налево!

— Здравствуйте. Чем могу служить синьоре?

— Pardon, вы из номера восьмого?

— Да, я занимаю этот номер.

— Я — за тетрадью Релинквимини.

— Позвольте представиться: Генрих Гейне.

— Простите... Вы в родстве?..

— Нисколько. Случайное совпадение. Прискорбное даже. Я тоже имею счастье...

— Вы пишете стихи?

— Я не писал никогда ничего другого.

— Я знаю по-немецки и отдаю поэзии весь мой досуг, а между тем...

— Знакомы вам «Стихи, не изданные при жизни поэта»?

— Конечно. Так это вы?!

— Простите, я мечтаю все же услышать ваше имя.

— Камилла Арденце.

— Чрезвычайно приятно. Итак, синьора Арденце, вам попало на глаза мое сегодняшнее заявление в «Vосе»?

— Да, да. О найденной тетради. Где она? Дайте ее сюда.

— Синьора! Синьора Камилла, вы, может быть, всем сердцем своим, воспетым несравненным Релинквимини...

— Оставьте, мы не на подмостках...

— Вы ошибаетесь, синьора, мы — всю жизнь на подмостках, и далеко не всякому по силе та естественность, которая, как роль, навязана каждому от самого рождения. Синьора Камилла, вы любите родной свой город, вы любите Феррару, между тем это — первый город, определенно отталкивающий меня. Вы прекрасны, синьора Камилла, и у меня сердце содрогается при мысли, что вы в

заговоре с отвратительным этим городом против меня.

— Я не понимаю вас.

— Не прерывайте меня, синьора. С городом, говорю я, который усыпил меня, как отравитель усыпляет собутыльника, когда к тому приближается его счастье; он усыпляет его затем, чтобы пробудить искру презренья к несчастному в глазах его счастья, зашедшего в таверну, и счастье изменяет усыпленному. «Миледи,— обращается к вошедшей отравитель,— взгляните на этого лежебока: это ваш возлюбленный; он коротал часы ожидания рассказами о вас; они шпорами вонзались в мое воображение. Не на его ли хребте прискакали вы сюда? Зачем так немилосердно хлестали вы его своей тонкой плетью,— оно в мыле, оно разгорячено. О, эти рассказы! Но потрудитесь взглянуть на него. Миледи, он усыплен собственными рассказами о вас,— вы видите, разлука оказывает действие колыбельной песни на вашего возлюбленного. Однако мы можем разбудить его». — «Не надо,— отвечает отравителю счастье отравленного.— Не надо, не тревожьте его, он спит так сладко и, может быть, видит меня во сне. Лучше позаботьтесь о стакане пунша для меня. На улице так холодно. Я вся ооченела. Разотрите мне, пожалуйста, руки...»

— Вы очень странный человек, господин Гейне. Но продолжайте, пожалуйста, ваша высокопарная речь занимает меня.

— Виноват, как бы не забыть о тетради Релинквини; я подымусь к себе в номер...

— Не беспокойтесь, я не забуду про нее. Продолжайте, пожалуйста. Вот забавный! Продолжайте же. «Разотрите мне руки»,— говорит, кажется, счастье?

— Да, синьора Камилла. Вы слушали меня внимательно, благодарю вас.

— Ну?

— Так-то, как отравитель со своим собутыльником, обошелся со мной город, и вы, прекрасная Камилла, на его стороне. Он подслушал мои мысли о старых, как разбойничьи замки, и, как разбойничьи замки, одиноко стоящих, разваливающихся рассветах и усыпил меня, чтобы исподтишка воспользоваться ими; он дал мне власть наговориться о садах, на всех парусах из красного вечернего воздуха несущихся в открытую ночь, и вот — он поднял эти паруса, а меня оставил лежать в порто-

вой таверне, и вы ведь не позволите ему будить меня, если хитрец это вам предложит.

— Послушайте, дорогой, при чем же я тут? Лакей, надеюсь, окончательно вас разбудил?

— «Нет, — скажете вы, — ночь прибывает, не быть буре б, надо торопиться, пора, не буди его».

— О, синьор Гейне, как глубоко вы заблуждаетесь! «Да, — скажу я, — да, да, Феррара, растормоши его, если он еще спит, мне недосуг, разбуди его живей, собери все свои толпы, грохочи всеми площадями, пока не добудишься его: время не терпит».

— Да, правда, тетрадь!..

— После, после.

— О, дорогая синьора, Феррара обманулась в своих расчетах, Феррара одурачена; отравитель бежит, я пробуждаюсь, я пробужден, — я на коленях перед вами, любовь моя!

Камилла вскакивает.

— Довольно!.. Довольно!.. Правда, все это вам к лицу. Даже эти банальности. Именно эти банальности! Но нельзя же так, право! Вы ведь странствующий комедиант какой-то! Мы почти незнакомы. Только полчаса назад... Да Господи, мне смешно даже рассуждать об этом — и все же я ведь вот рассуждаю. Никогда еще в жизни глупее себя не чувствовала. Вся эта сцена как японский цветок, моментально распускающийся в воде. Ни больше ни меньше! Но ведь цветы-то эти бумажные. И дешевые цветы!

— Я слушаю вас, синьора.

— Синьор, я охотнее слушала бы вас. Вы очень умны и даже саркастичны, кажется. Между тем вы не гнушаетесь банальностями. Это странно, но в этом нет противоречия. Ваш театральный пафос...

— Простите, синьора. Пафос — это по-гречески страсть и воздушный поцелуй по-итальянски. Бывают вынужденно воздушные...

— Опять! Увольте, это несносно! Что-то кроется в вас, объяснитесь. И послушайте, пожалуйста, не сердитесь на меня, милый господин Гейне. За всем тем вы все-таки — вы не осудите меня за фамильярность? — вы — необыкновенный какой-то ребенок. Нет, это не то слово, вы — поэт. Да, да, как это сразу я не нашла его, а ведь для этого достаточно взглянуть на вас. Какой-то

Богом взысканный, судьбою избалованный бездельник.

— Euvviva! — Гейне вскакивает на подоконник, перегибается всем телом наружу.

— Осторожнее, синьор Гейне,— кричит Камилла,— осторожнее, я боюсь!

— Не беспокойтесь, дорогая синьора. Эй, фурфанте! Лови! — Лиры летят на площадь.— Столько же и, может, вдесятеро больше получишь, обворовав с десяток феррарских садов. Сольдо за каждую дыру в штанине! Марш. Да смотри не дыхни на цветы, как будешь несть: у контессы чутье мимозы. Рысью, шалопай! Волшебница, вы слышали? Мальчишка вернется в костюме амура. Но к делу. Что за пронизательность! Одною чертой, чертой Апеллеса, передать все мое существо, всю суть положения!

— Я вас не понимаю. Или это — новый выход? Опять подмости? Чего вы, собственно, хотите?

— Да, это снова подмости. Но отчего бы и не позволить мне побыть немного в полосе полного освещения? Ведь не я виной тому, что в жизни сильнее всего освещаются опасные места: мосты и переходы. Какая резкость! Все остальное погружено во мрак. На таком мосту, пускай это будут и подмости, человек вспыхивает, озаренный тревожными огнями, как будто его выставили всем напоказ, обнесши его перилами, панорамой города, пропастями и сигнальными рефлекторами набережных... Синьора Камилла, вы не вняли бы и половине моих слов, если бы мы не столкнулись с вами на таком опасном месте. Оно опасно, надо полагать, хотя сам я этого не знаю; надо полагать, потому, что на его освещение людьми была потрачена бездна огня, и я не виноват в том, что мы освещены так грубо и аляповато.

— Хорошо. Вы кончили? Все это так. Но ведь это неслыханная бессмыслица! Мне хочется довериться вам. Это не прихоть. Это почти потребность у меня. Вы не лжете. Глаза ваши не лгут. Да, так что это я хотела вам сказать?.. Забыла... Пойдите... Вот. Послушайте, милый, но ведь час еще назад...

— Перестаньте! Это — слова. Существуют часы, существуют и вечности. Их множество, и ни у одной нет начала. При первом же удобном случае они вырываются наружу. А это — сама случайность. И потом — долой слова! Знаете ли вы, синьора, когда и кем они свергают-

ся? Долой слова! Знакомы ли вам такие восстания, синьора? Синьора, все мои фибры восстают на меня, и я должен буду уступить им, как уступают толпе. И вот последнее. Помните, как вы сейчас называли меня?

— Конечно, и готова повторить это другой раз.

— Не надо. Но вы умеете глядеть так животно. И уже овладели линией, единственной, как сама жизнь. Так не упускайте же, не обрывайте ее на мне, оттяните ее, насколько она сама это позволит. Ведите дальше эту черту... Что же получилось у вас, синьора? Как вышли вы? В профиль? Вполоборота? Или еще как?

— Я вас понимаю.— Камилла протягивает Гейне руку.— И все же. Нет, Господи, я ведь не девочка. Надо опомниться. Это как гипноз.

— Синьора,— театрально восклицает Гейне у ног Камиллы,— синьора,— глухо восклицает он, спрятав лицо в ладони,— провели ли вы уже ту черту?.. Что за мука! — полушепотом вздыхает он, отрывает руки от внезапно побледневшего лица... и, взглянув в глаза все более и более теряющейся госпожи Арденце, к несказанному изумлению своему замечает, что...

IV

...что женщина эта действительно прекрасна, что до неузнаваемости прекрасна она, что биение собственного его сердца, курлыча, как вода за кормой, подымается, идет на прибыль, заливают вплотную приблизившиеся колени и ленивыми, наслаивающимися волнами прокатывается по ее стану, колышет ее шелка, затягивает ровную гладью ее плечи, подымает подбородок и — о чудо! — слегка приподымает его, приподымает выше,— синьора по горло в его сердце, еще одна такая волна, и она захлебнется! И Гейне подхватывает тонущую; поцелуй — и какой! — поцелуй на себе выносит их, но стоном стонет он под напором разыгравшихся сердец, дергает и срывается ввысь, вперед, черт его разберет — куда; а она не сопротивляется, нет. Нет, хочешь,— поет поцелуем влекомое, поцелуем взнузданное, вытянувшееся ее тело,— хочешь — буду шлюпкой таких поцелуев, только неси, неси ее, неси меня...

— Сту-чат! — хрипом вырывается из груди Камиллы.— Стучат! — И она вырывается из его объятий.

И правда.

— Тысяча чертей! Кто там?

— Синьор напрасно замкнул салон, у нас это не принято.

— Молчать! Я властен делать что угодно.

— Вы больны, сударь.

Итальянская ругань, страстная, фанатическая, как молитвословие. Гейне отпирает. В коридоре доругивающийся лакей, за ним, немного отступя, подросток-оборвыш, с головой ушедший в целый лес лиан, олеандров, флердоранжа, лилий...

— Этот негодяй...

...роз, магнолий, гвоздики...

— Этот негодяй во что бы то ни стало требовал пропустить его в комнату, окнами обращенную на площадь: такового может быть только салон.

— Да, да, салон,— гортанно рычит мальчишка.

— Разумеется, в салон,— соглашается Гейне,— это я сам ему приказал.

— ...Потому что,— нетерпеливо продолжает лакей,— ни до конторы, ни до ванн, ни тем более до читальной комнаты никакого дела у него быть не может. Однако при совершенной непристойности его костюма...

— Ах, да,— словно только сейчас проснувшись, восклицает Гейне,— Рондольфина, взгляните на его панталоны! Кто сшил тебе эти брючки из рыбацкой сети, прозрачное создание?

— Синьор, шипы колючих изгородей в Ферраре ежегодно оттачиваются наново специальными садовыми...

— Ха-ха-ха!

— ...При совершенном неприличии его костюма,— нетерпеливо продолжает лакей, по-особенному напирая на это выражение ввиду подошедшей синьоры, на лице коей борется тень внезапного недоумения с лучами вовсе непреборимой веселости,— при совершенном неприличии его костюма мы предложили мальчишке, передав через нас требуемое синьором, дожждаться ответа на улице. Но мошенник этот...

— Да, да, он прав,— останавливает риторика Гейне,— это я велел ему самолично явиться перед лицом синьоры...

— Мошенник этот,— уже не владея собой, тараторит запальчивый калабриец,— пустил в ход угрозы.

— А именно? — любопытствует Гейне.— Как это колоритно, синьора, не правда ли?

— Сорванец сослался на вас. «Синьор,— пригрозил он,— синьор негодичант в следующие свои проезды через Феррару станет пользоваться услугами других albergo¹, если вы, наперекор его воле, не допустите меня до него».

— Ха-ха-ха! Вот забавник! Каково, синьора! Вы отнесете эту тропическую плантацию... Погодите! — Гейне, обернувшись, ждет от Камиллы указаний.—...В восьмой пока что,— не дождавшись от нее ответа, продолжает Гейне.

— К вам покамест,— слегка краснея, повторяет Камилла.

— Слушаю-с, синьор. А относительно мальчишки...

— А ты, обезьяна, во что ценишь ты свои панталоны?

— Джулио весь в рубцах. Джулио посинел от холода. У Джулио нет другого платья, ни папы, ни мамы нет у Джулио,— плаксиво хнычет, обливаясь потом, десятилетний жулик.

— Итак, сколько же, отвечай!

— Сто сольдо, синьор,— неуверенно-мечтательно, как галлюцинант, произносит подросток.

— Ха-ха-ха! — хохочут все: хохочет Гейне, хохочет Камилла, хохотом раздражается и лакей, лакей в особенности, когда, вынув бумажник, Гейне достает оттуда кредитку в десять лир и, не переставая смеяться, протягивает ее оборвышу.

Тот молниеносно стреляет цепкой лапой по протянутой бумажке.

— Постой,— говорит Гейне.— Это, надо думать, первое твое выступление на поприще коммерции. В добрый час... Послушайте, камерьере, уверяю вас, смех ваш в этом случае положительно неблагоприятен: он за живое задевает юного негодичанта. И не правда ли, мой милый, ты никогда уже больше при ближайших своих операциях в Ферраре не станешь показываться на пороге негостеприимного «Торквато»?

— О нет, синьор, напротив... А сколько дней еще останется синьор в Ферраре?

— Через два часа я совсем уезжаю отсюда.

— Синьор Энрико...

— Да, синьора.

¹ Гостиница (итал.).

— Выйдемте на улицу, не возвращаться же нам, право, в этот глупый салон.

— Хорошо... Камерьере, эти цветы — в восьмой. Погодите, этой розе надо еще распуститься; на этот вечер сады Феррары поручают ее вам, синьора.

— Мегсі, Энрико... Черная эта гвоздика лишена всякой сдержанности, сады Феррары, синьор, вверяют вам уход за этим разнузданным цветком.

— Вашу ручку, синьора... Итак, камерьере, это — в восьмой. И шляпу мне: она в номере.

Лакей удаляется.

— Вы не сделаете этого, Энрико.

— Камилла, я не понимаю вас.

— Вы останетесь, — о, не отвечайте мне ничего, — вы останетесь еще на день хотя бы в Ферраре... Энрико, Энрико, вы выпачкали себе бровь в цветочной пыли, дайте я обмахну.

— Синьора Камилла, на вашем башмачке пушистая гусеница, я собую ее, — я отправлю телеграмму домой, во Франкфурт, — и платье у вас все в лепестках, синьора, — и буду посылать депеши ежедневно, пока вы не запретите мне.

— Энрико, я не вижу на вашем пальце обручального кольца; надевали вы когда-нибудь такое украшение?

— Зато я давно заметил на вашем, Камилла... А, шляпа! Благодарю вас.

V

Благоуханный вечер преисполнил собою все закоулки Феррары и гулкою каплей перекатывался по ее уличному лабиринту, словно капля морской воды, что забила в ухо и весь череп глухотой налила.

В кофейне шумно. Но тихая, утлая улочка ведет к кофейне. В ней-то и заключается главная причина того, что затаив дыхание окружил ее со всех сторон оглушенный, ошеломленный город: вечер забился в одну из его улочек, и в ту как раз, где на углу кофейня.

Камилла призадумалась, дожидаясь Гейне. Он пошел в телеграфное бюро рядом с кофейней.

«Почему это ни за что не хотел он написать телеграмму в кафе и с посыльным ее отправить? Неужели он никак не мог удовольствоваться простою, официальной депе-

шей? Какая-то крепкая, сплошь на чувстве стоящая связь? Но, с другой стороны, он и совсем бы позабыл о ней, если бы не напомнить ему про телеграмму. И эта Рондольфина... надо будет спросить о ней. А можно ли? Это интимности ведь. Господи, я точно девочка! Можно, нужно! Сегодня я получаю право на все, сегодня я на все теряю право. Они тебя исковеркали, милая, эти артисты. Но этот? А Релинквимини?.. Какой далекий образ! С весны! О нет, раньше еще; а встреча Нового года?!.. Да нет, он никогда не был близок мне... А этот?..»

— О чем вы задумались, Камилла?

— А вы отчего так грустны, Энрико? Не печальтесь: я отпускаю вас. Есть телеграммы, которые пишутся лакеем под диктовку. Отправьте такую депешу домой, вы просрочили только три часа, ночью из Феррары отходит поезд на Венецию, ночью же и на Милан, ваше опоздание не превысит...

— К чему это, Камилла?

— Отчего вы так грустны, Энрико? Расскажите мне что-нибудь о Рондольфине.

Гейне содрогаются и вскакивает со стула.

— Откуда вы знаете? Он тут? Он был здесь в мое отсутствие?! Где он, где он, Камилла?

— Вы побледнели, Энрико. О ком говорите вы? Я вас спрашивала о женщине. Не так ли? Или я не так произношу это имя? Рондольфино? Все дело в гласной. Садитесь. На нас смотрят.

— Кто вам рассказал о ней? Вы получили от него известие? Но каким образом и как дошло оно сюда? Ведь мы случайно здесь; я хочу сказать — никто ведь не знает, что мы здесь.

— Энрико, никого здесь не было и ничего не произошло, пока вы были на телеграфе. Даю вам честное слово. Но это с минуты на минуту становится любопытней. Их двое, значит?

— Тогда это чудо! Уму непостижимо... я рассудка лишаясь. Кто подсказал вам это имя, Камилла? Где вы слышали его?

— Нынешнюю ночь, во сне. Господи, это ведь так обычно! Но вы все еще не ответили мне, кто такая эта Рондольфина? Чудеса не перевелись на свете — оставим чудеса в докое. Кто она такая, Энрико?

— О Камилла, Рондольфина — это вы!

— Актер изолгавшийся!.. Нет!.. нет! Пустите!.. не прикасайтесь ко мне!

Оба вскакивают. Камилла вся — одно движение бесповоротно стремительного маневра. Их разделяет только столик. Камилла хватается за спинку кресла, что-то встало меж ней и ее решением, что-то вселилось в нее, и, как карусель, круговой волной повело кофейню вверх, наоткос... Пропала!.. Сорвать его, сорвать колье...

Той же тошнотворной, карусельной бороздой тронулась, пошла и потекла цепь лиц... эспаньолок... моноклей... лорнетов, в ежесекундно растущем множестве наводимых на нее; разговоры за всеми столиками претыкаются об этот несчастный столик, она еще видит его, еще опирается, может, пройдет... Нет... нестройный оркестр сбивается с такта...

— Камерьере, воды!

VI

Лихорадит слегка.

— Какой у вас крошечный номер!.. Да, да, вот так, спасибо. Я еще полежу немного. Это малярия, — а потом... У меня ведь целая квартира; но вы не должны оставлять меня. Это может стрястись надо мной каждую минуту. Энрико!

— Да, дорогая?

— Чего же вы молчите?.. Нет, нет, не надо, лучше так... Ах, Энрико, я и не припомню, было ли утро сегодня... А они все стоят еще?

— Что, Камилла?

— Цветы. Их надо вынести на ночь. Какой тяжелый аромат! Сколько в нем тонн?

— Я велю вынести их... Что такое, Камилла?

— Я встану... Да я сама, спасибо. Вот — совсем прошло, стоит только на ноги стать... Да, надо вынести их. А куда бы? Пойдите, у меня ведь целая квартира на площади Ариосто. Отсюда видать, наверное...

— Ночь уже. Кажется, посвежело немного.

— Отчего так мало народу на улице?

— Тсс, каждое слово слышать.

— О чем это они?

— Не знаю, Камилла. Студенты, кажется. Похвальба какая-то. Может быть, о том, что и мы...

— Пустите-ка. Остановились на углу! Господи, он маленького через голову перебросил!! Вот опять тишина. Как диковинно свет застревает в ветвях! А фонаря не видно. Мы не в последнем?

— Что, Камилла?

— Над нами еще этаж?

— Да, кажется.

Камилла высовывается из окошка, она заглядывает за навесной щиток снизу вверх.

— Нет... — Но Гейне не дает ей договорить. — Нет никого, — высвобождаясь, повторяет она.

— В чем дело?

— Я думала, там человек стоит, лампа на окне, а он крошенные листья и тени в окошко швыряет на улицу; хотела лицо подставить, поймать на щеку. Ну и нет никого.

— Да это поэзия сама, Камилла!

— Правда? Не знаю. Вот он. Вот там, около театра. Где зарево лиловое.

— Кто, Камилла?

— Вот чудак! Дом мой, вот кто. Да, но это припад-ки! Если бы устроить как-нибудь...

— Номер уже заказан для вас.

— Правда? Какая заботливость! Наконец-то. Который час? Пойдем посмотрим, какой это номер у меня? Интересно.

Они уходят из восьмого, улыбающиеся и взволнованные, как школьники, осаждающие Трою на дровяном дворе.

VII

Задолго еще до его наступления о близости нового утра стали болтливо разглагольствовать католические колокола, толчками, с кувыркающихся колод, отвешивая свои холодные поклоны. В гостинице горела одна всего лампочка. Она вспыхнула, когда едко затрещал телефонный звонок, и ее уже не тушили потом. Она была свидетельницей того, как подбежал к аппарату заспанный дежурный; как, отложив трубку на пульт, после некоторых пререканий с звонившим, затерялся он в глубинах коридора, как спустя некоторое время вынырнул он из тех полутемных недр.

— Да, синьор уезжает сегодня поутру, он позвонит вам, если это так срочно, через полчаса, потрудитесь оставить свой номер. Скажите, кого вызвать.

Лампочка осталась гореть и тогда, когда, застегиваясь на ходу, ночной походкою, на носках, из поперечного коридорчика в главный прошел человек из восьмого, как был он назван по телефону.

Лампочка находилась как раз напротив этого номера. Человек из восьмого, однако, для того чтобы попасть к телефону, совершил пешеходную прогулку по коридору, и начало этой прогулки лежало где-то в зоне восьмидесятих номеров. После непродолжительных переговоров с дежурным, изменившись в лице, на котором тревожное волнение уступило место чертам внезапной беззаботности и любопытства, он отважно взялся за телефонную трубку и по исполнении всех технических обрядностей нашел себе собеседника в лице редактора газеты «Vосе».

— Слушайте, это безбожно! Кто вам сказал, что я бессонницей страдаю?

— Вы по ошибке, кажется, попали к телефону, подымаясь на колокольню. Чего вы благовестите? Ну, в чем дело?

— Да, я задержался на сутки.

— Лакей прав, домашнего адреса я им не оставлял и не оставляю.

— Вам? Тоже нет. Да вообще я и не думал его публиковать, да еще сегодня, как вы, кажется, вообразили.

— Он вам никогда ни на что не понадобится.

— Не горячитесь, господин редактор, и вообще побольше хладнокровия. Релинквимини и не подумает обращаться к вашему посредничеству.

— Потому что он не нуждается в нем.

— Еще раз напоминаю вам о драгоценности вашего спокойствия для меня. Релинквимини никогда никакой тетрадки не терял.

— Позвольте, — хотя это первое недвусмысленное выражение у вас. Нет, безусловно нет.

— Опять? Хорошо, допускаю. Но это — шантаж только в пределах вчерашнего номера вашей «Vose». И далеко не то — за его пределами.

— Со вчерашнего дня. С шести часов пополудни.

— Если бы вы хоть стороной нюхнули того, что взорло на дрожжах этой выдумки, вы бы подыскали всему этому название порезче, и оно еще дальше находилось бы от истины, чем то, что вы только что изволили преподнести мне.

— Охотно. С удовольствием. Сегодня я не вижу этому никаких препятствий. Генрих Гейне.

— Вот именно.

— Очень лестно слушать.

— Да что вы?

— Очень охотно. Как же это сделать? Жалею, что вынужден сегодня же ехать. Приходите на вокзал, проведемте часок вместе.

— Девять тридцать пять. Впрочем, время — цепь сюрпризов. Лучше не приезжайте.

— Приходите в гостиницу. Днем. Вернее будет. Или ко мне на квартиру. Вечером. Во фраке, пожалуйста, с цветами.

— Да, да, господин редактор, вы — пифия.

— Или завтра на дуэльную площадку, за город.

— Не знаю, может быть, и не шутка.

— Или, если вы заняты эти два дня сплошь, приходите, знаете что, приходите на Campo Santo послезавтра.

— Вы думаете?

— Вы думаете?

— Какой странный разговор ни свет ни заря! Ну, простите, я устал, меня в номер тянет.

— Не слышу...?.. В восьмой? Ах, да. Да, да, в восьмой. Это дивный номер, господин редактор, с совершенно особым климатом, там вот уже пятый час стоит вечная весна. Прощайте, господин редактор.

Гейне машинально повертывает выключатель.

— Не туши, Энрико, — раздается в темноте из глубины коридора.

— Камилла?!!

1915





ПИСЬМА ИЗ ТУЛЫ

I

На воле заливались жаворонки, и в поезде, шедшем из Москвы, везли задыхавшееся солнце на множестве полосатых диванов. Оно садилось. Мост с надписью «Упа» поплыл по сотне окошек в ту самую минуту, как кочегару, летевшему впереди состава на тендере, открылся в шуме его собственных волос и в свежести вечернего возбуждения, в стороне от путей, быстро несшийся навстречу город.

Тем временем там, здороваясь на улицах, говорили: «С добрым вечером». Некоторые прибавляли: «Оттуда?» — «Туда», — отвечали иные. Им возражали: «Поздно. Все кончилось».

«Тула, 10-го

Ты, значит, перешла, как уговорились с проводником. Сейчас генерал, освободивший место, проходя к стойке, поклонился мне, как доброму знакомому. Ближайший поезд в Москву в три часа ночи. Это он прощался, уходя. Швейцар открывает ему двери. Там шумят извозчики. Издали, как воробьи. Дорогая, эти проводы были безумием. Теперь разлука вдесятеро тяжелей. Воображенью есть с чего начать. Оно меня изложет. Там подходит конка, и перепрягают. Поеду осматривать город. О тоска! Забью, затуплю ее, неистовую, стихами».

«Тула

Ах, середины нет. Надо уходить со второго звонка или же отправляться в совместный путь до конца, до могилы. Послушай, ведь будет светать, когда я проделаю весь этот путь целиком в обратном порядке, а то во всех мелочах, до мельчайших. А они будут теперь тонкостями изысканной пытки.

Какое горе родиться поэтом! Какой мучитель воображенья! Солнце — в пиве. Опустилось на самое донышко бутылки. Через стол — агроном или что-то в этом роде. У него бурое лицо. Кофе он помешивает зеленою рукой. Ах, родная, все чужие кругом. Был один, да ушел свидетель (генерал). Есть другой еще, мировой, — не признают. Ничтожества! Ведь они думают, свое солнце похлебывают с молоком из блюдец. Думают, не в твоём, не в нашем вязнут их мухи, чокают кастрюли у поварят, брызжет сельтерская и звонко, как языком, щелкают целковые о мрамор. Пойду осматривать город. Он в стороне остался. Есть конка, да не стоит; ходьбы, говорят, минут сорок. Квитанцию нашел, твоя была правда. Завтра навряд поспею, надо будет выспаться. Послезавтра. Ты не беспокойся — ломбард, дело терпит. Ах, писать — только себя мучить. А расстаться нет сил».

Прошло пять часов. Была необычайная тишина. На глаз нельзя стало сказать, где трава, где уголь. Мерцала звезда. Больше не было ни живой души у водокачки. В гнилом продаве мшаника чернела вода. В нем дрожало отраженье березки. Ее лихорадило. Но это было очень далеко. Очень, очень далеко. Кроме нее, не было ни души на дороге.

Была необычайная тишина. Бездыханные котлы и

вагоны лежали на плоской земле, похожие на скопления низких туч в безветренные ночи. Не апрель, — играли бы зарницы. Но небо волновалось. Пораженное прозрачностью, как недугом, изнутри подтачиваемое весной, оно волновалось. Последний вагон тульской конки подошел из города. Захлопали откидные спинки скамей. Последним сошел человек с письмами, торчавшими из широких карманов широкого пальто. Остальные направились в зал, к кучке весьма странной молодежи, шумно ужинавшей в конце. Этот остался за фасадом, ища зеленого ящика. Но нельзя сказать, где трава, где уголь, и когда усталая пара поволокла по дерну дышло, бороня железкою тропу, пыли не было видно, и только фонарь у конного двора дал тусклое понятие об этом. Ночь издала долгий горловой звук — и всё стихло. Это было очень, очень далеко, за горизонтом.

«Тула, десятое (зачеркнуто), одиннадцатое, час ночи. Дорогая, справься с учебником. Ключевский с тобой, клал сам в чемодан. Не знаю, как начать. Ничего еще не понимаю. Так странно; так страшно. Тем временем, как пишу тебе, все продолжается своим чередом в другом конце стола. Они геньяльничают, декламируют, бросаются друг в дружку фразами, театрально швыряют салфетки об стол, утерев бритые рты. Я не сказал, кто это. Худший вид богемы. (Тщательно зачеркнуто.) Кинематографическая труппа из Москвы. Ставили «Смутное время» в Кремле и где были валы.

Прочти по Ключевскому, — не читал, думаю, должен быть эпизод с Петром Болотниковым. Это и вызвало их на Упу. Узнал, что поставили точка в точку и сняли с другого берега. Теперь семнадцатый век рассован у них по чемоданам, все же остальное виснет над грязным столом. Ужасны полячки, и боярские дети страшней. Дорогой друг! Мне тошно. Это — выставка идеалов века. Чад, который они подымают, — мой, общий наш чад. Это угар невежественности и самого неблагополучного нахальства. Это я сам. Дорогая, я опустил тебе два письма. Я их не помню! Вот словарь этих (зачеркнуто, брошено без замещения). Вот их словарь: гений, поэт, скука, стихи, бездарность, мещанство, трагедия, женщина, я и она. Как страшно видеть свое на посторонних. Это шарж на (оставлено без продолжения)».

«2 часа. Вера сердца больше, чем когда еще, клянусь

тебе, придет время, — нет, дай вперед расскажу. Терзай, терзай меня, ночь, не все еще, пали дотла, гори, гори ясно, светло, прорвавшее засыпь, забытое, гневное, огненное слово «совесть». (Под ним черта, продравшая местами бумагу.) О, гори, бешеный нефтяной язык, озаривший полночи.

Завелся такой пошиб в жизни, отчего не стало на земле положений, где бы мог человек согреть душу огнем стыда; стыд подмок повсеместно и не горит. Ложь и путаное беспутство. Так тридцать уже лет живут и мочут стыд все необыкновенные, стар и мал, и уже перекинулось на мир, на безвестных. В первый, в первый раз с далеких детских лет я сгораю (зачеркнуто все)».

Новая попытка. Письмо остается неотосланным.

«Как описать тебе? Приходится с конца. Иначе не выйдет. Так вот, и позволь в третьем лице. Я писал тебе о человеке, прогуливавшемся вдоль багажной стойки? Так вот. Поэт, ставящий отныне это слово, пока не очистят огнем, в кавычки, «поэт» наблюдает себя на безобразничающих актерах, на позорище, обличающем товарищей и время. Может, он кокетничает? Нет. Ему подтверждают, что его отождествление не химера. Подымаются, подходят к нему. «Коллега, не разменяете ли трешку?» Он рассеивает заблуждение. Бреются не одни актеры. Вот двугривенных на три рубля. Он отделяется от актера. Но дело не в бритых усах. «Коллега», — сказал этот подонок. Да. Прав. Это свидетельское показание обвинения. В это время происходит новое, сущий пустяк, по-своему сотрясающий все случившееся и испытанное в зале до этого момента.

«Поэт» узнает наконец прогуливавшегося по багажной. Лицо это он видел когда-то. Из здешних мест. Он видел его раз, не однажды, в течение одного дня, в разные часы, в разных местах. Это было, когда составляли особый поезд в Астапове, с товарным вагоном под гроб, и когда толпы незнакомого народа разъезжались со станции в разных поездах, кружившихся и скрещивавшихся весь день по неожиданностям путаного узла, где сходились, разбегались и секлись, возвратясь, четыре железных дороги.

Тут мгновенное соображение наваливается на все, что было в зале с «поэтом», и как на рычаге поворачивает сцену, и вот как. Ведь это Тула! Ведь эта ночь — ночь в

Тут. Ночь в местах толстовской биографии. Диво ли, что тут начинают плясать магнитные стрелки? Происшествие — в природе местности. Это случай на *территории совести*, на ее гравитирующем, рудоносном участке. «Поэта» больше не станет. Он клянется тебе. Он клянется тебе, что когда-нибудь, когда он увидит с экрана «Смутное время» (ведь поставят его когда-нибудь), экспозиция сцены на Упе застанет его совсем одиноким, если не исправятся к тому времени актеры и, топтавшись однажды весь день на минированной территории духа, останутся целы в своем невежестве и фанфаронстве сновидцы всех толков».

Пока писались эти строки, из будок вышли и поплелись по путям низкие наспальные огоньки. Стали раздаваться свистки. Пробуждался чугунок, вскрикивали ушибленные цепи. Мимо дебаркадера тихо-тихо скользили вагоны. Они скользили давно уже, и им не было числа. За ними росло приближение чего-то тяжело дышащего, неизвестного, ночного. Потому что стык за стыком за паровозом близилось внезапное очищение путей, неожиданное явление ночи в кругозоре пустого дебаркадера, появление тишины по всей шири семафоров и звезд, — наступление полевого покоя. Эта-то минута и храпела в хвосте товарного, нагибаясь под низким навесом, близилась и скользила.

Пока писались эти строки, стали составлять смешанный елецкий.

Писавший вышел на перрон. Была ночь на всем протяжении сырой русской совести. Ее озаряли фонари. По ней, подгибая рельсы, медленно следовали платформы с веялками за брезентом. Ее топтали тени и оглушали клочья пара, петушками выбивавшиеся из клапанов. Писавший обогнул вокзал. Он вышел за фасад.

Ничто не изменилось на всем пространстве совести, пока писались эти строки. От нее несло гниlostностью и глиной. Далеко, далеко, с того ее края, мерцала березка, и, как упавшая серьга, обозначался в болотце продавец. Вырываясь из зала наружу, падали полосы света на коночный пол, под скамейки. Эти полосы буянили. Стук пива, безумья и смрада попадал под скамейки за ними. И еще, когда замрали вокзальные окна, где-то поблизости слышался хруст и храп. Писавший прохаживался. Он думал о многом. Он думал о своем искусстве и о том, как ему выйти на правильную дорогу. Он забыл, с кем ехал, кого прово-

дил, кому писал. Он предположил, что все начнется, когда он перестанет слышать себя и в душе настанет полная физическая тишина. Не ибсеновская, но *акустическая*.

Так он думал. По телу его пробежала дрожь. Серел восток, и на лицо всей, еще в глубокую ночь погруженной совести выпадала быстрая, растерянная роса. Пора было подумать о билете. Пели петухи, и оживала касса.

II

Только тогда улегся наконец в городских номерах на Посольской чрезвычайно странный старик. Пока писались письма на вокзале, номер подрагивал от легких шажков, и свечка на окне ловила шепот, часто прерывавшийся молчанием. То не был голос старика, хотя, кроме него, не было ни души в комнате. Все это было удивительно странно.

Старик провел необычайный день. Он пошел опечаленный прочь с лужайки, когда узнал, что это вообще не пьеса, а покудова вольная еще фантазия, которая станет пьесой, как только будет показана в «Чарах». Сначала, при виде бояр и воевод, колыхавшихся на том берегу, и черных людей, подводивших связанных и сшибавших с них шапки в крапиву, при виде поляков, цеплявшихся за ракитовые кусты по обрыву, и их секир, нечувствительных к солнцу и не издававших звона, старик стал рыться в своем собственном репертуаре. Он в нем не нашел такой хроники. Тогда он решил, что это из довременного еще ему, Озеров или Сумароков. Тут-то и указали ему на фотографа и, назвав «Чары», учреждение, которое он ненавидел от души, напомнили, что он стар и одинок и времена другие. Он пошел прочь, удрученный.

Он шел в старых нанковых штанах и думал о том, что на свете нет уже никого, кто бы звал его Саввушкой. День был праздничный. Он грелся на рассоренных подсолнушках.

Сквозь низкую грудную речь его заплыввали новым. В высоте рыхло, колобком, таял месяц. Небо казалось холодным, удивленно далеким. Голоса были промаслены едным и питым. Рыжик, ржаная коврижка, сало и водка пропитали даже эхо, соловешее за рекой. На иных улицах былолюдно. Грубые оборки придавали бабам и юбкам особую рябость.

Бурьян ни на шаг не отставал от гулявших. Подымалась пыль, слипая глаза и застилая лопух, клубами бив-

шийся о плетни и пристававший к платьям. Палка казалась куском стариковского склероза. Он опирался на это продолжение своих узловатых жил судорожно и подагрически плотно.

Весь день у него было такое чувство, будто он побывал на не в меру шумной толкучке. Это были последствия зрелища. Оно оставило неудовлетворенной его потребность в трагической человеческой речи. Этот молчаливый пробел и звенел в ушах у старика.

Весь день он ходил большой тем, что не услышал с того берега ни одной пятистопной строчки.

А когда настала ночь, он присел к столу, подпер голову рукой и задумался. Он решил, что это смерть его. Так не похожа была на последние его годы, горькие и ровные, эта душевная смута. Он решил достать из шкапа ордена и предупредить кого-нибудь, хоть швейцара, все равно кого, а меж тем все сидел, ожидая, что, может, это так, пройдет.

Мимо, тенькая, протрусила конка. Это шла последняя к вокзалу.

Прошло с полчаса. Сияла звезда. Кроме не было ни души кругом. Было уже поздно. Горела, зябла и дрожала свеча. Волновался размягченный силуэт этажерки в четыре черных струи. В это время ночь издала долгий горловой звук. Далеко, далеко. На улице хлопнули дверью и заговорили взволнованно-тихо, как подобает в такую весеннюю ночь, когда вокруг ни души и только в номере наверху — свет и растворено окошко.

Старик встал. Он преобразился. Наконец-то. Он нашел. Ее и себя. Ему помогли. И он бросился пособлять этим намекам, чтобы не упустить *обоих*, чтобы не ускользнули, чтобы впитаться и замереть. Он достиг двери в несколько шагов, полузакрыв глаза и размахивая рукою, спрятав подбородок в другую. Он вспоминал. Вдруг он выпрямился и бодро прошелся назад, не своим, чужим шагом. По-видимому, он играл.

«Ну и метет, и метет же, Любовь Петровна, — произнес он, и откашлялся, и сплюнул в платок, и вновь: — Ну и метет, и метет же, Любовь Петровна», — произнес он — и не стал кашлять, и теперь это вышло похоже.

Он стал шевелить руками и бросаться воздухом, будто пришел с непогоды, раскутывается, скидывает шубу. Он подождал, что ему ответят из-за переборки, и, будто не дождавшись, спросил: «Разь вы не дома, Любовь Петров-

на?» — все тем же чужим голосом, и вздрогнул, когда, как это *полагалось*, на расстоянии двух с половиной десятков лет услышал за той перегородкой милое, веселое: «До-о-ма». Тогда опять, и на этот раз всего сходней, с иллюзией, которая составила бы гордость иного его брата в таком положении, он протянул, как бы возясь в табаке и косым поглядываньем по переборке расстраивая части речи: «М-м, — а виноват, Любовь Петровна, — а Саввы Игнатьевича что ж — нету?»

Это было уже слишком. Он увидел обоих. Ее и себя. Старика душили беззвучные рыдания. Шли часы. Он плакал и шептал. Была необычайная тишина. А тем временем, как старик содрогался, и беспомощно обжимал платком глаза и лицо, и трясся, и мял его, мотая головой и отмахиваясь, как хихикающий, когда он давится и дивится, как это, прости господи, как это он цел еще и его не разорвало — на путях стали собирать смешанный елецкий.

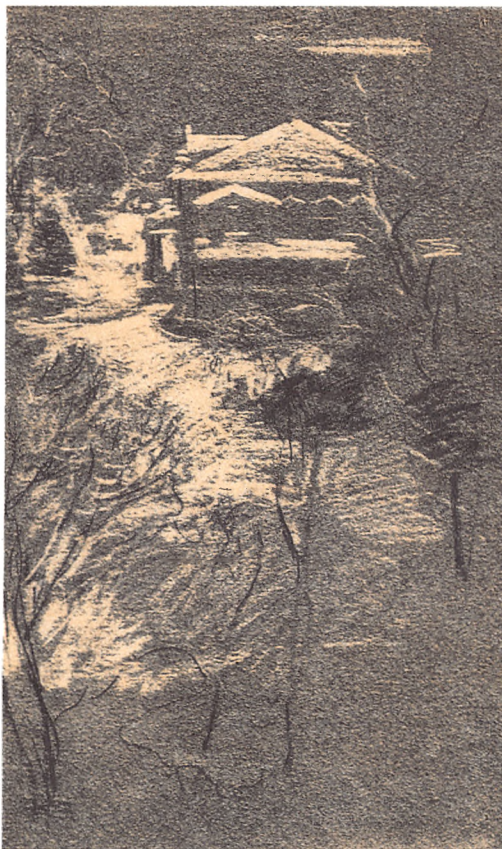
Он в течение часа консервировал в слезах, как в спирту, свою молодость, и когда у него не стало слез, все распалось, унеслось, исчезло. Он сразу потускнел и будто запылился. И тогда, вздыхая, как виноватый, и позевывая, стал укладываться спать.

Он тоже брил усы, как все в рассказе. Он тоже, как главное лицо, искал физической тишины. В рассказе только он один нашел ее, заставив своими устами говорить постороннего.

Шел поезд в Москву, и в нем везли огромное пунцовое солнце на множестве сонных тел. Оно только что показалось из-за холма и подымалось.

Апрель 1918





БЕЗЛЮБЬЕ

Глава из повести

У него был брат. Это он, скрипя по снегу, обошел дом и, скрипя по мерзлым ступенькам, поднялся на крыльцо и стал стучаться, как стучится человек в дом, обметаемый со всех концов бураном, когда вьюга леденит его кулак и, свища и завывая, орет ему в уши, чтобы он стучался чаще и сильнее, а то как бы не... а меж тем сама дубасит в ставни, чтобы заглушить его стук и сбить с толку обитателей.

Его услышали. Ему отперли. Дом стоял на пригорке. Дверь вырвало у него из рук вместе с рукавицей. Пока она летала и ее ловили, — седое вьюжное поле хлынуло в прихожую, его дыханье коснулось ламп, и до слуха долетело отдаленное звяканье колокольца. Он тонул в широком поле и, захлебываясь, звал на помощь. Его несло к дому неудержимой тягой вихря, ухватившегося за дверь, увалами санной дороги, пришедшей в дьявольское движение, ползавшей под полозьями и дымившейся на десятки верст кругом столбами душного снега.

Когда дверь поймали и заперли, все поднялись навстречу призраку, стоявшему в пимах, как на задних лапах, в дверях прихожей.

— Подают? — спросил Ковалевский.

— Да. Выехали. Едут. Вам пора собираться. — Он облизнулся и утер нос.

Поднялась суматоха. Стали выносить узлы и корзины, и дети, хандрившие с самых сумерек, с развески изюма, которой занялись, опростав стол, спуста и сдуру, когда выяснилось, что все уже уложено, а говорить как будто не о чем, времени же впереди еще много, дети ударились в рев, оговариваясь друг другом: ревет-де Петя, — а я, — что папа уезжает, и они тыкались в передники обеих матерей. За правдой, за избавлением от сумерек и сушеной коринки, от вьюжного поля и хаоса; от уезжающих пап и от ламп, от корзин и от шуб.

Вместо всего этого их, как по знаку, подняли на руки няньки и матери и в порыве душевного волнения, все вдруг, разом, понесли в коридор и в сенях, обеими половинками дверей перекликавшихся с ямщиками, протянули уезжавшим. Головы обнажились. Все стали, крестясь и умиляясь, прикладываясь, кто к кому, торопясь и поторапливая.

А меж тем с огнем в руках, плескавшим в ночь и не выплескивавшимся на снег, татары — их было трое, а казалось — десятеро, — подскочили к коням, запряженным гусем, и, едва успев сникнуть и озарить построжки и бабки, привскочили и, как угорелые, стали хлопотать и бегать, маша пламенем и поднося его то к стоявшим кругом кибитки сундукам, то к ее задку, то под морды лошадей, узкою и цельной гирляндой взвивавшихся на воздух,

как от порыва ветра, то в снег, то под самый их подпузний и под паха.

Миг отъезда зависел от них. А кругом — снегом гудели леса, снегом бредило поле, и напористый шум этой ночи, казалось, знает по-татарски, и, громко споря с Миннибаем, взобравшимся на крышу кибитки, хватает его за руки, и советует взять чемоданы не так, как кричит Гимазетдин, и не так, как полагает сшибаемый вихрем и вовсе осипший Галлиула. Миг отъезда зависел от них. Татар так подмывало взяться за кнут, засвистать и отдаться на волю последнего удалого айда. По всем этом не удержать бы уже больше коней. А ямщиков, как пьяниц к рюмке, тянуло уже безудержно и миг от мига горячее в печаль ямского гиканья и воркованья. И оттого в движеньях, с которыми они бросились напяливать азямы поверх дох на господ, была лихорадка и страсть обезумевших алкоголических рук.

И вот, прощаясь, последний поцелуй послало пламя остающимся. Гольцев уже ковырнулся в глубь кибитки. За ним, путаясь в трех парах дошных пол, пролез под полость и Ковалевский. Оба, не слыша тупыми валеными дна, стали, обмякаясь, тонуть в подушках, в сене, в овчине. Пламя зашло с того бока кибитки и, неожиданно снизясь, исчезло.

Кибитку дернуло и покорило. Она скользнула, скрепилась и стала валиться набок. Раздался тихий, из самой глубины азиатской души шедший свист, и, на плечах выправляя падавшую кибитку, Миннибай за Гимазетдином с разбега взвились на облучок.

Кибитку вынесло как на крыльях. Она потонула за ближней рощей. Поле встало за ней, ерошась и завывая. Оно радовалось гибели кибитки. Она исчезла без следа между ветвей, походивших на босовики, за поворотом у выезда на Чистопольско-Казанское шоссе. Тут Миннибай слез и, пожелав барину счастливой дороги, пропал, прахом развеявшись по бурану. Их мчало и мчало прямым, как стрела, большаком.

«Собираясь сюда, я звал ее с собой», — так думал один, дыша влагою талого меха.

Это было, помнится, так. У театра скопилось множество трамваев, и у переднего толпился и тревожился на-

род. «Спектакль начался», — шепотом доверился капельдинер и, серый, в сукне, отвел рукой суконную полу, укрывавшую черное хайло амфитеатров от освещенных вешалок, лавок, калаш и афиш. В антракте (он затянулся) они прогуливались, косясь по зеркалам и не зная, куда им девать руки, свои и чужие, одинаково красные и разгоряченные. «И вот, перебирая все это, — она хлебнула сельтерской. — я и не знаю, что выбрать и как поступить. А потому и не удивляйтесь, пожалуйста, если услышите, что поехала сестрой. На днях запишусь в общину». — «Лучше поедете со мной на Каму», — сказал он. Она рассмеялась.

Антракт затянулся оттого, что в начале второго действия предполагался музыкальный номер. А номер без гобоя неисполним. В гобое же и заключалась несчастная причина скопления трамваев перед театром.

«Он изувечен», — передавали вполголоса, рассаживаясь по местам, когда засветился крашенный низ занавеса.

«Он извлечен замертво из-под колес», — узнавали от знакомых, стуча тяжелыми калошами по суконке и волоча концы платков и шалей, упущенных из муфт и рукавов.

«А, теперь они удивятся», — так думал один, стараясь слить ход своих мыслей с ходом саней и обресть сон в усыпительном подскакиваньи кибитки.

Другой думал о цели их внезапного выезда. Он думал о событиях, о своем былом отрочестве, о том, как встретят его теперь там, и о том, что надлежит сделать в первую голову, за что взяться и с чего начать. Он думал также, что Гольцев спит, и не подозревал того, что Гольцев бодрствует, а спит-то он сам, ныряя из дремы в дрему, из ухаба в ухаб вместе со своими мыслями о революции, которые ему опять, как когда-то, дороже шубы и дороже клади, дороже жены и ребенка, дороже собственной жизни и дороже чужой и которых он ни за что бы не выпустил и во сне, раз за них уцепившись и их на себе отогрев.

Сами собой, безучастно приподнялись веки. Их изумление было безотчетно. Село покоилось глубоким загробным сном. Сверкал снег. Тройка завернулась. Лошади сошли

с дороги и стояли, сбившись в кучку, завитком. Была тихая, ясная ночь. Передовая, подняв голову, вглядывалась с высоты сугроба во что-то оставшееся далеко позади. За избой, схваченная клоком морозного воздуха, загадочно чернелась луна. После торжественности лесов и вьюжного безлюдья полей было былинным дивом наткнуться на людское жилье. Оно словно сознавало, как страшно и как сказочно оно, и, сверкая, не торопилось отвечать на стук ямщика. Оно безмолвствовало, и длило свое гнетущее очарованье. Сверкал снег.

Но вскоре два голоса, не видя друг друга, громко затолковали через ворота, и целый мир перedelили между собой пополам эти двое, беседуя сквозь тес среди безрубежного затишья, и тот, который отпирал, взял себе ту, что глядела на север и открывалась за крышей избы, а тот, который дожидался, — ту, что виделась с сугроба тонко высившейся передовой.

На той станции Гимазетдин разбудил одного Ковалевского, и теперешний их ямщик был Гольцеву незнаком. Зато он сразу признал того Дементия Механошина, которому выдавал однажды в конторе, и, значит, верст за шестьдесят отсюда, удостоверение в том, что, держа тройку и правя последний год между Биляром и Сюгинским, он работает на оборону.

Было странно подумать, что тогда он удостоверял эту избу и двор и, совершенно про них не ведая, подписывал свидетельство этому сказочному селу и звездной ночи.

Потом, пока на дворе шла перепряжка и сонная ямщичка поила их чаем, пока тикали часы и за невязавшимся разговором душно ползли клопы по календарям и коронованным особам, пока равномерно и невпопад, как механизмы с разным заводом, всхрапывали и подсвистывали сопатые тела, спавшие на лавках, Дементий входил и выходил, меняясь во всем с каждым новым появлением, смотря по тому, что снимал с гвоздя или вытаскивал из-под перины. В первый раз он вошел в зипуне — мужиком-хлебосолом, сказать жене, чтобы дала господам с сахаром и вынула булку, в другой — работником, в короткой сибирке — за вожжами, и, наконец, в третий явился ямщиком в армяке и, не входя, сказал, нагибаясь, из сеней, что лошади готовы, а час уже

четвертый, время-де собираться, и, пнув кнутовищем дверь, вышел на темную, звонко разбренчавшуюся при его выходе волю.

Вся остальная дорога прошла мимо памяти обоих. Светало, когда проснулся Гольцев, и поле туманилось. По нем, прямясь и растягиваясь, тяжело и парно дымился нескончаемый обоз; они его обгоняли, и потому казалось, что сани с дровами и возчики только топчут на месте, чтобы отогреться, и только отвизгиваются, кренясь со стороны на сторону, и раскачиваются, вперед не подвигаясь.

Широкая гужевая дорога шла стороной от той тропки, по которой летели они. Она была многим выше. Меся непогаснувшие звезды, подымались и опускались ноги, двигались руки, морды лошадей, башлыки и дровни. Казалось, само подслободное утро, серое и трудное, дюжими клоками сырости плывет по прозрачному небу в ту сторону, где ему почуялась чугушка, кирпич фабричных корпусов, сырой, лежалый уголь, майный, горемычный гар и дым. А кибитка неслась, вылетая из выбоин и перелетая ухабы, захлебывался колокольчик, и обозу не предвиделось скончанья, и давно было уже время взойти солнцу, но до солнца было еще далеко.

До солнца было еще далеко. До солнца оставалось еще верст пять пути, короткая остановка на въезжей, вызов к директору завода и долгое шарканье по половику прихожей.

Тогда оно выглянуло. Оно вошло вместе с ними в кабинет, где оно разбежалось по коврику и, закатившись за цветочные горшки, усмехнулось клеткам и пичужкам в окне, елкам за окошком, и печке, и всем сорока четырем корешкам кожаного Брокгауза.

Потом, во все время разговора Ковалевского с заводоуправителем, двор играл за окном, и уже не бросал играть, и не уставал сыпать бирюзой и ручьями терпкого хвойного пота, каплями сварившегося инея и янтарем.

Директор движеньем глаз указал на Гольцева.

— Это мой друг, — живо вставил Ковалевский. — При нем можно. Будьте покойны. Так вы знали Брешковскую?..

Вдруг он поднялся и, повернувшись к Гольцеву, воскликнул, как в испуге:

— А мои бумаги? Я говорил — так и есть. Ах, Костя! Ну что теперь делать?

Тот не сразу понял его.

— Паспорта со мной.

— Сверток, — рассерженно перебил его Ковалевский, — ведь я просил вас напомнить.

— Ах, Юра, простите. Он остался там. Это в самом деле свинство. И как это я...

Меж тем хозяин, плотный и одышливый коротыш, отдавал приказания по хозяйству, фыркал, смотря на часы, поворачивал кочергой дрова в печке и вдруг, до чего-нибудь не добежав, словно передумавши, круто поворачивал назад и, возвращаясь, с разбега внезапно вырвался у стола, за которым Ковалевский писал брату: «Словом, лучше нельзя, дай Бог дальше так. Теперь перехожу к главному. Исполни все в точности. В передней, Костя говорит, на Машинном сундуке, остался сверток с моей нелегальщиной. Разверни, и если среди брошюр найдешь рукописи (воспоминания, организац. границы, шифрованн. корреспонд. периода конспират. квартиры у нас и побега Кулишера и т. п.), то заверни все, как было, и при первой же верной оказии запечатай и перешли на мое имя в Москву, в адрес Теплорядной конторы. Смотри, разумеется, по обстоятельствам.

Ты ведь и сам не дурак, и при изменившейся...»

— Пожалуйста кофе пить, — шаркнув и отшаркнувшись, осторожно шепнул хозяин. — Вам, молодой человек, — еще осторожнее пояснил он Гольцеву, с почтительным умолчанием в сторону манжеты Ковалевского, целившейся в нужное выражение и застывшей над бумагой в ожидании его пролета.

Мимо окна прошли, беседуя и на ходу сморкаясь, три пленные австрийца. Они шли, обхаживая образовавшиеся лужи.

«— при изменившейся —»

Ворона, взлетевшая при появлении австрийцев, тяжело опустилась на прежний сук.

«...при изменившейся конъюнктуре, — обрел недостававшее Ковалевский, — свертка в Москву не посылай, а припрячь поверней. Полагаюсь на тебя, как и во всем

остальном, о чем уговор у нас. Скоро садиться в поезд. Смертельно устал. Думаем выспаться в вагоне. Маше пишу отдельно. Ну, прощай.

Р. S. Представь, оказывается, Р., директор — старый соц.-рев. Вот и говори после».

В это время в кабинет заглянул Гольцев с откушенной тартинкой и, сглатывая недожеванный мякиш, сказал:

— Вы — Мише ведь? Напишите, чтобы и папку мою, — он укусил тартинку и продолжал, глотая и жуя, — послали. Я передумал. Не забудьте, Юра. И идите кофе пить.

20 ноября 1918 г.





ДЕТСТВО ЛЮВЕРС

Повесть

ДОЛГИЕ ДНИ

I

Люверс родилась и выросла в Перми. Как когда-то ее кораблики и куклы, так впоследствии ее воспоминания тонули в мохнатых медвежьих шкурах, которых много было в доме. Отец ее вел дела Луньевских копей и имел широкую клиентуру среди заводчиков с Чусовой.

Дареные шкуры были черно-бурые и пышные. Белая медведица в ее детской была похожа на огромную осыпавшуюся хризантему. Это была шкура, заведенная для

«Женечкиной комнаты», — облюбованная, сторгованная в магазине и присланная с посыльным.

По летам жила на том берегу Камы на даче. Женю в те годы спать укладывали рано. Она не могла видеть огней Мотовилихи. Но однажды ангорская кошка, чем-то испуганная, резко шевельнулась во сне и разбудила Женю. Тогда она увидела взрослых на балконе. Нависавшая над брусьями ольха была густа и переливчата, как чернила. Чай в стаканах был красен. Манжеты и карты — желты, сукно — зелено. Это было похоже на бред, но у этого бреда было свое название, известное и Жене: шла игра.

Зато нипочем нельзя было определить того, что творилось на том берегу, далеко-далеко: у того не было названия и не было отчетливого цвета и точных очертаний; и волнующееся, оно было милым и родным и не было бредом, как то, что бормотало и ворочалось в клубах табачного дыма, бросая свежие, ветреные тени на рыжие бревна галереи. Женя расплакалась. Отец вошел и объяснил ей. Англичанка повернулась к стене. Объяснение отца было коротко:

— Это — Мотовилиха. Стыдно! Такая большая девочка... Спи.

Девочка ничего не поняла и удовлетворенно сглотнула катившуюся слезу. Только это ведь и требовалось: узнать, как зовут непонятное, — Мотовилиха. В эту ночь это объяснило еще все, потому что в эту ночь имя имело еще полное, по-детски успокоительное значение.

Но наутро она стала задавать вопросы о том, что такое Мотовилиха и что там делали ночью, и узнала, что Мотовилиха — завод, казенный завод, и что делают там чугуны, а из чугуна..., но это ее не занимало уже, а интересовало ее, не страны ли особые то, что называют «заводы», и кто там живет; но этих вопросов она не задала и их почему-то умышленно скрыла.

В это утро она вышла из того младенчества, в котором находилась еще ночью. Она в первый раз за свои годы заподозрила явление в чем-то таком, что явление либо оставляет про себя, либо если и открывает кому, то тем только людям, которые умеют кричать и наказывать, курят и запирают двери на задвижку. Она впервые, как и эта новая Мотовилиха, сказала не все, что подумала,

и самое существенное, нужное и беспокойное скрыла про себя.

Шли годы. К отъездам отца дети привыкли с самого рождения настолько, что в их глазах превратилось в особую отрасль отцовства редко обедать и никогда не ужинать. Но все чаще и чаще игралось и вздорилось, пилося и елось в совершенно пустых, торжественно безлюдных комнатах, и холодные поучения англичанки не могли заменить присутствия матери, наполнявшей дом сладкой тягостностью запальчивости и упорства, как каким-то родным электричеством. Сквозь гардины струился тихий северный день. Он не улыбался. Дубовый буфет казался седым. Тяжело и сурово грудилось серебро. Над скатертью двигались лавандой умытые руки англичанки, она никого не обделяла и обладала неистощимым запасом терпенья; а чувство справедливости было свойственно ей в той высокой степени, в какой всегда чиста была и опрятна ее комната и ее книги. Горничная, подав кушанье, застаивалась в столовой и в кухню уходила только за следующим блюдом. Было удобно и хорошо, но страшно печально.

А так как для девочки это были годы подозрительности и одиночества, чувства греховности и того, что хочется обозначить по-французски «христианизмом», за невозможностью назвать все это христианством, то иногда казалось ей, что лучше и не может и не должно быть по ее испорченности и нераскаянности; что это поделом. А между тем, — но это до сознания детей никогда не доходило, — между тем как раз наоборот, все их существо содрогалось и бродило, сбитое совершенно с толку отношением родителей к ним, когда те бывали дома; когда они не то чтобы возвращались домой, но возвращались в дом.

Редкие шутки отца вообще выходили неудачно и бывали не всегда кстати. Он это чувствовал и чувствовал, что дети это понимают. Налет какой-то печальной сконфуженности никогда не сходил с его лица. Когда он приходил в раздражение, то становился решительно чужим человеком, чужим начисто и в тот самый миг, в который он утрачивал самообладанье. Чужой не трогает. Дети никогда не дерзословили ему в ответ.

Но с некоторого времени критика, шедшая из детской и безмолвно стоявшая в глазах детей, заставляла его нечувствительным. Он не замечал ее. Ничем не уязвимый,

как-то неузнаваемый и жалкий, *этот* отец был — страшен, в противоположность отцу раздраженному — чужому. Он трогал больше девочку, сына — меньше.

Но мать смущала их обоих. Она осыпала их ласками, и задаривала, и проводила с ними целые часы тогда, когда им менее всего этого хотелось; когда это подавляло их детскую совесть своей незаслуженностью и они не узнавали себя в тех ласкательных прозвищах, которыми взбалмошно сыпал ее инстинкт.

И часто, когда в их душах наступал на редкость ясный покой и они не чувствовали преступников в себе, когда от совести их отлегалось все таинственное, чурающееся обнаружения, похожее на жар перед сыпью, они видели мать отчужденной, сторонящейся их и без повода вспылчивой. Являлся почтальон. Письмо относилось по назначению — маме. Она принимала не благодаря. «Ступай к себе». Хлопала дверь. Они тихо вешали голову и, заскучав, отдавались долготу, унылому недоумению.

Вначале, случалось, они плакали; потом, после одной особенно резкой вспышки, стали бояться; затем, с течением лет, это перешло у них в затаенную, все глубже укореняющуюся неприязнь.

Все, что шло от родителей к детям, приходило невпопад, со стороны, вызванное не ими, но какими-то посторонними причинами, и отдавало далекостью, как это всегда бывает, и загадкой, как ночами нытье по заставам, когда все ложатся спать.

Это обстоятельство воспитывало детей. Они этого не сознавали потому, что мало кто и из взрослых знает и слышит то, что зиждет, ладит и шьет его. Жизнь посвящает очень немногих в то, что она делает с ними. Она слишком любит это дело и за работой разговаривает разве с теми только, кто желает ей успеха и любит ее верстак. Помочь ей не властен никто, помешать — может всякий. Как можно ей помешать? А вот как. Если доверить дереву заботу о его собственном росте, дерево все сплошь пойдет проростью, или уйдет целиком в корень, или расточится на один лист, потому что оно забудет о вселенной, с которой надо брать пример, и, произведя что-нибудь одно из тысячи, станет в тысячах производить одно и то же.

И чтобы не было суков в душе, чтобы рост ее не за-

стаивался, чтобы человек не замешивал своей тупости в устройство своей бессмертной сути, заведено много такого, что отвлекает его пошлое любопытство от жизни, которая не любит работать при нем и его всячески избегает. Для этого заведены все заправские религии, и все общие понятия, и все предрассудки людей, и самый яркий из них, самый развлекающий, — *психология*.

Из первобытного младенчества дети уже вышли. Понятия кары, воздаяния, награды и справедливости проникли уже по-детски в их душу и отвлекали в сторону их сознание, давая жизни делать с ними то, что она считала нужным, веским и прекрасным.

II

Мисс Hawthorn этого б не сделала. Но в один из приступов своей беспричинной нежности к детям госпожа Люверс по самому пустому поводу наговорила резкостей англичанке, и в доме ее не стало. Вскоре и как-то незаметно на ее месте выросла какая-то чахлая француженка. Впоследствии Женя припоминала только, что француженка похожа была на муху и никто ее не любил. Имя ее было утрачено совершенно, и Женя не могла бы сказать, среди каких слогов и звуков можно на это имя набрести. Она только помнила, что француженка сперва накричала на нее, а потом взяла ножницы и выстригла то место в медвежьей шкуре, которое было закровавлено.

Ей казалось, что теперь всегда на нее будут кричать, и голова никогда не пройдет и постоянно будет болеть, и никогда уже больше не будет понятна та страница в ее любимой книжке, которая тупо сплывалась перед ней, как учебник после обеда.

Тот день тянулся страшно долго. Матери не было в тот день. Женя об этом не жалела. Ей казалось даже, что она ее отсутствию рада.

Вскоре долгий день был предан забвению среди форм *passé* и *l'utur antérieur*, поливки гиацинтов и прогулок по Сибирской и Оханской. Он был позабыт настолько, что долготу другого, второго по счету в ее жизни, она заметила и ощутила только к вечеру, за чтением при лампе, когда лениво подвигавшаяся повесть навела ее на сотни самых праздных размышлений. Когда впоследствии

она припоминала тот дом на Осинской, где они тогда жили, он представлялся ей всегда таким, каким она его видела в тот второй долгий день, на его исходе. Он был действительно долог. На дворе была весна. Трудно назревающая и больная, весна на Урале прорывается затем широко и бурно, в срок одной какой-нибудь ночи, и бурно и широко протекает затем. Лампы только оттеняли пустоту вечернего воздуха. Они не давали света, но набухали изнутри, как больные плоды, от той мутной и светлой водянки, которая раздувала их одутловатые колпаки. Они отсутствовали. Они попадались где надо, на своих местах, на столах, и спускались с лепных потолков в комнатах, где девочка привыкла их видеть. Между тем до комнат у ламп было касательства куда меньше, чем до весеннего неба, к которому они казались пододвинутыми вплотную, как к постели больного — питье. Душой своей они были на улице, где в мокрой земле копошился говор дворни и где, леденя, застывала на ночь редящая капель. Вот где вечерами пропадали лампы. Родители были в отъезде. Впрочем, мать ожидалась, кажется, в этот день. В этот долгий или в ближайшие. Да, вероятно. Или, может быть, она нагрянула ненароком. Может быть и то.

Женя стала укладываться в постель и увидела, что день долог оттого же, что и тот, и сначала подумала было достать ножницы и выстричь эти места в рубашке и на простыне, но потом решила взять пудры у француженки и затереть белым, и уже схватилась за пудреницу, как вошла француженка и ударила ее. Весь грех сосредоточился в пудре.

— Она пудрится! Только этого недоставало.

Теперь она поняла наконец. Она давно замечала.

Женя расплакалась от побоев, от крика и от обиды; от того, что, чувствуя себя неповинною в том, в чем ее подозревала француженка, знала за собой что-то такое, что было — она это *чувствовала* — куда сквернее ее подозрений. Надо было — это чувствовалось до отупенья настоятельно, чувствовалось в икрах и в висках, — надо было неведомо отчего и зачем скрыть это, как угодно и во что бы то ни стало. Суставы, ноя,плыли слитным гипнотическим внушением. Томящее и измождающее, внушение это было делом организма, который таил смысл всего от девочки и, ведя себя преступником, заставлял ее полагать в этом кровотоке какое-то тошнотворное, гнусное зло.

«Menteuse!» Приходилось только отрицать, упорно запершись в том, что было гаже всего и находилось где-то в середине между срамом безграмотности и позором уличного происшествия. Приходилось вздрагивать, стиснув зубы, и, давясь слезами, жаться к стене. В Каму нельзя было броситься, потому что было еще холодно и по реке шли последние урывни.

Ни она, ни французенка не услышали вовремя звонка. Поднявшаяся кутерьма ушла в глухоту черно-бурых шкур, и когда вошла мать, то было уже поздно. Она застала дочь в слезах, французенку в краске. Она потребовала объяснения. Французенка напрямик объявила ей, что — не Женя, нет — *voire enfant*, — сказала она, что *ее дочь* пудрится и что она замечала и догадывалась уже раньше. Мать не дала договорить ей — ужас ее был непритворен: девочке не исполнилось еще и тринадцати.

— Женя — ты?.. Господи, до чего дошло! (Матери в эту минуту казалось, что слово это имеет смысл, будто уже и раньше она знала, что дочка деградирует и опускается, и она только не распорядилась вовремя — и вот застаёт ее на такой низкой степени паденья.) Женя, говори всю правду — будет хуже! — что ты делала... — с пудреницей, хотела, вероятно, сказать госпожа Люверс, но сказала: — с этой вещью, — и схватила «эту вещь» и взмахнула ею в воздухе.

— Мама, не верь *m-me*, я никогда... — и она разрыдалась.

Но матери слышались злобные ноты в этом плаче, которых не было в нем, и она чувствовала виноватой себя и внутренне себя ужасалась; надо было, по ее мнению, исправить все, надо было, пускай и против материнской природы, «возвыситься до педагогических и благоразумных мер»: она решила не поддаваться состраданью. Она положила выждать, когда прольется поток этих глубоко терзавших ее слез.

И она села на кровать, устремив спокойный и пустой взгляд на краешек книжной полки. Он нее пахло дорогими духами. Когда дочь пришла в себя, она снова приступила к ней с расспросами. Женя кинула заплаканными глазами по окну и всхлипнула. Шел и, верно, шумел лед. Блестала звезда. Ковко и студено, но без отлива, шершаво чернела пустынная ночь. Женя отвела глаза от окна. В голосе матери слышалась угроза нетерпенья. Французенка стоя-

ла у стены, вся — серьезность и сосредоточенная педагогичность. Ее рука по-адъютантски покоилась на часовом шнурке. Женя снова глянула на звезды и на Каму. Она решилась. Несмотря ни на холод, ни на урывки. И — бросилась. Она, путаясь в словах, непохоже и страшно рассказала матери *про это*. Мать дала договорить ей до конца только потому, что ее поразило, сколько души вложил ребенок в это сообщение. Понять — поняла-то она все по первому слову. Нет, нет: по тому, как глубоко глотнула девочка, приступая к рассказу. Мать слушала, радуясь, любя и изнывая от нежности к этому худенькому тельцу. Ей хотелось броситься на шею к дочери и заплакать. Но — педагогичность: она поднялась с кровати и сорвала с постели одеяло. Она подозвала дочь и стала ее гладить по голове медленно-медленно, ласково.

— Хорошая де... — вырвалось у нее скороговоркой. Она шумно и широко отошла к окну и отвернулась от них.

Женя не видела француженки. Стояли слезы, стояла мать — во всю комнату.

— Кто оправляет постель?

Вопрос не имел смысла. Девочка дрогнула. Ей стало жаль Грушу. Потом на знакомом ей французском языке, незнакомым языком было что-то сказано: строгие выражения. А потом опять ей, совсем другим голосом:

— Женечка, ступай в столовую, детка, я сейчас тоже туда приду и расскажу тебе, какую мы чудную дачу на лето вам... нам на лето с папой сняли.

Лампы были опять свои, как зимой, дома, с Люверсами, — горячие, усердные, преданные. По синей шерстяной скатерти резвилась мамина куница. «Выиграно задержусь на Благодати жди концу Страстной если...»; остального нельзя было прочесть: депеша была загнута с уголка. Женя села на край дивана, усталая и счастливая. Села скромно и хорошо, точь-в-точь как села полгода спустя в коридоре Екатеринбургской гимназии на край желтой холодной лавки, когда, ответив на устном экзамене по русскому языку на пятерку, узнала, что «может идти».

На другое утро мать сказала ей, что нужно будет делать в таких случаях и что это ничего, не надо бояться, что это будет не раз еще. Она ничего не назвала и ничего ей не объяснила, но прибавила, что теперь она сама займется предметами с дочерью, потому что больше уезжать не будет.

Француженка была разочтена за нерадение, пробыв немного месяцев в семье. Когда ей наняли извозчика и она стала спускаться по лестнице, она встретилась на площадке с подымавшимся доктором. Он очень неприветливо ответил на ее поклон и ничего не сказал ей на прощанье; она догадалась, что он уже знает все, нахмурилась и повела плечами.

В дверях стояла горничная, дожидавшаяся пропустить доктора, и потому в передней, где находилась Женья, дольше, чем полагалось, стоял гул шагов и гул отдающего камня. Так и запечатлелась у ней в памяти история ее первой девичьей зрелости: полный отзвук щебечущей утренней улицы, медлящей на лестнице, свежо проникающей в дом; француженка, горничная и доктор, две преступницы и один посвященный, омытые, обеззараженные светом; прохладой и звучностью шаркавших маршей.

Стоял теплый, солнечный апрель. «Ноги, ноги оботрите!» — из конца в конец носил голый светлый коридор. Шкуры убирались на лето. Комнаты вставали чистые, преображенные и вздыхали облегченно и сладко. Весь день, весь томительно беззакатный, надолго увязавший день, по всем углам и середь комнат, по прислоненным к стенке стеклам и в зеркалах, в рюмках с водой и на синем садовом воздухе, ненасытно и неуголимо, щурясь и охорашиваясь, смеялась и неистовствовала черемуха и мылась, захлебываясь, жимолость. Круглые сутки стоял скучный говор дворов; они объявляли ночь низложенной и твердили мелко и дробно, день-деньской, с затеканьями, действовавшими как сонный отвар, что вечера никогда больше не будет и они никому не дадут спать. «Ноги, ноги!» — но им горелось, они приходили пьяные с воли, со звоном в ушах, за которым упускали понять толком сказанное, и рвались поживей отхлебать и отжеваться, чтобы, с дерущим шумом сдвинув стулья, бежать снова назад, в этот навывлет, за ужин ломающийся день, где просыхающее дерево издавало свой короткий стук, где пронзительно щебетала синева и жирно, как топленая, блестела земля. Граница между домом и двором стиралась. Тряпка не домывала наслеженного. Полы поволакивались сухой и светлой мазней и похрустывали.

Отец навез сластей и чудес. В доме стало чудно хорошо. Камни с влажным шелестом предупреждали о своем появлении из папиросной, постепенно окрашивавшейся бумаги, которая становилась все более и более прозрачной по мере того, как слой за слоем разворачивались эти белые, мягкие, как газ, пакеты. Одни походили на капли миндального молока, другие — на брызги голубой акварели, третьи — на затверделую сырную слезу. Те были слепы, сонны или мечтательны, эти — с резвою искрой, как смержшийся сок корольков. Их не хотелось трогать. Они были хороши на пенившейся бумаге, выделявшей их, как слива свою тусклую глеть.

Отец был необычайно ласков с детьми и часто провожал мать в город. Они возвращались вместе и казались радостны. А главное, оба были спокойны духом, ровны и приветливы, и когда мать урывками, с шутовой укоризной взглядывала на отца, то казалось, она черпает этот мир в его глазах, некрупных и некрасивых, и изливает его потом своими, крупными и красивыми, на детей и окружающих.

Раз родители поднялись очень поздно. Потом неизвестно с чего решили поехать завтракать на пароход, стоявший у пристани, и взяли с собой детей. Сереже дали отведать холодного пива. Все это так понравилось им, что завтракать на пароход ездили еще как-то. Дети не узнавали родителей. Что с ними случилось? Девочка недоуменно блаженствовала, и ей казалось, что так будет теперь всегда. Они не опечалились, когда узнали, что на дачу их в это лето не повезут. Скоро отец уехал. В доме появились три дорожных сундука, огромных, желтых, с прочными накладными ободьями.

III

Поезд отходил поздно ночью. Люверс переехал месяцем раньше и писал, что квартира готова. Несколько извозчиков трусцой спускались к вокзалу. Его близость сказала по цвету мостовой. Она стала черна, и уличные фонари ударили по бурому чугуну. В это время с виадука открылся вид на Каму, и под них грохнулась и выбежала черная, как сажа, яма, вся в тяжестих и в тревогах. Она стрелой побежала прочь и там, далеко-далеко, в том конце,

пугаясь, раскатилась и затряслась мигающими бусинами сигнализационных далей.

Было ветрено. С домков и заборов слетали их очертанья, как обечайки с решет, и зыбились и трепались в рытом воздухе. Пахло картошкой. Их извозчик выбрался из череды подскакивавших спереди корзин и задков и стал обгонять их. Они издали узнали полók со своим багажом; поровнялись; Ульяша что-то громко кричала барыне с возу, но гогот колес ее покрывал, и она тряслась и подскакивала, и подскакивал ее голос.

Девочка не замечала печали за новизной всех этих ночных шумов и чернот и свежести. Далеко-далеко что-то загадочно чернелось. За пристанскими бараками болтались огоньки, город полоскал их в воде с бережка и с лодок. Потом их стало много, и они густо и жирно заройлись, слепые, как черви. На Любимовской пристани трезво голубели трубы, крыши пакгаузов, палубы. Лежали, глядя на звезды, баржи. «Здесь — крысятник», — подумала Женя. Их окружили белые артельщики. Сережа соскочил первый. Он оглянулся и очень удивился, увидав, что ломовик с их поклажей тоже тут уже, — лошадь задрала морду, хомут вырос, встал торчмя, петухом, она уперлась в задок и стала осаживать. А его занимало всю дорогу, насколько те от них отстанут.

Мальчик стоял, упиваясь близостью поездки, в беленькой гимназической рубашке. Путешествие было обоим в новинку, но он знал и любил уже слова: депо, паровозы, запасные пути, беспересадочные, и звукосочетание «класс» казалось ему на вкус кисло-сладким. Всем этим увлекалась и сестра, но по-своему, без мальчишеской систематичности, которая отличала увлечения брата.

Внезапно рядом как из-под земли выросла мать. Было приказано повести детей в буфет. Оттуда, пробираясь павой через толпу, пошла она прямо к тому, что было названо в первый раз на воле громко и угрожающе «начальником станции» и часто упоминалось затем в различных местах, с вариациями, среди разнообразия давки.

Их одолевала зевота. Они сидели у одного из окон, которые были так пыльны, так чопорны и так огромны, что казались какими-то учреждениями из бутылочного стекла, где нельзя оставаться в шапке. Девочка видела:

за окном не улица, а тоже комната, только серьезнее и угрюмее, чем эта — в графине, и в ту комнату медленно въезжают паровозы и останавливаются, наведя мраку; а когда они уезжают и очищают комнату, то оказывается, что это не комната, потому что там есть небо, за столбиками, и на той стороне — горка, и деревянные дома, и туда идут, удаляясь, люди; там, может быть, поют петухи сейчас и недавно был и наслякотил водовоз...

Это был вокзал провинциальный, без столичной сутолоки и зарев, с заблаговременно стягивавшимися из ночного города уезжающими, с долгим ожиданием; с тишиной и переселенцами, спавшими на полу, среди охотничьих собак, сундуков, зашитых в рогожу машин и незашитых велосипедов.

Дети улеглись на верхних местах. Мальчик тотчас заснул. Поезд стоял еще. Светало, и постепенно девочке уяснилось, что вагон синий, чистый и прохладный. И постепенно уяснялось ей... Но спала уже и она.

Это был очень полный человек. Он читал газету и колыхался. При взгляде на него становилось явным то колыханье, которым, как и солнцем, было пропитано и залито все купе. Женя разглядывала его сверху с той ленивой аккуратностью, с какой думает о чем-нибудь или на что-нибудь смотрит вполне проспавшийся, свежий человек, оставаясь лежать только оттого, что ждет, чтобы решение встать пришло само собой, без его помощи, ясное и непринужденное, как остальные его мысли. Она разглядывала его и думала, откуда он взялся к ним в купе, и когда это успел он одеться и умыться. Она понятия не имела об истинном часе дня. Она только проснулась, следовательно — утро. Она его разглядывала, а он не мог видеть ее: полати шли наклоном вглубь к стене. Он не видел ее, потому что и он поглядывал изредка из-за ведомостей вверх, вкось, вбок, и когда он подымал глаза на ее койку, их взгляды не встречались; он либо видел один матрац, либо же... но она быстро подобрала их под себя и натянула ослабнувшие чулочки. «Мама — в этом углу; она убралась уже и читает книжку, — отраженно решила Женя, изучая взгляды толстяка. — А Сережи нет и внизу. Так где же он?» И она сладко зевнула и потянулась. «Страшно жарко», — поняла она только теперь и с голов заглянула

на полупущенное окошко. «А где же земля?» — ахнуло у ней в душе.

То, что она увидела, не поддается описанию. Шумный орешник, в который вливался, змеясь, их поезд, стал морем, миром, чем угодно, всем. Он сбегал, яркий и ропщущий, вниз широко и отлого и, измельчав, сгустившись и замглясь, круто обрывался, совсем уже черный. А то, что высилось там, по ту сторону срыва, походило на громадную какую-то, всю в кудрях и в колечках, зелено-палевую грозовую тучу, задумавшуюся и остолбеневшую. Женя затаила дыхание, и сразу же ощутила быстроту этого безбрежного, забывшегося воздуха, и сразу же поняла, что та грозовая туча — какой-то край, какая-то местность, что у ней есть громкое, горное имя, раскатившееся кругом, с камнями и с песком сброшенное вниз, в долину; что орешник только и знает, что шепчет и шепчет его; тут и там и та-а-ам вон; только его.

— Это — Урал? — спросила она у всего купе, перевесясь.

Весь остаток пути она не отрываясь провела у коридорного окна. Она приросла к нему и поминутно высывалась. Она жадничала. Она открыла, что назад глядеть приятней, чем вперед. Величественные знакомцы туманятся и отходят вдаль. После краткой разлуки с ними, в течение которой с отвесным грохотом, на гремящих цепях, обдавая затылок холодом, подают перед самым носом новое диво, опять их разыскиваешь. Горная панорама раздалась и все растет и ширится. Одни стали черны, другие освежены, те помрачены, эти помрачают. Они сходятся и расходятся, спускаются и совершают восхождения. Все это производится по какому-то медлительному кругу, как вращенье звезд, с бережной сдержанностью гигантов, на волосок от катастрофы, с заботой о целостности земли. Этими сложными передвижениями заправляет ровный, великий гул, недоступный человеческому уху и всевидящий. Он окидывает их орлиным оком, немой и темный, он делает им смотр. Так строится, строится и перестраивается Урал.

Она зашла на мгновенье в купе, сощуриив глаза от резкого света. Мама беседовала с незнакомым господином и смеялась. Сережа ерзал по пунцовому плюшу, держась

за какой-то ременной настенный рубезок. Мама сплюнула в кулачок последнюю косточку, сбила оброненные с платья и, гибко и стремительно наклонясь, зашвырнула весь сор под лавку. У толстяка, против ожиданий, был сиплый, надтреснутый голосок. Он, видимо, страдал одышкой. Мать представила ему Женю и протянула ей мандаринку. Он был смешной и, вероятно, добрый и, разговаривая, поминутно подносил пухлую руку ко рту. Его речь пучилась и, вдруг спираемая, часто прерывалась. Оказалось, он сам из Екатеринбургa, изъездил Урал вдоль и поперек и прекрасно знает, а когда, вынув золотые часы из жилетного кармана, он поднес их к самому носу и стал совать обратно, Женя заметила, какие у него добродушные пальцы. Как это в натуре полных, он брал движением дающего, и рука у него все время вздыхала, словно поданная для целованья, и мягко прыгала, будто била мячом об пол.

— Теперь скоро, — кося глаза, криво протянул он вбок от мальчика, хотя обращался именно к нему, и вытянув губы.

— Знаешь, столб, вот они говорят, на границе Азии и Европы, и написано: «Азия», — выпалил Сережа, съезжая с дивана, и побежал в коридор.

Женя ничего не поняла, а когда толстяк растолковал ей, в чем дело, она тоже побежала на тот бок ждать столба, боясь, что его уже пропустила. В очарованной ее голове «граница Азии» встала в виде фантазмагорического какого-то рубежа, вроде тех, что ли, железных брусьев, которые полагают между публикой и клеткой с пумами полосу грозной, черной, как ночь, и вонючей опасности. Она ждала этого столба, как поднятия занавеса над первым актом географической трагедии, о которой слышалась сказок от видевших, торжественно волнуясь тем, что и она попала и вот скоро увидит сама.

А меж тем то, что раньше понудило ее уйти в купе к старшим, однообразно продолжалось: серому ольшанику, которым полчаса назад пошла дорога, не предвиделось скончания, и природа к тому, что ее вскорости ожидало, не готовилась. Женя досадовала на скучную, пыльную Европу, мешкотно отдалявшую наступление чуда. Как же опешила она, когда, словно на Сережин неистовый крик, мимо окна мелькнуло, и стало боком к ним, и побежало

прочь что-то вроде могильного памятничка, унося на себе в ольху от гнавшейся за ним ольхи долгожданное сказочное название! В это мгновение множество голов, как по уговору, сунулось из окон всех классов, и тучей пыли несшийся под уклон поезд оживился. За Азией давно уже числился не один десяток прогонов, а все еще трепетали платки на летевших головах, и переглядывались люди, и были гладкие и обросшие бородой, и летели все, в облаках крутившегося песку, летели и летели мимо все той же пыльной, еще недавно европейской, уже давно азиатской ольхи.

IV.

Жизнь пошла по-новому. Молоко не доставлялось на дом, на кухню, разносчицей, его приносила по утрам Ульяша парами, и особенные, другие, не пермские булки. Трогуары здесь были какие-то не то мраморные, не то алебастровые, с волнистым белым глянцем. Плиты и в тени слепили, как ледяные солнца, жадно поглощая тени нарядных деревьев, которые растекались, на них растопясь и разжидившись. Здесь совсем по-иному выходилось на улицу, которая была широка и светла, с насаждениями.

— Как в Париже, — повторяла Женя вслед за отцом.

Он сказал это в первый же день их приезда. Было хорошо и просторно. Отец закусил перед выездом на вокзал и не принимал участия в обеде. Его прибор остался чистый и светлый, как Екатеринбург, и он только разложил салфетку, и сидел боком, и что-то рассказывал. Он расстегнул жилет, и его манишка выгнулась свежо и мощно. Он говорил, что это прекрасный европейский город, и звонил, когда надо было убрать и подать еще что-то, и звонил, и рассказывал. И по неизвестным ходам из еще не известных комнат входила бесшумная белая горничная, вся крахмально-сборчатая и черненькая, ей говорилось «вы», и, новая, — она, как знакомым, улыбалась барыне и детям. И ей отдавались какие-то приказания насчет Ульяши, которая находилась там, в неизвестной и, вероятно, очень-очень темной кухне, где, наверное, есть окно, из которого видно что-нибудь новое: колокольню какую-нибудь, или улицу, или птиц. И Ульяша, верно, спрашивает сейчас там эту барышню, надевая что похуже, чтобы потом заняться раскладкой вещей; спрашивает, и осваивается, и

смотрит, в каком углу печь, в том ли, как в Перми, или еще где.

Мальчик узнал от отца, что в гимназию ходить недалеко, совсем поблизости, — и они должны были ее видеть, проезжая; отец выпил нарзану и, глотнув, продолжал:

— Неужели не показал? Но отсюда ее не видать, вот из кухни, может быть (он прикинул в уме), и то разве крышу одну.

Он выпил еще нарзану и позвонил.

Кухня оказалась свежая, светлая, точь-в-точь такая, — уже через минуту казалось девочке, — какую она наперед загадала в столовой и представила, — плита изразцовая, отливала бело-голубым, окон было два, в том порядке, в каком она того ждала; Ульяша накинула что-то на голые руки, комната наполнилась детскими голосами, по крыше гимназии ходили люди и торчали верхушки лесов.

— Да, она ремонтируется, — сказал отец, когда они прошли все чередом, шумя и толкаясь, в столовую, по уже известному, но еще не изведанному коридору, в который надо будет еще наведаться завтра, когда она разложит тетрадки, повесит за ушко свою умывальную перчатку и, словом, покончит с этой тысячей дел.

— Изумительное масло, — сказала мать, садясь.

А они прошли в классную, которую ходили смотреть еще в шапках, только приехав.

— Чем же это — Азия? — подумала она вслух.

Но Сережа отчего-то не понял того, что наверняка бы понял в другое время: до сих пор они жили парой. Он раскатился к висевшей карте и сверху вниз провел рукой вдоль по Уральскому хребту, взглянув на нее, сраженную, как ему казалось, этим доводом:

— Условились провести естественную границу, вот и все.

Она же вспомнила о сегодняшнем полдне, уже таком далеком. Не верилось, что день, вместивший все это, — вот этот самый, который сейчас в Екатеринбурге, и тут еще не весь, не кончился еще. При мысли о том, что все это отошло назад, сохраняя свой бездыханный порядок, в положенную ему даль, она испытала чувство удивительной душевной усталости, как чувствует ее к вечеру тело после трудового дня. Будто и она участвовала в оттискивании и перемещении тех тяжелых красот и надорвалась. И, почему-то уверенная в том, что он, ее Урал, там, она

повернулась и побежала в кухню через столовую, где посуды стало меньше, но еще оставалось изумительное масло со льдом на потных кленовых листьях и сердитая минеральная вода.

Гимназия ремонтировалась, и воздух, как швеи мадаполам на зубах, пороли резкие стрижи, и внизу — она высунулась — блистал экипаж у раскрытого сарая, и сыпались искры с точильного круга, и пахло всем съеденным, лучше и занимательней, чем когда это подавалось, пахло грустно и надолго, как в книжке. Она забыла, зачем вбежала, и не заметила, что ее Урала в Екатеринбурге нет, но заметила, как постепенно, подворно, темнеет в Екатеринбурге и как поют внизу, под ними, за легкой, верно, работой: вымыли, верно, пол и стелют рогожи жаркими руками, — и как выплескивают воду из судомойной лохани, и хотя это выплеснули внизу, но кругом так тихо! И как там клокочет кран, как... «Ну вот, барышня...» — но она еще чуждалась новенькой и не желала слушать ее, — ...как, — додумывала она свою мысль, — внизу под ними знают и, верно, говорят: «Вот во второй номер господы нынче приехали».

В кухню вошла Ульяша.

Дети спали крепко в эту первую ночь, и проснулись: Сережа — в Екатеринбурге, Женя — в Азии, как опять широко и странно подумалось ей. На потолках свежо играл слоистый алебастр.

Это началось еще летом. Ей объявили, что она поступит в гимназию. Это было только приятно. Но это объявили ей. Она не звала репетитора в классную, где солнечные колера так плотно прилипали к выкрашенным клеевою краской стенам, что вечеру только с кровью удавалось отодрать пристававший день. Она не позвала его, когда, в сопровождении мамы, он зашел сюда знакомиться «со своей будущей ученицей». Она не назначала ему нелепой фамилии Диких. И разве это она того хотела, чтобы отныне всегда солдаты учились в полдень, крутые, сопатые и потные, как красная судорога крана при порче водопровода, и чтобы сапоги им отдавливала лиловая грозовая туча, знавшая толк в пушках и колесах, куда больше их белых рубах, белых палаток и белейших офицеров? Просила ли она о том, чтобы теперь всегда две вещи: тазик и салфетка, входя

в сочетание, как угли в дуговой лампе, вызывали моментально испаряющуюся третью вещь: идею смерти, как та вывеска у цирюльника, где это случилось с ней впервые? И с ее ли согласия красные, «запрещавшие останавливаться» рогатки стали местом каких-то городских, запретно останавливавшихся тайн, а китайцы — чем-то лично страшным, чем-то Жениным и ужасным? Не все, разумеется, ложилось на душу так тяжело. Многое, как ее близкое поступление в гимназию, бывало приятно. Но, как и оно, все это *объявлялось* ей. Перестав быть поэтическим пустячком, жизнь забродила крутой черной сказкой постольку, поскольку стала прозой и превратилась в факт. Тупо, ломотно и тускло, как бы в состоянии вечного протрезвления, попадали элементы будничного существования в завязывавшуюся душу. Они опускались на ее дно, реальные, затверделые и холодные, как сонные оловянные ложки. Там, на дне, это олово начинало плыть, сливаясь в комки, кадая навязчивыми идеями.

V

У них часто стали бывать за чаем бельгийцы. Так они назывались. Так называл их отец, говоря: «Сегодня будут бельгийцы». Их было четверо. Безусый бывал редко и был неразговорчив. Иногда он приходил один ненароком, в будни, выбрав какое-нибудь нехорошее, дождливое время. Прочие трое были неразлучны. Лица их были похожи на куски свежего мыла, непчатого, из обертки, душистые и холодные. У одного была борода, густая и пушистая, и пушистые каштановые волосы. Они всегда являлись в обществе отца, с каких-то заседаний. В доме все их любили. Они говорили, будто проливали воду на скатерть: шумно, свежо и сразу, куда-то вбок, куда никто не ждал, с долго досыхавшими следами от своих шуток и анекдотов, всегда понятных детям, всегда утолявших жажду и чистых.

Вокруг возникал шум, блистала сахарница, никелевый кофейник, чистые крепкие зубы, плотное белье. Они любезно и учтиво шутили с матерью. Сослуживцы отца, они обладали очень тонким умением вовремя сдержать его, когда в ответ на их быстрые намеки и упоминания о делах и людях, известных за этим столом только им, профессионалам, отец начинал тяжело, на очень нечи-

стом французском языке, пространно, с заминками говорить о контрагентурах, о *références approuvées* и о *férocités*, то есть *bestialités*, ce que veut dire en russe — хищениях на Благодати.

Безусый, ударившийся с некоторого времени в изучение русского языка, часто пробовал себя на этом новом поприще, но оно не держало его еще. Было неловко смеяться над французскими периодами отца, и всех его *férocités* не на шутку тяготили; но, казалось, само положение освящало тот хохот, которым покрывались Негаратовы попытки.

Звали его Негарат. Он был валлонец из фламандской части Бельгии. Ему рекомендовали Диких. Он записал его адрес по-русски, смешно выводя сложные буквы, как ю, я, ъ. Они у него выходили двойные какие-то, розные и растопыренные. Дети позволили себе встать на коленки на кожаные подушки кресел и положить локти на стол, — все стало дозволенным, все смешалось — ю было не ю, а какой-то десяткой; вокруг ревели и заливались, Эванс бил кулаком по столу и утирал слезы, отец трясся и, красный, похаживая по комнате, твердил: «Нет, не могу» — и комкал носовой платок.

— *Faites de pouveau*, — поддавал жару Эванс. — *Commencez*.

И Негарат приоткрывал рот, медля, как заика, и обдумывая, как разродиться ему этим неисследимым, как колонии в Конго, русским «еры».

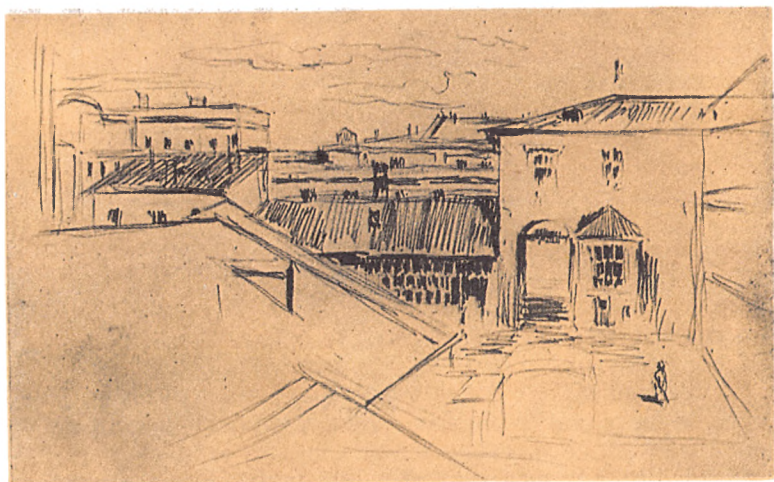
— *Dites: «увы, невыгодно»*, — спав с голоса, влажно и сипло, предлагал отец.

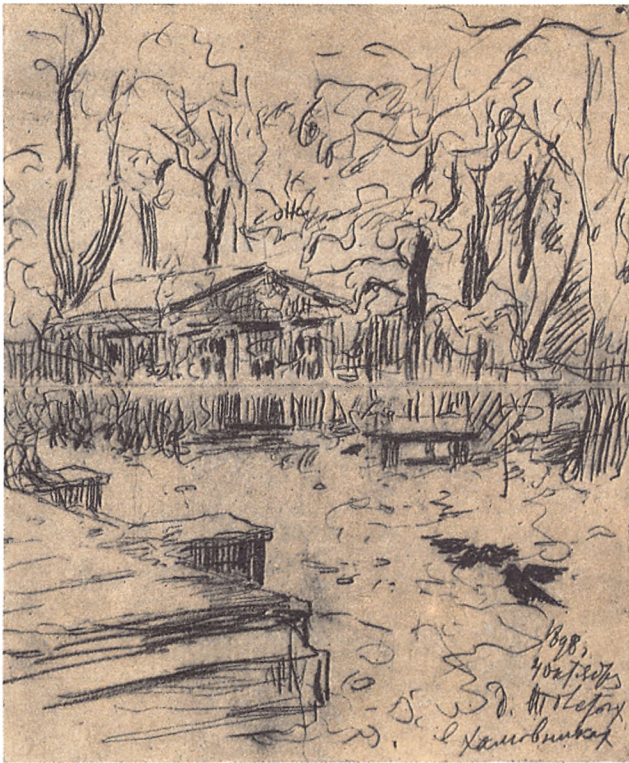
— *Ouvoui, niévoui*.

— *Entends tu? — ouvoui, niévoui — ouvoui, niévoui. Oui, oui, — chose inouïe, charmant!* — закатывались бельгийцы.

Лето прошло. Экзамены сданы были успешно, а иные и превосходно. Лился, как из ключей, холодный, прозрачный шум коридоров. Тут все знали друг друга. Желтел и золотился лист в саду. В его светлом пляшущем отблеске маялись классные стекла. Матовые вполону, они туманились и волновались низами. Форточки сводило синей судорогой. Их студеную ясность бороздили бронзовые ветки кленов.

Она не знала, что все ее волнения будут превращены в такую веселую шутку. Разделить это число аршин и вершков на семь! Стоило ли проходить доли, золотники, лоты, фунты и пуды? Граны, драхмы, скрупулы и унции, казавшиеся ей всегда четырьмя возрастами скорпиона? Отчего в слове «полезный» пишется «е», а не «ь»? Она затруднилась ответом только потому, что все ее силы соображения сошлись в усилии представить себе те неблагоприятные основания, по каким когда-либо в мире могло возникнуть слово «пользный», дикое и косматое в таком начертании. Ей осталось неизвестно, почему ее так и не отдали в гимназию тогда, хотя она была принята и зачислена, и уже кроилась кофейного цвета форма, и примерялась потом на булавках, скупое и докучное чае, а в комнате у ней завелись такие горизонты, как сумка, пенал, корзиночка для завтраков и замечательно омерзительная снимка.





ПОСТОРОННИЙ

I

Девочка была с головой увязана в толстый шерстяной платок, доходивший ей до коленок, и курочкой похаживала по двору. Жене хотелось подойти к татарочке и заговорить с ней. В это время стукнули створки разлетевшегося оконца. «Колька!» — кликнула Аксинья. Ребенок, походивший на крестьянский узел с наспех воткнутыми валенками, быстро просеменил в дворницкую.

Брать работу на двор всегда значило — затупив до утраты смысла какое-нибудь примечанье к правилу, идти потом наверх, начинать все сызнова в комнатах. Они разом, с порога, прохватывали особым полумраком и прохладой, особой, всегда неожиданной знакомостью,

с какую мебель, заняв раз навсегда предписанные места, на них оставалась. Будущего нельзя предсказать. Но его можно увидеть, войдя с воли в дом. Здесь налицо уже его план, то размещение, которому, непокорное во всем прочем, оно подчинится. И не было такого сна, навеянного движением воздуха на улице, которого бы живо не стряхнул бодрый и роковой дух дома, ударявший вдруг, с порога прихожей.

На этот раз это был Лермонтов. Женя мяла книжку, сложив ее переплетом внутрь. В комнатах она, сделай это Сережа, сама бы восстала на «безобразную привычку». Другое дело — на дворе.

Проход поставил мороженицу наземь и пошел назад в дом. Когда он отворил дверь в спицынские сени, оттуда повалил клубящийся дьявольский лай голеньких генеральских собачек. Дверь захлопнулась с коротким звонком.

Между тем Терек, прыгая, как львица, с косматой гривой на спине, продолжал реветь, как ему надлежало, и Женю стало брать сомнение только насчет того, точно ли на спине, не на хребте ли все это совершается. Справиться с книгой было лень, и золотые облака из южных стран, издавек, едва успев проводить его на север, уже встречали у порога генеральской кухни с ведром и молчалкой в руке.

Денщик поставил ведро, нагнулся и, разобрав мороженицу, принялся ее мыть. Августовское солнце, прорвав древесную листву, засело в крестце у солдата. Оно внедрилось, красное, в жухлое мундирное сукно и, как скипидаром, жадно его собой пропитало.

Двор был широкий, с замысловатыми закоулками, мудреный и тяжелый. Мощеный в середине, он давно не перемачивался, и булыжник густо порос плоской кудрявой травкой, издававшей в послеобеденные часы кислый лекарственный запах, какой бывает в зной возле больниц. Одним краешком, между дворницкой и каретником, двор примыкал к чужому саду.

Сюда-то, за дрова, и направилась Женя. Она подперла лестницу снизу плоскою полешкой, чтобы не сползла, утрясла ее на ходивших дровах и села на среднюю перекладину неудобно и интересно, как в дворовой игре. Потом поднялась и, взобравшись повыше, заложила книжку на верхний разоренный рядок, готовясь взяться за «Демона»; потом, найдя, что раньше лучше было сидеть,

спустилась опять и забыла книжку на дровах и про нее не вспомнила, потому что теперь только заметила она по ту сторону сада то, чего не предполагала раньше за ним, и стала, разинув рот, как очарованная.

Кустов в чужом саду не было, и вековые деревья, унеся в высоту, к листве, как в какую-то ночь, свои нижние сучья, снизу оголяли сад, хоть он и стоял в постоянном полумраке, воздушном и торжественном, и никогда из него не выходил. Сохатые, лиловые в грозу, покрытые седым лишаем, они позволяли хорошо видеть ту пустынную, малоезжую улочку, на которую выходил чужой сад тою стороной. Там росла желтая акация. Теперь кустарник сох, скрючивался и осыпался.

Вынесенная мрачным садом с этого света на тот, глухая улочка светилась так, как освещаются происшествия во сне; то есть очень ярко, очень кропотливо и очень бесшумно, будто солнце там, надев очки, шарило в курослепе.

На что ж так зазевалась Женя? На свое открытие, которое занимало ее больше, чем люди, помогшие ей его сделать.

Там лавочка, стало быть? За калиткой, на улице. На такой улице! «Счастливые», — позавидовала она незнакомкам. Их было три.

Они чернелись, как слово «затворница» в песне. Три ровных затылка, зачесанных под круглые шляпы, склонились так, будто крайняя, наполовину скрытая кустом, спит, обо что-то облокотясь, а две другие тоже спят, прижавшись к ней. Шляпы были черно-сизые, и гасли, и сверкали на солнце, как насекомые. Они были обтянуты черным крепом. В это время незнакомки повернули головы в другую сторону. Верно, что-то в том конце улицы привлекло их внимание. Они поглядели с минуту на тот конец так, как глядят летом, когда мгновение растворено светом и удлинено, когда приходится щуриться и защищать глаза ладонью, — с такую-то минуту поглядели они и впали опять в прежнее состояние дружной сонливости.

Женя пошла было домой, но хватилась книжки и не сразу вспомнила, где книжка осталась. Она воротилась за ней, и когда зашла за дрова, то увидела, что незнакомки поднялись и собираются идти. Они поодиночке, друг за дружкой, прошли в калитку. За ними странно, увечной походкой следовал невысокий человек. Он нес под

мышкой большущий альбом или атлас. Так вот чем занимались они, заглядывая через плечо друг дружке, а она думала — спят. Соседки прошли садом и скрылись за службами. Уже низилось солнце. Доставая книжку, Женя потревожила поленницу. Сажень пробудилась и задвигалась, как живая. Несколько поленьев съехало вниз и упало на дерн с легким стуком. Это послужило знаком, как сторожев удар в колотушку. Родился вечер. Родилось множество звуков, тихих, туманных. Воздух принялся насвистывать что-то старинное, заречное.

Двор был пуст. Прохор отработал. Он вышел за ворота. Там низко-низко, над самой травой, струнчато и грустно стлалось бренчанье солдатской балалайки. Над ней вился и плясал, обрывался и падал, замирая в воздухе, и падал, и замирал, и потом, не достигнув земли, подымался ввысь тонкий рой тихой мошкары. Но бренчанье балалайки было еще тоньше и тише. Оно опускалось ниже мошек к земле и, не запыхавшись, лучше и воздушней, чем рой, пускалось назад в высоту, мерцая и обрываясь, с припаданьями, не спеша.

Женя возвращалась в дом. «Хромой, — подумала она про незнакомца с альбомом, — хромой, а из господ, без костылей». Она пошла с черного хода. На дворе настойно и приторно пахло ромашкой. «С некоторых пор у мамы составила́сь целая аптека, масса синих склянок с желтыми шляпками». Она медленно подымалась по лестнице. Железные перила были холодны, ступеньки скрежетали в ответ на шарканье. Вдруг ей пришло в голову что-то странное. Она шагнула через две ступеньки и задержалась на третьей. Ей пришло в голову, что с недавнего времени между мамой и дворничихой завелось какое-то неуследимое сходство. В чем-то совсем неуловимом. Она остановилась. В чем-то таком, — она задумалась, — в таком, что ли, что имеют в виду, когда говорят: все мы люди... или одним, мол, миром мазаны... или судьба кости не разбирает, — она носком отбросила валяющуюся склянку, склянка полетела вниз, упала в пыльные кули и не разбилась, — в чем-то, словом, таком, что очень-очень общо, общо всем людям. Но тогда почему же не между ней самой и Аксиньей? или Аксиньей, положим, и Ульяшей? Это показалось Жене тем страннее, что трудно было найти более несхожих: в Аксинье было что-то земляное, как на огородах, нечто напоминавшее вздутые картофе-

лины или празелень бешеной тыквы, тогда как мама... Женя усмехнулась одной мысли о сравнимости.

А между тем именно Аксинья задавала тон этому навязывавшемуся сравнению. Она брала перевес в этом сближеньи. От него не выигрывала баба, а проигрывала барыня. На мгновенье Жене померещилось что-то дикое. Ей показалось, что в маму вселилось какое-то начало простонародности, и она представила себе мать произносящей «шука» вместо «щука», «работам» вместо «работаем»; а вдруг — померещилось ей — придет день и в своем новом шелковом капоте без кушака, кораблем, она возьмет да и брякнет: «К дверьми прислонь!»?

В коридоре пахло лекарством. Женя прошла к отцу.

II

Обстановка обновлялась. В доме появилась роскошь. Люверсы завели коляску и стали держать лошадей. Кучера звали Давлетша.

Резиновые шины составляли тогда полную новость. На прогулках оборачивались и провожали коляску глазами все: люди, заборы, часовни, петухи.

Госпоже Люверс долго не отпирали, и пока коляска, из почтения к ней, удалялась шагом, она кричала им вслед:

— Далеко не катай! До шлагбаума и назад. Осторожней с горки!

А белесое солнце, достав ее с докторского крыльца, тянулось дальше, вдоль улицы, и, дотянувшись до тугой и веснушчатой, багровой Давлетшиной шеи, грело и ежило ее.

Они въехали на мост. Раздался разговор балок, лукавый, круглый и складный, сложенный некогда на все времена, свято зарубленный оврагом и памятный ему всегда, в полдень и в сон.

Выкормыш, взбираясь на гору, стал братья за срысистый, недававший кремень; он вытянулся, ему было неспособно, и вдруг, напомнив в этом карабкании ползущую саранчу, он, как и эта тварь, по природе летящая и скачущая, стал молниеносно красив в унизительности своих неестественных усилий; вот-вот, казалось, он не стерпит, гневно сверкнет крылами и взлетит. И действительно, лошадь дернулась, кинула передними голяшками и ко-

роткой скачью понеслась по пустырям. Давлетша стал подбирать ее, укорачивая вожжи. На них дряхло, лохмото и притупленно залаяла собака. Пыль была как ружейный порох. Дорога круто сворачивала влево.

Черная улица тупиком упиралась в красный забор железнодорожного депо. Она полошилась. Солнце било сбоку, из-за кустов, и пеленало толпу странных фигурок в женских кофтах. Солнце окатывало их белым хлещущим светом, который, казалось, хлынул из сапогом опрокинутого ведра, как жидкая известка, и валом бежал по земле. Улица полошилась. Лошадь шла шагом.

— Свороти направо! — приказала Женя.

— Переезда не будет, — ответил Давлетша, кнутовищем показывая на красный конец, — тупик.

— Тогда стань, я погляжу.

— Это китайцы наши.

— Вижу.

Давлетша, поняв, что барышне говорить с ним неохота, пропел с оттяжкой «тпруу», и лошадь, колыхнув всем телом, стала как вкопанная, а Давлетша засвистал тонко и заимчиво, с перерывами, понужая ее к чему надо.

Китайцы перебежали через дорогу, держа в руках громадные ржаные ковриги. Они были в синем и походили на баб в штанах. Непокрытые головы кончались у них узелком на темени и казались скрученными из носовых платков. Некоторые задерживались. Этих можно было разглядеть. Лица у них были бледные, землистые, склабящиеся. Они были смуглы и грязны, как медь, окисленная нуждой.

Давлетша вынул кисет и расположился делать свертыш. В это время из-за угла, оттуда, куда шли китайцы, вышло несколько женщин. Верно, и они шли за хлебом. Те, что были на дороге, стали гоготать и подбираться к ним, извиваясь так, как если бы у них руки были скручены веревкой за спину. Изгибистость их движений подчеркивалась тем в особенности, что по всему телу, с ворота по самые щиколки, они были одеты во что-то одно, как акробаты. В этом не было ничего страшного, женщины не побежали прочь, а стали и сами, смеясь.

— Послушай, Давлетша, чего это ты?

— Лошадь рванула! рванула! не сто-ить! — раз к разу огревая Выкормыша вожжой, дергал и бросал Давлетша.

— Тише, вывалишь. Зачем хлещешь ее?

— Надо.

И только выехав в поле и успокоив лошадь, уже заплясавшую было, хитрый татарин, стрелюю вынесший барышню от зазорного зрелища, взял вожжи в правую руку и положил кiset, все время бывший у него в руке, за полу.

Они возвратились другой дорогой. Госпожа Люверс увидала их, вероятно, из докторского окошка. Она вышла на крыльцо в ту самую минуту, как мост, сказав им всю свою сказку, начал ее сызнова под телегой водовоза.

III

С Дефендовой, с девочкой, принесшей в класс рябины, наломанной дорогой в школу, Женя сошлась в один из экзаменов. Дочка псаломщика держала переэкзаменовку по-французски. Люверс Евгению посадили на первое свободное место. Так они и познакомились, сидев парой за одною фразой:

— Est-ce Pierre qui a volé la pomme?

— Oui. C'est Pierre qui vola... Etc.¹

То обстоятельство, что Женю оставили учиться дома, знакомству девочек конца не положило. Они стали встречаться. Встречи их, по милости маминых взглядов, были односторонни: Лизе разрешалось бывать у них, Жене заходить к Дефендовым пока что было запрещено.

Такая урывочность во встречах не помешала Жене быстро привязаться к подруге. Она влюбилась в Дефендову, то есть стала страдательным лицом в отношениях, их манометром, бдительным и разгоряченно-тревожным. Всякие Лизины упоминания про одноклассниц, неизвестных Жене, вызывали в ней чувство пустоты и горечи. У ней падало сердце: это были приступы первой ревности. Без поводов, силой одной своей мнительности убежденная в том, что Лиза хитрит, — наружно прямо, а в душе смеется надо всем, что есть в ней люверсовского, и за глаза, в классе и дома потешается этим, — Женя принимала это как должное, как нечто лежащее в природе привязанности. Ее чувство было настолько же случайно в выборе предмета, насколько в своем источнике отвечало властной потребности инстинкта, который не знает самолюбия и только и умеет, что страдать и жечь себя во славу фетиша, пока он чувствует впервые.

¹ Украл ли Петя яблоко? Да, Петя украл... и так далее (*франц.*).

Ни Женя, ни Лиза ничем решительно друг на друга не влияли, и Женя Женей, Лиза Лизой они встречались и расставались, та с сильным чувством, эта — безо всякого.

Отец Ахмедьяновых торговал железом. В год между рождением Нуретдина и Смагила он неожиданно разбогател. Тогда Смагил стал зваться Самойлой, и сыновьям решено было дать русское воспитание. Отцом не была упущена ни одна особенность вольного барского быта, и за десятилетнюю гонку по всем статьям было перехвачено через край. Дети удались на славу, то есть пошли во взятый образчик, и широкий размах отцовской воли остался в них, шумный и крушительный, как в паре закруженных и отданных на милость инерции маховиков. Самыми заправскими четвертоклассниками в четвертом классе были братья Ахмедьяновы. Они состояли из ломающегося мела, подстрочников, ружейной дробы, грохота парт, непристойных ругательств и шелушившейся в морозы, краснощеккой и курносой самоуверенности. Сережа сдружился с ними в августе. К концу сентября у мальчика не стало лица. Это было в порядке вещей. Быть типическим гимназистом, а потом уже чем-нибудь еще — значило быть заодно с Ахмедьяновыми. А ничего так сильно не хотелось Сереже, как быть гимназистом.

Люверс не препятствовал дружбе сына. Он не видел перемены в нем, а если что и замечал, то приписывал это действию переходного возраста. К тому же голова у него была занята другими заботами. С некоторых пор он стал догадываться, что болен и что его болезнь неизлечима.

IV

Ей было жаль не его, хотя все вокруг только и говорили, что как это в самом деле до невероятности некстати и досадно. Негарат был слишком мудрен и для родителей, а все, что чувствовалось родителями в отношении чужих, смутно передавалось и детям, как домашним избалованным животным. Женю печалило только то, что теперь не все останется по-прежнему, и станет бельгийцев трое, и не будет больше такого смеха, как бывало раньше. Она случилась за столом в тот вечер, когда он объявил маме, что должен ехать в Дижон, на отбывку какого-то сбора.

— Как же вы в таком случае еще молоды! — сказала мать и тут же ударилась на все лады его жалеть.

А он сидел, понурая голову. Разговор не клеился.

— Завтра придут замазывать окна, — сказала мать и спросила его, не закрыть ли.

Он сказал, что не надо, вечер теплый, а у них не замазывают и на зиму.

Вскоре подошел и отец. Он тоже рассыпался сожалениями при этой вести. Но перед тем, как приняться сетовать, он приподнял брови и удивленно спросил:

— В Дижон? Да разве вы не бельгиец?

— Бельгиец, но во французском подданстве.

И Негарат стал рассказывать историю переселения «своих стариков» так занимательно, будто не был их сыном, и так тепло, будто говорил по книжке о чужих.

— Простите, я вас перебую, — сказала мать. — Женюра, ты все-таки притвори окошко. Вика, завтра придут замазывать. Ну, продолжайте. Однако этот дядя ваш порядочный негодяй! Неужели так, *буквально* под присягой?

— Да.

И он вернулся к прерванной повести. Когда же он дошел до дела, до бумаги, полученной им вчера по почте из консульства, то догадался, что девочка тут не понимает ничего и силится понять. Тогда он повернулся к ней и стал объяснять, и виду не показывая, какая у него цель, чтобы не задеть ее самолюбия, — что эта воинская повинность за штука. «Да, да. Понимаю. Да. Понимаю, понимаю», — благодарно и машинально твердила девочка.

— Зачем ехать так далеко? Будьте солдатом тут, *учитесь*, где все, — поправилась она, ярко представив себе луга, открывавшиеся с монастырской горки.

«Да, да. Понимаю. Да, да, да», — опять зарядила девочка, а Люверсы, сидевшие без дела и находившие, что бельгиец забивает ребенку голову ненужными подробностями, вставляли свои сонные и упрощающие замечания. И вдруг наступила та минута, когда ей стало жалко всех тех, что давно когда-то или еще недавно были Негаратами в разных далеких местах и потом, распростиясь, пустились в нежданный, с неба свалившийся путь сюда, чтобы стать солдатами тут, в чуждом им Екатеринбурге. Так хорошо разъяснил девочке все этот человек. Так не растолковывал ей еще никто. Налет бездушья, потрясающий налет наглядности, сошел с картины белых палаток; роты потускнели и стали собранием отдельных людей в солдатском платье, которых стало жалко в ту самую минуту, как

введенный в них смысл одушевил их, возвысил, сделал близкими и обесцветил. Они прощались.

— Часть книг я оставляю у Цветкова. Это тот приятель, о котором я вам столько рассказывал. Пожалуйста, пользуйтесь ими и дальше, madame. Ваш сын знает, где я живу, он бывает в семье домовладельца, а свою комнату я передаю Цветкову. Я его предупрежу.

— Пусть заходит. Цветков, вы говорите?

— Цветков.

— Пусть заходит. Познакомимся. В ранней молодости я знавала таких, — и она посмотрела на мужа, который остановился перед Негаратом, заложив руки за борт плотного пиджака, и рассеянно дожидался удобного оборота, чтобы условиться с бельгийцем окончательно насчет завтрашнего. — Пусть заходит. Только не теперь. Я позову. Да, возьмите, это ваша. Я не кончила. Читала и плакала. Доктор вообще советовал бросить. Во избежание волнения.

И она опять посмотрела на мужа, который опустил голову и стал, хрустя воротником и пыжась, интересоваться, на обеих ли ногах у него сапоги и хорошо ли вычищены.

— Так-то. Ну вот. Не забудьте трость. Мы еще увидимся, надеюсь?

— О, конечно. До пятницы ведь. Сегодня какой день? — испугался он, как в таких случаях пугаются уезжающие.

— Среда. Вика, среда?.. Вика, среда?

— Среда. Escoutez, — дождался наконец своего череда отец, — demain.

И оба вышли на лестницу.

V

Они шли и разговаривали, и ей приходилось время от времени впадать в легкий бежок, чтобы не отстать от Сережи и попасть ему в шаг. Они шли очень быстро, и на ней ерзало пальто, потому что в помощь ходу она работала и руками, а руки держала в карманах. Было холодно, под ее калошами звонко лопался тонкий ледок. Они шли по маминному поручению покупать подарок уезжавшему и разговаривали.

— Так его везли на станцию?

— Да.

— А почему он сидел в сене?

— То есть как?

— В телеге. Весь. С ногами. Так не сидят.

— Я уже сказал. Потому что это уголовный преступник.

— Его везут на каторгу?

— Нет. В Пермь. У нас нет тюремного ведомства. Гляди под ноги.

Их путь лежал через дорогу, мимо медно-слесарного заведения. Все лето двери заведения стояли настежь, и Женя привыкла видеть этот перекресток в том дружном и общем оживлении, которым его наделяла жарко распахнутая пасть мастерской. Весь июль, август и сентябрь тут останавливались повозки, затрудняя разъезд; топтались мужики, больше татары; валялись ведра, куски кровельных желобов, рваные и ржавленные; тут чаще, чем где-нибудь еще, превратив толпу в табор, а татар замалевав в цыган, садилось в пыль жуткое, густое солнце в часы, когда за плетнем по соседству резали цыплят; тут окунались оглоблями в пыль высвобожденные из-под кузовов передки с натертыми у шкворней кружками.

Те же ведра и железца лежали неподобренные и теперь, запорошенные морозцем. Но двери были приперты вплотную, как в праздник, по случаю холодов, и было пустынно на распутьи, и только сквозь круглую отдушину шел знакомый Жене дух какого-то рудничного затхлого газа, который заливался гремучим визгом и, ударяя в нос, осаждался на нёбе дешевой грушевой шипучкой.

— А в Перми есть тюремное правление?

— Да. Ведомство. По-моему — так идти. Ближе. В Перми есть, потому что это губернский город, а Екатеринбург — уездный. Маленький.

Дорожка мимо особняков была выложена красным кирпичиком и обрамлена кустами. На ней обозначались следы бессильного, мутного солнца. Сережа старался шагать как можно шумней.

— Если щекотать этот барбарис весной, когда он цветет, булавкой, он быстро хлопает всеми лепестками, как живой.

— Знаю.

— А ты боишься щекотки?

— Да.

— Значит, ты — нервная. Ахмедьяновы говорят, что если кто боится щекотки...

И они шли: Женя — бегом, Сережа — неестественными шагами, и на ней ерзало пальто. Они завидели Диких в ту самую минуту, как калитка, турникетом ходившая на столбе, врытом поперек дорожки, задержала их. Они завидели его издали, он вышел из того самого магазина, до которого им оставалось еще с полквартиры. Диких был не один, вслед за ним вышел невысокий человек, который, ступая, старался скрыть, что припадает на ногу. Жене показалось, что она уже видала его где-то раз. Они разминулись не здоровавшись. Те взяли наискосок. Диких детей не заметил, он шагал в глубоких калошах и часто подымал руки с растопыренными пальцами. Он *не соглашался* и доказывал всеми десятью, что собеседник его... (Но где ж это она его видала? Давно. Но где? Верно, в Перми, в детстве.)

— Пстой! — У Сережи случилась неприятность. Он опустил на одно колено.— Погоди.

— Зацепил?

— Ну да. Идиоты, не могут толком гвоздя забить!

— Ну?

— Погоди, не нашел где. Я знаю того хромого. Ну вот. Слава богу.

— Разорвал?

— Нет, цела, слава богу. А в подкладке дыра—это старая. Это не я. Ну, пойдем. Стой, вот только коленку вычищу. Ну ладно, пошли.

Я его знаю. Это — с Ахмедьянова двора. Негаратов. Помнишь, я рассказывал — собирает людей, всю ночь пьют, свет в окне. Помнишь? Помнишь, когда я у них ночевал? В Самойлово рожденье. Ну, вот из этих. Помнишь?

Она помнила. Она поняла, что ошиблась, что в таком случае хромой не мог быть виден ею в Перми, что ей так померещилось. Но ей продолжало казаться, и в таких чувствах, молчаливая, перебирая в памяти все пермское, она вслед за братом произвела какие-то движения, за что-то взялась и что-то перешагнула и, осмотрясь по сторонам, очутилась в полусумраке прилавков, легких коробок, полок, суетливых приветствий и услуг — и... говорил Сережа.

Названия, которое им требовалось, у книгопродавца, торговавшего всех сортов табаками, не оказалось, но он успокоил их, заверив, что Тургенев обещан ему, выслан из Москвы и уже в пути и что он только что — ну, назад мину-ту — говорил об этом же самом с господином Цветковым,

их наставником. Детей рассмешила его верткость и то заблуждение, в котором он находился, и, попросившись, они пошли ни с чем.

Когда они вышли от него, Женя обратилась к брату с таким вопросом:

— Сережа! Я все забываю. Скажи, знаешь ты ту улицу, которую с наших дров видать?

— Нет. Никогда не бывал.

— Неправда, я сама тебя видала.

— На дровах? Ты...

— Да нет, не на дровах, а на той вот улице, за Череп-Саввичевским садом.

— А, ты вот о чем! А ведь верно. Как мимо идти, показываются. За садом, в глубине. Там сараи какие-то и дрова. Погоди. Так это, значит, наш двор?! Тот двор наш? Вот ловко! А я сколько раз хожу, думал, вот бы туда забраться — раз, и на дрова, а с дров на чердак, там лестницу я видел. Так это наш собственный двор?

— Сережа, покажешь мне дорогу туда?

— Опять. Ведь двор — наш. Чего показывать? Ты сама...

— Сережа, ты опять не понял. Я про улицу, а ты про двор. Я про улицу. На улицу покажи дорогу. Покажи, как пройти. Покажешь, Сережа?

— И опять не пойму. Да ведь мы сегодня шли... и вот опять скоро мимо идти.

— Что ты?

— Да то. А медник?.. На углу.

— Так та пыльная, значит...

— Ну да, она самая, про которую спрашиваешь. А Череп-Саввичи — в конце, направо. Не отставай, не опоздать бы к обеду. Сегодня раки.

Они заговорили о другом. Ахмедьяновы обещали научить его лудить самовары. А что касается до ее вопроса о «полуде», то это такая горная порода — одним словом, руда, вроде олова, тусклая. Ею паяют жестянки и обжигают горшки, и Ахмедьяновы все это умеют.

Им пришлось перебежать, а то обоз задержал бы их. Так они и забыли: она — про свою просьбу насчет малоезжей улочки, Сережа — про свое обещание ее показать. Они прошли мимо самой двери заведения, и тут, дохнув теплого и сального чада, какой бывает при чистке медных ручек и подсвечников, Женя моментально вспомнила, где

видела хромого и трех незнакомок и что они делали, и в следующую же минуту поняла, что тот Цветков, о котором говорил книгопродавец, и есть этот самый хромой.

VI

Негарат уезжал вечером. Отец поехал его провожать. С вокзала он вернулся поздно ночью, и в дворницкой его появление вызвало большой и не скоро улегшийся переполох. Выходили с огнями, кого-то кликали. Лил дождь, и гоготали кем-то упущенные гуси.

Утро встало пасмурное и трясущееся. Серая мокрая улица прыгала, как резиновая, болтался и брызгал грязью гадкий дождик, подсакивали повозки, и шлепали, переходя через мостовую, люди в калошах.

Женя возвращалась домой. Отголоски ночного переполоха еще сказывались на дворе и утром: в коляске ей было отказано. Она пустилась к подруге пешком, сказав, что пойдет в лавку за конопляным семенем. Но с полдороги, убедясь, что из торговой части ей одной к Дефендовым пути не найти, она повернула назад. Потом она вспомнила, что дело раннее и Лиза все равно в школе. Она порядком вымокла и продрогла. Погода разгуливалась. Но еще не прояснило. По улице летал и листом приставал к мокрым плитам холодный белый блеск. Мутные тучи торопились вон из города, теснясь и ветрено, панически волнуясь в конце площади, за трехруким фонарем.

Переезжавший был, верно, человек неряшливый или без правил. Принадлежности небогатого кабинета были не погружены, а просто поставлены на полку, как стояли в комнате, и колеса кресел, глядевшие из-под белых чехлов, ездили по полку, как по паркету, при всяком сотрясении воза. Чехлы были белоснежны, несмотря на то, что были промочены до последней нитки. Они так резко бросались в глаза, что при взгляде на них одного цвета становились: обглоданный непогодой булыжник, продроглая подзаборная вода, птицы, летевшие с конных дворов, летевшие за ними деревья, обрывки свинца и даже тот фикус в кадучке, который колыхался, нескладно кланяясь с телеги всем пролетавшим.

Воз был дик. Он невольно останавливал на себе внимание. Мужик шел рядом, и полку, широко кренясь, подвигался шагом и задевал за тумбы. А надо всем каркающим лоскутом носилось мокрое и свинцовое слово: *город*,

порождая в голове у девочки множество представлений, которые были мимолетны, как летавший по улице и падавший в воду октябрьский холодный блеск.

«Он простудится, только разложит вещи»,—подумала она про неизвестного владельца. И она представила себе человека, — *человека вообще, валкой, на шаги разрозненной походкой* расставляющего свои пожитки по углам. Она живо представила себе его ухватки и движения, в особенности то, как он возьмет тряпку и, ковыляя вокруг кадки, станет обтирать затуманенные изморосью листья фикуса. А потом схватит насморк, озноб и жар. Непременно схватит. Женя и это представила очень живо себе. Очень живо. Воз загромыхал под гору к Исети. Жене было налево.

Это происходило, верно, от чых-то тяжелых шагов за дверь. Подымался и опускался чай в стакане на столике у кровати. Подымался и опускался ломтик лимона в чаю. Качались солнечные полосы на обоях. Они качались столбами, как колонки с сиропом, в лавках за вывесками, на которых турок курит трубку. На которых турка... курит... трубку. Курит... трубку.

Это происходило, верно, от чых-то шагов. Больная опять заснула.

Женя слегла на другой день после отъезда Негарата; в тот самый день, когда узнала после прогулки, что ночью Аксинья родила мальчика, в тот день, когда при виде воза с мебелью она решила, что собственника подстерегает ревматизм. Она провела две недели в жару, густо по поту обсыпанная трудным красным перцем, который жег и слипал ей веки и краешки губ. Ее донимала испарина, и чувство безобразной толстоты мешалось с ощущением укуса. Будто пламя, раздувшее ее, было в нее влито летней осой. Будто тонкое, в седой волосок, ее жальце осталось в ней, и его хотелось вынуть, не раз и по-разному. То из лиловой скулы, то из охавшего под рубашкой воспламененного плеча, то еще откуда.

Теперь она выздоравливала. Чувство слабости сказывалось во всем. Чувство слабости, например, предавалось, на свой риск и страх, какой-то странной *своей* геометрии. От нее слегка кружило и поташнивало.

Начав, например, с какого-нибудь эпизода на одеяле, чувство слабости принималось наслаивать на него ряды

постепенно росших пустот, скоро становившихся невероятными в стремлении сумерек принять форму площади, ложащейся в основание этого помешательства пространства. Или, отделяясь от узора на обоях, оно, полосу к полосе, прогоняло перед девочкой широты, плавно, как на масле, сменявшие друг друга и тоже, как все эти ощущения, истомлявшие правильным, постепенным приростом в размерах. Или оно мучило больную глубинами, которые спускались без конца, выдав с самого же начала, с первой штуки в паркете, свою бездонность, и пускало кровать ко дну тихо-тихо, и с кроватью — девочку. Ее голова попадала в положение куска сахара, брошенного в пучину пресного, потрясающе пустого хаоса, и растворялась, и расстривалась в нем.

Это происходило от повышенной чувствительности ушных лабиринтов.

Это происходило от чьих-то шагов. Опускался и подымался лимон. Подымалось и опускалось солнце на обоях.

Наконец она проснулась. Вошла мать и, поздравив ее с выздоровлением, произвела на девочку впечатление читающего в чужих мыслях. Просыпаясь, она уже слышала что-то подобное. Это было поздравление ее собственных рук и ног, локтей и коленок, которое она от них, потягиваясь, принимала. Их-то приветствие и разбудило ее. Вот и мама тоже. Совпадение было странно.

Домашние входили и выходили, садились и подымались. Она задавала вопросы и получала ответы. Были вещи, переменявшиеся за ее болезнь, были оставшиеся без перемены. Этих она не трогала, тех не оставляла в покое. По-видимому, не изменилась мама. Совсем не изменился отец. Изменились: она сама, Сережа, распределение света по комнате, тишина всех остальных, еще что-то; много чего. Выпал ли снег? Нет, перепадал, таял, подмораживало, не разберешь что, голо, бесснежье. Она едва замечала, кого о чем спрашивает. Ответы бросались наперебой.

Здоровые приходили и уходили. Пришла Лиза. Препирались. Потом вспомнили, что корь не повторяется, и впустили. Побывал Диких. Она едва замечала, от кого какие идут ответы.

Когда все вышли обедать и она осталась одна с Ульяшей, она вспомнила, как рассмеялись все тогда на кухне глупому ее вопросу. Теперь она остереглась задавать подобный. Она задала умный и дельный, тоном взрослой.

Она спросила, не беременна ли опять Аксинья. Девушка звякнула ложечкой, убирая стакан, и отвернулась.

— Ми-ил!.. Дай отдохнуть. Не завсе ж ей, Женечка, в один уповод...

И выбежала, плохо притворив дверь, и кухня грянула вся, будто там обвалились полки с посудой, и за хохотом последовало голошенье, и бросилось в руки поденщице и Галиму, и загорелось под руками у них, и забрякало проворно и с задором, будто с побранок бросились драться, а потом кто-то подошел и притворил забытую дверь.

Этого спрашивать не следовало. Это было еще глупее.

VII

Что это, никак опять тает? Значит, и сегодня выедут на колесах и в сани все еще нельзя закладывать? С холодеющим носом и зябнувшими руками Женя часами простаивала у окошка. Недавно ушел Диких. Нынче он остался недоволен ею. Изволь учиться тут, когда по дворам поют петухи и небо гудет, а когда сдает звон, петухи опять за свое берутся. Облака облезлые и грязные, как плешивая полость. День тычется рылом в стекло, как телок в парном стойле. Чем бы не весна? Но с обеда воздух, как обручем, перехватывает сизою стужей, небо вбирается и впадает, слышно, как с присвистом дышат облака; как, стремя к зимним сумеркам, на север, обрывают пролетающие часы последний лист с деревьев, выстригают газоны, колют сквозь щели, режут грудь. Дула северных недр чернеются за домами; они наведены на их двор, заряженные огромным ноябрем. Но все октябрь еще только.

Но все еще только октябрь. Такой зимы не запомнят. Говорят, погибли озими и боятся голодов. Будто кто взмахнул и обвел жезлом трубы, и кровли, и скворешницы. Там будет дым, там — снег, здесь — иней. Но нет еще ни того, ни другого. Пустынные, осунувшиеся сумерки тоскуют по ним. Они напрягают глаза, земля ломит от ранних фонарей и огня в домах, как ломит голову при долгих ожиданиях от тоскливого вперенья глаз. Все напряглось и ждет, дрова разнесены уже по кухням, снегом уже вторую неделю полны тучи через край, мраком чреват воздух. Когда же он, чародей, обведший все, что видит глаз, колдовскими кругами, произнесет свое заклятие и вызовет зиму, дух которой уже при дверях?

Как же, однако, они его запустили! Правда, на кален-

дарь в классной не обращали внимания. Отрывался ее, детский. Но все же! Двадцать девятое августа! Ловко! — как сказал бы Сережа. Красная цифра. Усекновение главы Иоанна Предтечи. Он снимался легко с гвоздя. От нечего делать она занялась отрыванием листков. Она производила эти движения, скучая, и вскоре перестала понимать, что делает, но от поры до поры повторяла про себя: «Тридцатое, завтра — тридцать первое».

— Она уж третий день никуда из дому!..

Эти слова, раздавшиеся из коридора, вывели ее из задумчивости, она увидела, как далеко зашла в своем занятии. За самое Введение. Мать дотронулась до ее руки.

— Скажи на милость, Женя...

Дальнейшее пропало, как несказанное. Матери впереводку, словно со сна, дочь попросила госпожу Люверс произнести: «Усекновение главы Иоанна Предтечи». Мать повторила, недоумевающая. Она не сказала: «Предтеича». Так говорила Аксинья.

В следующую же минуту Женю взяло диво на самое себя. Что это было такое? Кто подтолкнул? Откуда взялось? Это она, Женя, спросила? Или могла она подумать, чтоб мама?.. Как сказочно и неправдоподобно! Кто сочинил?..

А мать все стояла. Она ушам не верила. Она глядела на нее широко раскрытыми глазами. Эта выходка поставила ее в тупик. Вопрос походил на издевку; между тем в глазах у дочки стояли слезы.

Смутные ее предчувствия сбылись. На прогулке она ясно слышала, как смягчается воздух, как мякнут тучи и мягчеет чок подков. Еще не зажигали, когда в воздухе стали, вясь, блуждать сухие серенькие пушинки. Но не успели они выехать за мост, как отдельных снежинок не стало и повалил сплошной, сплывшийся лепень. Давлетша слез с козел и поднял кожаный верх. Жене с Сережей стало темно и тесно. Ей захотелось бесноваться на манер беснующейся вокруг непогоды. Они заметили, что Давлетша везет их домой только потому, что опять услышали мост под Выкормышем. Улицы стали неузнаваемы: улиц просто не стало. Сразу наступила ночь, и город, обезумев, зашевелил несметными тысячами толстых побелевших губ. Сережа подался наружу и, упершись в колено, приказал везти к ремесленному. Женя замерла от восхищения, узнав все

тайны и прелести зимы в том, как прозвучали на воздухе Сережины слова. Давлетша кричал в ответ, что домой ехать надо, чтобы не замучить лошади, господа собираются в театр, придется переключать в сани. Женя вспомнила, что родители уедут и они останутся одни. Она решила усесться до поздней ночи поудобней за лампой с тем томом «Сказок Кота Мурлыки», что не для детей. Надо будет взять в маминой спальне. И шоколаду. И читать, посасывая, и слушать, как будет замечать улицы.

А мело уже, и не на шутку, и сейчас. Небо тряслось, и с него валились белые царства и края, им не было счета, и они были таинственны и ужасны. Было ясно, что эти неведомо откуда падавшие страны никогда не слышали про жизнь и про землю и, полуночные, слепые, засыпали ее, ее не видя и не зная.

Они были упоительно ужасны, эти царства; совершенно сатанински восхитительны. Женя захлебывалась, глядя на них. А воздух шатался, хватаясь за что попало, и далеко-далеко больно-пребольно взывали будто плетью огретье поля. Все смешалось. Ночь ринулась на них, свирепая от низко сбившегося седого волоса, засекавшего и слепившего ее. Все поехало врозь, с визгом, не разбирая дороги. Окрик и отклик пропадали не встретясь, гибли, занесенные вихрем на разные крыши. Мело.

Они долго топали в передней, сбивая снег с белых опухлых полушубков. А сколько воды натекло с калош на клетчатый линолеум! На столе валялось много яичной скорлупы, и перечница, вынутая из судка, не была поставлена на место, и много перцу было просыпано на скатерть, на вытекшие желтки и в жестянку с недоеденными «серединками». Родители уже отужинали, но сидели еще в столовой, поторапливая замешкавшихся детей. Их не винили. Ужинали раньше времени, собираясь в театр. Мать колебалась, не зная, ехать ли ей или нет, и сидела грустная-грустная. При взгляде на нее Женя вспомнила, что и ей ведь, собственно говоря, вовсе не весело, — она расстегнула наконец этот противный крючок, — а скорее грустно, и, войдя в столовую, она спросила, куда убрали ореховый торт. А отец взглянул на мать и сказал, что никто не неволит их и тогда лучше дома остаться.

— Нет, зачем же, поедем, — сказала мать, — надо рассеяться; ведь доктор позволил.

— Надо решить.

— А где же торт? — опять ввязалась Женя и услышала в ответ, что торт не убежит, что до торта тоже есть что кушать, что не с торта же начинать, что он в шкапу; будто она только к ним приехала и порядков их не знает.

Так сказал отец и, снова обратившись к матери, повторил:

— Надо решить.

— Решено, едем. — И, грустно улыбнувшись Жене, мать пошла одеваться.

А Сережа, постукивая ложечкой по яйцу и глядя, чтобы не попасть мимо, деловито, как занятый, предупредил отца, что погода переменялась — метель, чтобы он имел это в виду, и он рассмеялся; с оттаивавшим носом у него творилось что-то неладное; он стал ерзать, доставая платок из кармана тесных форменных брюк; он высморкался, как его учил отец, «без вреда для барабанных перепонок», взялся за ложечку и, взглянув прямо на отца, румяный и умытый прогулкой, сказал:

— Как выезжать, мы видали Негаратова знакомого. Знаешь?

— Эванса? — рассеянно уронил отец.

— Мы не знаем этого человека, — горячо выпалила Женя.

— Вика! — послышалось из спальни.

Отец встал и ушел на зов. В дверях Женя столкнулась с Ульяшей, несшей к ней зажженную лампу. Вскоре рядом хлопнула соседняя. Это прошел к себе Сережа. Он был превосходен сегодня; сестра любила, когда друг Ахмедьяновых становился мальчиком, когда про него можно было сказать, что он в гимназическом *костюмчике*.

Ходили двери. Топали в ботах. Наконец *сами* уехали.

Письмо извещало, что она «дононь не была недотыкой, и чтоб, как и допрежь, просили, чего надоть»; а когда милая сестрица, увешанная поклонами и заверениями в памяти, пошла по родне распределять их поименно, Ульяша, оказавшаяся на этот раз Ульяной, поблагодарила барышню, прикрутила лампу и ушла, захватив письмо, пузырек с чернилами и остаток промасленной осьмушки.

Тогда она опять принялась за задачу. Она не заключила периода в скобки. Она продолжала деление, выписывая период за периодом. Этому не предвиделось конца. Дробь в частном росла и росла. «А вдруг корь повторяется, — мелькнуло у ней в голове. — Сегодня Диких гово-

рил что-то про бесконечность». Она перестала понимать, что делает. Она чувствовала, что нынче днем с ней уже было что-то такое, и тоже хотелось спать или плакать, но сообразить, когда это было и что именно, не могла, потому что соображать была не в силах. Шум за окном утихал. Метель постепенно унималась. Десятичные дроби были ей в полную новинку. Справа не хватало полей. Она решила начать сызнава, писать мельче и поверять каждое звено. На улице стало совсем тихо. Она боялась, что забудет занятое у соседней цифры и не удержит произведения в уме. «Окно не убежит, — подумала она, продолжая лить тройки и семерки в бездонное частное, — а их я вовремя услышу: кругом тишина; подымутся не скоро: в шубах, и мама беременна; но вот в чем штука: 3773 повторяется, можно просто переписывать или сводить». Вдруг она вспомнила, что Диких ведь и впрямь говорил ей нынче, что *«не надо делать, а просто бросать прочь их»*. Она встала и подошла к окну.

На дворе прояснилось. Редкие хлопья приплывали из черной ночи. Они подплывали к уличному фонарю, оплывали его и, вильнув, пропадали из глаз. На их место подплывали новые. Улица блистала, устланная снежным, санным ковром. Он был бел, сиятелен и сладостен, как пряники в сказках. Женя постояла у окна, заглядевшись на те кольца и фигуры, которые выделяли у фонаря андерсеновские серебристые снежинки. Постояла-постояла и пошла в мамину комнату за «Котом». Она вошла без огня. Было видно и так. Кровля сарая обдавала комнату движущимся сверканием. Кровати леденели под вздохом этой громадной крыши и поблескивали. Здесь лежал в беспорядке разбросанный дымчатый шелк. Крошечные блузки издавали гнетущий и теснящий запах подмышников и коленкора. Пахло фиалкой, и шкаф был иссиня-черен, как ночь на дворе и как тот сухой и теплый мрак, в котором двигались эти леденеющие блистания. Одинокую бусиной сверкал металлический шар кровати. Другой был угашен наброшенной рубашкой. Женя прищурила глаза, бусина отделилась от полу и поплыла к гардеробу. Женя вспомнила, за чем пришла. С книжкой в руках она подошла к одному из окон спальни. Ночь была звездная. В Екатеринбурге наступила зима. Она взглянула во двор и стала думать о Пушкине. Она решила попросить репетитора, чтобы он ей задал сочинение об Онегине.

Сереже хотелось поболтать. Он спросил:

— Ты надушилась? Дай и мне.

Он был очень мил весь день. Очень румян. Она же подумала, что другого такого вечера, может, не будет. Ей хотелось остаться одной.

Женя воротилась к себе и взялась за «Сказки». Она прочла повесть и принялась за другую, затаив дыхание. Она увлеклась и не слышала, как за стеной укладывался брат. Странная игра овладела ее лицом. Она ее не сознавала. То оно у ней расплывалось по-рыбьему, она вешала губу, и помертвелые зрачки, прикованные ужасом к странице, отказывались подняться, боясь найти это самое за комодом. То вдруг принималась она кивать печати, сочувственно, словно одобряя ее, как одобряют поступок и как радуются обороту дел. Она замедляла чтение над описаниями озер и бросалась сломя голову в гущу ночных сцен с куском обгорающего бенгальского огня, от которого зависело их освещение. В одном месте заблудившийся кричал с перерывами, вслушиваясь, не будет ли отклика, и слышал отклик-эхо. Жене пришлось откашляться с немого надсада гортани. Нерусское имя «Мирры» вывело ее из оцепенения. Она отложила книгу в сторону и задумалась. «Вот какая зима в Азии! Что теперь делают китайцы, в такую темную ночь?» Взгляд Жени упал на часы. «Как, верно, жутко должно быть с китайцами в такие потемки». Женя опять перевела взгляд на часы и ужаснулась. С минуты на минуту могли явиться родители. Был уже двенадцатый час. Она расшнуровала ботинки и вспомнила, что надо отнести на место книжку.

Женя вскочила. Она присела на кровати, тараща глаза. Это не вор. Их много, и они топчут и говорят громко, как днем. Вдруг, как зарезанный, кто-то закричал на голос, и что-то поволокли, опрокидывая стулья. Это кричала женщина. Женя понемногу признала всех; всех, кроме женщины. Поднялась невероятная беготня. Стали хлопать двери. Когда захлопывалась одна, дальняя, то казалось, что женщине затыкают рот. Но она снова распаивалась, и дом ошпаривало жгучим, полосующим визгом. Волосы встали дыбом у Жени: женщина была мать, она догадалась. Прочитала Ульяша, и, раз уловив голос отца, она его более не слышала. Куда-то вталкивали Сережу, и он орал: «Не смей на ключ!» — «Все — свои», — и, как была, Женя босиком, в одной рубашонке бросилась в коридор. Отец чуть

не опрокинул ее. Он был еще в пальто и что-то, пробегая, кричал Уляше.

— Папа!

Она видела, как побежал он назад с мраморным кувшином из ванной.

— Папа!

— Где Липа? — не своим голосом крикнул он на бегу.

Плеща на пол, он скрылся за дверью, и когда через мгновение высунулся в манжетах и без пиджака, Женя очутилась на руках у Уляши и не услышала слов, произнесенных тем отчаянно глубоким, истощенным шепотом.

— Что с мамой?

Вместо ответа Уляша твердила в одно:

— Нельзя, Женечка, нельзя, милая, спи, усни, укройся, ляжь на бочок. А-ах, о Господи!.. ми-ил! Нельзя, нельзя, — приговаривала она, укрывая ее, как маленькую, и собираясь уйти.

«Нельзя, нельзя», а чего нельзя — не говорила, и лицо у ней было мокро, и волосы растрепались. В третьей двери за ней щелкнул замок.

Женя зажгла спичку, чтобы посмотреть, скоро ли светать будет. Был первый всего час. Это ее очень удивило. Неужто она и часу не спала? А шум не унимался там, на родительской половине. Вопли лопались, вылупливались, стреляли. Потом на короткое мгновение наступала широкая, вековечная тишина. В нее упали торопливые шаги и частый, осторожный говор. Потом раздался звонок, потом другой. Потом слов, споров и приказаний стало так много, что стало казаться, будто комнаты отгорают там, в голосах, как столы под тысячей угасших канделябров.

Женя заснула. Она заснула в слезах. Ей снилось, что — гости. Она считает их и все обсчитывается. Всякий раз выходит, что одним больше. И всякий раз при этой ошибке ее охватывает тот самый ужас, как когда она поняла, что это не еще кто, а мама.

Как было не порадоваться чистому и ясному утру! Сереже мерещились игры на дворе, снежки, сражения с дворовыми ребятами. Чай им подали в классную. Сказали — в столовой полотеры. Вошел отец. Сразу стало видно, что о полотерах он ничего не знает. Он и точно не знал о них ничего. Он сказал им истинную причину перемещения. Мать захворала. Нуждается в тишине.

Над белой пеленой улицы с вольным, разносчивым карканьем пролетели вороны. Мимо пробежали санки, подталкивая лошадку. Она еще не свыклась с новой упряжкой и сбивалась с шагу.

— Ты поедешь к Дефендовым, я уже распорядился. А ты...

— Зачем? — перебила его Женя.

Но Сережа догадался — зачем, и предупредил отца:

— Чтоб не заразиться... — вразумил он сестру.

Но с улицы не дали ему кончить. Он подбежал к окошку, будто его туда поманули. Татарин, вышедший в обнове, был казист и наряжен, как фазан. На нем была баранья шапка. Нагольная овчина горела жарче сафьяна. Он шел с перевалкой, покачиваясь, и оттого, верно, что малиновая роспись его белых пим ничего не ведала о строении человеческой ступни, так вольно разбежались эти разводы, мало заботясь о том, ноги ли то, или чайные чашки, или крыльцовые кровельки. Но всего замечательнее, — в это время стоны, слабо доносившиеся из спальни, усилились, и отец вышел в коридор, запретив им следовать за собою, — но всего замечательнее были следки, которые он узенькой и чистой низкою вывел по углаженной полянке. От них, лепных и опятных, еще белей и атласней казался снег.

— Вот письмецо. Ты отдашь его Дефендову. Самому. Понимаешь? Ну, одевайтесь. Вам сейчас сюда принесут. Вы выйдете с черного хода. А тебя Ахмедьяновы ждут.

— Уж и ждут? — насмешливо переспросил сын.

— Да. Вы оденетесь в кухне.

Он говорил рассеянно и не спеша проводил их на кухню, где на табурете горой лежали их полушубки, шапки и варежки. С лестницы подвевало зимним воздухом. «Эйиох!» — остался в воздухе студеный вскрик пронесшихся санков. Они торопились и не попадали в рукава. От вещей пахло сундуками и сонным мехом.

— Чего ты возишься?

— Не ставь с краю. Упанет. Ну, что?

— Все стонет. — Горничная подобрала передник и, нагнувшись, подбросила поленьев под пламенем ахнувшую плиту. — Не мое это дело, — возмутилась она и опять ушла в комнаты.

В худом черном ведре валялось битое стекло и желтели рецепты. Полотенца были пропитаны лохматой, комканой кровью. Они полыхали. Их хотелось затоптать,

как пыхающее тление. В кастрюлях кипятилась пустая вода. Кругом стояли белые чаши и ступы невиданных форм, как в аптеке.

В сенях маленький Галим колот лед.

— А много его с лета осталось? — расспрашивал Сережа.

— Скоро новый будет.

— Дай мне. Ты зря крошишь.

— Для ча зря? Талчи надо. В бутылкам талчи.

— Ну! Ты готова?

Но Женя еще сбегала в комнаты. Сережа вышел на лестницу и в ожидании сестры стал барабанить поленом по железным перилам.

VIII

У Дефендовых садились ужинать. Бабушка, крестясь, колтыхнулась в кресло. Лампа горела мутно и покапчивала: ее то перекручивали, то чересчур отпускали. Сухая рука Дефендова часто тянулась к винту, и когда, медленно отымая ее от лампы, он медленно опускался на место, рука у него тряслась мелко и не по-старчески, будто он подымал налитую через край рюмку. Дрожали концы пальцев, к ногтям.

Он говорил отчетливым, ровным голосом, словно не из звуков складывал свою речь, а набирал ее из букв, и произносил все, вплоть до твердого знака.

Припухлое горлышко лампы пылало, обложенное усиками герани и гелиотропа. К жару стекла сбегались тараканы и осторожно тянулись часовые стрелки. Время ползло по-зимнему. Здесь оно нарывало. На дворе — коченело, зловонное. За окном — сновало, семенило, двоясь и троясь в огоньках.

Дефендова поставила на стол печенку. Блюдо дымилось, заправленное луком. Дефендов что-то говорил, повторяя часто слово «рекомендую», и Лиза трещала без умолку, но Женя их не слышала. Девочке хотелось плакать еще со вчерашнего дня. А теперь ей этого жаждалось. В этой вот кофточке, шитой по материнским указаниям.

Дефендов понимал, что с ней. Он старался развлечь ее. Но то заговаривал он с ней как с малым дитятей, то ударялся в противоположную крайность. Его шуточные вопросы пугали и смущали ее. Это он ощупывал впотьмах душу дочкойной подруги, словно спрашивал у ее сердца, сколько

ему лет. Он вознамерился, уловив *безошибочно* одну какую-нибудь Женину черту, сыграть на подмеченном и помочь ребенку забыть о доме, и своими поисками напомнил ей, что она у чужих. Вдруг она не выдержала и, встав, по-детски смущаясь, пробормотала:

— Спасибо. Я, правда, сыта. Можно посмотреть картинки? — И, густо краснея при виде всеобщего недоумения, прибавила, мотнув головой в сторону смежной комнаты: — Вальтер Скотта. Можно?

— Ступай, ступай, душенька! — зажевала бабушка, бровями приковывая Лизу к месту. — Жалко дитя, — обратилась она к сыну, когда половинки бордовой портьеры сошлись за Женею.

Суровый комплект «Севера» кренил этажерку, и внизу тускло золотился полный Карамзин. С потолка спускался розовый фонарь, оставлявший неосвещенною пару потертых креслиц, и коврик, пропадавший в совершенном мраке, был неожиданностью для ступни.

Жене казалось, что она войдет, сядет и разрыдается. Но слезы наворачивались на глаза, а печали не прорывали. Как отвалить ей эту со вчерашнего дня балкой залегшую тоску? Слезы неймут ее и поднять запруды не в силах. В помощь им она стала думать о матери.

В первый раз в жизни, готовясь заночевать у чужих, она измерила глубину своей привязанности к этому дорогому, драгоценнейшему в мире существу.

Вдруг она услышала за портьерой хохот Лизы.

— У, егоза, пострел тебя!.. — кашляя, колыхала бабушка.

Женя поразилась, как могла она раньше думать, что любит девочку, смех которой раздается рядом и так далек, так не нужен ей. И что-то в ней перевернулось, дав волю слезам в тот самый миг, как мать вышла у ней в воспоминаниях: страдающей, оставшейся стоять в веренице вчерашних фактов, как в толпе провожающих, и крутимой там, позади, поездом времени, уносящим Женю.

Но совершенно, совершенно несносен был тот проникновенный взгляд, который остановила на ней госпожа Люверс вчера в классной. Он врзался в память и из нее не шел. С ним соединялось все, что теперь испытывала Женя. Будто это была вещь, которую следовало взять, дорожа ей, и которую забыли, ею пренебрегнув.

Можно было голову потерять от этого чувства, до

такой степени кружила пьяная, шалая его горечь и безысходность. Женя стояла у окна и плакала беззвучно; слезы текли, и она их не утирала: руки у ней были заняты, хотя она ничего в них не держала. Они были у ней выпрямлены энергически, порывисто и прямо.

Внезапная мысль осенила ее. Она вдруг почувствовала, что *страшно* похожа на маму. Это чувство соединилось с ощущением живой безошибочности, властной сделать домысел фактом, если этого нет еще налицо, уподобить ее матери одною силой потрясающе сладкого состояния. Чувство это было пронизывающее, острое до стона. *Это было ощущение женщины, изнутри или внутренне видящей свою внешность и прелесть.* Женя не могла отдать себе в нем отчета. Она его испытывала впервые. В одном она не ошиблась. Так, взволнованная, отвернувшись от дочери и гувернантки, стояла однажды у окна госпожа Люверс и кусала губы, ударяя лорнеткою по лайковой ладони.

Она вышла к Дефендовым, пьяная от слез и просветленная, и вошла не своей, изменившейся походкой, широкой, мечтательно разбросанной и новой. При виде вошедшей Дефендов почувствовал, что то понятие о девочке, которое у него составилось в ее отсутствие, никуда не годно. И он занялся бы составлением нового, если бы не самовар.

Дефендова пошла на кухню за подносом, оставив его на полу, и взоры всех сошлись на пыхавшей меди, будто это была живая вещь, бедовое своеобразие которой кончалось в ту самую минуту, как ее переставляли на стол. Женя заняла свое место. Она решила вступить в беседу со всеми. Она смутно чувствовала, что теперь выбор разговора за ней. А то ее будут утверждать в ее прежнем одиночестве, не видя, что ее мама тут, с нею и в ней самой. А эта близорукость причинит боль ей, а главное — маме. И словно подбодряемая последней: «Васса Васильевна!» — обратилась она к Дефендовой, тяжело опустившей самовар на краешек подноса...

— Можешь ты рожать?

Лиза не сразу ответила Жене.

— Тсс, тише, не кричи. Ну да, как все девочки. — Она говорила прерывистым шепотом.

Женя не видела лица подруги. Лиза шарила по столу и не находила спичек.

Она знала многим больше Жени насчет этого; она знала *все*, как знают дети, узнавая это с чужих слов. В таких случаях те натуры, которые облюбованы творцом, восстают, возмущаются и дичают. Без патологии им через это испытание не пройти. Было бы противоестественно обратное, и детское сумасшествие в эту пору — только печать глубокой исправности.

Однажды Лизе наговорили разных страстей и гадостей шепотом, в уголку. Она не поперхнулась слышанным, пронесла все в своем мозгу по улице и принесла домой. Дорогой она не обронила ничего из сказанного и весь этот хлам сохранила. Она узнала все. Ее организм не запылал, сердце не забило тревоги, и душа не нанесла побоев мозгу за то, что он осмелился что-то узнать на стороне, мимо ее, не из ее собственных уст, ее, души, не спросясь.

— Я знаю. («Ничего ты не знаешь», — подумала Лиза.) Я знаю,—повторила Женя,—я не про то спрашиваю. А про то, чувствуешь ли ты, что вот сделаешь шаг — и родишь вдруг, ну вот...

— Да войди ты! — прохрипела Лиза, преодолевая смех. — Нашла где орать. Ведь с порога слышать им!

Этот разговор происходил у Лизы в комнате. Лиза говорила так тихо, что было слышно, как каплет с ручной мойки. Она нашла уже спички, но еще медлила зажигать, не будучи в силах придать серьезность расходившимся щекам. Ей не хотелось обижать подругу. А ее неведение она пощадила потому, что и не подозревала, чтобы об этом можно было рассказать иначе, чем в тех выражениях, которые тут, дома, перед знакомой, не ходившей в школу, были непроизносимы. Она зажгла лампу. По счастью, ведро оказалось переполнено, и Лиза бросилась подтирать пол, пряча новый приступ хохота в передник, в шлепанье тряпки, и наконец расхохоталась открыто, нашедши повод. Она уронила гребенку в ведро.

Все эти дни она только и знала, что думала о своих и ждала часа, когда за ней пришлют. А за этим делом днем, когда Лиза уходила в гимназию, а в доме оставалась одна бабушка, Женя тоже одевалась и одна выходила на улицу, в проходку.

Жизнь слободы мало чем походила на жизнь тех мест, где проживали Люверсы. Большую часть дня здесь было

голо и скучно. Не на чем было разгуляться глазу. Все, что ни встречал он, ни на что, кроме разве как на розгу или на помело, не годилось. Валялся уголь. Черные помои выливались на улицу и разом обелялись, обледенев. В известные часы улица наполнялась простым народом. Фабричные расползались по снегу, как тараканы. Ходили на блоках двери чайных, и оттуда валом валил мыльный пар, как из прачечной. Странно, будто теплей становилось на улице, будто к весне оборачивалось дело, когда по ней сутуло пробегали пареные рубахи и мелькали валенки на жиденьких портах. Голуби не пугались этих толп. Они перелетали на дорогу, где тоже был корм. Мало ли сорено было по снегу просом, овсом и навозцем? Ларек пирожницы лоснился от сала и тепла. Этот лоск и жар попадали в сивухую сполоснутые рты. Сало разгорячало гортани. И потом вырывалось дорогой из часто дышавших грудей. Не это ли согревало улицу?

Так же внезапно она пустела. Наступали сумерки. Проезжали дровни порожняком, пробегали розвальни с бородачками, тонувшими в шубах, которые, шая, валили их на спину, облапив по-медвежьи. От них на дороге оставались клоки тоскливого сена и медленное, сладкое таянье удаляющегося колокольца. Купцы пропадали на повороте, за березками, отсюда походившими на раздёрванный частокол.

Сюда слеталось то воронье, которое, раздольно каркая, пронеслось над их домом. Только тут они не каркали. Тут, подняв крик и задрав крылья, они вприпрыжку рассаживались по заборам и потом вдруг, словно по знаку, тучею кидались разбирать деревья и, толкаясь, размещались по опростанным сукам. Ах, как чувствовалось тогда, какой поздний-поздний час на всем белом свете! Так, — ах, так, как этого не выразить никаким часам!

Так прошла неделя, и к концу другой, в четверг, на рассвете она опять его увидала. Лизина постель была пуста. Просыпаясь, Женя слышала, как за ней брякнула калитка. Она встала и, не зажигая огня, подошла к окошку. Было еще совершенно темно. Но чувствовалось, что в небе, в ветках деревьев и в движениях собак та же тяжесть, что и накануне. Эта пасмурная погода стояла уже третьи сутки, и не было сил стащить ее с обрыхлевшей

улицы, как чугун с корявой половицы.

В окошке через дорогу горела лампа. Две яркие полосы, упав под лошадь, ложились на мохнатые бабки. Двигались тени по снегу, двигались рукава призрака, запахивавшего шубу, двигался свет в занавешенном окне. Лошадка же стояла неподвижно и дремала.

Тогда она увидала его. Она сразу его узнала по силуэту. Хромой поднял лампу и стал удаляться с ней. За ним двинулись, перекашиваясь и удлиняясь, обе яркие полосы, а за полосами и сани, которые быстро вспыхнули и еще быстрее метнулись во мрак, медленно заезжая за дом к крыльцу.

Было странно, что Цветков продолжает попадаться ей на глаза и здесь, в слободе. Но Женю это не удивило. Он ее мало занимал. Вскоре лампа опять показалась и, плавно пройдясь по всем занавескам, стала было снова пятиться назад, как вдруг очутилась за самой занавеской, на подоконнике, откуда ее взяли.

Это было в четверг. А в пятницу за ней наконец прислали.

IX

Когда на десятый день по возвращении домой, после более чем трехнедельного перерыва, были возобновлены занятия, Женя узнала от репетитора все остальное. После обеда сложился и уехал доктор, и она попросила его кланяться дому, в котором он ее осматривал весной, и всем улицам, и Каме. Он выразил надежду, что больше его из Перми выписывать не придется. Она проводила до ворот человека, который привел ее в такое содрогание в первое же утро ее переезда от Дефендовых, пока мама спала и к ней не пускали, когда на ее вопрос о том, чем она больна, он начал с напоминания, что в ту ночь родители были в театре. А как по окончании спектакля стали выходить, то их жеребец...

— Выкормыш?!

— Да, если это его прозвище... Так Выкормыш, стало быть, стал биться, вздыбился, сбил и подмял под себя случайного прохожего и...

— Как? Насмерть?

— Увы!

— А мама?

— А мама заболела нервным расстройством, — и он

улыбнулся, едва успев приспособить в таком виде для девочки свое латинское «partus praematurus».

— И тогда родился мертвый братец?!

— Кто вам сказал?.. Да.

— А когда? При них? Или они застали его уже бездыханным? Не отвечайте. Ах, какой ужас! Я теперь понимаю. Он был уже мертв, а то бы я его услышала и без них. Ведь я читала. До поздней ночи. Я бы услышала. Но когда же он жил? Доктор, разве бывают такие вещи? Я даже заходила в спальню! Он был мертв. Несомненно!

Какое счастье, что это наблюдение от Дефендовых, на рассвете, было только вчера, а ужасу у театра — третья неделя! Какое счастье, что она его узнала! Ей смутно думалось, что не попадись он ей на глаза за весь этот срок, она теперь, после докторовых слов, непременно бы решила, что у театра задавлен хромой.

И вот, прогостив у них столько времени и став совершенно своим, доктор уехал. А вечером пришел репетитор. Днем была стирка. На кухне катали белье. Иней сошел с ее рам, и сад стал вплотную к окнам, и, запутавшись в кружевных гардинах, подступил к самому столу. В разговор врывались короткие погромохиванья валька. Диких тоже, как все, нашел ее изменившейся. Перемену заметила в нем и она.

— Отчего вы такой грустный?

— Разве? Все может быть. Я потерял друга.

— И у вас тоже горе? Сколько смертей — и все вдруг! — вздохнула она.

Но только собрался он рассказывать, что имел, как произошло что-то необъяснимое. Девочка внезапно стала других мыслей об их количестве и, видно, забыв, какую опорой располагала в виденной в то утро лампе, сказала взволнованно:

— Погодите. Раз как-то вы были у табачника, уезжал Негарат; я вас видала еще с кем-то. Этот? — Она боялась сказать: «Цветков?»

Диких оторопел, услышав, как были произнесены эти слова, привел помянутое на память и припомнил, что действительно они заходили тогда за бумагой и спросили всего Тургенева для госпожи Люверс; и точно, вдвоем с покойным. Она дрогнула, и у ней выступили слезы. Но главное было еще впереди.

Когда, рассказав с перерывами, в которые слышался

рубчатый грохот скалки, что это был за юноша и из какой хорошей семьи, Диких закурил, Женя с ужасом поняла, что только эта затычка отделяет репетитора от повторения докторова рассказа, и когда он сделал попытку и произнес несколько слов, среди которых было слово «театр», Женя вскрикнула не своим голосом и бросилась вон из комнаты.

Диких прислушался. Кроме катки белья, в доме не было слышно ни звука. Он встал, похожий на аиста. Вытянул шею и приподнял ногу, готовый броситься на помощь. Он кинулся отыскивать девочку, решив, что никого нет дома, а она лишилась чувств. А тем временем, как он тыкался впотьмах на загадки из дерева, шерсти и металла, Женя сидела в уголочке и плакала. Он же продолжал шарить и ощупывать, в мыслях уже подымая ее замертво с ковра. Он вздрогнул, когда за его локтями раздалось громко, сквозь всхлипывание:

— Я тут. Осторожней, там горка. Подождите меня в классной. Я сейчас приду.

Гардины опускались до полу, и до полу свешивалась зимняя звездная ночь за окном, и низко, по пояс в сугробах, волоча сверкающие цепи ветвей по глубокому снегу, брели дремучие деревья на ясный огонек в окне. И где-то за стеной, туго стянутый простынями, взад-вперед ходил твердый грохот раскатки. «Чем объяснить этот избыток чувствительности? — размышлял репетитор. — Очевидно, покойный был у девочки на особом счету. Она очень изменилась. Периодические дробы объяснялись еще ребенку, между тем как та, что послала его сейчас в классную... И это дело месяца! Очевидно, покойный произвел когда-то на эту маленькую женщину особо глубокое и неизгладимое впечатление. У впечатлений этого рода есть имя. Как странно! Он давал ей уроки каждый другой день и ничего не заметил. Она *страшно славная*, и ее ужасно жаль. Но когда же она выплечется и придет, наконец! Верно, все прочие в гостях. Ее жалко от души. Замечательная ночь!»

Он ошибался. То впечатление, которое он предположил, к делу нисколько не шло. Он не ошибся. Впечатление, скрывавшееся за всем, было неизгладимо. Оно отличалось большею, чем он думал, глубиной... Оно лежало вне ведения девочки, потому что было жизненно важно и значительно, и значение его заключалось в том, что в ее жизнь

впервые вошел *другой* человек, третье лицо, совершенно безразличное, без имени или со случайным, не вызывающее ненависти и не вселяющее любви, *но то, которое имеют в виду заповеди*, обращаясь к именам и сознаниям, когда говорят: не убий, не крадь и все прочее. «Не делай ты, особенный и живой, — говорят они, — *этому, туманному и общему*, того, чего себе, особенному и живому, не желаешь». Всего грубее заблуждался Диких, думавши, что есть имя у впечатлений такого рода. Его у них нет.

А плакала Женя оттого, что считала себя во всем виноватой. Ведь ввела его в жизнь семьи *она* в тот день, когда, заметив его за чужим садом, и заметив без нужды, без пользы, без смысла, стала затем встречать его на каждом шагу, постоянно, прямо и косвенно, и даже, как это случилось в последний раз, наперекор возможности.

Когда она увидала, какую книгу берет Диких с полки, она нахмурилась и заявила:

— Нет. Этого я сегодня отвечать не стану. Положите на место. Виновата: пожалуйста.

И без дальних слов Лермонтов был тою же рукой втиснут назад в покосившийся рядок классиков.

1918





НЕСКОЛЬКО ПОЛОЖЕНИЙ

1

Когда я говорю о мистике, или о живописи, или о театре, я говорю с той миролюбивой необязательностью, с какой рассуждает обо всем свободомыслящий любитель.

Когда речь заходит о литературе, я вспоминаю о книге и теряю способность рассуждать. Меня надо растолкать и вывести насильно, как из обморока, из состояния физической мечты о книге, и только тогда, и очень неохотно, преодолевая легкое отвращение, я разделю чужую беседу на любую другую литературную тему, где речь будет идти не о книге, но о чем угодно ином, об

эстраде, скажем, или о поэтах, о школах, о новом творчестве и т. д.

По собственной же воле, без принуждения, я никогда и ни за что из мира своей заботы в этот мир любительской беззаботности не перейду.

2

Современные течения вообразили, что искусство как фонтан, тогда как оно — губка.

Они решили, что искусство должно бить, тогда как оно должно всасывать и насыщаться.

Они сочли, что оно может быть разложено на средства изобразительности, тогда как оно складывается из органов восприятия.

Ему следует всегда быть в зрителях и глядеть всех чище, восприимчивей и верней, а в наши дни оно познало пудру, уборную и показывается с эстрады; как будто на свете есть два искусства и одно из них, при наличии резерва, может позволить себе роскошь самоизвращения, равную самоубийству. Оно показывается, а оно должно тонуть в райке, в безвестности, почти не ведая, что на нем шапка горит, и что, забившееся в угол, оно поражено светопрозрачностью и фосфоресценцией, как некоторой болезнью.

3

Книга есть кубический кусок горячей, дымящейся совести — и больше ничего.

Токование — забота природы о сохранении пернатых, ее вешний звон в ушах. Книга — как глухарь на току. Она никого и ничего не слышит, оглушенная собой, себя заслушавшаяся.

Без нее духовный род не имел бы продолжения. Он переревелся бы. Ее не было у обезьян.

Ее писали. Она росла, набиралась ума, видала виды, — и вот она выросла и — такова. В том, что ее видно насквозь, виновата не она. Таков уклад духовной вселенной.

А недавно думали, что сцены в книге — инсценировки. Это — заблуждение. Зачем они ей? Забыли, что единственное, что в нашей власти, это суметь не исказить голоса жизни, звучащего в нас.

Неумение найти и сказать правду — недостаток, которого никаким умением говорить неправду не покрыть. Книга — живое существо. Она в памяти и в полном рас- судке: картины и сцены — это то, что она вынесла из прошлого, запомнила и не согласна забыть.

4

Жизнь пошла не сейчас. Искусство никогда не начина- лось. Оно бывало постоянно налицо до того, как станови- лось.

Оно бесконечно. И здесь, в этот миг за мной и во мне, оно — таково, что как из внезапно раскрывшегося акто- вого зала меня обдаёт его свежей и стремительной по- всеместностью и повсевременностью, будто это: приводят мгновение к присяге.

Ни у какой истинной книги нет первой страницы. Как лесной шум, она зарождается Бог весть где, и растёт, и катится, будя заповедные дебри, и вдруг, в самый темный, ошеломительный и панический миг, заговаривает всеми вершинами сразу, докатившись.

5

В чем чудо? В том, что жила раз на свете семнадцати- летняя девочка по имени Мэри Стюарт и как-то в октябре у окошка, за которым улюлюкали пуритане, написала французское стихотворение, кончавшееся словами:

Car mon pis et mon mieux
Sont les plus déserts lieux¹.

В том, во-вторых, что однажды в юности у окна, за которым кутежничал и бесновался октябрь, английский поэт Чарльз Альджернон Суинберн закончил «Chaste- lard'a», в котором тихая жалоба пяти Марииных строк вздулась жутким гуденьем пяти трагических актов.

В-третьих, в том, наконец, что когда как-то раз, тому назад лет пять, переводчик взглянул в окно, он не знал, чему ему удивляться больше.

Тому ли, что елабужская вьюга знает по-шотландски и, как и в оный день, все еще тревожится о семнадцатилет- ней девочке, или же тому, что девочка и ее печальник,

¹ Ибо «плохое» и «хорошее» — пустыни моей души (*франц.*).

английский поэт, так хорошо, так задушевно хорошо сумели рассказать ему по-русски про то, что по-прежнему продолжает волновать их обоих и не оставило преследовать.

Что это значит? — задался переводчик вопросом. Что там делается?

Отчего сегодня так тихо (и ведь вместе так вьюжно!) там? Казалось бы, по тому, что мы туда посылаем, там должны бы истекать кровью. Между тем — там улыбаются.

Вот в чем чудо. В единстве и тождественности жизни этих троих и целого множества прочих (свидетелей и очевидцев трех эпох, лиц биографии, читателей) — в заправдашнем октябре неизвестно какого года, который гудит, слепнет и сипнет там, за окном, под горой, в... искусстве.

Вот в чем оно.

6

Существуют недоразумения. Их надо избежать. Здесь место дани скуке.

Говорят — писатель, поэт...

Эстетики не существует. Мне кажется, эстетики не существует в наказанье за то, что она лжет, прощает, потворствует и снисходит. Что, не ведая ничего про человека, она плетет сплетню о специальностях.

Портретист, пейзажист, жанрист, натюрмортист? Символист, акмеист, футурист? Что за убийственный жаргон!

Ясно, что это — наука, которая классифицирует воздушные шары по тому признаку, где и как располагаются в них дыры, мешающие им летать.

Не отделимые друг от друга поэзия и проза — полюса.

По врожденному слуху, поэзия подыскивает мелодию природы среди шума словаря и, подобрав ее, как подбирают мотив, передается затем импровизации на эту тему.

Чутьем, по своей одухотворенности, проза ищет и находит человека в категории речи, а если век его лишен, то на память воссоздает его, и подкидывает, и потом, для блага человечества, делает вид, что нашла его среди современности. Начала эти не существуют отдельно.

Фантазируя, наталкивается поэзия на природу. Живой, действительный мир — это единственный, однажды удавшийся и все еще без конца удачный замысел воображения.

Вот он длится, ежемгновенно успешный. Он все еще — действителен, глубок, неотрывно увлекателен. В нем не разочаровываешься на другое утро. Он служит поэту примером в большей еще степени, нежели — натурой и моделью.

7

Безумье — доверяться здравому смыслу. Безумье — сомневаться в нем. Безумье — глядеть вперед. Безумье — жить не глядячи. Но заводить порою глаза и при быстро поднимающейся температуре крови слышать, как мах за махом, напоминая конвульсии молний на пыльных потолках и гипсах, начинает ширять и шуметь по сознанию отраженная стенопись какой-то нездешней, несущейся мимо и вечно весенней грозы, это уж чистое, это во всяком случае — чистейшее безумье!

Естественно стремиться к чистоте.

Так мы вплотную подходим к чистой сущности поэзии. Она тревожна, как зловещее кружение десятка мельниц на краю голого поля в черный, голодный год.

1919, 1922





ТРИ ГЛАВЫ ИЗ ПОВЕСТИ

I. НЕСКОЛЬКО ДАТ

Это было давно. Каз-за! — Они заскакивали крику в лицо, и вдруг, оказавшись на самом хребте огромного расседланного моря голов, бежавшего перед ними и за ними, верхом на нем, стремительно поворотив толпу, гнали ее вниз по тротуарам на своих кудластых и, как вы б тогда выразились, курдских лошадях. Тряслись гривы, тряслись серьги, — внезапно они перестраивались и уносились.

Аа-а! — подымавшийся не узнавал Никитской. Куда все девалось? Тумбы и небо, и от только что еще ревившего, черного, завивавшегося барашка — ни следа.

Шютц был сыном богатых родителей и родственником известнейших революционеров. Этого было достаточно, чтобы считать его революционером и богачом. Прочие достоинства Шютца отличались тою же особенностью. Он обладал загадочностью, которая поражает и редко разгадывается, потому что двадцать предположений переберешь прежде, чем догадаешься, что у больного — солитер. Глистою Шютцевой загадочности была лживость. Она играла в нем и, когда ей хотелось есть, головкой шеко-тала ему горло. Она теряла и наращивала кольца. Ему казалось, что все это так и надо и что червя этого он вычитал у Ницше.

Прошрое Лемоха было связано с революцией чище, чем связывал себя с нею Шютц. Знаете ли вы украинскую ночь? Такой именно развевталась в его воображении чуткая речонка, врезавшаяся в мозг политических глубже, нежели ее темные воды в Подольский ил, и контрабандисты, подставы, пограничники, телеги и звезды звучали в его устах речитативом, более романтическим, чем музыка, под которую идет Кармен.

Рано или поздно Спекторский должен был столкнуться с Шютцем, ибо точно так же, как всюду попадал Шютц, чтобы лгать, блазнить и очаровывать, так всюду заносило Спекторского, чтобы очаровываться и поражаться.

В 1916 году, к которому относится собственное начало повествования, Шютц помнился Спекторскому не как-нибудь, но именно таким, каким он некоторое время стал казаться, месяцев пять спустя после их первого знакомства, в июле девятьсот девятого года.

Не то бросив свою новую жену, не то будучи ею брошен, он приехал из-за границы готовым морфинистом. Он проживал в меблированных комнатах под вымышленной фамилией. В то же время, под его истинною, велось дело об его освобождении от воинской повинности.

Днем он бывал занят. Он ездил в глазную лечебницу за белладонной. Знакомый врач заверял его, что, когда он к ним поступит на испытание, окулисты выдадут ему чистую отставку. Белым билетом это стали называть несколько позднее.

Положено, чтобы анютин глазок был котильонным бантом желто-лилового колера. Однако встречаются и сплошь фиолетовые, атропические. Эти всегда кажут-

ся ближе и больше, нежели они есть на самом деле. В этот период знакомства у Шютца были глаза без белков.

Зарницы окидывали город взглядом умственно отсталых. Их вспышки падали за шкафы, в чернильницы, в рюмки с карандашами. На всем лете, как отпечаток меланхолии на умалишенном, лежала пыль. Номера назывались «номера Воробьева». Удивительное впечатление производило это бесшумное совещание занавесок, тершихся у окон и вдруг перебежавших комнату с явственным запахом где-то переместившейся листвы. Случайные капли дождя мгновенно сохали. Кисею озаряло в полете, и она...

Спекторского преследовало ощущение, будто их разговоры происходят в чье-то определенное отсутствие. Они прислушивались. Ощущение не проходило. Иллюзии вызывались безгромными зарницами. Это были чтенья в отсутствие грозы.

II. ДЕВА ОБИДА

Шли годы. Они забывались. Прошло много лет. Много весен и зим. Забылось многое. Забылись лица.

Забылись змеи, при протоке которых орешник неслышно пошевеливал своими палыми, прозрачными клешнями. Забылись змеи, бывшие теми единственными струйками влаги, которые еще узнавала в ту страшную засуху уже добитая, кончавшаяся земля. Они текли, капля по капле, по всему Рухлову, и пошипывали, и по всему пути их следования вскрикивали, вскипали и мгновенно испарялись воробьи.

Миновало лето, во все продолжение которого под самыми настурциями, кидавшимися за каменный парапет бельведера, работала на отмелях Рухловского переката речная землечерпалка.

Миновал вечер, в который на грязнушке¹ до времени зажгли огни, и, отпыхтев в последний раз, она свернулась и ушла, залившись прощальной руладой частых, учащавшихся и потом редких и все редевших гудков.

По ее уходе вздохнули облегченно берега, и Ока всклянь, до ободков, налилась тишиной, сочной, как лоз-

¹ Г р я з н у ш к а — землечерпалка (авт.).

няк; грузной, как отжиманье кос, чуткой, как пьющая лошадь.

Миновал миг, в который луна, едва заглянув в затон, обернулась на призрак отдаленной полковой музыки, который внезапно всплыл вслед за ней неизвестно где.

Некоторое время необъяснимость явления еще отдавала чудесным. Вскоре же она была так велика, что уже не пугала и не настраивала. Она раздражала.

Беспричинное возбуждение овладело женщинами. Они толпились на каменной площадке в блузках, воспалявшихся, как от прохлады, посылали мужчин за шалями и, слушая это диво, глядели на плесы, по которым там и сям, как поплавки, уже заигрывали звезды.

А марш Преображенского полка, — ибо это был он и все его уже признали, — плыл и плыл неизвестно где, плыл и замирал, плыл и был как никогда печален.

Прошла вечность, пока над мысом, за который ушла грязнушка, стала показываться труба буксирного парохода, ничего, казалось бы, не зная о марше, и за долго, долго вытягивавшимся канатом, между камышей и звезд, между луною, лесом и тишиной встал гарный абрис баржи, шедшей прямо на парк, на змей, на Мюллера, на Виноградскую, на ее сестру, на Ольгу Дежневу.

Баржа была как баржа, на ней стояли сундуки, койки и козлы. На ней не было людей, и она ничего не объясняла.

Но уже чувствовалось, что музыка доносится с того берега, что солдаты идут лесом, сейчас выйдут на луг и встретятся со своим полковым скарбом, идущим водою.

Миновал час, смутный, как располагающийся лагерь, прерывистый, как пески в тумане, дичливый и ясный, как ключ, в течение которого посылали три раза лодку за офицерами, и каждый раз, что возвращались назад, ручной фонарь, раньше всех добежав по воде до берега, шевелил усами, обшаривал кусты и охалками швырял из-под них на берег плохо экипированных раков, которых на лету подхватывала огромная вековая ольха, беззубо склабившаяся над купальной.

Тогда раздавался разговор разной длительности и силы.

— Скачите, Кибирев!

— Зачем фонарь взял. Ставь на корму.

— Ау! — А? — Ничего не слы...!

— ...По... слее... дняя?

— ...Скажи: не — Еще сходи.— Таперича спущай.

Миновала ночь, потрясавшая парк все новыми и новыми голосами. Офицеры заночевали у владельца, предводителя дворянства Фрестельна. Здесь не осталось никого, кто бы не спросил их о том же, о чем их спрашивали по пути решительно все встреченные за день села и поместья, часовни, пустоши и люди. Но официальный указ о мобилизации еще не вышел. Этот долг неотменимого молчания был первым из целого моря новых чувств, открывшихся им другие сутки. Оно ставило их среди всех в положение мужчин между женщинами, взрослых между детьми. Объявлялся порядок вещей, в котором по суровому чину им надлежало иерархически следовать непосредственно за Господом Богом, а военному полю отдавались почести, подобающие небу на Ильин день.

Миновала ночь. На ее исходе горка пепла на блюде ждала только удобной минуты, чтобы провалиться со всеми окурками в желтый, до слез протабаченный чай. Того же ждала горка исхудалых облаков на востоке. Горка всклоченных волос хохлилась на мутной голове, сопевшей и натягивавшей одеяло.

Вдруг один зевнул, другой заговорил.

— Мне снился Киев. Серьезно. Мне снилось, что мы в Борках на даче ночью забрели с барышнями в музыкантскую команду. Солдаты спали. Это было в лесу. Но самое замечательное, это — трубы. Они пахли. Честное слово. Вы слышите, Валя!

— Да. Тише.

— Они лежали на траве, медные и светлые, сплошь в росе, и пахли, пахли. Знаете, как миндаль или, если сорвать повилику, — вишневой косточкой, синевой. А кругом — ночь. И какая глубина! Вы что, Валя?

— Я думаю, сегодня объявят. А? Спекторский? Мочи больше нет. Только этим и пьян, а тут молчи. Как вы думаете?

— Да, Валя.

— И еще тебя мытарят. Например, эта здешняя девочка. Пристала без короткого — скажи ей да скажи:— Это война? Ради Бога. — В Алексине застанем? Как вы полагаете?

— Наверное. Может, уже объявили. Просто мы не знаем. В пути. Мне думается.

— Это оттого, что вы ей проговорились.

Серел рассвет. Окурки ползли в чай. Облака таяли. Муха обжигала стекло зернами колкого, необмолоченного жужжання.

— Валя, это в «Полку Игореве» — Дева Обида?

— Да, кажется.

— Почему же именно — обида? Вам понятно?

— Это переводят — беда.

— Как это так — переводят? Слава те Господи, язык один. Там тоже что-то про трубы. Забыл.

Жужжала муха. Кадровые еще спали.

III. ЛЕСТНИЦА

У Спекторского был удивительный отец. Он числился членом какого-то правления. Дела давно забросил. Вращался в мире литераторов и профессоров. Чудил.

На звонок выбегал сам, часто из ванной или от стола, всплескивал руками, отшатываясь, обнимался, орал: «Как живем? Как живем? Как живем?» Потом, повернувшись к портьеру, потрясал кистями рук и гривою, как мельник в «Русалке», и кричал в глубь анфилады со вкладными, все уменьшавшимися коробами зимней оборчатой полутьмы: «N. N.! — А? Глаша! Катя! N. N.! — Катюша! N. N.! Но что же мы тут в дверях, как дураки, стали? Люди входят, снимают пальто, идут в калошах в столовую, в кабинет, в чай. Пожалте. Раздевайтесь. Снимайтесь. В столовую. Чай. А? Глаш. Кат...»

Глаша была прислуга, Катя — его сестра. Всякий свежий человек бессознательно загадывал. Вот если за всем этим он еще вдобавок вскочит на подоконник или еще что-нибудь, тогда, значит, сумасшедший. А пока шут его разберет, кажется только так.

Платья на тете Кате подплывали к полной шее, к горлу, приподымали подбородок, заливали лицо дружелюбно-страдальческой улыбкой. Сидели глубоко глаза, глаза тихой, легко изумляющейся меланхолички. Она была невысокого роста, ей сообщалось усилье говорящего, с какой бы легкостью он ни говорил, это усилье имело способность расти, расти, расти и к концу чужих слов обрываться сияющим кивком.

Четыре семьи знали друг о друге только через швейцара на светлой, просторной лестнице в два этажа, выходящей на одну из Кисловок.

— Прав, говорю, семинарист. Тысячу раз прав! Раз — случайность. Случайность — другой. Третий раз бац с колокольни — и не расшибся, — привычка. Привыкли ко всему. То ли еще будет. Привыкнем. Привычка дьяволом дана, привы... Звонок! Да не беги ты, Галочка.

Швейцар носил калачи и ходил за газетой. У швейцара были свинные и в то же время серафические глазки, голубенькие, как незабудки. В зимние вечера, когда, истопив у себя под лестницей, он чумел от жару, их затопляло слезинками русого лугового простодушья.

Если бы его порасспросить, он рассказал бы, что у Сергей Геннадьевича, пишут из Минского, слава тебе Господи, раздробленье ноги, а слава Богу в том смысле, что есть надежда. Значит, отвоевал. Увечья же между прочим никакого, только одно неравенство. Старый барин это может. Знакомства. Будь его воля, он бы его давно ослобонил, у них одного биенья сердца и то б за глаза стало: во как ходит, во, во. И не пришлось бы иттить. Ну, да сам не соглашался, совестно, думает, страм. Теперь же дело другое. Теперь должно скоро будет. Ждут.

Вьюга бушевала и гасла, гасла и разрасталась. Пролетая низко-низко, почти ныряя в снег, дома сбивали крыльями кровель фонари, раздавался звон, сыпалось битое стекло, и тогда, погружаясь в навек затихающий мрак, улица внезапно вся сразу освещалась стихийным свистом сухого, шуршащего гаруса. Тогда в седых клоках метели мелькали лица конных и пеших в низко спущенных на лоб касках, их заволакивало колоколами снега, они приближались и удалялись, плутали и гибли, но появлялись и исчезали так часто и бесследно, что нельзя было сказать, призраки ли это, или даже не они.

Всякий раз, как до лампы долетали уличные слухи о вьюге, лестница мягко взмахивала тенями перил, ступени распадались без шелеста, как карты, к кружку взвивался черный язычок копоти, зренье обострялось, зренье слабо.

От времени до времени слышалось:

— Спиридон!

— Что прикажете, барин?

— Спиридон, ты по какой, скажи, статье? Ты, собственно, чего гуляешь? Слав Бо, слав Бо, сделай, душенька, одолженье. Но по какой статье? Ты по глупости, что ли?

— Шутить изволите. Плоскоступы мы. Скоро ли, барин, Сергей Геннадьевич будут?

— Не знаю, душенька, не знаю. Ежели без депеши, то во всякий час. Ненароком. Врасплох, врасплох, Спиридон.

— Чего-с?

— Так, ты говоришь, буран?

— Очень страшный.

— Слышу, слышу. Слышу, душенька, и без тебя. Так не итти? Так мы так и запишем, что по глупости.

Или:

— Видишь, Спиридон, тоска у меня, — ты, душенька, не будь невежей и старшего не перебивай, — я вот про что — не женись, Спиридон. Женишься, сына на войну возьмут, и будешь вот, как я... по лестнице...

— Нужли век?

— На внуков хватит. На внуков. Никогда она не кончится! А кончится когда, говоришь? Седьмого марта. На будущий год, седьмого числа, помяни мое слово, — мир. А дверь ты на ночь того — от немцев.

Проходит час и другой. Через три часа Спиридон закручивает и гасит своего alter ego. На лестнице остается одна вьюга. Ей странен швейцар в подштанниках. Еще она молчит. Он засыпает. Она рыщет по всем маршам и колесом скатывается вниз.

Ночью, косо озаряемые снизу обоими Спиридонами, несравненно медленнее стариковых калош, по лестнице поднимаются ноги девятнадцать двадцатых с пристукиванием и припаданием, приличными такой... неправильной дроби.

IV. ВОЗВРАЩЕНИЕ

— Представь, так в цене и не сошлись. Не стоило и пускать. Я вот к тебе зачем, Сережа. Не странно ли, душа моя, дома ты, как-никак, четвертые сутки; сын мне родной как-никак; и — офицер; да и интересно ведь это, черт побери, — дьявольски; а между тем...

— Бросьте, папаша. Вы про войну? Так ведь я молчу не случайно. Есть причины. Как-нибудь расскажу. Как-нибудь потом. Когда надо будет.

— Сделай, душенька, одолжение. Я за язык тебя не тяну. Только, согласись, дико. Ну, ну, ну — будь по-твоему. Потом, потом. Напомню.

— Вот именно. Напомните. Условимся. Вы мне скажете: обида.

— Оби...? — Но послушай, душа моя, так не годится. Что за скверные загадки? Ведь-ведь-ведь у тебя Георгий. Ты его... Получил же ты его как-нибудь?

— Бедный. Вы не поняли. Я не так. Я не про такую обиду. В этом отношении все у меня и у всех — блестяще. Нет. Я вам как-нибудь расскажу — как рождаются народные песни.

1922





ВОЗДУШНЫЕ ПУТИ

Михаилу Алексеичу Кузмину

I

Под вековой шелковицею спала нянька, прислонившись к ее стволу. Когда огромная лиловая туча, встав на краю дороги, заставила умолкнуть и кузнечиков, знойно трещащих в траве, а в лагерях вздохнули и оттрепетали барабаны, у земли потемнело в глазах и на свете не стало жизни.

— Куды, куды! — поротой губой провыла на весь мир полоумная пастушка и, в предшествеии молодого бычка, волоча отдавленную ногу и маша, как молнией, дикой хворостиной, явилась в облаке мусора с того краю сада, где начиналась дичь: паслен, кирпич, мятая проволока, гнилой полумрак.

И она исчезла.

Туча окинула взглядом низкие запекшиеся жнивья. Они стлались до самого горизонта. Туча легко вскинулась на дыбы. Они простирались и дальше, за самые лагерь. Туча опустила на передние ноги и, плавно перейдя через дорогу, бесшумно поползла вдоль четвертого рельса разъезда. Кусты, пообнажав головы, всей насыпью двинулись за ней. Они текли, кланяясь ей. Она им не отвечала.

С дерева падали ягоды и гусеницы. Они отваливались, зачумев от жары и, втянувшись в нянин передник, переставали о чем-либо думать.

Ребенок дополз до водопроводного крана. Он полз уже давно. Он пополз дальше.

Когда, наконец, польет и обе пары рельсов полетят вдоль косых плетней, спасаясь от черной водяной ночи, спущенной на них; когда, бушующая, впопыхах она на бегу прокричит вам, чтобы вы ее не боялись, что ее зовут ливнем, любовью и еще как-то, я расскажу вам, что родители похищаемого мальчика с вечера вычистили свое пике и было еще очень рано, когда, бело-снежные, как на партию тенниса, они прошли темным еще садом и вышли к столбу с обозначением станции в то самое мгновение, как пузатая тарелка паровика, выкатываясь из-за огородничества, обволокла турецкую кондитерскую клубами желтого, одышлого дыма.

Они направлялись в порт встречать того гардемарина, который любил ее когда-то, был другом мужу и в это утро ожидался в город из учебного кругосветного плаванья.

Муж горел нетерпением поскорей посвятить приятеля в глубокий смысл еще не вовсе опостылевшего ему отцовства. Так бывает. Несложное происшествие едва ли не впервые столкнуло вас с прелестью самобытного смысла. Это столь ново для вас, что вот случится человек, обогнувший весь свет, всего навидавшийся и имеющий, казалось бы, что порассказать, а вам кажется, что в предстоящей встрече слушателем будет он, а вы — поражающе его ум трещоткой.

В противность мужу, ее, как якорь в воду, тянуло в железный лязг гаванной сутолоки, к рыжей ржавчине трехтрубных гигантов, в льющееся ручьями зерно, под

светлый плеск небес, парусов и матросок. Побуждения их были несходны.

Льет дождь, льет как из ведра. Я приступаю к обещанному. Над канавой трещат ветки орешника. Две фигуры бегут по полю. У мужчины черная борода. Косматая грива женщины бьется по ветру. У мужчины зеленый кафтан и серебряные серьги, на руках он держит восхищенного ребенка. Льет, льет как из ведра.

II

Оказалось, он давно уже произведен в мичманы.

Одиннадцать часов ночи. К станции подкатывает последний поезд из города. Досыта перед этим наплакавшись, он повеселел уже с закругленья и как-то расхлопотался. Теперь, забрав воздуха со всего околотка, вместе с листьями, песком и росой, влившимися в его разрывающиеся резервуары, он останавливается, бьет в ладоши и замолкает, дожидаясь ответного гула. Это должно будет стечь к нему со всех дорожек. Когда он его услышит, дама, моряк и штатский, все в белом, свернут с дороги на пешеходную тропку, и прямо перед ними из-за тополей всплывет ослепительный диск покрытой росой кровли. Они пройдут к изгороди, хлопнут калиткой и, ничего не разроняв из желобов, князьков и карнизцев, щекочущими сережками качающихся в ее ушках, железная планета станет закатываться по мере их приближения. Гул укатившего поезда разрастется неожиданно далеко и, обманывая себя и других, на время прикинется тишиной, а потом рассыплется дождем мелких замирающих обмылков. Однако выяснится, что вовсе это не поезд, а водяные ракеты, которыми потешается море. Из-за станционной роши на дорогу выйдет луна. И тогда, при взгляде на всю эту сцену, вам покажется, что она сочинена до крайности знакомым и постоянно забывающимся поэтом и что теперь еще ее дарят детям на Рождество. Вы вспомните, что раз как-то этот самый забор привиделся вам во сне, и тогда он назывался краем света.

У обмытого луною крыльца белелось ведро с краской и стояла малярная кисть, волосом вверх прислоненная к стене. Потом в сад растворили окно.

— Сегодня белили, — негромко произнес женский голос. — Вы чувствуете? Пойдемте ужинать.

И снова настала тишина. Она длилась недолго. В доме поднялась суматоха.

— Как? Как это — нету? Пропа-ал?! — одновременно восклицали сиплый, как ослабнувшая струна, басок и сверкающее истерикой женское контральто.

— Под деревом? Под деревом? Сию же минуту встать и толком. И не выть. Да отпусти ты руки мои, ради Христа. Господи, да что ж это такое? Тоша мой, Тошенька! Не сметь! Не сметь! В глаза?! Бессовестная, бесстыжая, дрянная! — И, перестав быть словами, звуки жалобно слились, осеклись и удалились. Их не стало слышать.

Ночь кончалась. Но до рассвета было далеко. Земля, как стогами, была уставлена формами, ошеломленными тишиной. Они отдыхали. Расстоянья между ними увеличились против дня; точно для того, чтобы лучше отдохнуть, формы разошлись и удалились. В промежутках между ними неслышно пыхтели и перефыркивались зябкие луга под насквозь потными попонами. Редко какая из форм оказывалась деревом, облаком или чем знакомым. Больше же это были неясные нагромождения без имен. Их слегка кружило, и в этом полуобмороке едва ли бы сумели они сказать, был ли только что дождь и перестал, или же он собирается и вот-вот начнет накрапывать. Их то и дело поколыхивало из бывшего в будущее, из будущего в бывшее, как песок в часто переворачиваемых песочных часах.

Но на далеком отлете от них, как белье, сорванное на рассвете порывом ветра с забора и занесенное черт знает куда, смутно мелькали на том краю поля три человеческие фигуры, и в противоположной от них стороне катился и перекатывался вечно испаряющийся отгул далекого моря. Этих четверых несло только из бывшего в будущее и назад никогда не возвращало. Люди в белом перебегали с места на место, нагибались и выпрямлялись, прыгивали во рвы и, скрывшись, выходили потом на межу в совсем другом месте. Находясь на больших расстояниях друг от друга, они перекрикивались и махали друг другу руками, и так как эти сигналы понимались всякий раз превратно, то тут же они принимались махать

по-иному, порывистой, досадливой и чаще в знак того, что знаков не поняли и они отменяются, и чтобы не возвращаться, а продолжать искать там, где искали. Стройная бурность этих фигурок производила такое впечатление, точно, задумав ночью играть в лапту, они мяч упустили и теперь шарят его по канавам и, найдя, игру возобновят.

Среди отдыхавших форм царило совершенное безветрие, и уже верилось в близкий рассвет; при взгляде же на этих людей, отрывистыми вихрями взлетающих над землей, можно было подумать, что поляну взбило и встрепало ветром, потемками и тревогой, как каким-то черным гребешком о трех сломанных зубьях.

Существует закон, по которому с нами никогда не может быть того, что сплошь и рядом должно приключаться с другими. Правило это не раз приводилось писателями. Неопровержимость его состоит в том, что, пока еще нас узнают друзья, мы полагаем несчастье поправимым. Когда же мы проникаемся сознанием его непоправимости, друзья перестают узнавать нас, и, точно в подтверждение правила, мы сами становимся другими, то есть теми, которые призваны гореть, разоряться, попадать под суд или в сумасшедший дом.

Пока на няню вскидывались здоровые еще люди, дело представлялось им в том, что ли, виде, что от горячности их расправы зависело войти потом в детскую и, облегченно вздохнув, найти в ней мальчика, водворенного на место размерами их испуга и огорчения. Зрелище пустой кровати спустило с их голосов кожу. Но и с ободранной душой, кинувшись сперва шарить по саду, а потом все дальше и дальше отходя в своих розысках от дому, они долго еще были людьми нашего десятка, то есть искали, чтобы найти. Однако сменялись часы, менялась в лице своем ночь, менялись и они, и теперь, на ее исходе, это были совершенно неузнаваемые люди, переставшие понимать, за какие это грехи и для чего, не давая им отдышаться, жестокое пространство продолжает таскать и переметывать их из конца в конец по той земле, на которой им сына уже больше никогда и никак не видать. И они давно позабыли о мичмане, перенесшем свои поиски по ту сторону оврага.

Ради этого ли спорного наблюдения скрывает автор от читателя то, что ему так хорошо известно? Ведь лучше всякого другого знает он, что лишь только в поселке откроют булочные и разминутся первые поезда, как слух о печальном происшествии облетит все дачи и укажет наконец близнецам-гимназистам с Ольгиной, куда им доставить своего безыменного знакомца и трофей вчерашней победы.

Уже из-под деревьев, как из-под низко надвинутых клобуков, выбивались первые начатки неочнувшегося утра. Светало приступами, с перерывами. Морского гула вдруг как не бывало, и стало еще тише, чем прежде. Неизвестно откуда берясь, слащавый и учащающийся трепет пробегал по деревьям. Чередом, пошпалерно, отшлепав забор своим потным серебром, они снова надолго впадали в сон, только что нарушенный. Два редких алмаза розно и самостоятельно играли в глубоких гнездах этой полутемной благодати: птичка и ее чириканье. Пугаясь своего одиночества и стыдясь ничтожества, птичка изо всех сил старалась без следа раствориться в необозримом море росы, неспособной собраться с мыслями по рассеянности и спросонья. Ей это удавалось. Склонив головку набок и крепко зажмурясь, она без звука упивалась глупостью и грустью только что родившейся земли, радуясь своему исчезновению. Но сил ее не хватало. И вдруг, прорвав ее сопротивление и выдавая ее с головой, неизменным узором на неизменной высоте зажегся холодной звездой ее крупный щебет, упругая дробь разлеталась иглистыми спицами, брызги звучали, зябли и изумлялись, будто расплескали блюдец с огромным удивляющимся глазом.

Но вот стало светать дружнее. Сад весь наполнился сырым белым светом. Тесней всего свет этот льнул к оштукатуренной стене, к усыпанным хрящом дорожкам и к стволам тех фруктовых деревьев, которые были обмазаны каким-то купоросным, беловатым, как известь, составом. И вот, с таким же мертвенным налетом на лице, по саду проплелась только что вернувшаяся с поля мать ребенка. Она не останавливаясь, подкашивающимся шагом прошла наперерез к задам, не замечая, что топчут и в чем тонут ее ноги. Опускающиеся и поднимающиеся грядки бросали ее вверх и вниз, как будто ее волнение

еще нуждалось во взбалтывании. Перешедши огород, она приблизилась к той части забора, за которой виднелась дорога к лагерям. К этому месту направлялся мичман, собираясь перелезть через ограду, чтобы не обходить сада кругом. Зевающий восток нес его на ограду, как белый парус сильно накренившейся лодки. Она дожидалась его, держась за заборные балясины. Видно было, что она собирается что-то сказать и полностью приготовила свое короткое слово.

Та же близость недавно пролившегося или ожидающегося дождя, что и наверху, чувствовалась на берегу моря. Откуда мог происходить гул, всю ночь слышавшийся по ту сторону полотна? Море лежало, холодея, как нартученный испод зеркала, и лишь легко спохватывалось и всхлипывало по ободкам. Горизонт уже желтел болезненно и злобно. Это было простительно заре, прижавшейся к задней стене огромного, на сотни верст загаженного хлева, где во всякую минуту могли взбеситься и подняться со всех концов волны. Теперь же они ползали на брюхе и чуть заметно терлись друг о дружку, словно несметное стадо черных и скользких свиней.

На берег из-за скалы вышел мичман. Он шел быстрым и бодрым шагом, иногда перескакивая с камня на камень. Только что он узнал наверху нечто ошеломляющее. Он поднял с песка плоский оглодыш черепицы и плашмя запустил его в воду. Камень как по слюне рикошетом проскользнул вкось, издав тот же неуловимый младенческий звук, что и все мелководье. Только что, когда, совершенно отчаявшись в поисках, он повернул к даче и стал подходить к ней со стороны поляны, как Леля подбежала изнутри к забору и, дав ему подойти вплотную, быстро проговорила:

— Мы больше не можем. Спаси! Найди его. Это твой сын.

Когда же он схватил ее за руку, она вырвалась и убежала, а когда он перелез в сад, то нигде уже не мог ее найти. Он снова поднял камень и так, не переставая швырять их, стал удаляться и скрылся за выступом скалы.

А позади него продолжали жить и шевелиться его собственные следы. Им тоже хотелось спать. Это полз,

осыпался, вздыхал и переворачивался с боку на бок потревоженный хрящ и, погрохатывая, укладывался поудобней, чтобы теперь уже выспаться на полном покое.

III

Прошло больше пятнадцати лет. На дворе смеркалось, в комнатах было темно. Неизвестная дама в третий уже раз спрашивала члена президиума губисполкома, бывшего морского офицера Поливанова. Перед дамой стоял сучающий солдат. В окно прихожей виднелся проходной двор, заваленный горами кирпича под снегом. В самой его глубине, где когда-то была помойная яма, а теперь высилась гора давно не свозившегося мусора, небо казалось дремучим запуском, выросшим по скатам этого скопища дохлых кошек и консервных жестянок, которые воскресали в оттепели и, отдышавшись, принимались двошить былыми веснами и каплющим, чиликающим, тряско погромыхивающим привольем. Но достаточно было отвести взгляд от этого закоулка и поднять глаза выше, чтобы поразиться тем, до чего это небо ново.

Нынешняя его способность разносить круглые сутки с моря и от вокзала гул оружейной и орудийной пальбы отодвинула далеко назад его воспоминанье о тысяча девятьсот пятом годе. Словно шоссейным катком из конца в конец укатанное запойной канонадой и теперь ею окончательно утрамбованное и убитое, оно безмолвно хмурилось и не двигаясь куда-то уводило, как это зимою свойственно всякой ленте однообразно разматывающейся рельсовой колеи.

Что же это было за небо? Оно и днем напоминало образ той ночи, которую мы видим в молодости и в походе. Оно и днем бросалось в глаза, и, безмерно заметное, оно и днем насыщалось опустошенной землей, валило с ног сонливых и подымало на ноги мечтателей.

Это были воздушные пути, по которым, как поезда, ежедневно отходили прямолнейные мысли Либкнехта, Ленина и немногих умов их полета. Это были пути, установленные на уровне, достаточном для прохождения всяческих границ, как бы они ни назывались. Одна из линий, проложенная еще во время войны, сохраняла свою прежнюю стратегическую высоту, навязанную строителям природою фронтов, над которыми ее пролагали. Эта старая

военная ветка, где-то в своем месте и в какие-то свои часы пересекавшая границу Польши и потом Германии, — тут, у своего начала, на глазах у всех выходила из границ разумения посредственности и ее терпенья. Она проходила над двором, и он пугался далекости ее назначения и ее угнетающей громоздкости, как всегда пугается рельсового пути врассыпную от него бегущее предместье. Это было небо Третьего интернационала.

Солдат отвечал даме, что Поливанов еще не ворочался. Скука трех родов слышалась в его голосе. Это была скука существа, привыкшего к жидкой грязи и очутившегося в сухой пыли. Это была скука человека, сжившегося в заградительных и реквизиционных отрядах с тем, что вопросы задает он, а отвечает, сбиваясь и робея, такая вот барыня, и скучавшего оттого, что порядок образцового собеседования тут перевернут и нарушен. Это была, наконец, и та напускная скучливость, которою придают вид сущей обыкновенности чему-нибудь совершенно небывалому. И, превосходно зная, каким неслыханным должен был казаться барыне порядок последнего времени, он напускал на себя дурь, точно о ее чувствах и не догадывался, и отродясь ничем другим, как диктатурой, и не дышал.

Вдруг вошел Левушка. Что-то подобное ляжке гигантских шагов с размаху внесло его на второй этаж с воздуха, откуда пахнуло снегом и неосвещенной тишиной. Ухватившись за этот предмет, оказавшийся портфелем, солдат остановил вошедшего, как останавливают карусель на полном ходу.

— Вот какое дело, — обратился он к нему, — из пленбежа были.

— Это опять насчет венгерцев?

— Ну да.

— Так ведь сказано им, на одних документах партия не уедет!

— Ну, а я про что? Я это очень хорошо понимаю, что по случаю пароходов. Я так им и объяснял.

— Ну, и что же?

— «Мы, говорят, и без вас знаем. Ваше дело — бумаги чтобы в полном порядке, вроде как для посадки. А там, как сказать, дело текущее». Им помещенье освободить.

— Так. А еще что?

— А боле ничего. Только и толку, что бумаги им, помещенье, — говорят.

— Да нет! — перебил Поливанов. — Зачем повторять! Я не про то.

— С Канатной пакет, — сказал солдат, назвав улицу, где помещалась Чека, и, приблизясь к нему, понизил голос до шепота, как на разводе.

— Да что ты! Так. Не может быть! — равнодушно и рассеянно проговорил Поливанов.

Солдат отошел от него. Мгновенье оба стояли молча.

— Хлеба принесли? — неожиданно кисло спросил солдат, потому что по форме портфеля не нуждался в ответе, и прибавил: — Да вот еще тут... гражданка к вам.

— Так, так, так, — в том же рассеянии протянул Поливанов.

Канат гигантских шагов дрогнул и натянулся. Портфель пришел в движение.

— Пожалуйте, товарищ, — обратился он к даме, приглашая ее в кабинет. Он ее не узнал.

По сравнению с темнотою передней здесь был полный мрак. Она двинулась следом за ним и за дверьми остановилась. Вероятно, тут был ковер во всю комнату, потому что, едва сделав два или три шага, он куда-то пропал, а потом такие же шаги раздались в противоположном конце этих потемок. Послышались звуки, последовательно убиравшие столешницудвигающимися стаканами, сахарным и рафинадным ломом, частями разобранного револьвера, шестигранными карандашами. Он тихо водил рукой по столу, что-то перекатывая и растирая, и искал спичек. Воображение только уж было перенесло комнату, увешанную картинами, уставленную шкапами, пальмами и бронзой, на один из проспектов бывшего Петербурга и стояло с полной пригоршней огоньков в вытянутой руке, чтобы прометнуть их во всю длину перспективы, как внезапно ударил телефон. Его булькающее дребезжанье, отзывавшееся полем или захолустьем, мгновенно напомнило, что проволока пробралась сюда городом, погруженным в абсолютный мрак, и дело происходит в провинции под большевиками.

— Да, — вероятно прикрыв глаза рукою, отвечал недовольный, нетерпеливый и смертельно утомленный человек. — Да. Знаю. Знаю. Вздор. Проверь по линии. Вздор. Я сносился со штабом. Жмеринка отвечает уже с

час. И это все? Да, буду и скажу. Да нет, через минут двадцать. Все?

— Ну-с, товарищ, — с коробком в одной руке и сенью каплей плюющего серного пламени в другой обратился он к посетительнице.

И тогда, почти одновременно со стуком упавших и рассыпавшихся спичек, раздался ее отдельный, волнующийся шепот.

— Леля! — сам не свой вскричал Поливанов. — Не может быть — виноват. Да нет же — Леля?!

— Да... да... Здра... Дайте успокоюсь... Вот бог привел, — однообразно задыхаясь и плача, шептала она.

Вдруг все исчезло. При свете затепленной масленки стояли друг против друга съеденный острым недосыпаньем мужчина в короткой куртке нараспашку и грязная, давно не умывавшаяся женщина с вокзала. Молодости и моря как не бывало. При свете масла ее приезд, смерть Дмитрия и дочки, о существовании которой он не знал, и, словом, все рассказанное ею до огня оказалось удручающе по своей обязательности правдой, приглашавшей слушателя и самого в могилу, коль скоро его сочувствие не пустые слова. Взглянув на нее при свете масла, он тотчас же припомнил ту историю, по причине которой, встретясь, они сразу не расцеловались. И, невольно усмехнувшись, он подивился живучести таких предубеждений. При свете масла рухнули все ее надежды на убранство кабинета. Человек же этот показался ей так чужд, что этого чувства нельзя было приписать никакой перемене. Тем решительнее приступила она к своему делу и опять, как когда-то, бросилась его исполнять слепо и наизусть, как чужое порученье.

— Если вам дорог ваш ребенок... — так начала она.

— Опять! — мгновенно вспыхнул Поливанов и пошел говорить, говорить, говорить — быстро и безостановочно.

Он говорил, точно статью писал — с «которыми» и с запятыми. Он похаживал по комнате, и останавливался, и разводил и потрясал руками. В промежутках, морща и собирая тремя пальцами кожу над переносицей, он бередил и растирал это место, как очаг иссякающего и разгорающегося негодования. Он умолял ее перестать считать, что люди ниже ее выдумок и ими можно помыкать себе в

угоду. Он заклинал ее всем, что свято, не нести никогда больше этой околесной, особенно после того, что и сама она тогда же в обмане созналась. Он говорил, что если даже и допустить эту чушь, так ведь она достигает совсем обратной цели. Нельзя никак вдолбить человеку, что то, чего у него минуту назад не было и вдруг явилось, есть не находка, а утрата. Он припоминал, какую беззаботность и свободу сразу испытал он, лишь только поверил ее басне, и как тотчас же пропала у него всякая охота к дальнейшему обшариванию рвов и канав, а захотелось купаться. Так что даже если бы времена потекли вспять, попробовал съязвить он, и снова стало бы нужно искать одного из членов ее семейства, то и в таком случае он стал бы себя беспокоить только ради нее, или игрека, или зета, а никак не для себя или ее смехотворных...

— Вы кончили? — сказала она, дав ему уходить. — Ваша правда. Я от слов своих отступилась. Неужели вы не понимаете? Пусть это подло и малодушно. Я была без ума от радости, что мальчик нашелся. И как чудесно. Вы помните? Стало ли бы у меня после этого духу разбивать свою и Дмитриеву жизнь? Я и отреклась. Но речь не обо мне. Он ваш. Ах, Лева, Лева, и если бы вы знали, в какой он сейчас опасности! Не знаю, как и начать. Давайте по порядку. С того дня мы не видались с вами. Вы его не знаете. А он так доверчив. Это его когда-нибудь погубит. Есть такой негодяй, авантюрист, — впрочем, бог ему судья, — Неплошаев, Тошин товарищ по корпусу...

При этих словах шагавший по комнате Поливанов встал как вкопанный и перестал ее слышать. Она назвала имя, среди многого другого произнесенное недавно шептавшимся солдатом. Он знал это дело. Оно было безнадежно для обвиняемых, и дело было только в часе.

— Он действовал не под своей фамилией?

Она побледнела, услышав этот вопрос. Значит, он знает больше нее, и дело хуже, чем даже она себе рисовала. Она забыла, в чьем стане находится, и, вообразив, что весь грех в вымышленном имени, бросилась выгораживать сына с совсем ненужной стороны:

— Но, Лева, не мог же он открыто отстаивать...

И опять он перестал ее слышать, поняв, что ее ребенок может крыться за любой из фамилий, известных ему по бумагам, и стоял у стола, и куда-то звонил, и что-то узнавал, и от соединения к соединению уходил все глубже

и дальше в город и в ночь, пока перед ним не разверзлась пропасть последней и окончательно правильной информации.

Он оглянулся кругом. Лели в комнате не было. Он испытывал страшную ломоту в глазницах, и когда обводил взглядом комнату, она плыла перед ним сплошными сталактитами, ручьями. Он хотел собрать кожу на переносице, но вместо этого провел рукой по глазам, и от этого движения сталактиты заплясали и стали расплываться. Ему легче было бы, если бы спазмы их не были так часты и беззвучны. Потом он нашел ее. Она громадную неразбившуюся куклой лежала между тумбочкой стола и стулом на том самом слое опилок и сора, который, в темноте и пока была в памяти, приняла за ковер.

1924





ПОВЕСТЬ

I

В начале 1916 года Сережа приехал к сестре в Соликамск. Вот уже десять лет передо мною носятся разрозненные части этой повести, и в начале революции кое-что попало в печать.

Но читателю лучше забыть об этих версиях, а то он запутается в том, кому из лиц какая, в окончательном розыгрыше, досталась доля. Часть их я переименовал; что же касается самих судеб, то как я нашел их в те годы на снегу под деревьями, так они теперь и останутся, и между романом в стихах под названием «Спекторский», начатым позднее, и предлагаемой прозой разноречья не будет: это — одна жизнь.

Собственно, приехал он не в Соликамск, а в Усолье. Город белел и грудился на другом берегу, и с заводского берега, из кухни заново отремонтированной докторовой

квартиры, с первого же дня очень легко было понять, чем он стоит, и для чего, и с какой стати. Крутой торговый камень собора и казенных зданий мерцал и пасся, шарахнутый врассыпную подрывными припасами сытости, порохом довольства. Сводя в опрятные квадраты это заречное зрелище руки Грозного и Строгановых, оконца у доктора сияли так, точно именно в честь этой дали было сбито и мешочками сливочной пенки развезено по дереву свежее масло малярных белил. Так оно, впрочем, и было, — с худых, прорешливых палисадников конторской слободы нечего было взять.

По кустам, воронам в подмогу, ковырялась оттепель. В воде черных зажор стояли одинокие звуки. Свистки маневренного паровика на Веретьи сменялись голосами играющих детей. Таратор топором с ближайшего эксплуатационного квартала мешал вслушаться в смутную органную возню далекого завода. Она скорее воображалась, внушенная видом его пяти дымовых шапок, нежели действительно могла быть слышима. Ржали лошади, лаяли собаки. Шепотинкой на нитке повисал, оборвавшись, крик сиплого петушка. А с далекого притока, где из-под сугробов торчали сонные усы спеленутого лозняка, исподволь набегала задорная скоропалка динамо-машины. Звуки были скудны и казались пьяными, потому что плавали по колеям. Между ними торжественно и разгульно разверзались умолчанья зимней равнины. Она таила где-то невдалеке и, по здешним уверениям, чуть ли не в соседней деревне первые отроги Урала. Она их прятала, как дезертиров.

Брат столкнулся с сестрой на ее выходе, — она собралась куда-то по хозяйству. Позади нее стояла рыластая девочка в криво стянутом полушубке. Сестра швырнула кошелку на подоконник, и, пока они обнимались и шумели, девочка, с чемоданом в подхват, болтая вихлявыми валенками, вихрем понеслась в глубь комнат, на крену, как пущенный обруч, обегая стол в столовой. Скоро под градом сестриных расспросов Сережа стал казанским мылом неловко и отвычно отмывать грязные следы двухсуточной бессонницы, и тут, с полотенцем на плече, сестра увидела, как он вырос и исхудал. Потом он побрился. Самого Калязина в этот служебный час дома не было, а его бритвенница, принесенная Наташей из спальни, смутила Сережу полностью набора. В светлой столовой благодатно пахло колбасой. В черный лак фортепьян разъяренно протяги-

вались кулачки тринадцатипалой пальмы, и ломилась, грозя высадить доску, медная ярь привинченных подсвечников. Поймав взгляд Сережи, скользнувший по туалетно-молочным отливам клеенки, Наташа сказала:

— Это от Пашина предшественника. Обстановка вся казенная. — Потом, замявшись, прибавила: — Страшно интересно, как ты найдешь детей. Ты ведь их знаешь только по карточкам.

Их с минуты на минуту ждали с гулянья.

Он принялся за чай и, подчиняясь Наташе, выложил ей, что смерть матери потрясла его полной неожиданностью. Скорей он ее страшился тем летом, когда, как он выразился, она действительно была при смерти и он туда ездил.

— Как же, перед экзаменами. Мне писали, — вставила Наташа.

— Ах, да! — подхватил он, чуть не поперхнувшись. — Ведь я и в самом деле их сдавал! Чего стоило их сдать, а ведь университет как тряпкой стерло.

Продолжая уминать клеклый мякиш калача и отхлебывая из стакана, он рассказал, как приступил было к подготовке весной, вскоре после ее московского гощения, но пришлось бросить: болезнь матери, поездка в Питер и многое еще чего (тут он снова все это перечислил). Но потом за месяц до зимней сессии одумался, и всего труднее было с постоянными отвлечениями, с детства вошедшими в навык. Его обидело, что в словах о «десяти талантах, что хуже одного, да верного», сестра не признала поговорки, пущенной по семье покойным отцом и нарочно про него.

— Ну, как же? — спеша замять неловкость, спросила Наташа.

— Чего — как же? Гнал день и ночь, вот и все. — И он стал уверять, что никакое наслаждение не сравнится с такой гонкой, причем назвал ее *экзальтацией недосуга*. По его словам, только мозговой этот спорт и помог ему справиться с природными искушениями, главное же — с музыкой этой, которая с тех пор и в загоне. И чтобы сестра не успела опять чего вставить, он быстро и без видимого перехода сообщил, что Москва встретила войну в разгаре строительной горячки, и сперва работы продолжались, а теперь кое-где и вовсе приостановлены, так что много домов останутся навсегда недостроенными.

— Отчего же навсегда? — возразила она. — Разве ты ей конца не чаешь?

Но он отмолчался, полагая, что тут, как и везде, разговор о войне, то есть о полной непредставимости мира, будет не однажды и Калязин, вероятно, главным по этой части разливальщиком.

Вдруг ей бросилась в глаза нездоровая догадливость, с которой Сережа все чаще и удачнее стал предупреждать ее любопытство. Тогда она поняла, как он измучен, и, бессознательно спасаясь от этого чтенья в мыслях, предложила ему раздеться и соснуть. Тут им неожиданно помешали. Раздалось слабенкое дребезжание звонка. Полагая, что это дети, Сережа сунулся было за сестрой, но, отмахиваясь и что-то бормоча, Наташа скрылась в спальню. Сережа подошел к окну и, заложив руки за спину, уставился глазами в пространство.

В состоянии победоносной рассеянности он пропустил мимо ушей неистовства, начавшиеся рядом. Надрываясь из последних сил и приложив руку к трубке, Наташа вдаль била какие-то любезности в те самые просторы, что стлались перед братом. К бесконечному забору, тянувшемуся в конце слободы, равномерно и увесисто уходил человек, замечательный лишь тем, что кругом не было ни души и никто ему не попадался навстречу. Следя без смысла за удалявшимся, Сережа мысленно увидел лесистый кусок недавно совершенного пути. Он увидел станцию, пустой буфет с досками на козлах вместо стойки, горы за семафором и прохаживающихся, бегающих взапуски и борющихся на той бугристой снеговине, что отделяла холодные вагоны от горячих пирогов. В это время шагавший миновал забор и, свернув за него, пропал из виду.

Между тем в спальне произошли перемены. Крик по телефону кончился. Облегченно откашливаясь, Наташа осведомлялась, когда будет готова кофточка, и объясняла, как ее шить.

— Ты догадался? — сказала она, войдя и уловив внимательность братнина взгляда. — Это — Лемох. Он тут по делам своего завода и вечером собирается к нам.

— Какой Лемох? Зачем ты кричишь? — вполголоса перебил ее Сережа. — Можно было предупредить. Когда громко празднословишь, точно один в квартире, а за дверью человек работает, ему обидно. Надо было сказать, что у тебя портниха.

Недоразуменье сперва пошло в рост, а потом сполна разъяснилось. Оказалось, что никого в спальне нет, а

когда Наташу разъединили с собеседником, еще более отдаленным, она разговорилась с телефонисткой, выключившей линию и сидевшей далеко в конторе, на другом конце поселка.

— Милейшая девушка, — прибавила Наташа. — Между прочим шьет: жалованья не хватает. Она тоже будет. Хотя неизвестно, к ней с фронта приехали.

— Знаешь, — неожиданно объявил Сергей, — я, пожалуй, и правда прилягу.

— Вот и хорошѣ, — быстро согласилась сестра и повела его в комнату, с самого Сережина письма для него приготовленную. — Удивительно, как тебя освободили, — заметила она на ходу, вполоборота оглядывая брата, — ведь ты нисколько не хромаешь.

— Вот, представь, и ведь без возражений, всей комиссией. Что ты делаешь? — воскликнул он, увидев, что сестра собирается ему стлать и стягивает с кровати покрывало. — Оставь, я — одевшись. Не надо.

— Ну, как знаешь, — уступила она и, оглядев по-хозяйски комнату, сказала с порога: — Спи вволю и не стесняй себя; я позабочусь, чтобы не шумели; в крайности мы пообедаем одни, а тебе согреют. А вот что ты Лемоха забыл, так это с твоей стороны непростительно; очень-очень интересный человек и достойный и очень тепло и правильно о тебе отзывался.

— Но что же мне делать? — взмолился Сергей. — Никогда не видал и в первый раз слышу.

Ему показалось, что и дверь за сестрой затворилась с тихой укоризной. Он отстегнул помочи и, присев на кровать, стал распускать шнурки на ботинках.

С тем же поездом на короткую побывку в Веретье приехал отпускной матрос с миноносца «Новик». Звали его Фардыбасов. Он отнес прямо со станции свой сундучок в контору, чмокнулся с родственницей, там служившей, и тут же, круша лед и разбрасывая воду, крупным шагом направился к Механическому. Тут он произвел фурор своим появлением. Однако, не найдя в обступившей его толпе того, кого шел добывать, и узнав, что Отрыганьев теперь работает на одном из новых, недавно поставленных производств, он тем же шагом повалил на Второй подсобный, который вскоре и отыскался за складскими заборами, в вилке узкоколейки. Она гаденькой каемкой ползла по краям срывчатой низины и пугала своей видимой безза-

щитностью, потому что у лесной опушки вдоль нее похаживал часовой с ружьем. Сбежав с дороги, Фардыбасов полетел полем вниз, перемахивая с бугра на бугор и скрываясь в завялых яминах летнего происхождения. Потом он стал подыматься на изволок, где стоял деревянный барак, отличавшийся от обыкновенного сарая только тем, что забрасывал частыми паровыми пышками, как снежками, тишину, здесь царившую.

— Отрыганьев! — подбежав к порогу и хлопнув ладонью по верее, гаркнул отпускной в глубину строения, где несколько мужиков переволакивали с места на место какие-то кули и бушевал, одним лишь этим тесом, как чехлом, охраненный от поля, здоровенный двигатель с застывшим в молниеносном полете маховиком. Под ним плясал, чмякал стержнями и приседал, проваливался под пол и выбрасывал назад вывихнутую голяшку сумасшедший рычаг шатуна, одной этой дрыготней державший в страхе все сооруженье.

— Каких соков дерьмо гонишь? — с первого же приветствия спросил приезжий колченогого увальня, который вырос у двери, впривалку с сухой ноги на здоровую приковыляв от машины.

— Еремка! — только и успел выпалить подошедший, сразу хваченный приступом горького, крупной крошки, махорочного кашля. — Хролофор, — пропитым до чахотки голосом прогорланил он и только мотнул рукой, зайдясь пароксизмом нового скрипучего удушья.

— Смолосады, подумаешь! — любовно усмехнулся матрос, дожидаясь конца приступа.

Но не дождался, потому что в это время двое из татар, отделясь от остальных, быстро вскарабкались друг за другом по приставной лестнице наверх и стали сыпать известь в мешалку, отчего поднялся невообразимый грохот и все помещенье заволокло клубами белой раскраивающейся пыли. И вот в этом облаке Фардыбасов принялся орать, что его время писарь съел, — считанные, дескать, дни, — и стал тут же подбивать приятеля на то самое, за чем ломил сюда без дороги со станции, то есть на охоту на весь свой отпускной срок.

А по прошествии некоторого времени, проведенного в любовном глумленьи над подучетными, военнообязанными и заводами, работающими на оборону, как уходить, Фардыбасов рассказал, как недавно, под самое Рождест-

во, они ночью на выходе из Финского напоролась на минное поле германца и взорвались, что было враньем и бахвальством только в личностях, потому что рассказчик был с «Новика», а подымал хоботá, рыл пучину и опускался, заводя на себе водяную петлю дикой глубины и тугости, другой миноносец отряда.

Темнело, подмораживало, в кухню подавали воду. Приходили дети, на них шикали. Временами извне к дверям подкрадывалась Наташа. Но Сереже не спалось, он только притворялся спящим. За стеной, на стороне, всем домом перебирались из сумерек в вечер. Под вещевую «Дубинушку» полов и ведер Сережа думал, как все будет неузнаваемо при огне, в конце передвиженья. Точно он в другой раз приедет, и притом выпавшись, что всего важнее. А предвкушаемая новизна, уже кое в чем вызванная лампами к существованию, копошилась и погрохатывала, переходя от воплощенья к воплощенью. Она детскими голосками спрашивала, где дядя и когда он опять уедет, и, наученная делать страшные глаза, сама уже затем проникновенно шикала на ни в чем не повинную Машку. Она стаей материнских увещаний носилась в суповом пару, шлепая крыльями по передникам и тарелкам, никакие препирательства ей не помогли, когда ее снова укутали, кропотливо и раздраженно, и стали выпроваживать на новую прогулку, торопя из сеней, чтобы не напускать в дом холоду. И не скоро, многим позднее, воплотилась она в басистое вторженье Калязина и его палки, и его глубоких, за десять лет брака все еще не поддавшихся никакому вразумленью, калош.

Чтобы примануть сон, Сережа упорно старался увидеть какой-нибудь летний полдень, первый, какой подвернется. Он знал, что если бы такой образ ему явился и он его удержал, виденье склеило бы ему веки и храпом бросилось бы в ноги и в мозг. Но он лежал и давно уже держал зрелище июльского жара перед самым носом, как книжку, а сон все не жаловал. Случилось так, что лето подобралось четырнадцатого года, и это обстоятельство нарушило все расчеты. На это лето нельзя было глядеть, всасывая заволоченными глазами усыпительную явственность, а приходилось думать, переносясь от воспоминанья к воспоминанью. Та же причина разлучит и нас надолго с уольской квартирой.

Итак, именно отсюда давались порученья Наташе, когда с их списком, слепым от мелких приписок и частого перечеркивания, она бегала по Москве в свой приезд весной тринадцатого года. Она останавливалась у Сережи, и теперь по запаху строевого леса, по гутору окружной тишины и по состоянию дорог в поселке он воображал, что уже видит в лицах, кого одолжала сестра, по целым дням пропадая из комнаты на Кисловке. Служащие действительно жили дружно, одной семьей. Ее поездка тогда была даже оформлена в служебную, с мужа на жену переписанную командировку. Такой вздор был мыслим только потому, что все звенья отвлеченной цепи, кончавшейся суточными и прогонными, были живыми людьми, поголовно между собою породненными той теснотой, в какой всем им, как на островке, приходилось жаться на своей разнотемной грамотности среди трехтысячеверстных повально неграмотных снегов. Пользуясь оказией, дирекция облекла ее даже полномочьями на уяснение каких-то, впрочем, пустяковейших и легко разрешимых по почте неулаженностей, почему Наташа и хаживала на Ильинку, придавая этим посещениям очень двойственное обличье. Она заключала эти прогулки в подчеркнуто комические кавычки, в то же время давая понять, что в кавычки ею заключены дела министерской важности. А в свободные часы, и больше по вечерам, она навещала своих и мужниных друзей былой московской поры. С ними она ходила по театрам и концертам. Подобно отлучкам в правление, она и этим развлечениям сообщала видимость дела, но только такого, которое никаких кавычек не допускало. Это оттого, что с людьми, с которыми она теперь делила посещение Художественного и Корша, ее связывало когда-то большое прошлое. Доступное, при желаньи, восхищенным пониманием при каждом новом перетряхиваньи стариной, оно теперь оставалось единственным доводом их взаимного друг до друга касательства. Они встречались, крепко спаянные его давностью, и одни стали врачами, другие инженерами, третьи же пошли по адвокатуре. Те, которым не пришлось возобновить временно прерванное ученье, работали в «Русском слове». Все обзавелись семьями, у всех, кроме определившихся по литературной части, были дети. Не все, разумеется, были похожи друг на друга, и жили никак не кучею, а врозь, кто на какой улице, и, отправляясь к одним, Наташа с Кисловки выходила к оста-

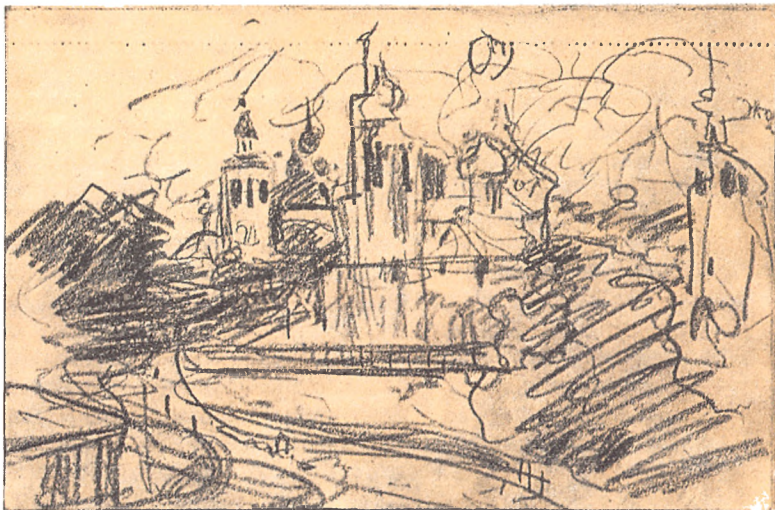
новке трамвая на Воздвиженку, а собравшись к другим, шла пешком по Газетному, Камергерскому и так далее, пересекая улицы одну другой кривее, жилистей и толкучей.

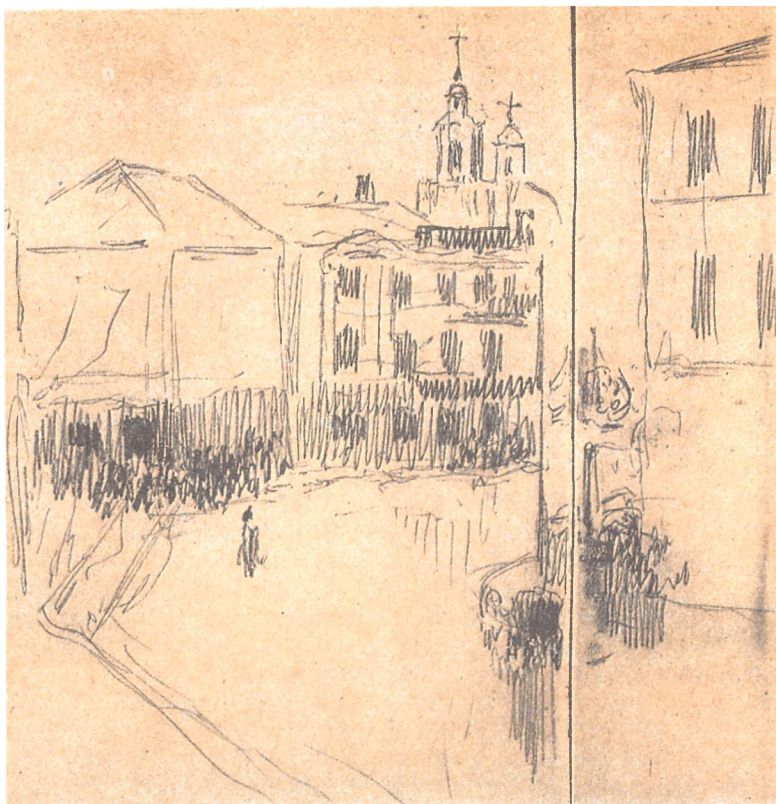
Надо также сказать, что, за исключением одного раза в Георгиевском переулке, куда надо было завернуть за друзьями по дороге на сборный концерт с чтением Чехова и певцами, в этот Наташин наезд между знакомыми о прошлом не говорилось. Да и в этот раз, едва Наташа развспомнилась, обнаружив в туалетной шкатулке приятельницы красный галстук времен Высших женских курсов, как последняя, которую она же и поторапливала, справилась с нарядом, и, отвалив от зеркала, где уже стали колыхаться воскрешенные образы, они втроем с мужем приятельницы кубарем выкатились на зеленый, зеркалом холодевший воздух весеннего вечера. О прошлом не говорили и потому, что в глубине души все они знали, что революция будет еще раз. В силу самообмана, прощенного и в наши дни, они представляли себе, что она пойдет как временно однажды снятая и вдруг опять возобновляемая драма с твердыми актерскими штатами, то есть с ними со всеми на старых ролях. Заблуждение это было тем естественнее, что, глубоко веря во всенародность своих идеалов, они были все же такого толка, что считали нужным эту уверенность свою поверять на живом народе. И тут, убеждаясь в полной, до известной поры, бытовой причудливости революции на широкий, рядовой русский взгляд, они могли справедливо недоумевать, откуда бы взяться еще новым охотникам и посвященным в таком обособленном и тонком деле.

Как все они, Наташа верила, что лучшее дело ее юности только отложено и, как пробьет час, ее не минует. Этой верой объяснялись все недостатки ее характера. Этим объяснялась ее самоуверенность, смягченная лишь полным Наташиным неведением о таком своем изъяне. Этим также объяснялись те черты беспредметной праведности и всепрощающего пониманья, которые неистощимым светом озаряли Наташу изнутри и были ни с чем не сообразны.

По родне она узнала, что у Сережи что-то такое подеалось. Надо заметить, что ей было известно все, начиная от имени Сережиной избранницы вплоть до того, что Ольга замужем и в счастливом браке с инженером. Она ни о чем не стала спрашивать брата. Поступивши так из общелюдского приличия, она, однако, тут же, как светлая

личность. себе это вменила в особую кастовую заслугу. Она ни о чем не стала расспрашивать Сережу, но, вся дыша сознанием прямой подведомственности его истории тому вдумчивому и чуткому началу, которое собой олицетворяла, ждала, чтобы, не снеся замкнутости, он излился перед нею сам. Она притязала на его внезапную исповедь, ожидая ее с профессиональным нетерпением, и кто осмеет ее, если примет в расчет, что в братниной истории имелись и свободная любовь, и яркая коллизия с житейскими цепями брака, и право сильного, здорового чувства, и, бог ты мой, чуть ли не весь Леонид Андреев. Между тем на Сережу пошлость под запрудой действовала хуже глупости, безудержной и искрометной. И когда он раз не выдержал, то его уклончивость сестра истолковала по-своему, а из его мешковатых недомолвок узнала, что у любящих все расстроилось. Тогда чувство компетенции только возросло у ней, потому что к увлекательному инвентарю, приведенному выше, прибавилась и обязательная, по ее понятиям, драма. Потому что, как ни далек был ей брат, опоздавший родиться на пять лет с месяцами против ее поколенья, были глаза и у ней, и она видела, да и не ошибалась, что никакие проказы и шалости Сереже не присущи. И только слово *драма*, разнесенное Наташею по знакомым, было не из братнина словаря.





II

Много-много чего оказалось вдруг за плечами у Сережи, когда с последнего благополучно сданного экзамена он, точно без шапки, вышел на улицу и, оглушенный случившимся, взволнованно осмотрелся кругом. Молодой извозчик, вскинутым сапожищем расправляя кафтан, сидел боком на козлах, исподволь поглядывая под лошадь, и, всецело полагаясь на беспамятную чистоту мартовского воздуха, равнодушно караулил окрик с любого конца большой площади. Подневольным слепком с его вольного ожидания помаргивала в оглоблях серая в яблоках кобыла, как бы самым рокотом мостовых сильно на вынос вложенная в хомут, за дугу. Все кругом подра-

жало им. Орленная чистым булыжником, круглая мостовая походила на гербовый, тумбами и фонарями уставленный документ. Дома стояли, возведенные на пустой предвесенней настороженности, как на упругом фундаменте из четырех резиновых шин. Сережа оглянулся. За оградой, в одном из серейших и самых слабостойных фасадов, праздно и каникулярно тяжелела дверь, только что тихо затворившаяся за двенадцатью школьными годами. Именно в эту минуту ее замуровали, и теперь навсегда. Он пошел домой. Шемящей студености холостая зря нежданно ломанула по Никитской. Камень свело мерзлым пурпуром. Он совестился глядеть на встречных. Все случившееся было написано на лице у него, и прыгающая улыбка величиной со всю, того часа, московскую жизнь, владела его чертами.

На другой день он отправился к тому из своих друзей, который, учительствуя в одной из женских гимназий, знал по службе, что делается в других. Зимой он как-то говорил Сереже об освобождающейся на весну вакансии словесника и психолога в частной гимназии на Басманной.

Сережа терпеть не мог словесности и школьной психологии. Кроме того, он знал, что в женской гимназии ему не служить, потому что пришлось бы изойти среди девочек страшным паром без всякого для кого-нибудь ведома и пользы. Но, вконец измотанный экзаменационными волнениями, он теперь отдыхал, то есть позволял дням и часам переставлять его, куда им вздумается. Точно кто кокнул тогда под университетом банку с вареньем из вербы, и, увязнув вместе со всем городом в горькошерстой ягоде, он отдался поколыхиванью ее тугих, оловянных складок. Вот каким образом и побрел он в один из переулков Плющихи, где проживал в номерах названный приятель.

Номера обложились от остального света огромным двором для извозчиков. Вереница пустых пролетов подымалась к вечернему небу костяным хребтом какого-то сказочного позвоночного, только что освежеванного. Здесь сильнее, чем на улице, чувствовалось присутствие новой дали, голой, сердобольной, и было много навоза и сена. Особенно же много было тут той именно сладкой серости, на волнах которой прибыл сюда Сережа. И вот как подмыло его в дымные номерные разговоры, подпер-

тые с улицы троеруким керосиновым фонарем, так понесло в следующие же сумерки на Басманную, в оловянные разговоры с начальницей, под которыми топырилось ветвистое карканье большого запущенного сада, полного частной женской серебристо-мышинной и кое-где уже разобранной граблями земли.

Как вдруг, неизвестно в честь чего, по одному из оловянных изворотов последней недели он очутился во фрестельском особняке воспитателем хозяйского сына и тут остался, отряся олово с ног своих. И не удивительно. Его взяли на всем готовом, предложив сверх того оклад вдвое больше учительского, огромную трехоконную комнату об стену с учениковой и полное пользование досугом, какой ему заблагорассудится для себя отвести без ущерба для занятий с воспитанником. Так что разве только не подарили ему всего суконного фрестельского дела, а то никогда еще в жизни не случилось ему налегке, в мягкой шляпе (он получил большой задаток), от чаю и книг, прямо с мрамора попадать в булочный вар солнечного переулка, парюю кривых тротуаров бодро несшегося под уклон на площадь, прятавшуюся внизу, за поворотом. Это было в Самотеках, и несмотря на малую прохожесть околотка, у Сережи в первую же прогулку случилось две встречи. Первым, и по другому тротуару, прошел молодой человек из бывших на памятном вечере у Бальца. Их было там два брата, и старший был инженер, а младший говорил, что по окончании коммерческого ему служить, и не знал, идти ли вольноопределяющимся или же по жребию. Теперь он был в форме вольноопределяющегося, и как раз то, что он был в солдатской форме, так стеснило Сережу, что он только поклонился прошедшему, а не остановил его и не перешел через дорогу. Не сделал того и вольноопределяющийся, потому что ему передалось через дорогу Сережино стеснение. К тому же Сережа не знал, как фамилия братьев, потому что их друг другу не представили, и он только помнил, что старший — очень уверенный в себе человек и, вероятно, удачник, а младший молчаливее и гораздо милее.

Другая встреча произошла на одном тротуаре. На него налетел добродушный толстяк, редактор одного из петербургских журналов, Коваленко. Он знал Сережины работы, и одобрял их, и, между прочим, собирался при

помощи Сережи и нескольких других, ранее облюбованных причудников обновлять свое начинание. Об этом влиянии живых сил и прочей чепухе он говорил с неизменной усмешкой. Она и вообще была ему свойственна сверх меры, потому что повсюду ему мерещились смешные положения, и это иронией он себя от них ограждал. Уклоняясь от Серезиных любезностей, он спросил, чем тот в данное время занят, и, с двухэтажным фрестельским особняком на языке, Сережа вовремя его прикусил, быстро соврав на всякий случай, что увлечен новой повестью. И так как Коваленко обязательно должен был его спросить о замысле, то он тотчас же в уме принялся ее сочинять.

Но Коваленко этого вопроса не задал, а уговорился встретиться с Серезей через месяц, в следующий свой наезд в Москву, и, безо всякой расстановки что-то быстро лопоча про друзей, в полупустующей квартире которых останавливается, быстро записал на отрывном листке их адрес. Сережа принял его не глядя и, сложив вчетверо, сунул в карман жилета. Ироническая улыбка, с которой все это проделал Коваленко, ничего Серезе не сказала, потому что она была от говорившего неотделима.

Расставшись со своим доброхотом, он в обход направился в особняк, чтобы не идти с человеком, беседа с которым закончилась так кругло и естественно. Между прочим, он тут же подивился ветру, сразу поднявшемуся в его голове. Он не заметил того, что это не ветер, а продолжение несуществующей повести, заключавшееся в постепенном улетучивании встречи и адреса, и всего случившегося. Он также не знал, что сюжетом ей служит его бросающаяся мыслями умиленность; умилен же он тем, что кругом так хорошо и что ему так повезло с экзаменами, со службой и со всем на свете.

Его поступление к Фрестельнам совпало с временем, когда особняк был весь в переменах. Часть их произошла до Сережи, часть еще предстояла. Незадолго перед тем супруги отссорились, наконец, полным на всю жизнь итогом и зажили разными этажами. Половину низа, через сенную площадку, направо от детской и Серезиной половины, занял хозяин. Хозяйка раскатилась по всему верху,

где кроме трех ее комнат, не считая гостиной, были еще большая двухсветная зала с помпейским атриумом и столовая с прилежавшей к ней буфетной.

Весна в тот год подошла рано и уже клубилась горячими сдобными полднями. Она на всех парах обгоняла календарь и давно уже побуждала к летним сборам. У Фрестельнов было именье в Тульской губернии. Хотя покамест особняк только отдувался проветриваньем сундуков и чемоданов по жарким утрам, но с парадного уже прибывали дамы, матери семейств, кандидатки в нынешние дачницы. Старых съемщиц встречали как дорогих покойниц, чудесно возвращенных родне, с новыми полковали о каменных флигелях и деревянных дачах и еще в вестибюле на прощанье долбили о прославленных особенностях алексинского воздуха, необыкновенной какой-то сытности, и об окских красотах, которыми, сколько их ни хвали, все равно не нахвалиться. Все это, впрочем, было истинною правдой.

А на дворе выколачивали ковры, глыбами нутряного сала стояли облака над садом, и клубы щелкучей пыли, садясь на жирное небо, сами, казалось, заряжали грозою воздух. Но по тому, как, утирая лицо, поглядывал на небо дворник, весь в ковровом сору, точно в волосяной сетке, видно было, что дождя не будет. В люстриновом пиджаке взамен фрака, с колотушкой под мышкой проходил через вестибюль во двор лакей Лаврентий. И, видя все это, вдыхая запах нафталина и ловя мимоходом обрывки дамских разговоров, Сережа не мог отделаться от чувства, будто особняк уже снаряжился в путь и вот-вот поднырнет под горький, мокро-трепещущий, знойно-лавровый березовый шатер. Кроме всего изложенного камеристка госпожи Фрестельн, не заговаривая пока еще о расчете, собиралась уходить и, прискивая себе место, отлучалась без разбору во все дни, выходов от невыходных не отличая. Звали ее Анна Арильд Торнськольд, а в доме, для краткости, — миссис Арильд. Она была датчанка, ходила во всем черном, и видеть ее в положеньях, в какие ее часто ставили обязанности, было тяжело и странно.

Именно так, в духе гнетущей странности, она себя и держала, широкой походкой в широкой юбке пересекая залу по диагонали, с высокой прической узлом, и сочувственно, как сообщница, улыбалась Сереже.

Таким образом, незаметно настал день, когда, обожаемый учеником и состоя в задушевной дружбе с хозяевами, — относительно которых только нельзя было решить, кто милее, потому что, заменяя этим уничтоженную связь, они врозь друг друга перед Сережей оговаривали, — с книгой в руке, предоставив питомцу гоняться по двору за кошкой, он перешел со двора в сад. Дорожки, как сором, были затрясены обившейся сиренью, и только на теневой стороне доцветало еще два-три куста. Под ними усердно писала, положив локти на стол и склонив голову набок, миссис Арильд. Ветка в пепельных четырехгранниках, чуть покачиваемая лиловым бременем, старалась заглянуть из-за затылка пишущей в писанье, но без пользы. Писавшая заслоняла письмо и корреспондента от всего мира широким, трижды скрученным узлом своих невесомых светло-каштановых волос. На столе вперемежку с рукодельем была разложена вскрытая почта. По небу плыли легкие, цвета сирени и почтовой бумаги, облака. Оно их охлаждало и само было как серая сталь. Заслышав чужие шаги, миссис Арильд сперва тщательно осушила промокашку написанное, а потом спокойно подняла голову. Рядом с ее скамейкой стоял железный садовый стул. Сережа опустил на него, и между ними по-немецки произошел следующий разговор:

— Я знаю Чехова и Достоевского, — обвив руками спинку скамейки и прямо глядя на Сережу, начала миссис Арильд, — и пятый месяц в России. Вы хуже французов. Вам надо наделить женщину какой-нибудь скверной тайной, чтобы поверить в ее существование. Точно на законном свете она нечто бесцветное, вроде кипяченой воды. Вот когда она скандальной тенью вскочит откуда-нибудь изнутри на ширму, тогда другое дело, об этом силуэте уже не спорят, и ему нет цены. Я не видала русской деревни. А в городах ваша падкость к закоулкам показывает, что вы живете не своей жизнью и, каждый по-разному, тянетесь к чужой. Не то у нас в Дании. Пойдите, я не кончила...

Тут она отвернулась от Сережи и, заметив на письме ворох осыпавшейся сирени, заботливо ее сдула. Спустя мгновение, справившись с какой-то непонятною заминкой, она продолжала:

— Прошлой весной, в марте, я потеряла мужа. Он

умер совсем молодым. Ему было тридцать два года. Он был пастором.

— Послушайте, — все-таки успел перебить ее Сережа по-заготовленному, хотя теперь хотел сказать уже совсем не то, — я читал Ибсена и вас не понял. Вы заблуждаетесь. Несправедливо по одному дому судить о целой стране.

— Ах, так вы вот о чем? Вы о Фрестельнах? Хорошего же вы мнения обо мне. Я дальше от таких ошибок, чем вы, и сейчас вам это докажу. Догадались ли вы, что они евреи и только это от нас скрывают?

— Какой вздор! Откуда вы это взяли?

— Вот видите, как вы ненаблюдательны. А я в этом убеждена. Оттого, может быть, я и ненавижу ее так непобедимо. Но не отвлекайте меня, — с новым жаром начала она, не дав Сережке вовремя заметить, что по отцу эта ненавистная кровь течет в нем самом, между тем как в особняке этим и не пахнет, вместо чего, и опять по-заготовленному, он успел все-таки вставить, что все ее мысли о сластолюбьи — живой Толстой, то есть самое русское из всего, что достойно этого званья.

— Не в этом дело, — спеша пресечь спор, нетерпеливо отрезала она и быстро пересела поближе к Сереже, на край скамейки. — Послушайте, — взяв его за руку, проговорила она в сильном возбуждении. — Вы состоите при Гарри, но я уверена, что вас не заставляют обмывать его по утрам. Или еще бы вам предложили делать старику ежедневные обтиранья.

От неожиданности Сережа упустил ее руки.

— Зимой в Берлине ни о чем таком не было ни слова. Я ходила договариваться с ней в отель «Адлон». Я нанималась в компаньонки, а не в горничные, не правда ли? Вот я сижу перед вами — здоровый, рассудительный человек, — вы согласны? Но не отвечайте пока. Место было в далекий отъезд, в неизвестность. И я согласилась. Ясно ли вам, как меня обошли? Я не знаю, чем она мне приглянулась. С первого взгляда я ее не разобрала. И потом ведь все это родилось по ту сторону границы, за Вержболовом... Нет, погодите, я не кончила. Я возила Арильда в Берлин на операцию. Он скончался у меня на руках. Я там его похоронила. У меня нет родни. Я сейчас сказала неправду. Есть, но об этом как-нибудь потом. Я была в

ужасном состоянии и совсем без средств. И вдруг — ее предложение. Я о нем прочла в газете. И — по какой случайности, если бы вы знали!

Она отодвинулась на середину скамьи, сделав Сереже неопределенный знак рукою.

По стеклянной галерее, соединявшей особняк с кухней, прошла госпожа Фрестельн. За нею следовала экономка. Сережа тут же раскаялся, что недостойным образом истолковал движение миссис Арильд. Она не предполагала ни от кого таиться. Наоборот, возобновив разговор с ненатуральной поспешностью, она повысила голос и внесла в него ноту насмешливого высокомерья. Но госпожа Фрестельн их не слышала.

— Вы обедаете наверху, с ней и с Гарри и с гостями, когда бывают гости. Я сама, собственными ушами, слышала, как в ответ на ваше недоумение, почему меня нет за столом, вам сказали, что я больна. И правда, я часто страдаю мигренью. Но потом, помните, вы раз как-то после десерта куролесили с Гарри, — не кивайте, пожалуйста, так радостно: дело ведь не в том, что вы этого не забыли, а в том, что, когда вы вбежали в буфетную, я чуть со стыда не сгорела. Вам же объяснили, будто обедать в углу, за дверью, в обществе экономки (а ей действительно так больше нравится), пожелала я сама. Но это пустяки. Каждое утро мне приходится, как ребенка, принимать из ванны в простыни эту трепещущую драгоценность и потом до изнеможенья растирать тряпками, щетками, пемзой и уж, право, не знаю чем. И ведь я не все могу назвать, — неожиданно тихо заключила она и, вся в краске, переведя дыханье, как после бега, утерла платком разгоревшееся лицо и повернула его к собеседнику

Сережа молчал, и по его страдальческому виду она догадалась, как глубоко в него все это запало.

— Не утешайте меня, — попросила она и поднялась со скамьи. — Но я не то хотела сказать. Я говорю по-немецки с неохотой. В минуту заслуженной вами сердечности я буду к вам обращаться по-другому. Нет, не по-датски. We shall be friends, I'm sure¹.

И опять Сережа ответил не так, как хотел, и сказал gut, а не well, не предупредив ее, что понимает по-англий-

¹ Мы будем друзьями, я уверена.

ски, но то небольшое, что знал, позабыл. Она же, продолжая говорить по-английски, горячо и просто напоминала ему (и вслед за тем гораздо холоднее перевела по-немецки), чтобы он не забывал того, что она сказала о ширмах и закоулках. Что она северянка и человек верующий и не выносит вольничанья, что это — просьба и предостереженье и чтобы все это он имел в виду.





III

Стояли душные дни. Сережа по Нуроку освежал свои скудные и запущенные познания по-английски. В обеденные часы он подымался с воспитанником в залу, где они топтались в ожидании выхода госпожи Фрестельн. Пропустив ее вперед, они следом за ней проходили в столовую. Часто ее минут на пять, на десять предваряла миссис Арильд. Сережа громко беседовал с датчанкой и при появлении хозяйки с нескрываемым сожаленьем расставался с собеседницей. Шествие из трех лиц, открывавшееся госпожой Фрестельн, направлялось в столовую, а камеристку, двигавшуюся по тому же направлению, с постепенным приближеньем к двери отмывало все более и более влево. И они расходились.

С некоторых пор госпоже Фрестельн пришлось свыкнуться с упорством, с каким Сережа звал столовую малой буфетной, а комнату рядом, где разнимали пулярдок и раскладывали по тарелкам мороженое,— большой. Но она постоянно ждала от него странностей, считая его прирожденным чудачком, хотя и не понимала половины его

шуток. Она доверяла воспитателю и в нем не обманывалась. У него и теперь не было прямого зла на нее, как и ни против кого на свете. В живом лице он умел ненавидеть только своего противника, то есть незаурядно вызывающую, легкую победу над жизнью, с обходом всего труднейшего в ней и драгоценнейшего. А людей, годящихся в олицетворенье такой возможности, не столь уж много.

В послеобеденные часы вниз по лестнице съезжали целые подносы битых и ломаных гармоний. Они скатывались и разлетались неожиданными взрывами, более резкими и разительными, чем случаи официантской неловкости. Между этими мятежными паденьями залегали версты ковровой тишины. Это наверху, за несколькими парами подбитых сукном и плотно притворенных дверей, Арильд на рояле разыгрывала Шумана и Шопена. В такие мгновенья невольнее, чем в другие, смотрелось в окно. Но перемен там не замечалось, небо не трогалось излияньями. Оно знойным столбом продолжало стоять на своем затверженном бездождья, а под ним на пятьдесят верст кругом плясало мертвое море пыли, точно жертвенный костер, возжженный ломовыми извозчиками с нескольких концов сразу, на пяти товарных станциях и за китайгородской стеной, в центре кирпичной пустыни.

Получалась несуразица. Фрестельны засиживались в городе, а миссис Арильд заживалась в особняке. Вдруг судьба наслала всему оправданье в тот момент, как непонятность оттяжки стала всех удивлять. Гарри заболел корью, и переезд в именье был отложен до его выздоровленья. А песчаные вихри все не унимались, дождя не предвиделось, и все мало-помалу к этому привыкли. Стало даже казаться, что это все тот же, теперь на долгие недели застоявшийся день, которого тогда вовремя не отвели в участок. Вот он и взял силу и до смерти всем осточертел. А теперь на улице его всякая собака знает. Так что если бы не ночи, еще дышавшие какими-то призрачными различьями, то следовало бы сбегать за понятами и наложить сургучовые печати на иссякший календарь.

Улицы походили на блуждающие маковые грядки с путешествующими насаждениями. По размягченным панелям, свесив полуосыпавшиеся головы, двигались пепельные, изомлевшие тени. Только раз в воскресенье у Сережи с датчанкой хватило духу, сунув головы в умывальные

чашки, рвануться вон из города. Они поехали в Сокольники. Однако и тут над прудами стлалась та же гарь, с той только разницей, что духота в городе была недоступна глазу, а тут ее становилось видно. Ее полоса, намешанная из пыли, тумана и паровозного дыма, висела, подобно канцелярской линейке, поперек черного бора, и, разумеется, деловой этот призрак был куда страшнее простого уличного удушья.

Между прочим, полоса эта висела на таком отступе от воды, что лодки свободно под ней проскальзывали; когда же визгливые барышни пересаживались с кормы на весла, то кавалеры, подымаясь им навстречу, задевали за эту говяжью накипь картузами. В пруду, у берега, с кислым шипеньем дымилась заря. Ее багрянец походил на раскаленную и утопленную в болоте болванку. С того же берега в лопающихся пузырях плыл скользкий, плачевно-раскатчивый рев лягушек.

Между тем смеркалось. Арильд сыпала по-английски, Сережа отвечал ей, и все впопад. Они все быстрее и быстрее кружились по лабиринту, приводившему их все на ту же начальную площадку, и в то же время быстро шли прямой дорогой к заставе, на стоянку трамваев. Они резко отличались от остальных гулявших. Изю всех пар, заполнявших рошу, эта всего тревожней отнеслась к наступлению ночи и бросилась уходить от нее так, точно та гналась за ними по пятам. Когда они оглядывались, они будто соразмеряли скорость ее преследования. Впереди же, на всех дорожках, на которые они вступали, росло всем бором нечто подобное присутствию старшего. Это превращало их в детей. Они то брались за руки, то растерянно их опускали. Временами их оставляла уверенность в собственном голосе. Им казалось, что их бросает то в громкий шепот, то в далекий, далью надломленный крик. На самом же деле ничего такого не замечалось: они произносили слова как надо. По временам она становилась легче и прозрачнее лепестка тюльпана, в нем же открывался грудной жар лампового стекла. Тогда она видела, как он борется с горячеей, коптящею тягой, чтобы ее не притянуло. Они молча во все лицо глядели друг на друга и потом с болью, как нечто цельное и живое, разрывали надвое эту обоеликую, мольбой о милосердии искаженную улыбку. И тут Сережа опять слышал слова, которым давно подчинился.

Они все быстрее и быстрее кружились по лабиринту мудренейших дорожек и в то же время выходили к заставе, откуда уже несся захлебывающийся звон трамваев, спасавшихся от пустых подвод, всей Стромынкой скакавших за ними вдогонку. Трамвайные звякалки точно плескались в иллюминированном стекле. От них, как от колодцев, несло прохладой. Скоро крайняя и самая пыльная часть бора сошла в деревянных башмаках с земли на каменную мостовую. Они вошли в город.

«Как велико и неизгладимо должно быть унижение человека,— думал Сережа,— чтобы, наперед отождествив все новые нечаянности с прошедшим, он дорос до потребности в земле, новой с самого основанья и ничем не похожей на ту, на которой его так обидели или поразили!»

В эти дни идея богатства стала занимать его впервые в жизни. Он затамился неотложностью, с какой его следовало раздобыть. Он отдал бы его Арильд и попросил раздать дальше, и все — женщинам. Несколько первых рук он назвал бы ей сам. И все это были бы миллионы, и названные отдавали бы новым, и так далее, и так далее.

Гарри выздоравливал, но госпожа Фрестельн оставалась при нем неотлучно. Ей продолжали стлать в классной. Вечерами Сережа уходил из дому и возвращался лишь на рассвете. За дверью ворочалась в постели и покашливала хозяйка и всеми способами давала понять, что знает о его неурочных приходах. Если бы она спросила, откуда он является, он не задумываясь назвал бы ей места своих отлучек. Она это чувствовала и, остерегаясь серьезности, какую он вложил бы в ответ и которую ей пришлось бы проглотить как обязательность, оставляла его в покое. Он приходил оттуда с тем же далеким светом в глазах, что с прогулки в Сокольники.

Одна за другой несколько женщин всплыли в разные ночи на уличную поверхность, поднятые привлекательностью и случайностью из несуществования. Три новых женских повести стали рядом с историей Арильд. Неизвестно, почему изливались на Сережу эти признанья. Он не ходил их исповедовать, потому что считал это низостью. Как бы в объяснение безотчетной доверенности, которая влекла их к нему, одна из них сказала, что он словно чем-то похож на них самих.

Это сказала самая матерая и запудренная из всех, самая-рассамая, та самая, что уже до скончания дней была со всем светом на «ты», поторапливала извозчика такими жалобами на свою знобкость, которых нельзя привести, и всеми выпадами своей хриплой красоты уравнивала все, до чего ни касалась. Ее комнатка во втором этаже пятиконного домика, кривого и вонючего, ничем с виду не отличалась от любого мещанского жилья из беднейших. По стене ниспадали дешевые ширинки, утыканные фотографиями и бумажными цветами. У простенка, крыльями захватывая оба подоконника, горбился раскладной стол. А напротив, у не доходившей до верху перегородки, стояла железная кровать. И, однако, при всем сходстве с человеческим жилищем это место было полной его противоположностью.

Половики подстилались под ноги гостя с редким холуйством и, приглашая не церемониться с квартиранткой, сами, казалось, готовы были подать пример, как ею помыкать. Чужой толк был их единственным хозяином. Все существовало настежь, проточным порядком, как в потоп. Казалось, даже и окна обращены тут не изнутри наружу, а снаружи вовнутрь. Подмытые уличной славой, как в наводненье, домашние вещи не чинясь и как попадетя плавали по широкому званью Сашки.

Зато и она в долгу перед ними не оставалась. Все, за что она ни бралась, она делала на ходу, крупным валом и по-одинаковому, без спадов и нарастаний. Приблизительно так же, как, все время что-то говоря, выбрасывала она упругие руки, раздеваясь, она потом, на рассвете, за разговором, упираясь животом в столовое крыло и валя пустые бутылки, додувала свои и Сережины подонки. И приблизительно по-такому же, в той же степени, стоя в длинной рубахе спиной к Сереже и отвечая через плечо, без стыда и бесстыдства прудила в жестяной таз, внесенный в комнату тою старухой, что их впускала. Ни одного из ее движений нельзя было предугадать, и ее надтреснутую речь подымал и опускал тот же жаркий бросовой нахрап, что сбивал набок ее пряди и горел в ее расторопных руках. В ровности этого проворства и заключался ее ответ судьбе. Вся человеческая естественность, ревушая и срамословящая, была тут, как на дыбу, поднята на высоту бедствия, видного отовсюду. Окружностям, открывавшимся с этого уровня, вменялось в долг тут же,

на месте, одухотвориться, и по шуму собственного волнения можно было слышать, как дружно, во всей спешности обстраиваются мировые пустоты спасательными станциями. Острее всех острот здесь пахло сигнальной остротой христианства.

В исходе ночи переборку колыхнуло незримым мановеньем двора. Это ввалился в сени ее покровитель. Нюх на чужое присутствие, самый верный из его доходов, не оставлял его и в чернейшем хмелю. Тихонько переступая в тяжелых сапогах, он как вошел, тотчас же тихо рухнул где-то рядом за переборкой и, ничем не сказавшись, вскоре перестал существовать. Его тихое ложе стояло, вероятно, доска об доску с промысловой кроватью. Вероятно, это был ларь. Едва он захрапел, как в него снизу живым и жадным долотом ударила крыса. Но опять наплыла тишина. Храпа вдруг не стало, крыса притаилась, и по комнате пробежал знакомый ветерок. Существа на гвоздях и клею признали хозяина. Все, чего не смели тут, смел вор за стеной. Сережа спрыгнул на пол.

— Куда ты? Убьет! — всем нутром прохрипела Сашка и, протавившись по постели, повисла на его рукаве. — Сердце сорвать не штука, а уйдешь — спину мне подставлять?

Но Сережа и сам не знал, куда рвался. Во всяком случае, это была не та ревность, которая померещилась Сашке, хотя она и не меньшей страстью подплывала к сердцу. И если что когда, подобно упряжной приманке, было выкинуто наперевес человеку, в залог его вечного хода, то именно этот инстинкт. Это была ревность, которою мы иногда ревнуем женщину и жизнь к смерти, как к неизвестному сопернику, и рвемся на волю за волею для вызволения той, кого ревнуем. И, конечно, тут пахло все тою же остротой.

Было еще очень рано. По ту сторону мостовой в широких дверях лабазов уже угадывались раскидные листы тройных железных створ. Пыльные окна серели, до четверти налитые круглым булыжником. На Тверских-Ямских, как на весах, лежал рассвет, и воздух казался мелкой сенной трухою, беспрестанно им отделяемой. У стола сидела Сашка. Блаженная сонливость кружила и несла ее, как вода. Она болтала без умолку, и ее говор походил на здоровое дремлющее животное.

— Эх ты, Виновата Ивановна! — не слыша своих слов, тихо приговаривал Сережа.

Он сидел на подоконнике. А по улице уже проходили люди.

— Нет, ты не медик — говорила Сашка, навалиясь боком на доску. Она то ложилась щекою на локоть, то, выпрямив руку, всю ее медленно оглядывала сбоку, от плеча к кисти, точно это не рука была, а далекая дорога или ее жизнь, видная ей одной.— Нет, ты не медик. Медики другие. Я вас прѳстотки не знаю, как,— ну, иное, когда сзади идет, не видать,— хвостом признаю. Небось учитель? Ну вот. А то я до смерти простуды боюсь. Да ты не медик, нечего и спрашивать. Ты, послушай, не из татар ли, а? Ты приходи. Днем приходи. Ты адреса-то не потеряешь?

Они беседовали вполголоса, и Сашку то разбирали бисерный задорный хохоток, то одолевала зевота с почесотой. Она с детской ненасытностью, точно возвращенным достоинством, наслаждалась этой безмятежностью, очеловечивавшей еще больше того и Сережу.

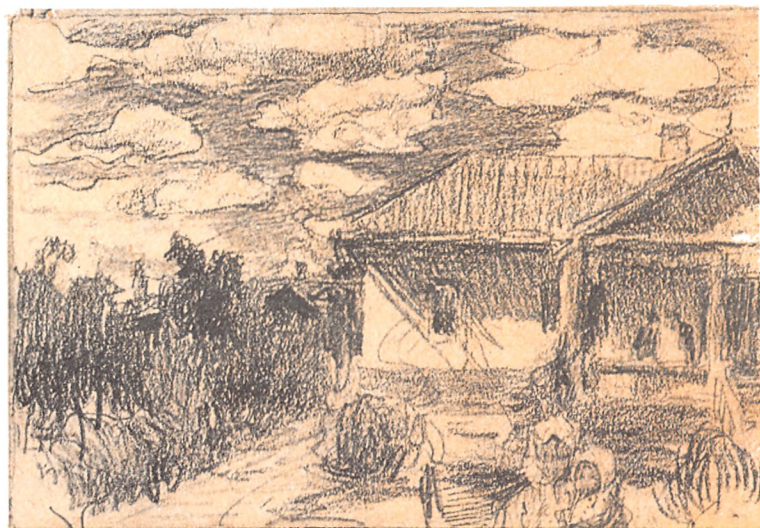
Промежду болтовни, назвав Польшу Царством Польским, она хвастливым кивком на стену, где в глянцевитом гнезде прочих карточек лоснилось чучело благодушного унтера, выдала самое для нее далекое и заветное, то есть вероятного всему первопричинника. Вероятно, к нему и вела, от плеча к кисти, ее полная, терявшаяся в даях рука. А может быть, и не к нему. Вдруг, подобно сухому селу, разом зажглась заря и вся вдруг, как сено, сгорела. По лобасто-пузырчатым стеклам поползли мухи. Фонари и туманы обменялись зверскими зевками. Весь в разбегающихся искрах, затлев, занялся день. Тут Сережа почувствовал, что никого еще так сильно не любил, как Сашку, и тут же в мыслях увидал, как, куда-нибудь подалье к кладбищам, мостовая обязательно в мясных красных пятнах; и булыжник на ней крупнее и реже, как у застав. Поперек же нее, отрываясь и уходя, отрываясь и уходя, спокойно скользят товарные вагоны, пустые и со скотиной. Вдруг происходит нечто подобное крушению, движенье чем-то перехватывается, из глубины подымается отсеченный конец улицы. Это тем же ходом, друг дружке в наверст, друг дружке в наверст идут порожняком платформы, но их не видно за плотной стеной людей и телег у переезда. Тут крапива и курослеп, и пахло бы полевою мышью,

когда бы не гарь. И тут же бойко шестилетнюю вострушкой юлит сопливая Сашка. Наконец, всех позднее и в страшных попыхах,— точно спрашивая у стоящих, не видели ли вагонов, не пробегали ль,— задом-задом поспешает черный потный паровоз. Вот шлагбаум подымается, улица разбегается прямой стрелой, вот сейчас с двух сторон, врезаясь друг в друга, двинутся возы и человеческие расчеты. И тут на середку мостовой теплым желудком чудища, травяным, трижды скрученным мешком брякается паровозный дым, тот самый, может стать, ливер, которым питается украинная беднота. И Сашка пугается и поглядывает, как страшен он среди чайных и колониальных товаров, с продажей сигар и табаку, и кровельного железа, и городских, а про ее глаза и пятки где-то тем временем пишут «Детство женщины». На мостовой пахнет овсом, и она до головной просто-таки боли припечатана солнцем по конской моче. И вот, не миновав-таки простуды, которой так боялась, потеряв глаза и пятки, и нос, и разум, перед тем, как слечь в больницу, а то и в могилу, забегают она на минутку за книжкой, в которой, говорили, про это все прописано, ну просто-таки про все, про все, и вот, видно, правда: дурой жила, дурой и помирать. Ей и на тротуар нельзя, отрядом по мостовой ведут, а ей, вишь, что приспичило. Сбрехнули, а она, дура, и подхвати, просто смешно. Про другую это все: и фамилия не русская, и город другой. Вот городской при книжке холщовой с тесемкою, там и она, в ней и читай. Ну, и (мгновенный нажим похабной собачки) — та-тра-тра, та-та-та, — конец один. И городские смотрят ласковой. Баб они ведут огнестрельных, а у благородной публики язык на предохранителе.

— Ты что это призадумался? Ты б на других посмотрел. Ты на меня не гляди, я — что, я против них простотки сказать — барыня. Ты на то не смотри, час ли там какой или еще что,— может, скажешь, спят,— много ты про нас понимаешь! Ой, уморил, ой, помру, ха-ха-ха! Ты днем приходи. А об нем не думай. Ты его не бойся, он смиренный, ну конечно, когда не трогать. Ведь вот ты в дверь — он из двери; а то либо, вишь, спит,— поди добудись, да вперед найди. Потемки — не ступишь. И чего дался он тебе, не понимаю, диви б мешал. Другие бывали, не обижаются. Тоже, которые благородные, вашего звания. Ну, готово, теперь только пудру и сумочку не забыть,

на, поддержи. Ну, пойдём, до Садовой провожу, авось назад не скучать, дело привычное. Что день, что утро, глазок скопишь — так в руки и плывут, так и плывут. Ай тебе не к Страшному? Ну ладно, прощай, смотри, не забывай. А я одна пойду, кобелям поваднее. Адреса-то не потеряешь?

Улицы натошак были стремительно прямы и хмуры. По их пролетному безлюдью еще носился сизый, сластолюбивый гик пустоты. Изредка одиночками навстречу попадались сухопарые людоеды. Вдалеке на шоссе дутой голубиной грудью колотился все об одно какое-то место скачущий лихач. Сережа шел в Самотеки и за версту от Триумфальной воображал, будто слышит, как Сашке свистнули с тротуара на тротуар, она же замедлилась, сама игриво любопытствуя, кто кого, то есть кликнувший ли перейдет через дорогу или кликнутая. Хотя день только начался, но в сутолочной липовой листве уже висели запутавшиеся нити зноя, бредовые, как крошки в бородах у покойников. И Сережу знобило.





IV

Богатство следовало раздобыть немедленно. И, разумеется, не работою. Заработок не победа, а без победы не может быть освобожденья. И, по возможности, без громких общностей, без привкуса легенды. Ведь и в Галилее дело было местное, началось дома, вышло на улицу, кончилось миром. Это были бы миллионы, и если бы такой вихрь пролетел по женским рукам, обежав из Тверских-Ямских хотя одну, это обновило бы вселенную. А в этом и нужда — в земле, новой, с самого основанья.

«Главное,— говорил себе Сережа,— чтобы не раздевались они, а одевались; главная вещь, чтобы не получали деньги, а выдавали их. Но до исполненья плана,— говорил он себе (а плана-то никакого не было),— надо достать совсем другие деньги, рублей двести или хоть полтора ста. (Тут Нюра Рюмина вставала в сознаньи, и Сашка; и Анна Арильд Торнскюльд была не на последнем месте.) И это— суммы совсем иного назначенья. Так что в виде временной меры их не колеблясь можно принять и из честного источника. Ах, Раскольников, Раскольников,— повторил про себя Сережа.— Только при чем же закладчица? Закладчица — Сашка в старости, вот что... Но хотя бы и законно, откуда их достать, вот в чем вопрос. У Фрестельнов забрано на два месяца вперед, продать нечего».

Это было в один из первых дней июня. Гарри стали выводить на прогулки. В особняке опять начали снаряжаться на дачу. Арильд возобновила отлучки по делам, прерванным на срок Гарриной болезни. Скоро ей представилось место в отъезд, в Полтавскую губернию, в военную семью.

— Not Souvoroff, the other...¹ — полногорло прокартавила она на лестнице, ленясь подняться за письмом. — I forget always².

И Сережа перебрал все вероятия от Кутузова до Куропаткина, пока не оказалось, что это — Скобелевы.

— Awfully! I cannot repeat. How do you pronounce it?³

Условия были выгодные, но снова, и в который уже раз, ей пришлось задержаться решением. И вот почему. Едва получив предложение, она захворала, и по жестокости болезни все решили, что это она схватила от Гарри. Между тем сильный, как в кори, жар, в первый же вечер сваливший ее в постель и зашедший за сорок градусов, на другое утро так же стремительно упал до тридцати пяти с десятymi. Все это осталось загадкой, врачом не разъясненной, и до крайности бедняжку ослабило. Теперь последствия припадка проходили, и особняк раз или два опять уже огласился громами «Aufschwung»⁴, как в дни, когда Сереже о раскольниковских дилеммах и не мечталось.

Того же числа госпожа Фрестельн с утра повезла Гарри к знакомым на Клязьму, с намерением у них и заночевать, если допустит погода и будет случай. Уехал также куда-то и сам. Половина дня прошла как при хозяйвах. Лаврентий, правда, чтобы услужить, предложил было Сереже подать вниз, но он предпочел людей из заведенного распорядка не выводить и, сам не заметив, как это случилось, отобедал наверху в строгой верности часу и даже месту, какое занимал за столом, вторым по счету с правого края.

Итак, был пятый час дня, хозяев не было дома. Сережа поочередно думал то о миллионах, то о двухстах рублях и в этих размышленьях расхаживал по комнате. Вдруг

¹ Не Суворов, другой... (англ.)

² Поминутно забываю (англ.)

³ Ужасно! Не повторить. Как вы это произносите? (англ.)

⁴ Название одной из фортепьянных пьес Шумана.

пролетел миг такой особенной ощутительности, что, обо всем позабыв, он, как был, замер на всем шагу и растерянно насторожился. Но вслушиваться было решительно не во что. Только комната, залитая солнцем, показалась ему голее и обширнее обычного. Можно было обратиться к прерванному занятию. Но не тут-то было. Мыслей не осталось и в помине. Он забыл, о чем размышлял. Тогда он поспешно стал доискиваться хотя бы одного словесного звания думанного, потому что на обозначенья вещей мозг отзывается весь целиком, как на собственную кличку, и, пробудившись от оцепененья, возобновляет службу с того урока, на котором нам временно в ней отказал. Однако и эти поиски ни к чему не привели. От них только возросла его рассеянность. В голову лезло одно постороннее.

Вдруг он вспомнил про весеннюю встречу с Коваленкой. Снова обманно обещанная и несуществующая повесть всплыла в его убежденьи в качестве готовой и уже сочиненной, и он едва не вскрикнул, когда догадался, что вот ведь они где, искомые деньги, по крайней мере не те, заветные, а из честного и сотенного разряда, и, все сообразив и задернув занавеску на среднем окне, чтобы затенить стол, недолго думая засел за письмо к редактору. Он благополучно миновал обращение и первые живые незначительности. Совершенно неизвестно, что бы он сделал, дойдя до существа. Но в это время его слух поразила та же странность. Теперь он успел в ней разобраться. Это было сосущее чувство тоскливой, длительной пустоты. Ощущенье относилось к дому. Оно говорило, что он в эту минуту необитаем, то есть оставлен всем живым, кроме Сережи и его забот. «А Торнскьольд?» — подумал он и тут же вспомнил, что с вечера она в доме не показывалась. Он с шумом отодвинул кресло. Оставляя за собой наразлет двери классной, двери детской и еще какие-то двери, он выбежал в вестибюль. В полете за косой дверкой, выведившей во двор, горело белое, как песок, тепло пятого часа. Сверху оно показалось ему еще более таинственным и плотоядным. «Какое легкомыслие,— подумал он, быстро переходя из покоя в покой (он знал не все),— всюду окна настежь, в доме и на дворе ни души, можно все вынести, никто не пикнет. Однако что ж это я так наугад? Пока ее дошаришься, мало ли что может случиться». Он пустился назад, стремглав скатился по

лестнице и выбежал через надворную дверку, как из дома, объятый пламенем. И, как по пожарной тревоге, тотчас же в глубине двора приотворились сени дворницкой.

— Егор! — не своим голосом крикнул Сережа быстро бежавшему навстречу человеку, который на бегу что-то дожевывал и утирал углом передника усы и губы, — научи, сделай милость, как пройти к француженке (назвать ее француженкой, как во всей точности титуловала дворня датчанку и всех ее предшественниц, у него не хватило духу). Да скорей, пожалуйста, мне тут Маргарита Оттоновна наказала с утра ей кое-что передать, а я только вот вспомнил.

— А вон окошко, — торопливо доглатывая жеванное, коротко, длинной в глоток, вякнул дворник и затем, подняв руку и мотнув освобожденной шеей, пошел совсем по-другому сыпать, как туда попасть, все время глядя не на Сережу, а в сторону, на соседнее владенье.

Оказалось, что часть убогого трехэтажного здания из небеленого кирпича, прямым вгибом примыкавшего к особняку и арендовавшегося у Фрестельнов под гостиницу, отброшена в этой смежности под надобности хозяев и что в нее есть доступ снизу, из особняка, по коридору, мимо детской половины. В эту узкую полосу, выделенную из гостиницы глухой внутренней стеною, попадало по комнате на этаж. На третий и приходилось окно камеристки. «Где все это было уже раз?» — любопытствовал Сережа, топая по коридору, когда на муровой меже, разделявшей обе кладки, под ногами прогромыхали наклонные половицы добавочного настила. Он было и вспомнил — где, да не стал вникать, потому что в ту же минуту прямо перед ним чугунною улиткой повисла винтовая лестница. Заключив его в свое витье, она стеснила его в разбеге, чем и заставила отдышаться. Но сердце билось у него еще достаточно гулко и часто, когда, раскружась до конца, она прямо подвела его к номерной двери. Сережа постучался и не получил ответа. Он сильнее надобности толкнул дверь, и она с размаху шмякнулась о простенок, не породив ничьего возражения. Этот звук красноречивее всякого другого сказал Сереже, что в комнате никого нет. Он вздохнул, повернулся и, наклонясь, взялся уже за винтовые перила, но, вспомнив, что оставил дверь настежь, вернулся ее притворить. Дверь разворачивалась направо, и, сунувшись за дверной ручкой, туда

и следовало глядеть, но Сережа бросил воровской взгляд налево и так и обомлел.

На вязаном покрывале кровати, фасонными каблучками прямо на вошедшего, в гладкой черной юбке, широко легкой напрочь, праздничная и прямая, как покойница, лежала навзничь миссис Арильд. Ее волосы казались черными, в лице не было ни кровинки.

— Анна, что с вами? — вырвалось из груди у Сережи, и он захлебнулся потоком воздуха, пошедшим на это восклицание.

Он бросился к кровати и стал перед нею на колени. Подхватив голову Арильд на руку, он другою стал горячо и бестолково наискивать ее пульс. Он тискал так и сяк ледяные суставы запястья и его не доискивался «Господи, господи!» — громче лошадиного топота толкось у него в ушах и в груди, тем временем как, вглядываясь в ослепительную бледность ее глухих, полновесных век, он точно куда-то стремительно и без достижения падал, увлекаемый тяжестью ее затылка. Он задыхался и сам был недалеко от обморока. Вдруг она очнулась.

— You, friend?¹ — невнятно пробормотала она и открыла глаза

Дар речи вернулся не к одним людям. Заговорило все в комнате. Она наполнилась шумом, точно в нее напустили детей. Первым делом, вскочив с полу, Сережа притворил дверь. «Ах, ах», — без цели топчась по комнате, повторял он что-то в блаженной односложности, поминутно устремляясь то к окну, то к комоду. Хотя номер, выходящий на север, плыл в лиловой тени, однако аптечные этикетки можно было прочесть в любом углу, и вовсе не требовалось, разбирая пузырьки и склянки, подбегать с каждою в отдельности к свету. Делалось это лишь с тем, чтобы дать выход радости, требовавшей шумного выраженья. Арильд была уже в полной памяти и только, чтобы доставить Сереже удовольствие, уступала его настояниям. Ему в угоду она согласилась нюхать английскую соль, и острота нашатыря пронзила ее так же мгновенно, как всякого здорового человека. Заслезенное лицо застлалось склад-

¹ Это вы, друг? (англ.)

ками удивленья, брови стали уголками вверх, и она оттолкнула Сережину руку движением, полным возвращенной силы. Он также заставил ее принять валерьянки. Допивая воду, она стукнула зубами об рант стакана, причем издала то мычанье, которым дети выражают полностью утоленную потребность.

— Ну, как наши общие знакомые, уже вернулись или еще гуляют? — отставив стакан на столик и облизнувшись, спросила она и, приподняв подушку, чтобы сесть поудобнее, осведомилась, который час.

— Не знаю, — ответил Сережа, — вероятно, конец пятого.

— Часы на комод. Посмотрите, пожалуйста, — попросила она и тут же удивленно прибавила: — Не понимаю, на что вы там заевались! Они на самом виду. А, это — Арильд. За год до смерти.

— Удивительный лоб.

— Да, не правда ли?

— И какой мужественный! Поразительное лицо. Без десяти пять.

— А теперь еще плед, пожалуйста, — вон на сундуке... Так, спасибо, спасибо, прекрасно... Я, пожалуй, немножко еще полежу.

Сережа раскачал и тугим пинком распахнул неподатливое окно. Комнату колыхнуло емкостью, точно в нее ударили, как в колокол. Пахнуло тягучим духом желтых одуванчиков, травянисто-резиновым запахом красных бульварных рогаток. Крик стрижей кинулся путаницей к потолку.

— Вот, положите на лоб, — предложил Сережа, подавая Арильд полотенце, политое одеколоном. — Ну, как вам?

— О, бесподобно, разве вы не видите?

Он вдруг почувствовал, что не в силах будет с ней расстаться. И потому сказал:

— Я сейчас уйду. Но так нельзя. Это может повториться. Вам надо расстегнуть ворот и распустить шну ровку. Справитесь ли вы со всем этим сами? В доме никого нет.

— You'll not dare...¹

¹ Вы не осмелитесь... (англ.)

— О, вы меня не поняли. К вам некого послать. Ведь я сказал, что уйду,— тихо перебил он ее и, понутив голову, медленно и неповоротливо направился к двери.

У порога она его окликнула. Он оглянулся. Опершись на локоть, она протягивала ему другую руку. Он подошел к ее изножью.

— Come near, I did not wish to offend you¹.

Он обошел кровать и сел на пол, поджав ноги. Поза обещала долгую и непринужденную беседу. Но от волнения он не мог вымолвить ни слова. Да и говорить было не о чем. Он был счастлив, что не под винтовую лестницей, а еще при ней, что не сейчас еще перестанет ее видеть. Она собралась прервать молчание, тягостное и несколько смешное. Вдруг он стал на колени и, упершись скрещенными руками в край тюфяка, уронил на них голову. У него втянулись и разошлись плечи, и, точно что-то размалывая, ровно и однообразно заходили лопатки. Он либо плакал, либо смеялся, и этого нельзя было еще решить.

— Что вы, что вы! Вот не ждала. Перестаньте, как вам не стыдно! — зачастила она, когда его беззвучные схватки перешли в откровенное рыданье.

Однако (да она это и знала) ее утешенья только благоприятствовали слезам, и, глядя его по голове, она потворствовала новым их потокам. А он и не сдерживался. Сопротивление повело бы к затяжке, а тут имелся большой застарелый заряд, который хотелось извести как можно скорее. О, как радовало его, что не устояли и сдвинулись, наконец, и поехали все эти Сокольники и Тверские-Ямские, и дни и ночи двух последних недель! Он плакал так, точно прорвало не его, а их. И действительно, их несло и крутило, как подмытые бревна. Он плакал так, будто ждал от бури, внезапно ударившей, как из облака, из его забот о миллионах, каких-то очистительных последствий. Словно слезы эти должны были иметь влияние на дальнейший ход житейских вещей.

Вдруг он поднял голову. Она увидела лицо, омытое и как бы отнесенное вдаль туманом. В состояньи какого-то старшинства над собой, будто прямой себе опекун, он

¹ Подойдите, я не хотела вас обидеть.

произнес несколько слов. Слова были окутаны тою же пасмурной, отдаляющей дымкой.

— Анна, — тихо сказал он, — не спешите с отказом, умоляю вас. Я прошу вашей руки. Я знаю, это не так говорится, но как мне это выговорить? Будьте моей женой, — еще тише и тверже сказал он, внутренне затрепетав от нестерпимой свежести, на которой вплыло это слово, впервые впущенное им в жизнь и ей равновеликое.

И, выждав мгновенье, чтобы справиться с улыбкой, всколебленной им на какой-то предельной глубине, он нахмурился и прибавил еще тише и тверже прежнего:

— Только не смейтесь, прошу вас, — это вас уронит.

Он поднялся и отошел в сторону. Арильд быстро спустила с кровати ноги. Состояние ее духа было таково, что при совершенном порядке платье ее казалось смятым, волосы — растрепанными.

— Друг мой, друг мой, ну можно ли так? — давно уже говорила она, при каждом слове порываясь встать и поминутно об этом забывая, и что ни слово, как виноватая, удивленно разводила руками. — Вы с ума сошли. Вы безжалостны. Я лежала без памяти. Я с трудом привожу в движение веки, — слышите ли вы, что я говорю? Я не мигаю, а шевелю ими, понимаете вы это или нет? И вдруг такой вопрос, и в упор! Но не смейтесь и вы. Ах, как вы меня волнуете! — как-то по-другому, будто в скобках и про себя одну, воскликнула она и, соскочив на ноги, быстро подбежала с этим восклицанием, как с ношей, к комоду, по другую сторону которого, локоть в доску, подбородок в ладонь, стоял он, хмуро ее слушаая.

Она ухватилаь обеими руками за углы бортовой кромки и, покачиваньем всего корпуса выделяя доводы особо разительные, продолжала, обдавая его светом постепенно побеждаемого волнения:

— Я ждала этого, это носилось в воздухе. Я не могу вам ответить. Ответ заключен в вас самих. Может быть, все когда-нибудь так и будет. И как бы я этого хотела! Потому что, потому что ведь вы не безразличны мне. Вы, конечно, об этом догадывались? Нет? Правда? Нет, скажите — неужели нет? Как странно. Но все равно. Ну, так вот, я хочу, чтобы вам это было известно. — Она запнулась и переждала мгновенье. — Но я все время наблю-

дала вас. Есть что-то в вас неладное. И знаете, сейчас, в эту минуту, его в вас больше, чем позволяет положение. Ах, друг мой, так предложений не делают. И дело тут не в обычае. Но все равно. Послушайте, ответьте мне на один вопрос, чистосердечно, как родной сестре. Скажите, нет ли у вас на душе какого-нибудь позора? О, не пугайтесь, ради бога! Разве несдержанное обещанье или неисполненный долг не оставляют пятен? Но, конечно, конечно, я предполагала и сама. Все это так не похоже на вас. Можете не отвечать — я знаю: ничего из того, что меньше человека, в вас долгого и частого пребывания не может иметь. Но, — задумчиво протянула она, отчеркнув рукою в воздухе нечто неопределенно пустое, и в голосе у нее появились усталость и хрипота, — но существуют вещи, которые больше нас. Скажите, нет ли в вас чего-нибудь такого? В жизни это одинаково страшно, я бы этого боялась, как присутствия постороннего.

Более существенного она уже ничего не сказала, хотя примолкла не сразу. По-прежнему двор был пуст и флигеля — как вымершие. Как раньше, над ними носились стрижи. Конец дня горел, подобно былинной сече. Стрижи подплывали целой тучей медленно трепещущих стрел и вдруг, обратив назад острия, с криком уносились обратно. Все было как раньше. Только в комнате стало чуть темнее.

Сережа молчал, потому что не знал, совладеет ли с голосом, если прервет молчанье. При всякой попытке заговорить у него удлинялся и начинал дробно подрагивать подбородок. Реветь же одному, по своей причине, без возможности свалить это на московские предместья, представлялось ему постыдным. Анну до крайности удручало это молчанье. Еще больше была она недовольна собою. Важнее всего было то, что она на все была согласна, а ведь это вовсе не явствовало из ее слов. Ей казалось, что все идет из рук вон гадко и по ее вине. Как всегда в таких случаях, она казалась себе бездушной куклой и, клевета на себя, стыдилась холодной риторики, якобы заключавшейся в ее ответе. И вот, чтобы поправить этот воображаемый грех и уверенная, что теперь все пойдет по-другому, она сказала голосом всего этого вечера, то есть голосом, приобретшим сходство с Сережиным:

— Я не знаю, поняли ли вы меня. Я ответила вам согласьем. Я готова ждать, сколько будет надо. Но сперва

приведите себя в порядок, мне неведомый и слишком, вероятно, известный вам самим. Я сама не знаю, о чем говорю. Эти намеки поднимаются во мне против воли. Угадать или догадаться — ваше дело. Затем вот что: ожидание дастся мне нелегко. А теперь довольно, а то мы изведем друг друга. Теперь послушайте. Если я вам, правда, дорога хоть вполвину того... Ну что вы, ну, не надо, ну, прошу вас, ведь вы все уничтожите... Ну вот, спасибо.

— Вы что-то хотели сказать, — тихо напомнил он ей.

— Да, конечно, — и не забыла. Я хотела попросить вас спуститься вниз. Правда, послушайте меня, ступайте к себе, умойте лицо, пройдитесь, надо успокоиться. Вы не согласны? Ну, хорошо. Тогда другая просьба, бедный вы мой. Ступайте все-таки к себе и обязательно умойтесь. Нельзя с таким лицом казаться на люди. Подождите меня, я найду за вами, мы пройдемся вместе. И перестаньте мотать головой. Смотреть тоска. Ведь это самоушенье. Заговорите, попробуйте, — положитесь на меня.

Опять прогромыхали под ним пустоты скошенного надполя, опять вспомнился институтский двор. Опять мысли, вызванные воспоминаньем, понеслись лихорадочно-машинальной чередой, до него не имевшей отношенья. Опять очутился он в залитой солнцем комнате, чересчур обширной и потому производившей впечатление необжитой. За его отсутствие свет переместился. Занавеска на среднем окне уже не затеняла стола. Это был тот самый свет, желтый и косою, действие которого продолжалось наверху за углом и, вероятно, откладывало все более фиолетовые тени на кровать и комод, уставленный склянками. При Сереже это полиловенье знало еще меру и шло довольно благородно, но как ускорится оно, наверное, без него, как самовластно и победно, воспользовавшись его уходом, накинутся на нее стрижи. Еще есть время предотвратить насилье и нагнать ушедшее, еще не поздно начать все сызнова и кончить по-другому, еще все это можно, но скоро будет нельзя. Зачем же он тогда ее послушался и оставил? «Ну, и хорошо. Ну, и допустим», — в то же время отвечал он из этого горячего Аннина ряда другим лихорадочно-машинальным мыслям, которые не-

слись мимо него и до него не имели отношенья. Он раздернул среднюю занавеску и затянул крайнюю, отчего свет сдвинулся и стол ушел во мрак, а вместо стола из тени вышла и до задней стены озарилась соседняя комната, по которой должна была пройти к нему Анна. Дверь туда стояла настежь. За всеми этими движениями он забыл, что должен был умыться.

«Ну, и Мария. Ну, и допустим. Мария ни в ком не нуждается. Мария бессмертна. Мария не женщина». Он стоял задом к столу, прислонясь к его краю, сложив накрест руки. Перед ним с отвратительной механичностью неслись пустые институтские помещения, гулкие шаги, незабытые положенья прошлого лета, невывезенные Мариинины тюки. Многопудовые корзины мелькали как отвлеченные понятия, чемоданы в ремнях и веревках могли служить посылками к умозаключениям. Он страдал от этих холодных образов, как от урагана праздной духовности, как от потока просвещенного пустословья. Нагнув голову и скрестив руки, он с раздражением и тоской ждал Анну, чтобы броситься к ней и укрыться от этого пошлого скакового наваждения. «Ну, и — с провалом. Благодарствуйте, и вас так же. Ерундили, ерундили, а другой подошел, и следов не найти. Ну, и дай ему бог здоровья, не знаю и знать не хочу. Ну, и — без вести, и бесследно. Ну, и допустим. Ну, и прекрасно».

А пока он обменивался колкостями с прошлым, фалды его пиджака ерзали по листку почтовой бумаги, записанному сверху и на две трети чистому. Он знал и об этом, но письмо к Коваленке тоже пока находилось в чужом ряду, с которым он пикировался.

Вдруг он в первый раз за истекший год заподозрил, что помог Ильиной очистить квартиру и собрал ее за границу Бальц, подлец (как это у него внутренне назвалось). Он тут же почувствовал с достоверностью, что — угадал. У него сжалось сердце. Его резануло не прошлогоднее соперничество, а то, что в Аннин час его могло заинтересовать нечто не Аннино, получив недопустимую и для нее обидную живость. Но с тою же внезапностью он сообразил, что чужое вмешательство может грозить ему и нынешним летом, пока сам он не станет суше и положительней.

Он принял какое-то решение и, повернувшись на каблуках, обозрел комнату и стол, точно новое в жизни поло-

женье. Закатные полосы вошли в сок и набирались последней алости. Воздух в двух местах был распилен сверху донизу, и с потолка на пол сыпались горячие опилки. Конец комнаты казался погруженным во мрак. Сережа положил почтовую стопку так, чтобы было с руки, и засветил электричество. За всем этим он позабыл, что у них уговорено было с Анной пойти пройтись.

«Я женюсь,— сообщал он Коваленке,— и мне дозарезу нужны деньги. Повесть, о которой я вам говорил, я переделываю в драму. Драма будет в стихах».

И он принялся излагать ее содержание:

«Однажды в реальных условиях нынешней русской жизни, однако представленных так, что они получают более широкое значение, среди крупнейших воротил одной из столиц зарождается слух, который затем крепнет и обогащается частностями. Он передается изустно, подтверждения ему в газетных публикациях не ищут, потому что дело это противозаконное и по недавно преобразованному праву относится к разряду уголовных. Будто явился человек — охотник запродать себя в полную другому собственность и продаваться будет с молотка, а какой в этом смысл и корысть, будет видно на аукционе. Будто не без Уайльда тут, и будто опять от женщин,— в звон, без угадки, где он, перекатывают по молодому купечеству той руки, что дома свои обставляют по эскизам театральных декораторов, а беседу уснащают терминами индийского духоведения. В назначенный день,— ибо даже сведения о месте и дне торгов непостижимым образом до всех доходят,— каждый отправляется за город с опаскою, не одурачен ли он знакомыми и не на посмеяние ли им едет. Но любопытство сильнее, к тому же и погода чудесная, на дворе июнь месяц. Происходит все на даче, дача новая, никто из них в ней до этого раза не бывал. Народу много, все своя публика: наследники крупнейших состояний, философы, меломаны, коллекционеры, разборчивые ценители. Стулья рядами, пол приподнятый, вроде эстрады, рояль с занесенной на подпорку крышкой, от рояля несколько вбок столик, на столике молоток. Несколько широких трехстворчатых окон. Вот он выходит... Это очень еще молодой человек. Тут, разумеется, будет затрудненье с именем, и действительно, как его назвать, если с первых же шагов человек сам лезет в символы?

Однако и символы бывают разные, назвать же его как-нибудь надо, назовем его временно алгебраически, ну, хоть бы Игреком Третьим. Сразу видно, что никакого блеска не будет, что не цирком пахнет, не Калиостро, не из «Египетских (даже) ночей», что родился человек всерьез и даже не без намерения. Видно, что дело не шуточное, что все совершится в их общую бытность на свете, без отступлений в вымысел, и что им от этого не отвертеться. И потому, со всем простодушием прозы, его, точно на углу Охотного и Дмитровки, встречают аплодисментами. Он объявляет, что тот, кто даст за него всех больше, будет волен в его жизни и смерти. Что он в одни сутки распорядится выручкой, как задумал, и ничего себе не оставит, вслед за чем наступит его полная и беспрекословная неволя, продолжительность какой он сейчас и полагает в руки будущего хозяина, ибо не только будет тот властен пустить его в оборот, в какой захочет, но и вовсе его прикончить, когда и как ему заблагорассудится. Подложная записка о самоубийстве, наперед обеляющая убийцу, у него готова. Любой другой документ, имеющий покрыть знаками его доброй воли все, что с ним ни случится, он изготовит при надобности, когда укажут. «А теперь,— говорит Игрек Третий,— я поиграю вам и почитаю. Играть я буду одно непредвиденное, то есть экспромтом, читать — готовое, хотя и свое». И вот тогда по эстраде проходит новое лицо и садится за столик. Это друг Игрека Третьего. В отличие от остальных друзей, распростившихся с ним поутру, этот остался при Игреке по просьбе последнего. Он любит его не меньше других, но в отличие от них не теряет хладнокровья, потому что не верит в осуществленья Игрековой затеи. Служит он в казначействе и очень исполнительный человек. Вот Игрек и оставил его выкрикивать наддачи при совершении сделки, которой сам оставленный не придает цены. Он остался, чтобы помочь сбыться выдумке, в сбыточность которой не верит, а потом в заключение отстукать друга в далекий путь по всем правилам аукционного искусства. Тут начинается дождь...»

«Тут начинается дождь»,— вывел Сережа на краю восьмого листочка и перенес писанье с почтовой бумаги на писчую. Это был первый черновой набросок из тех, что пишутся один или два раза в жизни, ночь напролет, в один присест. Они по необходимости изобилуют водой, как сти-

хией, по самой природе предназначенной воплощать однообразные, навязчиво-могучие движения. Ничего, кроме самой общей мысли, еще не оформленной, в такие первые вечера не оседает на записи, лишенной живых подробностей, и только естественность, с какой рождается эта идея из пережитых обстоятельств, бывает поразительна.

Дождь был первой подробностью наброска, остановившей Сережу. Он перенес ее с осьмушки на бумагу четвертного формата и принялся мараить и перемарывать, добиваясь желанной наглядности. Местами он выводил слова, которых нет в языке. Он оставлял их временно на бумаге, с тем, чтобы потом они навели его на более непосредственные протоки дождевой воды в разговорную речь, образовавшуюся от общенья восторга с обиходом. Он верил, что эти промоины, признанные и всем понятные, придут ему на память, и их предвосхищенье застлало ему зренье слезами, точно оптическими стеклами не по мерке.

Если бы он не сидел, как всякий пишущий, несколько боком к столу, обратив спину к обоим доступам в комнату, или на минуту повернул голову вправо, он бы до смерти напугался. В дверях стояла Анна. Она исчезла не мгновенно. Отступив на шаг, на два от порога, она простояла на виду и в близком соседстве ровно столько, сколько ей казалось надобным, чтобы не дать лишку ни в вере, ни в суеверьи. Ей не хотелось тягаться с судьбой ни намеренной мешкотностью, ни слепой поспешностью. Она была одета как на прогулку. В руках у ней был туго свернутый зонт, потому что за истекший промежуток она не порвала связи с миром и в комнате у нее было окно. К тому же, как спускаться к Сереже, она благоразумно взглянула на барометр, стоявший на урагане. Выросши, подобно облаку, за Серезиной спиной, она, хотя и во всем черном, белела и дымила в закатной полосе нестерпимой крепости, которая была из-под сизо-лиловой грозовой тучи, наседавшей на сады переулка. Потoki света растворяли Анну вместе с паркетом, который едко клубился под ней, как что-то парообразное. По двум-трем движениям, произведенным Серезей, Анна, как в игре в короли, разгадала и его беду, и ее пожизненную несправимость. Уловив, как двинул он подушкой кулака по глазу, она отвернулась, подобрала юбку и, пригибаясь на ходу, в

несколько сильных и широких шагов вышла на цыпочках из классной. Попав в коридор, она пошла по нему немного поспешнее и опустила юбку, и то с тем же покусыванием губ и так же бесшумно.

Отказывать ему не приходилось трудиться. Все произошло само собой. Ее окно уже во всю ширь было занято перемещениями неба. По виду его лиловых нагромождений было ясно, что уже и до ближайшего угла сухой не добежать. Тем скорее надо было что-нибудь предпринять, чтобы только не оставаться одной с этой свежей и быстро нарывавшей тоскою. При одном допущении, что можно на всю ночь застрять у себя в одиночестве, она леденела от ужаса. Что же случилось бы с ней, если бы это еще и случилось? Пробежав двором в переулок, она невдалеке от дома наняла извозчика, стоявшего с уже поднятым верхом. Она поехала в Чернышевский переулок, к знакомой англичанке, в надежде, что погода будет долгая и неистовая, так что ее нельзя будет отпустить домой и знакомой волей-неволей придется приютить ее на ночь.

«...Итак, на даче начинается дождь. Вот что совершается перед окнами. Старые березы целыми стаями отпускают листья на волю и устраивают им проводы с пригорка. Тем временем свежие вороха, путаясь у них в волосах, взвиваются белесыми вихрями нового пореденья. Проводив их и потеряв из виду, березы поворачиваются к даче, наступает тьма, и еще раньше, чем раздастся первый удар грома, внутри начинается игра на рояле.

Темой своей Игрек выбирает ночное небо в том виде, в каком оно выйдет из бани, в кашемировом пуху облаков, в купоросно-ладанном пару трепаной роши, с сильным проступом звезд, промытых до последних скважинок и будто ставших крупнее. Блеск этих капель, которым никак не расстаться с пространством, как бы они от него ни старались оторваться, им уже развешан над инструментальной чашей. Теперь, разбегаясь по клавиатуре, он бросает сделанное и возвращается к нему, предает его забвенью и наводит на память. Стекла плющатся потоками ртутного студня, перед окнами с охалками огромного воздуха ходят березы и всюду им сорят, осыпая косматые водопады, а музыка знай отвешивает поклоны направо и налево и все что-то с дороги обещает.

И замечательно, всякий раз, как кто-нибудь пробует усомниться в честности ее слова, играющий обдает мало-вера каким-то неожиданным, упорно возвращающимся чудом в звуках. Это чудо его собственного голоса, то есть чудо их завтрашнего способа чувствования и запоминания. Сила этого чуда такова, что она шутя могла бы раскроить таз фортепьяну, попутно сокрушив кости купечеству и венским стульям, а она рассыпается серебристою скороговоркой и звучит тем тише, чем чаще и шибче возвращается.

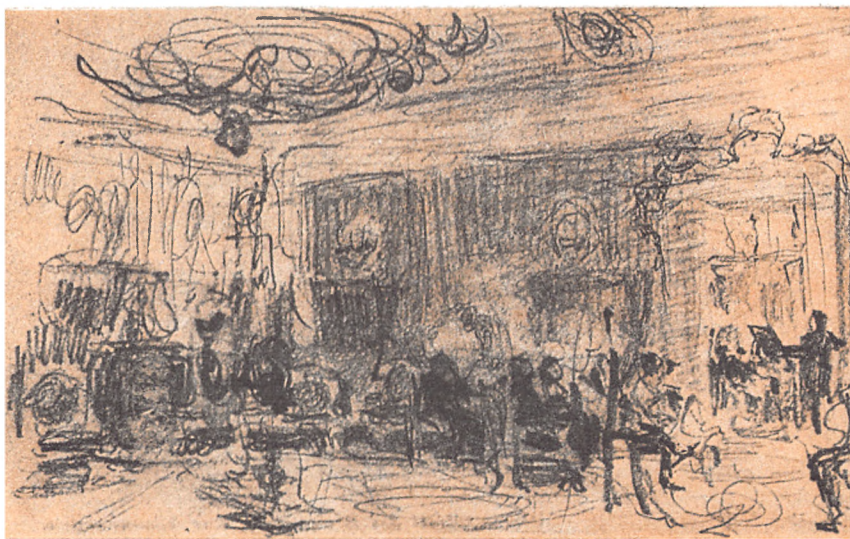
Так же точно он и читает. Он выражается так: я прочту вам столько-то полос белого стиха, столько-то колонок рифмованного. И опять всякий раз, как кому-нибудь кажется, будто этому ковровому вранью безразлично, лечь ли теменем или пятками в полюс, появляются описанья и уподобленья невиданной магниточувствительности. Это—образы, то есть чудеса в слове, то есть примеры полного и стрелоподобного подчиненья земле. И значит, это—направленья, по которым пойдет их завтрашняя нравственность, их устремленность к правде.

Но как странно, видимо, переживал все этот человек. Точно кто попеременно то показывал ему землю, то прятал ее в рукав, и живую красоту он понял как предельное отличие существованья от несуществованья. В том-то и новизна его, что эту разницу, мыслимую не долее мгновенья, он удержал и возвел в постоянный поэтический признак. Но где он мог видеть эти явления и исчезновенья? Не голос ли человечества рассказал ему о мелькающей в смене поколений земле?

Все это сплошь и без изъятий—непреложное искусство, все оно говорит о бесконечностях по нашепту границ, все рождается из богатейшей, бездонно-задушевной земной бедности. Он перемежает игрою чтение, он слышит шелест французских фраз, его обдают духами. Его вполголоса просят забыть обо всем и только продолжать исполняемое и не прекращать его, — и все это не то.

И вот он поднимается и говорит, что их любовь до него доходит, но что они полюбили его недостаточно. А то бы они вспомнили, что они на аукционе и для чего он их собрал. Он говорит, что не может им открыть своих планов, а то они опять вмешаются, как бывало уже столько раз, и предложат другой выход и другую помощь, и даже, может статься, более щедрую, но обязательно неполную и не ту,

которую ему подсказало сердце. Что в той крупной купюре, в какой выпущен человек, ему нет приложенья. Что ему надо разменять себя и они должны ему в этом помочь. И пускай его затея кажется им гибельной причудою. Все равно он либо слышен им весь, либо нет. И если он им слышен, то пусть тогда и слепо ему подчинятся. Он возобновляет игру и чтение, в перерывах трещат имена числительные, праздным рукам и глотке приятеля подыскивается работа, и вот через минут двадцать безрассуднейшей лихорадки, в самый разгар глицериновой хрипоты, на последнем гребне беспримерной испарины, он достается наизадушевнейшему из искателей, человеку строжайших правил и прославленному благотворителю. И не сразу, не в этот вечер, отпускает его тот на свободу...»





V

Разумеется, это не подлинник Серезиной записи. Но он и сам не довел ее до конца. В голове у него осталось много такого, что не попало на бумагу. Он как раз обдумывал сцену городских беспорядков, когда в комнату, ведя за руку упиравшегося Гарри, видно стыдившегося предстоявшего скандала, вломилась Маргарита Оттоновна, насквозь мокрая и разъяренная.

По Серезиной мысли предполагалось, что у благотворителя с подневольным на третий, скажем, день сделки произойдет разговор большой значительности и проникновенности. Было задумано, что, поселив Игрека отдельно и истомив его роскошью ухода, а себя — заботами, богач не вынесет тоски и зайдет к нему в пристройку с просьбой, чтобы тот шел на все четыре стороны, потому что ему никак не придумать, как им воспользоваться подостойнее. А Игрек откажется. И вот в ночь этого разговора им должны будут принести в деревню весть о происшедших в городе беспорядках, начавшихся с буйств в околотке, куда Игрек подбросил свои миллионы. Обоих эта новость обескуражит, Игрека же в особенности тем, что в буйствах, далеко прогремевших, он усмотрит поворот к прежнему, а он надеялся на обновленье, никому не ве-

домое, то есть на полное и бесповоротное. И тогда он уйдет...

— Нет, это неслыханно, я зонтик чуть не сломала.

Je l'admets à l'égard des domestiques, mais qu'en ai-je à penser si...¹. Но боже, что с вами? Вы нездоровы? А я-то хороша. Пойдите минуточку, сейчас. Гарри, моментально, моментально в постель! Разотрете его водкой, Варя, а поговорим завтра, нечего носом сопеть, надо вперед было думать. Ступай, Гарюша. Пятки, пятки, главное, а грудь скипидаром. Завтра всем ласка найдется; и вам, и Лаврентию Никитичу, а с миссис первый ответ.

— А что она сделала?

— Наконец-то! Я при них не хотела. Я сразу ничего не заметила, не сердитесь. У вас неприятности? Что-нибудь в семье?

— Все-таки, виноват, чем вам не угодила миссис?

— Какая миссис? Ничего не понимаю. Как вы покраснели! Ага, так вот оно что. Так, так. Ну хорошо. Да, так, значит, — о моей камеристке. Ее нет с утра. Она ушла со двора вместе с остальной прислугой. Но те хоть к вечеру одумались...

— А миссис Арильд?

— Но это неприлично. Почему я знаю, где ночует миссис Арильд? Suis-je sa confidente?² Я вот зачем у вас задержалась, добрейший Сергей Осипович. Я попрошу вас, голубчик, завтра с утра присмотреть за Гарри, чтобы он собрал свои игры и учебники. Пускай сам, как сумеет, их уложит. Разумеется, вы все это потом переделаете, и виду не подавая, что это входило в ваши планы. Я чувствую, вы хотите спросить о белье и об остальных вещах? Все это поручено Варе и вас не касается. Я считаю, что, где только можно, детей надо держать в иллюзии некоторой самостоятельности. Тут и видимость вырабатывает благотворную привычку. Затем я желала бы, чтобы в будущем вы уделяли ему больше внимания, чем это делалось до сих пор. На вашем месте я бы опускала абажур чуть пониже. Позвольте, ну, вот хоть так, что ли. Не правда ли, так лучше, как повашему? Но я боюсь простудиться. Мы едем послезавтра. Спокойной ночи!

¹ Я это допускаю в отношении прислуги, но что думать, когда... (франц.)

² Разве я поверенная ее тайн? (франц.)

Однажды, в начале знакомства, Сережа разговорился с Арильд о Москве и стал верить ее познания. Кроме Кремля, осмотренного ею в достаточности, она назвала ему несколько частей, в которых проживали ее знакомые. Как теперь оказалось, из перечисленных названий он удержал в памяти только два — Садовую-Кудринскую и Чернышевский переулок. Откидывая позабытые направления, точно и Аннин выбор был ограничен его памятью, он теперь готов был поручиться, что Анна проводит ночь на Садовой. Он был в этом уверен, потому что тогда ему был прямой зарез. Отыскать ее в такой час на большой улице, без слабого представления о том, где и у кого искать, не было возможности. Другое дело — Чернышевский, где ее наверняка не могло быть по всему поведению его тоски, которая, подобно собаке, бежала впереди его по тротуару и, вырываясь из рук, его за собой тащила. В Чернышевском он нашел бы ее обязательно, если бы только было мыслимо, чтобы живая Анна своей управою и сама была в том месте, куда ее еще только хотелось (и как хотелось!) поместить. Уверенный в неуспехе, он бежал взглянуть своими глазами на несужденную возможность, потому что был в том состоянии, когда сердце готово лучше глотать черствейшую безнадежность, только бы не оставаться без дела.

Было полное уже утро, мутное и холодное. Ночной дождь только прошел. Что ни шаг, над серым, до черноты отсыревшим гранитом загоралось сверканье серебристых тополей. Темное небо было, как молоком, окроплено их беловатой листвою. Их обитые листья испещряли мостовую грязными клочками рваных расписок. Чудилось, будто гроза, уйдя, возложила на эти деревья разбор последствий и все утро, путаное и полное неожиданностей, — в их седой и свежей руке.

По воскресеньям Анна ходила к обедне в англиканскую церковь. Сереже помнилось с ее слов, что тут где-то поблизости должна жить одна из ее знакомых. И потому со своими заботами он расположился как раз против кирки.

Он бросал пустые взгляды в открытые окна спавшего пастората, и сердце глотательными движениями подхватывало куски картины, жадно уписывая сырой кирпич флигелей вместе с мокрою зеленью деревьев. Его тревожные взоры кромсали также и воздух, кото-

рый поступал всухомятку неведомо куда, минуя легкие.

Чтобы часом не навлечь чьих-нибудь подозрений, Сережа временами беспечно прогуливался по всему переулку. Только два звука нарушали его сонную тишину: Сережины шаги и шум какого-то двигателя, работавшего неподалеку. Это была ротационная машина в типографии «Русских ведомостей». Нутро Сережи было все в кровоподтеках, он задыхался от богатства, которое должен был и еле был в силах вместить.

Силой, расширявшей до беспредельности его ощущение, была совершенная буквальность страсти, то есть то ее качество, благодаря которому язык кишит образами, метафорами и еще более того — загадочными образованиями, не поддающимися разъяснению. Разумеется, весь переулок в его сплошной сумрачности был кругом и целиком Анною. Тут Сережа был не одинок и знал это. И правда, с кем до него этого не бывало! Однако чувство было еще шире и точнее, и тут помощь друзей и предшественников кончалась. Он видел, как больно и трудно Анне быть городским утром, то есть во что обходится ей сверхчеловеческое достоинство природы. Она молча красовалась в его присутствии и не звала его на помощь. И, помирая с тоски по настоящей Арильд, то есть по всему этому великолепию в его кратчайшем и драгоценнейшем извлечении, он смотрел, как, обложенная тополями, точно ледяными полотенцами, она засасывается облаками и медленно закидывает назад свои кирпичные готические башни. Этот кирпич багрового нерусского обжига казался привозным, и почему-то из Шотландии.

Из ночной редакции вышел человек в пальто и мягкой шляпе. Он не оглядываясь пошел по направлению к Никитской. Чтобы не вызывать в нем подозрений, если бы он оглянулся, Сережа перешел с газетного тротуара на шотландский и зашагал в сторону Тверской. В двадцати шагах от церкви он увидел Арильд в светелке противоположного дома. В эту минуту она подошла изнутри к окошку. Когда они справились с неожиданностью, они заговорили вполголоса, как в присутствии спящих. Это делалось ради Анниной приятельницы. Сережа стоял на середине мостовой. Было похоже, будто они говорят шепотом, чтобы не разбудить столы.

— Я давно слышу, — сказала Анна, — все кто-то ходит, не спит. А вдруг, думаю, это он! Отчего вы не подошли сразу?

Вагонный коридор швыряло из стороны в сторону. Он казался бесконечным. За шеренгой лакированных, плотно задвинутых дверей спали пассажиры. Мягкие рессоры глушили вагон. Он походил на великолепно взбитую чугунную перину.

Всего приятнее колыхались края пуховика, и, чем-то напоминая катанье яиц на Пасху, по коридору в сапогах и шароварах, в круглой шапке и со свистком на ремешке катился толстый обер-кондуктор. Ему было жарко в зимней обмундировке, и в ее облегченье он поправлял на ходу строгое пенсне. Оно поражало своей мелкотой среди крупных капель пота, слезивших сплошь его лицо, точно свежий срез мещерского сыра. В вагоне другого какого-нибудь класса, заметив Сережину позу, он бы обязательно взял пассажира за талию или другим каким-нибудь манером вывел бы из самозабвенья. Сережа дремал, положив локти на борт опущенного окошка. Он дремал и просыпался, зевал, восхищался видами и тер глаза. Он высовывался из окна и горланил мотивы, которые в свое время игрывала Арильд, и никто не слышал, как он их орал. Когда поезд с закруглений выходил на прямую, коридором завладевал стройный, неподвижный сквозняк. Всласть набегавшись и наготовавшись, дикие двери тамбуров и уборных вытягивали крылья, и под гул возраставшей скорости было удивительно чувствовать, что ты не то чтобы на тяге, а попросту сам в числе тянущей птицы, с бравурой Шумана в душе.

Из купе его выгнала не одна жара. Ему было неловко в обществе Фрестельнов. Потребна была неделя-другая, чтобы нарушившиеся отношения пришли в старый порядок. В их ухудшении он меньше всего винил Маргариту Оттоновну. Он признавал, что если бы даже он был ей приемным сыном, а спуск и потворство ему во всем — главной ее обязанностью, то и в таком случае ей было от чего прийти в отчаянье в недавней предотъездной суматохе.

После свежего ночного выговора он изволил пропасть на весь канун отъезда, когда заведомо знал, ка-

кой содом подымается в хозяйстве с самых спозаранок.

— Шторы, — неожиданно взвизгивал кто-нибудь, и из кусков рогожи чудесно складывался, совершенно как живой, Егор, — шторы, вот наказание!

— Чего — шторы?

— Чаво — шторы, рыло! Так им, по-твоему, и висеть?

— А что им делается?

— А ты их выколачивал?

— Лаврентий, чтоб тебя намочило, отстань, дьявол!

— Варя, дорогая, вы, знаете ли, не на гуляньи.

«...Но, в конце концов, черт с ней. Арильд так Арильд. Жаль, конечно, беднягу: дрянь женщина и интриганка, но что поделаешь, раз нашла коса на камень. Однако тогда и разговор другой, если на то пошло, и все на свете можно делать по-человечески. Поезд с Брянского пять сорок пять, проводил — и баста. И так, чтобы дома ни одна душа по тебе не сказала, где ты был и что потерял. Напротив, всякий подумает: вот истинный мужчина, вот порядочный, уважающий себя человек. Но, видно, это отсталость, и теперь все по-другому. Запереться ему, видите ли, надо с проводов, и его не смущает, что все по часам будут наблюдать, как он там... осваивается и привыкает. Ну что тут делать? Рассчитать его?..»

— Не замайте, барыня, вы не так, я сама подоткну, только вот — о, чтоб тебя, дьявол, гниль какая! Второй лопнул, я говорила — веревкой.

«...Но как его считаешь, когда кругом такая горячка и совершенно ясно из происшедшего, что теперь ему заработок не в забаву. Но, позвольте, позвольте, тогда и должность не баловство, и ею надо дорожить. В извиненье ему можно сказать, что существует новое декадентское выраженье «переживать». Однако и переживать, то есть выставлять свои секреты для внешнего обозренья, вероятно, можно по-человечески, между тем как на другое утро это совершенно неузнаваемый, ни на что не пригодный человек, Христос Христом, сама пассивность: предложи всерьез — головой будет ящики заколачивать; а увы, никак не это требуется в хозяйстве, и не с такую целью держат воспитателя в порядочной семье... И вот они едут, и он с ними. Зачем же он с ними? А как его рассчитать? Между прочим, в Туле они опоздали к пассажирскому, с которым был согласован московский поезд, и в окно вагона с ужа-

сом увидели, как побежал он вбок от них по встречному калужскому направлению. Эта ночь была ужасна... Зато их вознаградили за десятичасовую муку. С час тому назад мимо Тулы по Сызрано-Вяземской железной дороге прошел этот дальний, и они в нем разместились с комфортом, которого не могла дать ночная пересадка. Антон Карлович и Гарри спят, хотя через двадцать минут их придется поднимать, бедняжек».

Обер-кондуктору был вагон по душе, и он то и дело в него наведывался. Виды же поистине попадались изумительные. Вот хотя бы в настоящую минуту, когда, застыв на всем разное, грязный и громкий поезд плыл и как бы покоился на широко заведенной дуге из крутого и жаркого песку, а против насыпи, далеко за поймами, на чуть вздрагивавшем пригорке плыла и как бы покоилась большая кудрявая усадьба. Когда б не пятнадцать верст предстоящего пути, можно было бы подумать, что это Рухлово: так походила на все слышанное белые проблески барского дома и ограда парка, помятая неровностями косогора, на который она как бы была целиком положена, как снятое с шеи ожерелье. В парке было много серебристых тополей. «Дорогие!» — прошептал Сережа и, зажмурившись, подставил волосы под прыжки встречного ветра.

Итак, вот для какой надобности существует у людей слово «счастье». Хотя и это были одни беседы, и он только делил ее хлопоты и снаряжал в дорогу... хотя и у них будет другая, полная близость... но ближе, чем в эти незабвенные десять часов, им больше никогда не стать. Все на свете понято, больше нечего понимать. Остается жить, то есть рассекать руками пониманье и пропадать в нем; остается нравиться ему, как оно нравится им, раскинутое кругом, с железными дорогами, проведенными по его лицу и срокам. Какое счастье!

Но какая случайность, что она заговорила о родне! Как легко могло этого не случиться. Мерзавцы, много они понимают, что роняет, что возвышает род. Но о ее несчастном отце как-нибудь в другой раз (поразительный случай!). Теперь понятно, откуда у ней такие знанья, так что она кажется старше себя вдвое и вдесятеро холостее. Все это у нее по наследственности. Вот почему она так спокойно всем этим владеет. Еще бы она стала себе удивляться и добиваться за свои дары шумного имени. Оно и так у нее было в девичестве, и — прегромкое.

Ее предки были выходцами из Шотландии. За этими подробностями была упомянута Мария Стюарт. И теперь невозможно было отделаться от чувства, будто этого-то имени и недоставало все утро облачному Чернышевскому переулку.

Но вот строгий обер-кондуктор тронул оглохшего путешественника за талию и предупредил, что ему и его соседям по купе слезать на следующей остановке.

Так передвигались люди тем последним по счету летом, когда еще жизнь по видимости обращалась к отдельным и любить что бы то ни было на свете было легче и свойственнее, чем ненавидеть.

Сережа потянулся, заворочался и пошел зевать без отступу, раз от разу все неистовей. Вдруг это прекратилось. Он проворно приподнялся на локте и с трезвой быстротой осмотрелся кругом. На полу пролитою лужей стоял отсвет дворового фонаря. «Зима,— сразу сообразил он, — и это первый сон у Наташи в Усольи». Никто, по счастью, не подсмотрел его полуживотного пробужденья. И — ах! — да ведь вот что, как бы не забыть. Ему снилось нечто бесформенное и такое, что и сейчас еще голову ломит. Всего замечательнее, что у этой чепухи было прозвище, пока он ее видел. Это — Лемох, но поди доишись в этом смысла. Одно несомненно: надо встать, и аппетит у него волчий, если только он не проспал гостей.

Через минуту он уже тонул в байковых, отдававших йодоформом зятниных объятиях. У того в кулаке осталась подковырка для вскрыванья консервов, и он бросился к Сереже с рукой, отведенной наотлет. Это, вместе с торчавшей из кармана слуховой трубкой, несколько испортило сладость лобзаний, как материализовавшаяся на ошупь искренность. И раскупорка консервов не могла возобновиться с прежним совершенством и захромала. Поперек коробок посыпались расспросы, отрывистые и деланно простецкие. Сережа стоял, радовался и недоумевал, зачем дурака ломать, когда можно им быть по-природному, не стараясь. Они не любили друг друга.

На столе чистым строем стояли бодрые, вполне выпавшиеся водочные рюмки. И сложный ассортимент духовых и ударных закусок радовал глаз. Над ними по-капельмейстерски высились черные винные бутылки и каждую мину-

ту готовы были грянуть и отмахать оглушительное вступление ко всяческим хохотам и каламбурам. Зрелище было тем внушительнее, что по всей России продажа вина была запрещена, завод же, как видно, жил автономною республикою.

Было уже поздно, и детей обещали показать в кроватках.

Вообще вся комната точно плавала в коньяке. От освещения ли это или от подбора мебели, но казалось, будто и полы натерты не воском, а канифолью, и нога, скользя, нащупывала под собой не завощенные расщеплины, а склеившийся и как бы нафабранный волос. Жаркой желтизной обстановки («Карельская береза, ты что думаешь?» — зачем-то соврал Калязин) было, как лимонною настойкою, налито все, что обладало гранями и было способно играть. Сережа обладал этими способностями. По его расчетам, пронзительно освещенный дом должен был казаться медвежьей сине-белой ночи чем-то вроде крошечной, полной угольков конфорки, вздутой среди сугробов.

— Ага, подморозило! Очень рад, — сказал он, став за полу гардины и вглядываясь во мрак.

— М-да, скрепило, — рассеянно промычал зять, протирая платком заянтаренные соусами пальцы.

— А то у меня сапог нет; я не привез, не догадался купить.

— Дело поправимое, здесь заведешь. Но о чем мы, помилуй, тут моносказать, человек из самого, моносказать... Нельма, сибирская рыба. И максун. Слыхал ли ты, брат, про таких? Нет? Ну вот, я и сам знал, что не слышал.

Сереже становилось все веселее, и неизвестно, какой бы выходкой это у него кончилось. В это время из коридора прикатился смутный смешанный топот ног. Там раздевались. Скоро в столовую, и все с воздуха, румяные, вошли: Наташа, незнакомая Сереже девушка и сухой, определенный и очень быстрый человек, к которому Сережа и бросился вперед Калязина и поздоровался крупно, радостно и почти испуганно. Вся веселость с него слетела. Во-первых, он знал этого человека, и, кроме того, перед ним стояло нечто высшее, чуждое и всего Сережу с головы до ног обесценивавшее. Это был мужской дух факта, самый скромный и самый страшный из духов.

— Брат ваш как?.. — смущенно начал Сережа и запнулся.

— Жив пока, — отвечал Лемох, — ранен в ногу, у меня на поправке. Я, верно, его у себя устрою. Рад встрече. Здравствуйте, Павел Павлович.

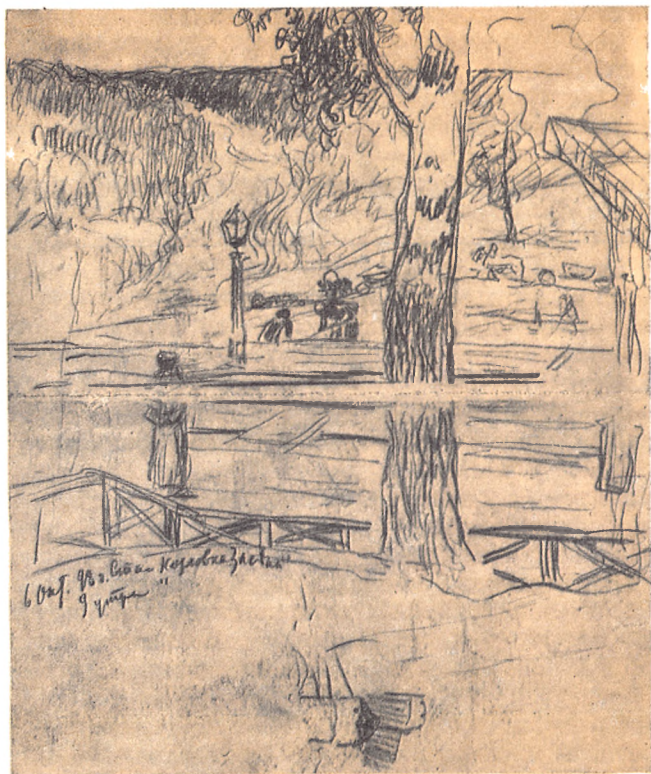
— Представьте себе, — еще растерянное замямлил Сережа, — может, он это скрывал по долгу службы, но никто не знал, что это мобилизация. Все думали — маневры. виноват, я не знаю, как называются эти учебные передвиженья. Во всяком случае, думали, что это что-то примерное. А это их уже гнали на войну. Словом, позапрошлым летом в июле я с ним виделся. И оцените. Их часть шла на баржах мимо нас, они пристали на ночлег как раз близ имения, где я тогда служил воспитателем. Это было за два дня до объявления войны. Мы только потом это раскусили. Вы поняли?

— Да, я знаю про ваш разговор, брат рассказывал.

И Сережа только не сознался, что и в ту ночную встречу постеснялся спросить у вольноопределяющегося, как его фамилия.

1929





ОХРАННАЯ ГРАМОТА

Памяти Райнера Мария Рильке

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1

Жарким летним утром 1900 года с Курского вокзала отходит курьерский поезд. Перед самой отправкой к окну снаружи подходит кто-то в черной тирольской разлетаке. С ним высокая женщина. Она, вероятно, приходится ему матерью или старшей сестрой. Втроем с отцом они говорят о чем-то одном, во что все вместе посвящены с одинаковой теплотой, но женщина перекидывается с мамой отрывочными словами по-русски, незнакомец же говорит только по-немецки. Хотя я знаю этот язык в совершенстве, но таким

его никогда не слышал. Поэтому тут, на людном перроне, между двух звонков, этот иностранец кажется мне силуэтом среди тел, вымыслом в гуще невымысленности.

В пути, ближе к Туле, эта пара опять появляется у нас в купе. Говорят о том, что в Козловой Засеке курьерскому останавливаться нет положенья и они не уверены, скажет ли обер-кондуктор машинисту вовремя придержать у Толстых. Из следующего за тем разговора я заключаю, что им к Софье Андреевне, потому что она ездит в Москву на симфонические и еще недавно была у нас, то же бесконечно важное, что символизируется буквами гр. Л. Н. и играет скрытую, но до головоломности прокуренную роль в семье, никакому воплощению не поддается. Оно видно в слишком раннем младенчестве. Его седина, впоследствии подновленная отцовыми, репинскими и другими зарисовками, детским воображеньем давно присвоена другому старику, виденному чаще и, вероятно, позднее, — Николаю Николаевичу Ге.

Потом они прощаются и уходят в свой вагон. Немного спустя летящую насыпь берут разом в тормоза. Мелькают березы. Во весь раскат полотна сопят и сталкиваются тарели сцеплений. Из вихря певучего песку облегченно вырывается кучевое небо. Полуповоротом от роши, распластываясь в русской, к высадившимся подпархивает порожняя пара пристяжкой. Мгновенно волнующая, как выстрел, тишина разъезда, ничего о нас не ведающего. Нам тут не стоять. Нам машут на прощанье платками. Мы отвечаем. Еще видно, как их подсаживает ящик. Вот, отдав барыне фартук, он привстал, краснорукавый, чтобы поправить кушак и подобрать под себя длинные полы поддевки. Сейчас он тронет. В это время нас подхватывает закругленье, и, медленно перевертываясь, как прочитанная страница, полустанок скрывается из виду. Лицо и происшествие забываются, и, как можно предположить, навсегда.

2

Проходит три года, на дворе зима. Улицу на треть укоротили сумерки и шубы. По ней бесшумно носятся кубы карет и фонарей. Наследованью приличий, не раз прерывавшемуся и раньше, положен конец. Их смыло волной более могущественной преемственности — лицевой.

Я не буду описывать в подробностях, что ей предшествовало. Как в ощущеньи, напоминавшем «шестое чувство»

Гумилева, десятилетку открылась природа. Как первой его страстью в ответ на пятилепестную пристальность растения явилась ботаника. Как имена, отысканные по определителю, приносили успокоенье душистым зрачкам, безвопросно рвавшимся к Линнею, точно из глухоты к славе.

Как весной девятьсот первого года в Зоологическом саду показывали отряд дагомейских амазонок. Как первое ощущение женщины связалось у меня с ощущением обнаженного строя, сомкнутого страданья, тропического парада под барабан. Как раньше, чем надо, стал я невольником форм, потому что слишком рано увидел на них форму невольниц. Как летом девятьсот третьего года в Оболенском, где по соседству жили Скрябины, купаясь, тонула воспитанница знакомых, живших за Протвой. Как погиб студент, бросившийся к ней на помощь, и она затем сошла с ума, после нескольких покушений на самоубийство с того же обрыва. Как потом, когда я сломал себе ногу, в один вечер выбывши из двух будущих войн, и лежал без движения в гипсе, горели за рекой эти знакомые, и юродствовал, трясясь в лихорадке, тоненький сельский набат. Как, натягиваясь, точно запущенный змей, колотилось косоугольное зарево и вдруг, свернув трубою лучинный переплет, кувырком ныряло в кулебячные слои серо-малинового дыма.

Как, скача в ту ночь с врачом из Малоярославца, поседел мой отец при виде клубившегося отблеска, облаком вставшего со второй версты над лесною дорогой и вселявшего убеждение, что это горит близкая ему женщина с тремя детьми и трехпудовой глыбой гипса, которой не поднять, не боясь навсегда ее искалечить.

Я не буду этого описывать, это сделает за меня читатель. Он любит фабулы и страхи и смотрит на историю как на рассказ с непрекращающимся продолженьем. Незвестно, желает ли он ей разумного конца. Ему по душе места, дальше которых не простирались его прогулки. Он весь толет в предисловиях и введениях, а для меня жизнь открывалась лишь там, где он склонен подводить итоги. Не говоря о том, что внутреннее членение истории навязано моему пониманию в образе неминуемой смерти, я и в жизни оживал целиком лишь в тех случаях, когда заканчивалась утомительная варка частей и, пообедав целым, вырывалось на свободу всей ширью оснащенное чувство.

Итак, на дворе зима, улица на треть подрублена сумерками и весь день на побегушках. За ней, отставая в вихре снежинок, гонятся вихрем фонари. Дорогой из гимназии имя Скрябина, все в снегу, соскакивает с афиши мне на закорки. Я на крышке ранца заносу его домой, от него натекает на подоконник. Обожанье это бьет меня жесточе и неприкрашеннее лихорадки. Завидя его, я бледнею, чтобы вслед за тем густо покраснеть именно этой бледности. Он ко мне обращается, я лишаюсь соображения и слышу, как под общий смех отвечаю что-то невпопад, но что именно — не слышу. Я знаю, что он обо всем догадывается, но ни разу не пришел мне на помощь. Значит, он меня не щадит, и это именно то безответное, неразделенное чувство, которого я и жажду. Только оно, и чем оно горячее, тем больше ограждает меня от опустошений, производимых его непередаваемой музыкой.

Перед отъездом в Италию он заходит к нам прощаться. Он играет, — этого не описать, — он у нас ужинает, пускается в философию, простодушничают, шутит. Мне все время кажется, что он томится скукой. Приступают к прощанью. Раздаются пожеланья. Кровавым комком в общую кучу напутствий падает и мое. Все это говорится на ходу, и возгласы, теснясь в дверях, постепенно передвигаются к передней. Тут все опять повторяется с резюмирующей порывистостью и крючком воротника, долго не попадающим в туго ушитую петлю. Стучит дверь, дважды поворачивается ключ. Проходя мимо рояля, всем петельчатым свеченьем пюпитра еще говорящего о его игре, мама садится просматривать оставленные им этюды, и только первые шестнадцать тактов слагаются в предложение, полное какой-то удивляющейся готовности, ничем на земле не вознагражимой, как я без шубы, с непокрытой головой скатываюсь вниз по лестнице и бегу по ночной Мясницкой, чтобы его воротить или еще раз увидеть.

Это испытано каждым. Всем нам являлась традиция, всем обещала лицо, всем, по-разному, свое обещанье сдержала. Все мы стали людьми лишь в той мере, в какой людей любили и имели случай любить. Никогда, прикрывшись кличкой среды, не довольствовалась она сочиненным о ней сводным образом, но всегда отряжала к нам какое-нибудь из решительнейших своих исключений. Отчего же большинство ушло в облик сносной и только терпимой общности? Оно лицу предпочло безличие, испугавшись

жертв, которых традиция требует от детства. Любить самоотверженно и беззаветно, с силой, равной квадрату дистанции, — дело наших сердец, пока мы дети.

3

Конечно, я не догнал его, да вряд ли об этом и думал. Мы встретились через шесть лет, по его возвращении из-за границы. Срок этот упал полностью на отроческие годы. А как необозримо отрочество, каждому известно. Сколько бы нам потом ни набегало десятков, они бессильны наполнить этот ангар, в который они залетают за воспоминаньями, порознь и кучею, днем и ночью, как учебные аэропланы за бензином. Другими словами, эти годы в нашей жизни составляют часть, превосходящую целое, и Фауст, переживший их дважды, прожил сущую невообразимость, измеримую только математическим парадоксом.

Он приехал, и сразу же пошли репетиции «Экстаза». Как бы мне хотелось теперь заменить это названье, отдающее тугою мыльною оберткой, каким-нибудь более подходящим! Они происходили по утрам. Путь туда лежал разварной мглой. Фуркасовским и Кузнецким, тонувшими в ледяной тюре. Сонной дорогой в туман погружались всякие языки колоколен. На каждой по разу ухал одинокий колокол. Остальные дружно безмолвствовали всем воздержаньем говевшей меди. На выезде из Газетного Никитская была яйцо с коньяком в гулком омуте перекрестка. Голося, въезжали в лужи кованые полозья, и цокал кремень под тростями концертантов. Консерватория в эти часы походила на цирк порой утренней уборки. Пустовали клетки амфитеатров. Медленно наполнялся партер. Насилу загнанная в палки на зимнюю половину, музыка шлепала оттуда лапой по деревянной обшивке органа. Вдруг публика начинала прибывать ровным потоком, точно город очищали неприятелю. Музыку выпускали. Пестрая, несметно ломящаяся, молниеносно множась, она скачками рассыпалась по эстраде. Ее настраивали, она с лихорадочной поспешностью неслась к согласью и, вдруг достигнув гула несслыханной слитности, обрывалась на всем басистом вихре, вся замерев и выровнявшись вдоль ramпы.

Это было первое поселенье человека в мирах, открытых Вагнером для вымыслов и мастодонтов. На участке возводилось вымышленное лирическое жилище, материально равное всей ему на кирпич перемолотой вселенной. Над

плетнем симфонии загоралось солнце Ван Гога. Ее подоконники покрывались пыльным архивом Шопена. Жильцы в эту пыль своего носа не совали, но всем своим укладом осуществляли лучшие заветы предшественника.

Без слез я не мог ее слышать. Она вгравировалась в мою память раньше, чем легла в цинкографические доски первых корректур. В этом не было неожиданности. Рука, ее написавшая, за шесть лет перед тем легла на меня с не меньшим весом.

Чем были все эти годы, как не дальнейшими превращениями живого отпечатка, отданного на произвол роста? Не удивительно, что в симфонии я встретил завидно счастливую ровесницу. Ее соседство не могло не отозваться на близких, на моих занятиях, на всем моем обиходе. И вот как оно отозвалось.

Больше всего на свете я любил музыку, больше всех в ней — Скрябина. Музыкально лепетать я стал незадолго до первого с ним знакомства. К его возвращению я был учеником одного поныне здравствующего композитора. Мне оставалось еще только пройти оркестровку. Говорили всякое, впрочем, важно лишь то, что, если бы говорили и противное, все равно жизни вне музыки я себе не представлял.

Но у меня не было абсолютного слуха. Так называется способность узнавать высоту любой произвольно взятой ноты. Отсутствие качества, ни в какой связи с общею музыкальностью не стоящего, но которым в полной мере обладала моя мать, не давало мне покоя. Если бы музыка была мне поприщем, как казалось со стороны, я бы этим абсолютным слухом не интересовался. Я знал, что его нет у выдающихся современных композиторов, и, как думают, может быть, и Вагнер, и Чайковский были его лишены. Но музыка была для меня культом, то есть той разрушительной точкой, в которую собиралось все, что было самого суеверного и самоотреченного во мне, и потому всякий раз, как за каким-нибудь вечерним вдохновеньем окрылялась моя воля, я утром спешил унижить ее, вновь и вновь вспоминая о названном недостатке.

Тем не менее у меня было несколько серьезных работ. Теперь их предстояло показать моему кумиру. Устройство встречи, столь естественной при нашем знакомстве домами, я воспринял с обычной крайностью. Этот шаг, который при всяких обстоятельствах показался бы мне навязчивым,

в настоящем случае выростал в моих глазах до какого-то кощунства. И в назначенный день, направляясь в Глазовский, где временно проживал Скрябин, я не столько вез ему свои сочинения, сколько давно превзошедшую всякое выражение любовь и свои извинения в воображаемой невольности, невольным поводом к которой себя сознавал. Переполненный номер четвертый тискал и подкидывал эти чувства, неумолимо неся их к страшно близившейся цели по бурому Арбату, который волокли к Смоленскому, по колена в воде, мохнатые и потные вороны, лошади и пешеходы.

4

Я оценил тогда, как вышколены у нас лицевые мышцы. С перехваченной от волнения глоткой, я мямлил что-то отсохшим языком и запивал свои ответы частыми глотками чаю, чтобы не задохнуться или не сплеховать как-нибудь еще.

По челюстным мослам и выпуклостям лба ходила кожа, я двигал бровями, кивал и улыбался, и всякий раз, как я дотрагивался у переносицы до складок этой мимики, щекотливой и садкой, как паутина, в руке у меня оказывался судорожно зажатый платок, которым я вновь и вновь отирал со лба крупные капли пота. С затылка, связанная занавесями, всем переулком дымилась весна. Впереди, промеж хозяев, удвоенной словоохотливостью старавшихся вывести меня из затруднения, дышал по чашкам чай, шипел пронзенный стрелкой пара самовар, клубилось отуманенное водой и навозом солнце. Дым сигарного окурка, волокнистый, как черепаховая гребенка, тянулся из пепельницы к свету, достигнув которого, пресыщенно полз по нему вбок, как по суконке. Не знаю отчего, но этот круговорот ослепленного воздуха, испарявшихся вафель, курившегося сахару и горевшего, как бумага, серебра нестерпимо усугублял мою тревогу. Она улеглась, когда, перейдя в залу, я очутился у рояля.

Первую вещь я играл еще с волнением, вторую — почти справясь с ним, третью — поддавшись напору нового и непредвиденного. Случайно взгляд мой упал на слушавшего.

Следуя постепенности исполнения, он сперва поднял голову, потом — брови, наконец, весь расцветши, поднялся и сам и, сопровождая изменения мелодии неувеличиваями из-

менениями улыбки, поплыл ко мне по ее ритмической перспективе. Все это ему нравилось. Я поспешил кончить. Он сразу пустился уверять меня, что о музыкальных способностях говорить нелепо, когда налицо несравненно большее, и мне в музыке дано сказать свое слово. В ссылках на промелькнувшие эпизоды он подсел к роялю, чтобы повторить один, наиболее его привлекавший. Оборот был сложен, я не ждал, чтобы он воспроизвел его в точности, но произошла другая неожиданность, он повторил его не в той тональности, и недостаток, так меня мучивший все эти годы, брызнул из-под его рук, как его собственный.

И, опять, предпочтя красноречью факта превратности гаданья, я вздрогнул и задумал надвое. Если на признании он возразит мне: «Боря, но ведь этого нет и у меня», тогда — хорошо, тогда, значит, не я навязываюсь музыке, а она сама суждена мне. Если же речь в ответ пойдет о Вагнере и Чайковском, о настройщиках и так далее, — но я уже приступал к тревожному предмету и, перебитый на полуслове, уже глотал в ответ: «Абсолютный слух? После всего, что я сказал вам? А Вагнер? А Чайковский? А сотни настройщиков, которые наделены им?..»

Мы прохаживались по залу. Он клал мне руку то на плечо, то брал меня под руку. Он говорил о вреде импровизации, о том, когда, зачем и как надо писать. В образцы простоты, к которой всегда следует стремиться, он ставил свои новые сонаты, ославленные за головомомность. Примеры предосудительной сложности приводил из банальнейшей романсной литературы. Парадоксальность сравнения меня не смущала. Я соглашался, что безличье сложнее лица. Что небережливое многословье кажется доступным, потому что оно бессодержательно. Что, развращенные пустотою шаблонов, мы именно неслыханную содержательность, являющуюся к нам после долгой отвычки, принимаем за претензии формы. Незаметно он перешел к более решительным наставленьям. Он справился о моем образовании и, узнав, что я избрал юридический факультет за его легкость, посоветовал немедленно перевестись на философское отделение историко-филологического, что я на другой день и исполнил. А тем временем, как он говорил, я думал о происшедшем. Сделки своей с судьбою я не нарушал. О худом выходе загаданного помнил. Развенчивала ли эта случайность моего бога? Нет, никогда, — с прежней высоты она подымала его на новую. Отчего он отказал мне в

том простейшем ответе, которого я так ждал? Это его тайна. Когда-нибудь, когда уже будет поздно, он подарит меня этим упущенным признанием. Как одолел он в юности свои сомненья? Это тоже его тайна, она-то и возводит его на новую высоту. Однако в комнате давно темно, в переулке горят фонари, пора и честь знать.

Я не знал, прощаясь, как благодарить его. Что-то подымалось во мне. Что-то рвалось и освобождалось. Что-то плакало, что-то ликовало.

Первая же струя уличной прохлады отдала домами и далями. Целое их столпотворение поднялось к небу, вынесенное с булыжника единомудушием московской ночи. Я вспомнил о родителях и об их нетерпеливо готовящихся расспросах. Мое сообщение, как бы я его ни повел, никакого смысла, кроме радостнейшего, иметь не могло. Тут только, подчиняясь логике предстоявшего рассказа, я впервые как к факту отнесся к счастливым событиям дня. Мне они в таком виде не принадлежали. Действительностью становились они лишь в предназначеньи для других. Как ни возбуждала весть, которую я нес домашним, на душе у меня было беспокойно. Но все больше походило на радость сознание, что именно этой грусти мне ни во чьи уши не вложить и, как и мое будущее, она останется внизу, на улице, со всей моею, моею в этот час, как никогда, Москвой. Я шел переулками, чаще надобности переходя через дорогу. Совершенно без моего ведома во мне таял и надламывался мир, еще накануне казавшийся навсегда прирожденным. Я шел, с каждым поворотом все больше прибавляя шагу, и не знал, что в эту ночь уже рву с музыкой.

В возрастах отлично разбиралась Греция. Она остерегалась их смешивать. Она умела мыслить детство замкнуто и самостоятельно, как заглавное интеграционное ядро. Как высока у ней эта способность, видно из ее мифа о Ганимеди и из множества сходных. Те же воззрения вошли в ее понятие о полубоге и герое. Какая-то доля риска и трагизма, по ее мысли, должна быть собрана достаточно рано в наглядную, мгновенно обозримую горсть. Какие-то части зданья, и среди них основная арка фатальности, должны быть заложены разом, с самого начала, в интересах его будущей соразмерности. И, наконец, в каком-то запоминающемся подобии, быть может, должна быть пережита и смерть.

Вот отчего при гениальном, всегда неожиданном, ска-

зочно захватывающем искусстве античность не знала романтизма.

Воспитанная на никем потом не повторенной требовательности, на сверхчеловечестве дел и задач, она совершенно не знала сверхчеловечества как личного аффекта. От этого она была застрахована тем, что всю дозу необычного, заключающуюся в мире, целиком прописывала детству. И когда по ее приему человек гигантскими шагами вступал в гигантскую действительность, поступь и обстановка считались обычными.

5

В один из ближайших вечеров, отправляясь на собрание «Сердарды», пьяного сообщества, основанного десятком поэтов, музыкантов и художников, я вспомнил, что обещал принести Юлиану Анисимову, читавшему перед тем отличные переводы из Демеля, другого немецкого поэта, которого я предпочитал всем его современникам. И опять, как не раз уже и раньше, сборник «*Mir zug Feier*» очутился у меня в руках в труднейшую мою пору и ушел по слякоти на деревянный Разгуляй, в отсырелое сплетенье старины, наследственности и молодых обещаний, чтобы, одурев от грачей в мезонине под тополями, вернуться домой с новой дружбой, то есть с чутьем еще на одну дверь в городе, где их было тогда еще немного. Пора рассказать, однако, как ко мне попал этот сборник. Дело в том, что шестью годами раньше, в те декабрьские сумерки, которые я принимался тут описывать дважды, вместе с бесшумной улицей, всюду подстерегавшейся таинственными ужимками снежинок, ездил на коленках и я, помогая маме в уборке отцовских этажерок. Уже пройденная тряпкой и уторканная с четырех боков печатная требуха правильными рядами возвращалась на распотрошенные полки, как вдруг из одной стопы, особенно колышливой и ослушной, вывалилась книжка в серой выгоревшей обложке. По совершенной случайности я не втиснул ее назад и, подобрав с полу, взял потом к себе. Прошло много времени, и я успел полюбить книгу, как вскоре и другую, присоединившуюся к ней и надписанную отцу тою же рукою. Но еще больше времени прошло, пока я однажды понял, что их автор, Райнер Мария Рильке, должен быть тем самым немцем, которого давно как-то, летом, мы оставили в пути на вертящемся отрыве забытого лесного полустанка. Я побежал

к отцу проверять догадку, и он ее подтвердил, недоумевая, почему это так могло меня взволновать.

Я не пишу своей биографии. Я к ней обращаюсь, когда того требует чужая. Вместе с ее главным лицом я считаю, что настоящего жизнеописания заслуживает только герой, но история поэта в этом виде вовсе непредставима. Ее пришлось бы собирать из несущественностей, свидетельствующих об уступках жалости и принуждению. Всей своей жизни поэт придает такой добровольно крутой наклон, что ее не может быть в биографической вертикали, где мы ждем ее встретить. Ее нельзя найти под его именем и надо искать под чужим, в биографическом столбце его последователей. Чем замкнутее производящая индивидуальность, тем коллективнее, без всякого иносказания, ее повесть. Область подсознательного у гения не поддается обмеру. Ее составляет все, что творится с его читателями и чего он не знает. Я не дарю своих воспоминаний памяти Рильке. Наоборот, я сам получил их от него в подарок.

6

Хотя к этому располагал рассказ, я вопроса о том, что такое музыка и что к ней приводит, не ставил. Я не сделал этого не только оттого, что, проснувшись однажды на третьем году ночью, застал весь кругозор залитым ею более чем на пятнадцать лет вперед и, таким образом, не имел случая пережить ее проблематику. Но еще и оттого, что она теперь перестает относиться к нашей теме. Однако того же вопроса в отношении искусства по преимуществу, искусства в целом, иными словами — в отношении поэзии, мне не обойти. Я не отвечаю на него ни теоретически, ни в достаточно общей форме, но многое из того, что я расскажу, будет на него ответом, который я могу дать за себя и своего поэта.

Солнце вставало из-за Почтамта и, соскальзывая по Кисельному, садилось на Неглинке. Вызолотив нашу половину, оно с обеда перебиралось в столовую и кухню. Квартира была казенная, с комнатами, переделанными из классов. Я учился в университете. Я читал Гегеля и Канта. Времена были такие, что в каждую встречу с друзьями разверзались бездны и то один, то другой выступал с каким-нибудь новоявленным откровением.

Часто подымали друг друга глубокой ночью. Повод

всегда казался неотложным. Разбуженный стыдился своего сна, как нечаянно обнаруженной слабости. К перепугу несчастных домочадцев, считавшихся поголовными ничтожествами, отправлялись тут же, точно в смежную комнату, в Сокольники, к переезду Ярославской железной дороги. Я дружил с девушкой из богатого дома. Всем было ясно, что я ее люблю. В этих прогулках она участвовала только отвлеченно, на устах более бессонных и приспособленных. Я давал несколько грошовых уроков, чтоб не брать денег у отца. Летами, с отъездом наших, я оставался в городе на своем иждивении. Иллюзия самостоятельности достигалась такой умеренностью в пище, что ко всему присоединялся еще и голод и окончательно превращал ночь в день в пустопорожней квартире. Музыка, прощанье с которой я только еще откладывал, уже переплеталась у меня с литературой. Глубина и прелесть Белого и Блока не могли не открыться мне. Их влияние своеобразно сочеталось с силой, превосходившей простое невежество. Пятнадцатилетнее воздержание от слова, приносившегося в жертву звуку, обрекало на оригинальность, как иное увещье обрекает на акробатику. Вместе с частью моих знакомых я имел отношение к «Мусагету». От других я узнал о существовании Марбурга: Канта и Гегеля сменили Коген, Наторп и Платон.

Свою жизнь тех лет я характеризую намеренно случайно. Эти признаки я мог бы умножить или заменить другими. Однако для моей цели достаточно и приведенных. Обозначив ими вприкидку, как на расчетном чертеже, мою тогдашнюю действительность, я тут же и спрошу себя, где и в силу чего из нее рождалась поэзия. Обдумывать ответ мне долго не придется. Это единственное чувство, которое память сберегла мне во всей свежести.

Она рождалась из перебоев этих рядов, из разности их хода, из отставанья более косных и их нагроможденья позади, на глубоком горизонте воспоминанья.

Всего порывистее неслась любовь. Иногда, оказываясь в голове природы, она опережала солнце. Но так как это выдавалось очень редко, то можно сказать, что с постоянным превосходством, почти всегда соперничая с любовью, двигалось вперед то, что, вызолотив один бок дома, принималось бронзировать другой, что смывало погодой погоду и вращало тяжелый ворот четырех времен года. А в хвосте, на отступах разной дальности, плелись остальные

ряды. Я часто слышал свист тоски, не с меня начавшейся. Настигая меня с тылу, он пугал и жалобил. Он исходил из оторвавшегося обихода и не то грозил затормозить действительность, не то молил примкнуть его к живому воздуху, успевшему зайти тем временем далеко вперед. В этой оглядке и заключалось то, что зовется вдохновением. К особенной яркости, ввиду дали своего отката, звали наиболее отчетные, нетворческие части существования. Еще сильнее действовали неодушевленные предметы. Это были натурщики натюрморта, отрасли, наиболее излюбленной художниками. Копясь в последнем отдалении живой вселенной и находясь в неподвижности, они давали наиполнейшее понятие о движущемся целом, как всякий кажущийся нам контрастом предел. Их расположение обозначало границу, за которой удивленью и состраданью нечего делать. Там работала наука, отыскивая атомные основания реальности.

Но так как не было второй вселенной, откуда можно было бы поднять действительность из первой, взяв ее за вершки, как за волоса, то для манипуляций, к которым она сама взывала, требовалось брать ее изображение, как это делает алгебра, стесненная такой же одноплоскостностью в отношении величины. Однако это изображение всегда казалось мне выходом из затруднения, а не самоцелью. Цель же я видел всегда в пересадке изображенного с холодных осей на горячие, в пуске отжитого вслед и в нагонку жизни. Без особых отличий от того, что думаю и сейчас, я рассуждал тогда так. Людей мы изображаем, чтобы накинуть на них погоду. Погоду, или, что одно и то же, природу, — чтобы на нее накинуть нашу страсть. Мы втаскиваем вседневность в прозу ради поэзии. Мы вовлекаем прозу в поэзию ради музыки. Так, в широчайшем значении слова, называл я искусство, поставленное по часам живого, бьющего поколениями, рода.

Вот отчего ощущение города никогда не отвечало месту, где в нем протекала моя жизнь. Душевный напор всегда отбрасывал его в глубину описанной перспективы. Там, отдуваясь, топтались облака, и, расталкивая их толпу, висел поперек неба сплывшийся дым несметных печей. Там линиями, точно вдоль набережных, окунались подъездами в снег разрушавшиеся дома. Там утлую невзрачность прозябанья перебирали тихими гитарными шипками пьянства, и, сварясь за бутылкой вкрутую, раскрасневшие-

ся степенницы выходили с качающимися мужьями под ночной приборой извозчиков, точно из гогочущей горячки шаек в березовую прохладу предбанника. Там травились и горели, обливали разлучниц кислотой, выезжали в атласе к венцу и закладывали меха в ломбарде. Там втихомолку перемигивались лаковые ухмылки рассыхавшегося уклада и в ожиданьи моего часа усаживались, разложи учебники, мои питомцы-второгодники, ярко покрашенные маломумьем, как шафраном. Там также сотнею аудиторий гудел и замирал серо-зеленый, полузаплеванный университет.

Скользнувши стеклами очков по стеклам карманных часиков, профессора поднимали головы в обращении к хорам и потолочным сводам. Головы студентов отделялись от тужурок и на длинных шнурах повисали четными дружками к зеленым абажурам.

За этими побывками в городе, куда я ежедневно падал точно из другого, у меня неизменно учащалось сердцебиенье. Покажись я тогда врачу, он предположил бы, что у меня малярия. Однако эти приступы хронической нетерпеливости лечению хиной не поддавались. Эту странную испарину вызывала упрямая аляповатость этих миров, их отечная, ничем изнутри в свою пользу не издержанная наглядность. Они жили и двигались, точно позируя. Объединяя их в какое-то поселенье, среди них мысленно высилась антенна повальной предопределенности. Лихорадка нападала именно у основанья этого воображаемого шеста. Ее порождали токи, которые эта мачта посылала на противоположный полюс. Собеседуя с далекою мачтой гениальности, она вызывала из ее краев в свой поселок какого-то нового Бальзака. Однако стоило отойти от рокового шеста подальше, как наступало мгновенное успокоенье.

Так, например, меня не лихорадило на лекциях Савина, потому что этот профессор в типы не годился. Он читал с настоящим талантом, выроставшим по мере того, как рос его предмет. Время не обижалось на него. Оно не рвалось вон из его утверждений, не скакало в отдушины, не бросалось опрометью к дверям. Оно не задувало дыма назад в борová и, сорвавшись с крыши, не хваталось за крюк уносящегося во вьюгу трамвайного прицепа. Нет, с головой уйдя в английское средневековье или Робеспьеров конвент, оно увлекало за собой и нас, а с нами и все, что нам могло вообразиться живого за высокими

университетскими окнами, выведенными у самых карнизов.

Я также оставался здоров в одном из номеров дешевых мебелишек, где в числе нескольких студентов вел занятия с группой взрослых учеников. Никто тут не блистал талантами. Достаточно было и того, что, не ожидая ниоткуда наследства, руководители и руководимые объединялись в общем усилении сдвинуться с мертвой точки, к которой собиралась пригвоздить их жизнь. Как и преподаватели, среди которых имелись оставленные при университете, они были для своих званий малотипичны. Мелкие чиновники и служащие, рабочие, лакеи и почтальоны, они ходили сюда затем, чтобы стать однажды чем-нибудь другим.

Меня не лихорадило в их деятельной среде, и, в редких ладах с собою, я часто заворачивал отсюда в соседний переулок, где в одном из дворовых флигелей Златоустинского монастыря целыми артелями проживали цветочники. Именно здесь запасались полною флорой Ривьеры мальчишки, торговавшие ею на Петровке в разнос. Оптовые мужики выписывали ее из Ниццы, и на месте у них эти сокровища можно было достать за совершенный бесценник. Особенно тянуло к ним с перелома учебного года, когда, открыв в один прекрасный вечер, что занятия давно ведутся не при огне, светлые сумерки марта все больше и больше зачашали в грязные номера, а потом и вовсе уже не отставали и на пороге гостиницы по окончании уроков. Не покрытая, против обыкновения, низким платком зимней ночи, улица как из-под земли выростала у выхода с какой-то сухой сказкой на чуть шевелящихся губах. По дюжей мостовой отрывисто шаркал весенний воздух. Точно обтянутые живой кожей, очертания переуллка дрожали зябкой дрожью, заждавшись первой звезды, появление которой томительно оттягивало ненасытное, баснословно досужее небо.

Вонючую галерею до потолка загромождали порожние плетушки в иностранных марках под звучными итальянскими штампелями. В ответ на войлочное кряхтенье двери наружу выкатывалось, как за нуждой, облако белого пара, и что-то неслыханно волнуемое угадывалось уже и в нем. Напролет против сеней, в глубине постепенно понижавшейся горницы, толпились у крепостно-

го окошка малолетние разносчики и, приняв подочтенный товар, рассовывали его по корзинкам. Там же, за широким столом, сыновья хозяина молчаливо вспарывали новые, только что с таможни привезенные посылки. Разогнутая надвое, как книга, оранжевая подкладка обнажала свежую сердцевину тростниковой коробки. Сплотившиеся путла похолодевших фиалок вынимались цельным куском, точно синие слои вяленой малаги. Они наполняли комнату, похожую на дворницкую, таким одуряющим благоуханьем, что и столбы предвечернего сумрака, и пластавшиеся по полу тени казались выкроенными из сырого темно-лилового дерна.

Однако настоящие чудеса ждали еще впереди. Пройдя в самый конец двора, хозяин отмыкал одну из дверей каменного сарая, поднимал за кольцо погребное творило, и в этот миг сказка про Али Бабу и сорок разбойников сбывалась во всей своей ослепительности. На дне сухого подполья разрывчато, как солнце, горели четыре репчатые молнии, и, соперничая с лампами, безумствовали в огромных лоханях, отобранные по колерам и породам, жаркие снопы пионов, желтых ромашек, тюльпанов и анемон. Они дышали и волновались, точно тягаясь друг с другом. Нахлынув с неожиданной силой, пыльную душистость мимоз смывала волна светлого запаха, водянистого и изнизанного жидкими иглами аниса. Это ярко, как до белизны разведенная настойка, пахли нарциссы. Но и тут всю эту бурю ревности побеждали черные кокарды фиалок. Скрытные и полусумасшедшие, как зрачки без белка, они гипнотизировали своим безучастием. Их сладкий, непрокашлянный дух заполнял с погребного дна широкую раму лаза. От них закладывало грудь каким-то деревенистым плевритом. Этот запах что-то напоминал и ускользал, оставляя в дураках сознание. Казалось, что представление о земле, склоняющее их к ежегодному возвращению, весенние месяцы составили по этому запаху, и родники греческих поверий о Деметре были где-то невдалеке.

7

В то время и много спустя я смотрел на свои стихотворные опыты как на несчастную слабость и ничего хорошего от них не ждал. Был человек, С. Н. Дурылин, уже и

тогда поддерживавший меня своим одобрением. Объяснялось это его беспримерной отзывчивостью. От остальных друзей, уже выдавших меня почти ставшим на ноги музыкантом, я эти признаки нового несовершеннолетия тщательно скрывал.

Зато философией я занимался с основательным увлечением, предполагая где-то в ее близости зачатки будущего приложения к делу. Круг предметов, читавшихся по нашей группе, был так же далек от идеала, как и способ их преподавания. Это была странная мешанина из отжившей метафизики и неоперившегося просвещения. Согласья ради оба направления поступались последними остатками смысла, который мог бы им еще принадлежать, взятым в отдельности. История философии превращалась в беллетристическую догматику, психология же вырождалась в ветреную пустяковину брошюрного пошиба.

Молодые доценты, как Шпет, Самсонов и Кубицкий, порядка этого изменить не могли. Однако и старшие профессора были не так уж в нем виноваты. Их связывала необходимость читать популярно до азбучности, сказавшаяся уже и в те времена. Не доходя отчетливо до сознания участников, кампания по ликвидации неграмотности была начата именно тогда. Сколько-нибудь подготовленные студенты старались работать самостоятельно, все более и более привязываясь к образцовой библиотеке университета. Симпатии распределялись между тремя именами. Большая часть увлекалась Бергсоном. Приверженцы геттингенского гуссерлианства находили поддержку в Шпете. Последователи Марбургской школы были лишены руководства и, предоставленные самим себе, объединялись случайными разветвлениями личной традиции, шедшей еще от С. Н. Трубецкого.

Замечательным явлением этого круга был молодой Самарин. Прямой отпрыск лучшего русского прошлого, к тому же связанный разными градациями родства с историей самого здания по углам Никитской, он раза два в семестр заявлялся на иное собрание какого-нибудь семинария, как отделенный сын на родительскую квартиру в час общего обеденного сбора. Референт прерывал чтение, дожидаясь, пока долговязый оригинал, смущенный тишиной, которую он вызвал и сам растягивал выбором места, взберется по трескучему помосту на

крайнюю скамью дощатого амфитеатра. Но только начиналось обсуждение доклада, как весь грохот и скрип, втащенный только что с таким трудом под потолок, возвращался вниз в обновленной и неузнаваемой форме. Придравшись к первой оговорке докладчика, Самарин обрушивал оттуда какой-нибудь экспромт из Гегеля или Когена, скатывая его как шар по ребристым уступам огромного ящичного склада. Он волновался, проглатывал слова и говорил прирожденно громко, выдерживая голос на той ровной, всегда одной, с детства до могилы усвоенной ноте, которая не знает шепота и крика и вместе с округлой картавостью, от нее неотделимой, всегда разом выдает породу. Потеряв его впоследствии из виду, я невольно вспомнил о нем, когда, перечитывая Толстого, вновь столкнулся с ним в Нехлюдове.

8

Хотя у летней кофейни на Тверском бульваре не было своего названия, звали ее все Café грес. Ее не закрывали на зиму, и тогда ее назначенье становилось странною загадкой. Однажды не сговариваясь, по случайности, сошлись в этом голом павильоне Локс, Самарин и я. Мы были единственными его посетителями не только в тот вечер, но, может быть, и за весь истекший сезон. Дело переламывалось к теплу, потягивало весной. Только появился и едва подсел к нам Самарин, как зафилософствовал и, вооружаясь сухим бисквитом, стал отбивать им, как регентским камертоном, логические члененья речи. Поперек павильона протянулся кусок гегелевской бесконечности, составленной из сменяющихся утверждений и отрицаний. Вероятно, я сказал ему о теме, которую избрал для кандидатского сочинения, вот он и соскочил с Лейбница и математической бесконечности на диалектическую. Вдруг он заговорил о Марбурге. Это был первый рассказ о самом городе, а не о школе, какой я услышал. Впоследствии я убедился, что о его старине и поэзии говорить иначе и нельзя, тогда же, под стрекотанье вентиляционной вертушки, мне это влюбленное описание было в новинку. Внезапно он спохватился, что шел сюда не кофейничать и только на минуту, вспугнул хозяина, дремавшего в углу за газетой, и, узнав, что телефон в неисправности, вывалился из обледенелого скворешника еще шумнее, чем ввалился. Вскоре поднялись и мы.

Погода переменялась. Поднявшийся ветер стал шпарить февральскою крупю. Она ложилась на землю правильными мотками, восьмеркой. Было в ее яростном петлянии что-то морское. Так, мах к маху, волнистыми слоями складывают канаты и сети. Дорогой Локс несколько раз заговаривал на свою излюбленную тему о Стендале, я же отмалчивался, чему немало способствовала метель. Я не мог позабыть о слышанном, и мне жалко было городка, которого, как я думал, мне никогда, как ушей своих, не видать.

Это было в феврале, а в апреле месяце как-то утром мама объявила, что скопила из заработков и сберегла на хозяйстве двести рублей, которые мне и дарит с советом съездить за границу. Не изобразить ни радости, ни полной неожиданности подарка, ни его незаслуженности. Фортепьянного бренчанья по такой сумме надо было натерпеться немало. Однако отказываться у меня не было сил. Выбирать маршрут не приходилось. Тогда европейские университеты находились в постоянной осведомленности друг о друге. Начав в тот же день беготню по канцеляриям, я вместе с немногочисленными документами унес с Моховой некоторое сокровище. Это был двумя неделями раньше отпечатанный в Марбурге подробный перечень курсов, предположенных к чтению на летнем семестре 1912 года. Изучая проспект с карандашом в руке, я не расставался с ним ни на ходу, ни за решетчатыми стойками присутствий. От моей потерянности за версту разлилось счастьем, и, заражая им секретарей и чиновников, я, сам того не зная, подгонял и без того несложную процедуру.

Программа у меня, разумеется, была спартанская. Третий, а за границей, если придется, и четвертый класс, поездá последней скорости, комната в какой-нибудь подгородной деревушке, хлеб с колбасой да чай. Мамино самопожертвованье обязывало к удесятеренной жадности. За ее деньги следовало попасть еще и в Италию. Кроме того, я знал, что очень чувствительную долю поглотит вступительный взнос в университет и оплата отдельных семинариев и курсов. Но если б у меня денег было и вдесятеро больше, я по тем временам от этой росписи не отступил бы. Я не знаю, как распорядился бы остатком, но ничто бы на свете меня тогда во второй класс не перевело и никаких следов на ресторанной скатерти оста-

вить не склонило. Терпимость в отношении удобств и потребность в уюте появились у меня только в послевоенное время. Оно наставило таких препятствий тому миру, который не допускал в мою комнату никаких прикрас и поблажек, что временно не мог не измениться и весь мой характер.

9

У нас сходил еще снег, и небо кусками выплывало из-под наста на воду, как выскользнувшая из-под кальки переводная картинка, а по всей Польше жарко цвели яблони, и она неслась с утра на ночь и с запада на восток, по-летнему бессонная, какой-то романской частью славянского замысла.

Берлин показался мне городом подростков, получивших накануне в подарок тесаки и каски, трости и трубки, настоящие велосипеды и сюртуки, как у взрослых. Я застал их на первом выходе, они не привыкли еще к перемене, и каждый важничал тем, что ему вчера выпало на долю. На одной из превосходнейших улиц меня окликнуло из книжной витрины Наторпово руководство по логике, и я вошел за ним с ощущением, что увижу завтра автора въяве. Из двух суток пути я провел уже одну ночь без сна на немецкой территории, теперь мне предстояла другая.

Откидные полаты в третьем классе заведены только у нас в России, за границей же за дешевое передвижение приходится отдуваться ночами, клюя носом вчетвером на глубоко выбранной и разделенной подлокотниками скамейке. Хотя на этот раз обе лавки отделения были к моим услугам, мне было не до сна. Лишь изредка с большими перерывами входили на перегон-другой отдельные пассажиры, больше студенты, и, безмолвно откланявшись, проваливались в теплую ночную неизвестность. При каждой их смене под крыши перронов вкатывались спящие города. Исконное средневековое открывалось мне впервые. Его подлинность была свежа и страшна, как всякий оригинал. Лязгая знакомыми именами, как голой сталью, путешествие вынимало их одно за другим из читанных описаний, точно из пыльных ножен, изготовленных историками.

На полете к ним поезд вытягивался кольчужным чудом из десяти клепаных кузовов. Кожаный напуск пере-

ходов вспучивался и обвисал кузнечными мехами. Заляпанное огнями вокзала, в чистых бокалах ясно лучилось пиво. По каменным платформам плавно удалялись по-рожняком багажные тележки на толстых и точно каменных катках. Под сводами колоссальных дебаркадеров потели торсы короткорылых локомотивов. Казалось, что на такую высоту их занесла игра низких колес, неожиданно замерших на полном заводе.

Отовсюду к пустынному бетону тянулись его шестисотлетние предки. Четвертованные косыми балками трельяжа стены разминали свою сонную роспись. На них теснились пажы, рыцари, девушки и рыжебородые людоеды, и клетчатая дранка шпалерника повторялась, как орнамент, на решетчатых наличниках шлемов, в разрезах шарообразных рукавов и в крестчатой шнуровке корсажей. Дома подступали почти вплотную к опущенному окну. Вконец потрясенный, я лежал на его широком ребре, зашептываясь до самозабвенья коротким восклицанием восторга, теперь устаревшим. Но было еще темно, и скачущие лапы дикого винограда едва чернелись на штукатурке. Когда же вновь ударял ураган, отзывавшийся углем, росой и розами, то, внезапно обданный горстью искр из рук увлеченно несшейся ночи, я быстро поднимал окно и задумывался о непредвидимостях завтрашнего дня. Но надо хоть как-нибудь сказать о том, куда и зачем я ехал.

Созданье гениального Когена, подготовленное его предшественником по кафедре Фридрихом Альбертом Ланге, известным у нас по «Истории материализма», Марбургское направление покоряло меня двумя особенностями. Во-первых, оно было самобытно, перерывало все до основанья и строило на чистом месте. Оно не разделяло ленивой рутины всевозможных «измов», всегда цепляющихся за свое рентабельное всезнайство из десятых рук, всегда невежественных и всегда, по тем или другим причинам, боящихся пересмотра на вольном воздухе вековой культуры. Не подчиненная терминологической инерции Марбургская школа обращалась к первоисточникам, т. е. к подлинным распискам мысли, оставленным ею в истории науки. Если ходячая философия говорит о том, что думает тот или другой писатель, а ходячая психология — о том, как думает средний человек, если формальная логика учит, как надо думать в булоч-

ной, чтобы не обсчитаться сдачей, то Марбургскую школу интересовало, как думает наука в ее двадцатипяти-вековом непрекращающемся авторстве, у горячих начал и исходов мировых открытий. В таком, как бы авторизованном самой историей, расположении философия вновь молодеда и умнела до неузнаваемости, превращаясь из проблематической дисциплины в исконную дисциплину о проблемах, каковой ей и надлежит быть.

Вторая особенность Марбургской школы прямо вытекала из первой и заключалась в ее разборчивом и взыскательном отношении к историческому наследству. Школе чужда была отвратительная снисходительность к прошлому, как к некоторой богадельне, где кучка стариков в хламидах и сандалиях или париках и камзолах врет непроглядную отсебятину, извинимую причудами коринфского ордера, готики, барокко или какого-нибудь иного зодческого стиля. Однородность научной структуры была для школы таким же правилом, как анатомическое тождество исторического человека. Историю в Марбурге знали в совершенстве и не уставали тащить сокровище за сокровищем из архивов итальянского Возрождения, французского и шотландского рационализма и других плохо изученных школ. На историю в Марбурге смотрели в оба гегельянских глаза, т. е. гениально обобщенно, но в то же время и в точных границах здравого правдоподобья. Так, например, школа не говорила о стадиях мирового духа, а, предположим, о почтовой переписке семьи Бернулли, но при этом она знала, что всякая мысль сколь угодно отдаленного времени, застигнутая на месте и за делом, должна полностью допускать нашу логическую комментацию. В противном случае она теряет для нас непосредственный интерес и поступает в ведение археолога или историка костюмов, нравов, литератур, общественно-политических веяний и прочего.

Обе эти черты самостоятельности и историзма ничего не говорят о содержании Когеновой системы, но я не собирался, да и не взялся бы говорить о ее существовании. Однако обе они объясняют ее притягательность. Они говорят о ее оригинальности, т. е. о живом месте, занятом ею в живой традиции для одной из частей современного сознания.

Как одна из его частиц, я мчался к центру притяжения. Поезд пересекал Гарц. Дымным утром, выскочив из

лесу, промелькнул средневековым углекопом тысячелетний Гослар. Позже пронесся Геттинген. Имена городов становились все громче. Большинство из них поезд отшвыривал с пути на всем лету, не нагибаясь. Я находил названия этих откатывающихся волчков на карте. Вокруг них подымались стародавние подробности. Они вовлекались в их круговорот, как звездные спутники и кольца. Иногда горизонт расширялся, как в «Страшной мести», и, дымясь сразу в несколько орбит, земля в отдельных городках и замках начинала волновать, как ночное небо.

10

Два года, предшествовавших поездке, слово Марбург не сходило у меня с языка. Упоминание о городе в главах о Реформации имелось в каждом учебнике для средней школы. Книжечка о Елизавете Венгерской, погребенной в нем в начале XIII века, была «Посредником» издана даже для детей. Любая биография Джордано Бруно в числе городов, где он читал на роковом пути из Лондона на родину, называла и Марбург. Между тем, как это ни маловероятно, я ни разу в Москве не догадался о тождестве, существовавшем между Марбургом этих упоминаний и тем, ради которого я грыз таблицы производных и дифференциалов и с Мак-Лоррена перескакивал на Максвелла, окончательно мне недоступного. Надо было, подхватя чемодан, пройти мимо рыцарской гостиницы и старой почтовой станции, чтобы оно встало передо мной впервые.

Я стоял, заламывая голову и задыхаясь. Надо мной высился головокружительный откос, на котором тремя ярусами стояли каменные макеты университета, ратуши и восьмисотлетнего замка. С десятого шага я перестал понимать, где нахожусь. Я вспомнил, что связь с остальным миром забыл в вагоне и ее теперь вместе с крюками, сетками и пепельницами назад не воротить. Над башенными часами празднично стояли облака. Место казалось им знакомым. Но и они ничего не объясняли. Было видно, что, как сторожа этого гнезда, они никуда отсюда не отлучаются. Царила полуденная тишина. Она сносилась с тишиной простершейся внизу равнины. Обе как бы подводили итог моему обалдению. Верхняя пересылалась с нижней томительными веяньями сирени. Выжидательно чирикали птицы. Я почти не замечал людей. Неподвиж-

ные очертанья кровель любопытствовали, чем все это кончится.

Улицы готическими карлицами лепились по крутизнам. Они располагались друг под другом и своими подвалами смотрели на чердаки соседних. Их теснины были заставлены чудесами коробчатого зодчества. Расширяющиеся кверху этажи лежали на выпущенных бревнах и, почти соприкасаясь кровлями, протягивали друг другу руки над мостовой. На них не было тротуаров. Не на всех можно было разойтись.

Вдруг я понял, что пятилетнему шарканью Ломоносова по этим мостовым должен был предшествовать день, когда он входил в этот город впервые, с письмом к Лейбницеву ученику Христиану Вольфу, и никого еще тут не знал. Мало сказать, что с того дня город не изменился. Надо знать, что таким же неожиданно маленьким и древним мог он быть уже и для тех дней. И, повернув голову, можно было потрястись, повторяя в точности одно, страшно далекое, телодвижение. Как и тогда, при Ломоносове, рассыпавшись у ног всем сизым кишением шиферных крыш, город походил на голубиную стаю, замороженную на живом слете к сменной кормушке. Я трепетал, справляя двухсотлетие чужих шейных мышц. Придя в себя, я заметил, что декорация стала реальностью, и отправился разыскивать дешевую гостиницу, указанную Самариным.





ЧАСТЬ ВТОРАЯ

1

Я снял комнату на краю города. Дом стоял в ряду последних по Гиссенской дороге. В этом месте каштаны, которыми она была обсажена, как по команде заходя друг другу в плечо, всей шеренгой забирали вправо. Оглянувшись в последний раз на хмурую гору со старым городком, шоссе пропадало за лесом.

При комнате был дрянной балкончик, выходивший на соседний огород. Там стоял снятый с осей вагон старой марбургской конки, превращенный в курятник.

Комнату сдавала старушка чиновница. Она жила вдвоем с дочерью на тощую вдовью пенсию. Мать и дочь были на одно лицо. Как бывает всегда с женщинами,

пораженными базедовой болезнью, они перехватывали мой взгляд, воровски устремленный на их воротнички. В эти мгновенья мне воображались детские воздушные шары, собранные к кончику ухом и натуго перевязанные. Может быть, они об этом догадывались.

Их глазами, из которых хотелось выпустить немного воздуха, положив им ладонь на горло, смотрел в мир старый прусский пиетизм.

Однако для данной части Германии этот тип был не характерен. Здесь господствовал другой, среднегерманский, и даже в природу закрадывались первые подозрения о юге и западе, о существовании Швейцарии и Франции. И было очень кстати перед лицом ее лиственных догадок, зеленевших в окне, перелистывать французские томы Лейбница и Декарта.

За полями, подступавшими к мудреному птичнику, виднелась деревня Окерсгаузен. Это было длинное становище длинных риг, длинных телег и здоровенных першеронов. Оттуда вдоль по горизонту тащилась другая дорога. По вступлении в город она окрещивалась *Barfusserstrasse*. Босомыгами же в средние века звали монахов францисканцев.

Вероятно, по ней именно каждый год приходила сюда зима. Потому что, глядя в ту сторону с балкона, можно было представить себе много подходящего. Ганса Сакса. Тридцатилетнюю войну. Сонную, а не волнующую природу исторического бедствия, когда оно измеряется десятилетиями, а не часами. Зимы, зимы, зимы, и потом, по прошествии века, пустынного, как зевок людоеда, первое возникновение новых поселений под бродячими небесами, где-нибудь в дали одичавшего Гарца, с черными, как пожарища, именами, вроде *Elend*, *Sorge*¹ и тому подобными.

Сзади, в стороне от дома, подминая под себя кусты и отраженья, протекала река Лан. За ней тянулось полотно железной дороги. Вечерами в глухое сопенье кухонной спиртовки врывалось учащенное позвякиванье механического колокола, под звон которого сам собою опускался железнодорожный шлагбаум. Тогда в темноте у переезда вырастал человек в мундире, в предупрежденье пыли быстро опрыскивавший его из лейки, и в тот же миг

¹ Горе, забота (нем.).

поезд пронесся мимо, судорожно бросаясь вверх, вниз и во все стороны сразу. Снопы его барабанного света попадали в хозяйские кастрюли. И всегда пригорало молоко.

На речное масло Лана соскальзывала звезда-другая. В Окерсгаузене ревел только что пригнанный скот. На горе по-оперному вспыхивал Марбург. Если бы могло так случиться, что братья Гримм опять, как сто лет назад, приехали сюда изучать право у знаменитого юриста Савиньи, они сызнова уехали бы отсюда собирателями сказок. Удостоверившись, что ключ от входных дверей при мне, я отправлялся в город.

Исконные горожане уже спали. Навстречу попадались одни студенты. Все точно выступали в вагнеровских «Мейстерзингерах». Дома, казавшиеся декорациями уже и днем, сближались еще теснее. Висячим фонарям, перекинутым над мостовой со стены на стену, негде было разгуляться. Их свет изо всех сил обрушивался на звуки. Он обливал гул удалявшихся пяток и взрывы громкой немецкой речи лилиевидными бликами. Точно электричество знало преданье, сложенное об этом месте.

Давно-давно, лет за полтысячи до Ломоносова, когда новым годом, годом повседневности, был на земле тысяча двести тридцатый год, сверху, из Марбургского замка, по этим склонам спускалось живое историческое лицо — Елизавета Венгерская.

Это такая даль, что если ее достигнуть воображеньем, в точке прибытья сама собой подымется снежная буря. Она возникнет от охлаждения, по закону побежденной недосыгаемости. Там наступит ночь, горы оденутся лесом, в лесах заведутся дикие звери. Людские же нравы и обычаи покроются ледяной корой.

У будущей святой, канонизованной спустя три года после смерти, был духовником тиран, то есть человек без воображенья. Трезвый практик видел, что истязанья, налагаемые на исповедницу, приводят ее в состояние восхищенья. В поисках мучений, которые были бы ей в истинную муку, он запретил ей помогать бедным и больным. Тут историю сменяет легенда. Будто бы это было ей не под силу. Будто, чтобы обелить грех ослушанья, снежная вьюга заслоняла ее своим телом на пути в нижний город, превращая хлеб в цветы на срок ее ночных переходов.

Так приходится иногда природе отступать от своих законов, когда убежденный изувер чересчур настаивает на исполнении своих. Это ничего, что голос естественного права облечен тут в форму чуда. Таков критерий достоверности в религиозную эпоху. У нас — свой, но нашей защитницей против казуистики природа быть не перестанет.

По мере приближенья к университету улица, летевшая под гору, все больше кривела и суживалась. В одном из фасадов, испекшихся в золе веков, подобно картошке, имелась стеклянная дверь. Она открывалась в коридор, выводящий на один из северных обрывов. Там была терраса, уставленная столиками и залитая электрическим светом. Терраса висела над низиной, доставлявшей когда-то столько беспокойства ландграфине. С тех пор город, расположившийся по пути ее ночных вылазок, застыл на возвышеньи в том виде, какой принял к середине шестнадцатого столетья. Низина же, растравлявшая ее душевный покой, низина, заставлявшая ее нарушать устав, низина, по-прежнему приводимая в движенье чудесами, шагала в полную ногу с временем.

С нее тянуло ночной сыростью. На ней бессонно гроыхало железо, и, стекаясь и растекаясь, мызгали взад и вперед запасные пути. Что-то шумное поминутно падало и подымалось. Водяной грохот плотины до утра додерживал ровную ноту, оглушительно взятую с вечера. Режущий визг лесопильни в терцию подтягивал быкам на бойне. Что-то поминутно лопалось и озарялось, пускало пары и опрокидывалось. Что-то ерзало и заволакивалось крашеным дымом.

Кафе посещалось преимущественно философами. У других были свои. На террасе сидели Г-в и Л-ц и немцы, впоследствии получившие кафедры у себя и за границей. Среди датчан, англичанок, японцев и всех тех, что съехались со всех концов света послушать Когена, уже раздавался знакомый, разгоряченно певучий голос. Это адвокат из Барселоны, ученик Штаммлера, деятель недавней испанской революции, второй год пополнявший здесь свое образование, декламировал своим знакомым Верлена.

Уже я тут многих знал и никого не дичился. Уже увязив язык в двух обещаньях, я с тревогой готовился к дням, когда буду отчитываться по Лейбницу у Гартма-

на и по одной из частей «Критики практического разума» у главы школы. Уже образ последнего, давно угаданный, но оказавшийся страшно недостаточным при первом знакомстве, стал моей собственностью, то есть повел во мне произвольное существование, меняясь сообразно тому, погружался ли он на дно моего бескорыстного восхищения, или же всплывал на поверхность, когда я с бредовым честолюбием новичка гадал о том, буду ли я им когда-нибудь замечен и приглашен на один из его воскресных обедов. Последнее сразу подымало человека в здешнем мнении, потому что знаменовало собою начало новой философской карьеры.

Уже я успел на нем проверить, как драматизируется большой внутренний мир в подаче большого человека. Уже я знал, как подымет голову и отступит назад хохлатый старик в очках, повествуя о греческом понятии бессмертия, и поведет рукой по воздуху в сторону марбургской пожарной части, толкуя образ Елисейских полей. Уже я знал, как в другом каком-нибудь случае, вкрадчиво подъехав к докантовой метафизике, разворкуется он, ферлякурничая с ней, да вдруг как гаркнет, закатив ей страшный нагоняй с цитатами из Юма. Как, раскашлявшись и выдержав долгую паузу, протянет он затем утомленно и миролюбиво: «Und nun, meine Herrn...»¹ И это будет значить, что выговор веку сделан, представление кончилось и можно перейти к предмету курса.

Между тем на террасе никого почти не оставалось. На ней гасили электричество. Обнаруживалось, что уже утро. Взглянув вниз, за перила, мы убеждались, что ночной низины как не бывало. Замещавшая ее панорама ничего не знала о своей ночной предшественнице.

2

В это время в Марбург приехали сестры В-е. Они были из богатого дома. Я в Москве еще в гимназические годы дружил со старшей и давал ей нерегулярные уроки неведомо чего. Вернее, в доме оплачивали мои беседы на самые непредвиденные темы.

Но весной 1908 года совпали сроки нашего окончания

¹ Итак, милостивые государи... (нем.)

гимназии, и одновременно с собственной подготовкой я взялся готовить к экзаменам и старшую В-ю.

Большинство моих билетов содержало отдели, легкомысленно упущенные в свое время, когда их проходили в классе. Мне не хватало ночей на их прохожденье. Однако урывками, не разбирая часов и чаще всего на рассвете, я забегал к В-й для занятий предметами, всегда расхोдившимися с моими, потому что порядок наших испытаний в разных гимназиях, естественно, не совпадал. Эта путаница осложняла мое положение. Я ее не замечал. О своем чувстве к В-й, уже не новом, я знал с четырнадцати лет.

Это была красивая, милая девушка, прекрасно воспитанная и с самого младенчества избалованная старухой француженкой, не чаявшей в ней души. Последняя лучше моего понимала, что геометрия, которую я ни свет ни заря пронесил со двора ее любимице, скорее Абеярова, чем Эвклидова. И, весело подчеркивая свою догадливость, она не отлучалась с наших уроков. Втайне я благодарил ее за вмешательство. В ее присутствии чувство мое могло оставаться в неприкосновенности. Я не судил его и не был ему подсуден. Мне было восемнадцать лет. По своему складу и воспитанью я все равно не мог и не осмелился бы дать ему волю.

Это было то время года, когда в горшочках с кипятком распускают краску, а на солнце, предоставленные себе самим, праздно греются сады, загроможденные сваленным отовсюду снегом. Они до краев налиты тихою, яркою водой. А за их бортами, по ту сторону заборов, стоят шеренгами вдоль горизонта садовники, грачи и колокольни и обмениваются на весь город громкими замечаньями слова по два, по три в сутки. О створку форточки трется мокрое, шерстисто-серое небо. Оно полно неушедшей ночи. Оно молчит часами, молчит, молчит, да вдруг возьмет и вкочит в комнату круглый грохоток тележного колеса. Он обрывается так внезапно, точно это палочка-ручалочка и у телеги другого дела не было, как с мостовой в форточку. Так что теперь ей больше не водить. И еще загадочнее праздная тишина, ключами вливающаяся в дыру, вырубленную звуком.

Не знаю, отчего все это запечатлелось у меня в образе классной доски, не дочиста оттертой от мела. О, если бы остановили нас тогда и, отмыв доску до влажного блеска,

вместо теорем о равновеликих пирамидах, каллиграфически, с нажимами изложили то, что нам предстояло обом. О, как бы мы обомлели!

Откуда же это соображение и отчего оно мне тут явилось?

Оттого, что была весна, вчерне заканчивавшая выселенье холодного полугодья, и кругом на земле, как неразвешанные зеркала лицом вверх, лежали озера и лужи, говорившие о том, что безумно емкий мир очищен и помещенье готово к новому найму. Оттого, что первому, кто пожелал бы тогда, дано было вновь обнять и пережить всю, какая только есть на свете, жизнь. Оттого, что я любил В-ю.

Оттого, что уже одна *заметность* настоящего есть будущее, будущее же человека есть любовь.

3

Но на свете есть так называемое возвышенное отношение к женщине. Я скажу о нем несколько слов. Есть необозримый круг явлений, вызывающих самоубийства в отрочестве. Есть круг ошибок младенческого воображенья, детских извращений, юношеских голодовок, круг Крейцеровых сонат и сонат, пишущихся против Крейцеровых сонат. Я побывал в этом кругу и в нем позорно долго пробыл. Что же это такое?

Он истерзывает, и, кроме вреда, от него ничего не бывает. И, однако, освобожденья от него никогда не будет. Все входящие людьми в историю всегда будут проходить через него, потому что эти сонаты, являющиеся преддверьем к единственно полной нравственной свободе, пишут не Толстые и Ведекнды, а их руками—сама природа. И только в их взаимопротиворечьи — полнота ее замысла.

Основав матерю на сопротивленьи и отделив факт от мнимости плотиной, называемой любовью, она, как о целости мира, заботится о ее прочности. Здесь пункт ее помешательства, ее болезненных преувеличений. Тут, поистине можно сказать, она, что ни шаг, делает из мухи слона.

Но, виноват, слонов-то ведь она производит взаправду! Говорят, это главное ее занятие. Или это фраза? А история видов? А история человеческих имен? И ведь изготовляет-то она их именно тут, в зашлюзованных отрез-

ках живой эволюции, у плотин, где так разыгрывается ее встревоженное воображение!

Нельзя ли в таком случае сказать, что в детстве мы преувеличиваем и у нас расстраивается воображение, *потому что* в это время, как из мух, природа делает из нас слонов?

Держась той философии, что только *почти невозможное* действительно, она до крайности затруднила чувство всему живому. Она по-одному затруднила его животному, по-другому — растению. В том, как она затруднила его нам, сказались ее захватывающе высокое мнение о человеке. Она затруднила его нам не какими-нибудь автоматическими хитростями, но тем, что на ее взгляд обладает для нас абсолютной силой. Она затруднила его нам ощущением нашей мушиной пошлости, которое охватывает каждого из нас тем сильнее, чем мы дальше от мухи. Это гениально изложено Андерсеном в «Гадком утенке».

Всякая литература о поле, как и самое слово «пол», отдают несносной пошлостью, и в этом их назначение. Именно только в этой омерзительности пригодны они природе, потому что как раз на страхе пошлости построен ее контакт с нами, и ничто не пошлое ее контрольных средств бы не пополнило.

Какой бы матерьял ни поставляла наша мысль по этому поводу, *судьба* этого матерьяла в ее руках. И с помощью инстинкта, который она прикомандировала к нам ото всего своего целого, природа всегда распоряжается этим матерьялом так, что все усилия педагогов, направленные к облегчению естественности, ее неизменно отягощают, и *так это и надо*.

Это надо для того, чтобы самому чувству было что побеждать. Не эту оторопь, так другую. И безразлично, из какой мерзости или ерунды будет сложен барьер. Движение, приводящее к зачатыю, есть самое чистое из всего, что знает вселенная. И одной этой чистоты, столько раз побеждавшей в веках, было бы достаточно, чтобы по контрасту все то, что не есть оно, отдавало бездонной грязью.

И есть искусство. Оно интересуется не человеком, но образом человека. Образ же человека, как оказывается, — больше человека. Он может зародиться только на ходу, и притом не на всяком. Он может зародиться только на переходе от мухи к слону.

Что делает честный человек, когда говорит *только* правду? За говореньем правды проходит время, этим временем жизнь уходит вперед. Его правда отстает, она обманывает. Так ли надо, чтобы всегда и везде говорил человек?

И вот в искусстве ему зажат рот. В искусстве человек смолкает и заговаривает образ. И оказывается: *только* образ поспекает за успехами природы.

По-русски врать значит скорее нести лишнее, чем обманывать. В таком смысле и врет искусство. Его образ обнимает жизнь, а не ищет зрителя. Его истины не избразительны, а способны к вечному развитию.

Только искусство, твердя на протяжении веков о любви, *не поступает* в распоряженье инстинкта для пополненья средств, затрудняющих чувство. Взяв барьер нового душевного развития, поколение сохраняет лирическую истину, а не отбрасывает, так что с очень большого расстоянья можно вообразить, будто именно в лице лирической истины постепенно складывается человечество из поколений.

Все это необыкновенно. Все это захватывающе трудно. Нравственности учит вкус, вкусу же учит сила.

4

Сестры проводили лето в Бельгии. Стороной они узнали, что я — в Марбурге. В это время их вызвали на семейный сбор в Берлин. Проездом туда они пожелали меня поведать.

Они остановились в лучшей гостинице городка, в древнейшей его части. Три дня, проведенные с ними неотлучно, были не похожи на мою обычную жизнь, как праздники на будни. Без конца им что-то рассказывая, я упивался их смехом и знаками пониманья случайных окружающих. Я их куда-то водил. Обеих видели вместе со мной на лекциях в университете. Так пришел день их отъезда.

Накануне, накрывая к ужину, кельнер сказал мне: «Das ist wohl ihr Henkersmahl, nicht wahr?», то есть: «Покушайте напоследок, ведь завтра вам на виселицу, не правда ли?»

Утром, войдя в гостиницу, я столкнулся с младшей из сестер в коридоре. Взглянув на меня и что-то сообразив,

она не здороваясь отступила назад и заперлась у себя в номере. Я прошел к старшей и, страшно волнуясь, сказал, что дальше так продолжаться не может и я прошу ее решить мою судьбу. Нового в этом, кроме одной настоятельности, ничего не было. Она поднялась со стула, пятясь назад перед явностью моего волнения, которое как бы наступало на нее. Вдруг у стены она вспомнила, что есть на свете способ прекратить все это разом, и — отказала мне. Вскоре в коридоре поднялся шум. Это поволокли сундук из соседнего номера. Затем постучались к нам. Я быстро привел себя в порядок. Пора было отправляться на вокзал. До него было пять минут ходу.

Там уменье прощаться совсем оставило меня. Лишь только я понял, что простился с одной младшей, со старшей же еще и не начинал, у перрона вырос плавно движущийся курьерский из Франкфурта. Почти в том же движеньи, быстро приняв пассажиров, он быстро взял с места. Я побежал вдоль поезда и у конца перрона, разбежавшись, вскочил на вагонную ступеньку. Тяжелая дверца не была захлопнута. Разъяренный кондуктор преградил мне дорогу, в то же время держа меня за плечо, чтобы я, чего доброго, не вздумал жертвовать жизнью, устыдившись его резонов. Изнутри на площадку выбежали мои путешественницы. Кондуктору стали совать кредитки мне в избавленье и на покупку билета. Он смилостивился, я прошел за сестрами в вагон. Мы мчались в Берлин. Сказочный праздник, едва не прервавшийся, продолжался, удесятеренный бешенством движенья и блаженной головной болью от всего только что испытанного.

Я вспрыгнул на ходу только для того, чтобы проститься, и снова забыл обо всем, и опять вспомнил, когда было уже поздно. Не успел я опомниться, как прошел день, настал вечер и, прижав нас к земле, на нас надвинулся гулко дышащий навес берлинского дебаркадера. Сестер должны были встретить. Было нежелательно, чтобы при моих расстроенных чувствах их увидели вместе со мною. Меня убедили, что прощанье наше состоялось и только я его не заметил. Я потонул в толпе, сжатой газообразными гулами вокзала.

Была ночь, моросил скверный дождик. До Берлина мне не было никакого дела. Ближайший поезд в нужном мне направлении отходил поутру. Я свободно мог бы дождаться-

ся его на вокзале. Но мне невозможно было оставаться на людях. Лицо мое подергивала судорога, к глазам поминутно подступали слезы. Моя жажда последнего, до конца опустошающего прощанья осталась неутоленной. Она была подобна потребности в большой каденции, расшатывающей больную музыку до корня, с тем чтобы вдруг удалить ее всю одним рывком последнего аккорда. Но в этом облегчении мне было отказано.

Была ночь, моросил скверный дождик. На привокзальном асфальте было так же дымно, как на дебаркадере, где мячом в веревочной сетке пучилось в железе стекло шатра. Перецокивание улиц походило на углекислые взрывы. Все было затянато тихим брожением дождя. По непредвиденности оказии я был в чем вышел из дому, то есть без пальто, без вещей, без документов. Из номеров меня выпроваживали с одного взгляда, вежливо отговариваясь их переполненностью. Нашлось наконец место, где легкость моего хода не составила препятствий. Это были номера последнего разбора. Оставшись один в комнате, я сел боком на стул, стоявший у окна. Рядом был столик. Я уронил на него голову.

Зачем я так подробно обозначаю свою позу? Потому, что я пробыл в ней всю ночь. Изредка, точно от чьего-то прикосновенья, я подымал голову и что-то делал со стеной, широко уходившей вкось от меня под темный потолок. Я, как саженью, промерял ее снизу своей неглядящей пристальностью. Тогда рыданья возобновлялись. Я вновь падал лицом на руки.

Я обозначил положение моего тела с такой точностью, потому что это было его утреннее положение на ступеньке летевшего поезда и оно ему запомнилось. Это была поза человека, отвалившегося от чего-то высокого, что долго держало его и несло, а потом упустило и, с шумом пронесясь над его головой, скрылось навеки за поворотом.

Наконец я стал на ноги. Я оглядел комнату и распахнул окно. Ночь прошла, дождь повис туманной пылью. Нельзя было сказать, идет ли он или уже перестал. За номер было заплачено вперед. В вестибюле не было ни души. Я ушел, никому не сказавшись.

5

Тут только бросилось мне в глаза то, что началось, вероятно, раньше, но все время заслонялось близостью слу-

чившегося и уродливостью того, как плачет взрослый человек.

Меня окружали изменившиеся вещи. В существо действительности закралось что-то неиспытанное. Утро знало меня в лицо и явилось точно затем, чтобы быть при мне и меня *никогда* не оставить.

Туман рассеялся, обещая жаркий день. Мало-помалу город стал приходить в движение. По всем направлениям заскользили тележки, велосипеды, фургоны и поезда. Над ними незримо султанами змеились людские планы и вожделья. Они дымились и двигались со сжатостью близких и без объяснения понятных притч. Птицы, дома и собаки, деревья и лошади, тюльпаны и люди стали короче и отрывистой, чем их знало детство. Свежий лаконизм жизни открылся мне, перешел через дорогу, взял за руку и повел по тротуару. Менее чем когда-либо я заслуживал братства с этим огромным летним небом. Но об этом пока не говорилось. Временно мне все прощалось. Я должен был где-то в будущем отработать утру его доверье. И все кругом было до головокруженья надежно, как закон, согласно которому по *таким* ссудам никогда в долгу не остаются.

Достав без труда билет, я занял место в поезде. Ждать отхода пришлось недолго. И вот я вновь катил из Берлина в Марбург, но на этот раз, в отличие от первого, ехал днем, на готовое и — совершенно другим человеком. Я ехал с удобством на деньги, заимообразно взятые у В., и образ моей марбургской комнаты то и дело мысленно вставал предо мною.

Против меня, задом к цели движенья, куря, качались в ряд: человек в пенсне, норовившем соскользнуть с носу в близко подставленную газету, чиновник лесного департамента с ягдташем через плечо и ружьем на дне вещевой сетки, и еще кто-то, и кто-то еще. Они стесняли меня не больше марбургской комнаты, мысленно видевшейся мне. Род моего молчанья их гипнотизировал. Изредка я намеренно его нарушал, чтобы проверить его власть над ними. Его понимали. Оно ехало со мной, я состоял в пути при его особе и носил его форму, каждому знакомую по собственному опыту, каждым любимую. А то, разумеется, соседи не платили бы мне безмолвным участием за то, что я скорее любезно третировал их, чем с ними общался, и скорее без позы позировал отделенью, чем в нем сидел.

Ласки и собачьего чутья в купе было больше, чем сигарного и паровозного дыму, навстречу мчались старые города, и обстановка моей марбургской комнаты от времени до времени мысленно виделась мне. По какой же именно причине?

Недели за две до наезда сестер произошла безделица, для меня тогда немаловажная. Я выступил докладчиком в обоих семинариях. Доклады удались мне. Они получили одобренье.

Меня уговорили подробнее развить свои положенья и представить их еще в исходе летнего семестра. Я ухватился за эту мысль и заработал с удвоенным жаром.

Но именно по этому пылу искушенный наблюдатель определил бы, что ученого из меня никогда не выйдет. Я *переживал* изученье науки сильнее, чем это требуется предметом. Какое-то растительное мышление сидело во мне. Его особенностью было то, что любое второстепенное понятие, безмерно развертываясь в моем толкованьи, начинало требовать для себя пищи и ухода, и когда я под его влияньем обращался к книгам, я тянулся к ним не из бескорыстного интереса к знанью, а за литературными ссылками в его пользу. Несмотря на то, что работа моя осуществлялась с помощью логики, воображенья, бумаги и чернил, больше всего я любил ее за то, что по мере писанья она обрастала все сгущавшимся убором книжных цитат и сопоставлений. А так как при ограниченности срока мне в известную минуту пришлось отказаться от выписок, взамен которых я просто стал оставлять авторов на нужных мне разгибах, то наступил момент, когда тема моей работы матерьялизовалась и стала обозрима простым глазом с порога комнаты. Она вытянулась поперек помещенья подобьем древовидного папоротника, налегая своими листовными разворотами на стол, диван и подоконник. Разрознить их значило разорвать ход моей аргументации, полная же их уборка была равносильна сожженью неперебеленной рукописи. Хозяйке было строго-настрога запрещено к ним прикасаться. В последнее время у меня не убирали. И когда дорогой я видел в воображеньи мою комнату, я, собственно говоря, видел во плоти свою философию и ее вероятную судьбу.

По приезде я не узнал Марбурга. Гора выросла и втянулась, город исхудал и почернел.

Мне отворила хозяйка. С головы до ног оглядев меня, она попросила, чтобы впредь в таких случаях я заблаговременно извещал ее или ее дочь. Я сказал, что не мог их предупредить заранее, потому что встретил надобность, не заходя к себе, срочно побывать в Берлине. Она посмотрела на меня еще насмешливей. Мое быстрое появление налегке, как с вечерней прогулки, с другого конца Германии не укладывалось в ее понятия. Это показалось ей неудачной выдумкой. Все время покачивая головой, она подала мне два письма. Одно было закрытое, другое — местною открыткой. Закрытое было от петербургской двоюродной сестры, неожиданно очутившейся во Франкфурте. Она сообщала, что направляется в Швейцарию и во Франкфурте пробудет три дня. Открытка, на треть исписанная безлично аккуратным почерком, была подписана другою, слишком знакомою по подписям под университетскими объявлениями, рукой Когена. Она содержала приглашение на обед в ближайшее воскресенье.

Между мной и хозяйкой произошел по-немецки такой примерно разговор. «Какой нынче день?» — «Суббота». — «Я чаю пить не буду. Да, чтоб не забыть. Мне завтра во Франкфурт. Разбудите меня, пожалуйста, к первому поезду». — «Но ведь, если не ошибаюсь, г-н тайный советник...». — «Пустяки, успею». — «Но это невозможно. У г-на тайного советника садятся за стол в двенадцать, а вы...» Но в этом попечении обо мне было что-то неприличное. Выразительно взглянув на старушку, я прошел к себе в комнату.

Я присел на кровать в состоянии рассеянности, вряд ли длившейся больше минуты, после чего, справясь с волной ненужного сожаления, сходил на кухню за щеткой и совком. Скинув пиджак и засучив рукава, я приступил к разработке коленчатого растенья. Спустя полчаса комната была как в день въезда, и даже книги из фундаментальной не нарушали ее порядка. Аккуратно увязав их в четыре тучка, чтобы были под рукою, как будет случай в библиотеку, я задвинул их ногою глубоко под кровать. В это время ко мне постучалась хозяйка. Она шла сообщить по указателю точный час отхода завтрашнего поезда. При виде

происшедшей перемены она вся замерла и вдруг, тряхнув юбками, кофтой и наколкой, как шарообразно вспыренным опереньем, в состояньи трепещущего окочененья поплыла мне навстречу по воздуху. Она протянула мне руку и деревянно и торжественно поздравила с окончаньем трудной работы. Мне не хотелось разочаровывать ее в другой раз. Я оставил ее в ее благородном заблужденьи.

Потом я умылся и, утираясь, вышел на балкон. Вечерело. Растирая шею полотенцем, я смотрел вдаль, на дорогу, соединявшую Окерсгаузен и Марбург. Уже нельзя было вспомнить, как смотрел я в ту сторону в вечер своего приезда. Конец, конец! Конец философии, то есть какой бы то ни было мысли о ней.

Как и соседям в купе, ей придется считаться с тем, что всякая любовь есть переход в новую веру.

7

Удивительно, что я не тогда же уехал на родину. Ценность города была в его философской школе. Я в ней больше не нуждался. Но у него объявилась другая.

Существует психология творчества, проблемы поэтики. Между тем изо всего искусства именно его происхождение переживается всего непосредственнее, и о нем не приходится строить догадок.

Мы перестаем узнавать действительность. Она предстает в какой-то новой категории. Категория эта кажется нам ее собственным, а не нашим, состояньем. Помимо этого состоянья все на свете названо. Не названо и ново только оно. Мы пробуем его назвать. Получается искусство.

Самое ясное, запоминающееся и важное в искусстве есть его возникновение, и лучшие произведения мира, повествуя о наиразличнейшем, на самом деле рассказывают о своем рожденьи. Впервые во всем объеме я это понял в описываемое время.

Хотя за объясненьями с В-ой не произошло ничего такого, что изменяло бы мое положенье, они сопровождались неожиданностями, похожими на счастье. Я приходил в отчаянье, она меня утешала. Но одно ее прикосновение было таким благом, что смывало волной ликованья отчетливую горечь услышанного и не подлежавшего отмене.

Обстоятельства дня походили на шибкую и шумную беготню. Все время мы точно влетали с разбега во мрак

и, не переводя дыханья, стрелой выбегали наружу. Так, ни разу не присмотревшись, мы раз двадцать в течение дня побывали в трюме, полном народом, откуда приводится в движение гребная галера времени. Это был именно тот взрослый мир, к которому я с детских лет так яро ревновал В-ую, по-гимназически любив гимназистку.

Вернувшись в Марбург, я оказался в разлуке не с девочкой, которую знал в продолжение шести лет, а с женщиной, виденной несколько мгновений после ее отказа. Мои плечи и руки больше не принадлежали мне. Они, как чужие, просились от меня в цепи, которыми человека приковывают в общему делу. Потому что вне железа я не мог теперь думать уже и о ней и любил только в железе, только пленницей, только за холодный пот, в котором красота отбывает свою повинность. Всякая мысль о ней моментально смыкала меня с тем артельно-хоровым, что полнит мир лесом вдохновенно-затверженных движений и похоже на сражение, на каторгу, на средневековый ад и мастерство. Я разумею то, чего не знают дети и что я назову чувством *настоящего*.

В начале «Охранной грамоты» я сказал, что временами любовь обгоняла солнце. Я имел в виду ту очевидность чувства, которая каждое утро опережала все окружающее достоверностью вести, только что в сотый раз наново подтвержденной. В сравнении с ней даже восход солнца приобретал характер городской новости, еще требующей проверки. Другими словами, я имел в виду очевидность силы, перевешивающую очевидность света.

Если бы при знаньях, способностях и досуге я задумал теперь писать творческую эстетику, я построил бы ее на двух понятиях, на понятии силы и символа. Я показал бы, что, в отличие от науки, берущей природу в разрезе светового столба, искусство интересуется жизнью *при прохождении* сквозь нее луча силового. Понятие силы я взял бы в том же широчайшем смысле, в каком берет его теоретическая физика, с той только разницей, что речь шла бы не о принципе силы, а о ее голосе, о ее присутствии. Я пояснил бы, что в рамках самосознания сила называется чувством.

Когда мы воображаем, будто в Тристане, Ромео и Юлии и других памятниках изображается сильная страсть, мы недооцениваем содержания. Их тема шире, чем эта сильная тема. Тема их — тема силы.

Из этой темы и рождается искусство. Оно более односторонне, чем думают. Его нельзя направить по произволу — куда захочется, как телескоп. Наставленное на действительность, смещаемую чувством, искусство есть запись этого смещения. Оно его списывает с природы. Как же смещается натура? Подробности выигрывают в яркости, проигрывая в самостоятельности значенья. Каждую можно заменить другою. Любая драгоценна. Любая на выбор годится в свидетельства состоянья, которым охвачена вся переместившаяся действительность.

Когда признаки этого состоянья перенесены на бумагу, особенности жизни становятся особенностями творчества. Вторые бросаются в глаза резче первых. Они лучше изучены. Для них имеются термины. Их называют приемами.

Искусство реалистично как деятельность и символично как факт. Оно реалистично тем, что не само выдумало метафору, а нашло ее в природе и свято воспроизвело. Переносный смысл так же точно не значит ничего в отдельности, а отсылает к общему духу всего искусства, как не значат ничего порознь части смещенной действительности.

Фигурой всей своей тяги и символично искусство. Его единственный символ в яркости и необязательности образов, свойственной ему *всему*. Взаимозаменяемость образов есть признак положенья, при котором части действительности взаимно безразличны. Взаимозаменяемость образов, то есть искусство, есть символ силы.

Собственно, только сила и нуждается в языке вещественных доказательств. Остальные стороны сознанья долговечны без замет. У них прямая дорога к воззрительным аналогиям света: к числу, к точному понятью, к идее. Но ничем, кроме движущегося языка образов, то есть языка сопроводительных признаков, не выразить себя силе, факту силы, силе, длительной лишь в момент явленья.

Прямая речь чувства иносказательна, и ее нечем заменить¹.

¹ Опасаясь недоразумений, напомним. Я говорю не о материальном содержании искусства, не о сторонах его наполнения, а о смысле его явленья, о его месте в жизни. Отдельные образы сами по себе — воззрительны и зиждутся на световой аналогии. Отдельные слова искусства, как и все понятья, живут познанием. Но не поддающееся цитированью слово всего искусства состоит в движеньи самого иносказанья, и это слово символически говорит о силе.

Я ездил к сестре во Франкфурт и к своим, к тому времени приехавшим в Баварию. Ко мне наезжал брат, а потом отец. Но ничего этого я не замечал. Я основательно занялся стихописанием. Днем и ночью и когда придется я писал о море, о рассвете, о южном дожде, о каменном угле Гарца.

Однажды я особенно увлекся. Была ночь из тех, что с трудом добираются до ближайшего забора и, выбившись из сил, в угаре усталости свешиваются над землей. Полнейшее безветрие. Единственный признак жизни — это именно черный профиль неба, бессильно прислонившегося к плетню. И другой. Крепкий запах цветущего табака и левкоя, которым в ответ на это изнеможенье откликается земля. С чем только не сравнимо небо в такую ночь! Крупные звезды — как званный вечер. Млечный Путь — как большое общество. Но еще больше напоминает меловая мазня диагонально протянутых пространств ночную садовую грядку. Тут гелиотроп и маттиолы. Их вечером поливали и свалили набок. Цветы и звезды так сближены, что похоже, и небо попало под лейку, и теперь звезд и белокрапчатой травы не расцепить.

Я увлеченно писал, и другая, нежели раньше, пыль покрывала мой стол. Та, прежняя, философская, скоплась из отщепенчества. Я дрожал за целость моего труда. Нынешней я не стирал солидарности ради, симпатизируя щебню Гиссенской дороги. И на дальнем конце столовой клеенки, как звезда на небе, блистал давно не мытый чайный стакан.

Вдруг я встал, пронятый потом этого дурацкого всерастворенья, и зашагал по комнате. «Что за свинство! — подумал я. — Разве он не останется для меня гением? Разве это *с ним* я разрываю? Его открытке и моим подлым пряткам от него уже третья неделя. Надо объясниться. Но как это сделать?»

И я вспомнил, что он педантичен и строг. «Was ist Arregzerzion?» — спрашивает он у экзаменуемого неспециалиста, и на его перевод с латинского, что это означает... durchfassen (прощупать), — «Nein, das heisst durchfallen, mein Herr» (Нет, это значит провалиться), — раздается в ответ.

У него в семинариях читали классиков. Он обрывал

среди чтения и спрашивал, к чему клонит автор. Назвать понятие требовалось наотруб, существительным, по-солдатски. Не только расплывчатости, но и близости к истине взамен ее самой он не терпел.

Он был туг на правое ухо. Именно с этой стороны подсел я к нему разбирать свой урок из Канта. Он дал мне разойтись и забыться и, когда я меньше всего этого ожидал, огорошил своим обычным: «Was meint der Alte?» (Что разумеет старик?)

Я не помню, что это было такое, но допустим, что по таблице умноженья идей на это полагалось ответить как на пятью пять, — «Двадцать пять», — ответил я. Он поморщился и махнул рукой в сторону. Последовало легкое видоизменение ответа, не удовлетворившее его своей несмелостью. Легко догадаться, что, пока он тыкал в пространство, вызывая знающих, мой ответ варьировался со все возрастающей сложностью. Все же пока говорилось о двух с половиной десятках или примерно о полусотне, разделенной надвое. Но именно увеличивающаяся нескладность ответов приводила его во все большее раздраженье. Повторить же то, что сказал я, после его брезгливой мины никто не решался. Тогда с движеньем, понятным как, дескать, выручай, Камчатка, он колыхнулся к другим. И: шестьдесят два, девяносто восемь, двести четырнадцать — радостно загремело кругом. Подняв руки, он еле унял бурю разликовавшегося вранья и, повернувшись в мою сторону, тихо и сухо повторил мне мой собственный ответ. Последовала новая буря, мне в защиту. Когда он взял все в толк, то оглядел меня, потрепал по плечу и спросил, откуда я и с какого у них семестра. Затем, сопя и хмурясь, попросил продолжать, все время приговаривая: «Sehr echt, sehr richtig; Sie merken wohl? Ja, ja; ach, ach, der Alte!» (Правильно, правильно; вы догадываетесь? Ах, ах, старик!) И много чего еще вспомнил я.

Ну как подступишься к такому? Что я скажу ему? «Verse?» — протянет он. «Verse!» Мало изучил он человеческую бездарность и ее уловки? «Verse».

9

Вероятно, все это было в июле, потому что цвели еще липы. Продираясь сквозь алмазины восковых соцветий, как сквозь зажигательные стекла, солнце черными кружочками прожигало пыльные листья.

Я уже и раньше часто проходил мимо учебной площадки. В полдень на ней трамбовочным хопром ходила пыль и слышалось глухое, содрогающееся бряцанье. Там учили солдат, и в час ученья перед плацем застаивались зеваки — мальчики из колбасных с лотками на плечах и городские школьники. И правда, было на что поглядеть. Врассыпную по всему полю попарно подскакивали и клевали друг друга шарообразные истуканы, похожие на петухов в мешках. На солдатах были стеганные ватники и наголовники из железной сетки. Их обучали фехтованью.

Зрелище не представляло для меня ничего нового. Я вдоволь нагляделся на него в течение лета.

Однако утром после описанной ночи, идучи в город и поровнявшись с полем, я вдруг вспомнил, что не дальше часу назад видел это поле во сне.

Так и не решив ничего ночью насчет Когена, я лег на рассвете, проспал утро, и вот перед самым пробуждением оно мне приснилось. Это был сон о будущей войне, достаточный, как говорят математики, — и необходимый.

Давно замечено, что, как много ни твердит о военном времени устав, вдальблываемый в ротах и эскадронах, перехода от посылок к выводу мирная мысль не в силах произвести. Ежедневно Марбург, строя не проходимый по причине его тесноты, обходили низом бледные и до лбов запыленные егеря в выгоревших мундирах. Но самое большее, что могло прийти в голову при их виде, так это писчебумажные лавки, где тех же егерей продавали листами, с гуммиарабиком в премию к каждой закупленной дюжине.

Другое дело во сне. Тут впечатленья не ограничивались надобностями привычки. Тут двигались и умозаключали краски.

Мне снилось пустынное поле, и что-то подсказывало, что это — Марбург в осаде. Мимо проходили, гуськом подталкивая тачки, бледные долговязые Неттельбеки. Был какой-то темный час дня, какого не бывает на свете. Сон был во фридрицианском стиле, с шанцами и земляными укреплениями. На батарейных высотах чуть отличимо рисовались люди с подзорными трубами. Их с физической осязательностью обнимала тишина, какой не бывает на свете. Она рыхлою земляною вьюгой пульсировала

в воздухе и не стояла, а *совершалась*. Точно ее все время подкидывали с лопат. Это было самое грустное сновиденье из всех, какие мне когда-либо являлись. Вероятно, я плакал во сне.

Во мне глубоко сидела история с В-ой. У меня было здоровое сердце. Оно хорошо работало. Работая ночью, оно подцепляло случайнейшие и самые бросовые из впечатлений дня. И вот оно задело за экзерцирплац, и его толчка было достаточно, чтобы механизм учебного поля пришел в движение и само сновиденье, на своем круглом ходу, тихо пробило: «Я — сновиденье о войне».

Я не знаю, зачем я направлялся в город, но с такой тяжестью в душе, точно и голова у меня была набита землей для каких-то фортификационных целей.

Было обеденное время. В университете знакомых в этот час не оказалось. Семинарская читальня пустовала. К ней снизу подступали частные здания городка. Жара была немилосердная. Там и сям у подоконников возникали утопленники с отжеванными набок воротниками. За ними дымился полумрак парадных комнат. Изнутри входили испитые мученицы в капотах, проварившихся на груди, как в прачешных котлах. Я повернул домой, решив идти верхом, где под замковой стеной было много тенистых вилл.

Их сады пластом лежали на кузничном зное, и только стебли роз, точно сейчас с наковальни, горделиво гнулись на синем медленном огне. Я мечтал о переулочке, круто спускавшемся вниз за одной из таких вилл. Там была тень. Я это знал. Я решил свернуть в него и немного отдышаться. Каково же было мое изумление, когда в том же обалдении, в каком я собрался в нем расположиться, я в нем увидел профессора Германа Когена. Он меня заметил. Отступление было отрезано.

Моему сыну седьмой год. Когда, не поняв французской фразы, он лишь догадывается о ее смысле по ситуации, среди которой ее произносят, он говорит: я это понял не из слов, а *по причине*. И точка. Не по причине того-то и того-то, а *понял* по причине.

Я воспользуюсь его терминологией, чтобы ум, которым *доходят*, в отличие от ума, который прогуливают ради манежной гигиены, назвать *умом причинным*.

Такой причинный ум был у Когена. Беседовать с ним

было страшновато, прогуливаться — нешуточно. Опираясь на палку, рядом с вами с частыми остановками подвигался реальный дух математической физики, приблизительно путем такой же поступи, шаг за шагом подобравшей свои главные основоположенья. Этот университетский профессор в широком сюртуке и мягкой шляпе был в известном градусе налит драгоценною эссенцией, укупоривавшейся в старину по головам Галилеев, Ньютонов, Лейбницев и Паскалей.

Он не любил говорить на ходу, а только слушал болтовню спутников, всегда негладкую ввиду ступенчатости марбургских тротуаров. Он шагал, слушал, внезапно останавливался, изрекал что-нибудь едкое по поводу выслушанного и, оттолкнувшись палкой от тротуара, продолжал шествие до следующей афористической передышки.

В таких чертах и шел наш разговор. Упоминание о моей оплошности только ее усугубило, — он дал мне это понять убийственным образом без слов, ничего не прибавив к насмешливому молчанию упертой в камень палки. Его интересовали мои планы. Он их не одобрял. По его мнению, следовало остаться у них до докторского экзамена, сдать его и лишь после того возвращаться домой для сдачи государственного, с таким расчетом, чтобы, может быть, впоследствии вернуться на Запад и там обосноваться. Я благодарил его со всей пылкостью за это гостеприимство. Но моя признательность говорила ему гораздо меньше, чем моя тяга в Москву. В том, как я преподносил ее, он без ошибки улавливал какую-то фальшь и бестолочь, которые его оскорбляли, потому что при загадочной непродолжительности жизни он терпеть не мог искусственно укорачивающих ее загадок. И, сдерживая свое раздражение, он медленно спускался с плиты на плиту, дожидаясь, не скажет ли, наконец, человек дело после столь явных и томительных пустяков.

Но как мог я сказать ему, что философию забрасываю бесповоротно, кончать же в Москве собираюсь, как большинство, лишь бы кончить, а о последующем возвращении в Марбург даже не помышляю? Ему, прощальные слова которого перед выходом на пенсию были о верности большой философии, сказанные университету так, что по скамьям, где было много молодых слушательниц, замелькали носовые платочки.

В начале августа наши перебрались из Баварии в Италию и звали меня в Пизу. Мои средства истощились, их едва хватало на возвращение в Москву. Как-то вечером, каких впереди предвиделось немало, сидел я с Г-вым на исконной нашей террасе и жаловался на печальное состояние моих финансов. Он его обсуждал. Ему в разные времена довелось бедствовать всерьез, и как раз в эти периоды он много пошатался по свету. Он побывал в Англии и в Италии и знал способы прожить в путешествии почти задаром. Его план был таков, что на остаток денег мне следовало бы съездить в Венецию и Флоренцию, а потом к родителям на поправочный прикорм и за новой субсидией на обратную поездку, в чем, при скупом расходовании остатка, может быть, и не встретилось бы надобности. Он стал наносить на бумагу цифры, давшие и правда прескромный итог.

В кафе со всеми нами дружил старший кельнер. Он знал подноготную каждого из нас. Когда в разгар моих испытаний в гости ко мне приехал брат и стал стеснять днем в работе, чудак открыл у него редкие данные для бильярда и так приохотил к игре, что тот с утра уходил к нему совершенствоваться, оставляя комнату на весь день в мое распоряжение.

Он принял живейшее участие в обсуждении итальянского плана. Поминутно отлучаясь, он возвращался и, стуча карандашом по Г-ской смете, находил даже и ее недостаточно экономной.

Прибежав с одной из таких отлучек с толстым справочником под мышкой, он поставил на стол поднос с тремя бокалами клубничного пунша и, раскорячив справочник, дважды прогнал его весь, с начала и до конца. Найдя в вихре страниц какую хотел, он объявил, что ехать мне надо этой же ночью курьерским в три с минутами, в ознаменование чего предложил выпить вместе с ним за мою поездку.

Я недолго колебался. В самом деле, думал я, следя за ходом его рассуждений. Отписка из университета получена. Зачетные отметки в порядке. Сейчас половина одиннадцатого. Разбудить хозяйку — грех небольшой. Времени на укладку за глаза. Решено — еду.

Он пришел в такой восторг, точно ему самому на дру-

гой день предстоял Базель. «Послушайте, — сказал он, облизнувшись и собрав пустые бокалы. — Вглядимтесь друг в друга попристальней, такой у нас обычай. Это может пригодиться, ничего нельзя знать наперед». Я рассмеялся в ответ и уверил, что это излишне, потому что давно уже сделано и что я никогда его не забуду.

Мы простились, я вышел вслед за Г-вым, и смутный звон никелированных приборов смолк за нами, как мне тогда казалось, — навсегда.

Спустя несколько часов, изговорившись в лоск и до одури нашагавшись по городку, быстро истощившему небольшой запас своих улиц, мы с Г-вым спустились в прилегавшее к вокзалу предместье. Нас окружал туман. Мы неподвижно стояли в нем, как скот на водопое, и упорно курили с тем молчаливым тупоумием, от которого то и дело тухнут папиросы.

Мало-помалу стал брезжить день. Огороды гусиной кожей стянула роса. Из мглы вырвались грядки атласной рассады. Вдруг на этой стадии светанья город вырисовался весь разом на присущей ему высоте. Там спали. Там были церкви, замок и университет. Но они еще сливались с серым небом, как клочок паутины на сырой швабре. Мне даже показалось, что, едва выступив, город стал расплываться, как след дыханья, прерванного на полушаге от окна. «Ну, пора», — сказал Г-в.

Светало. Мы быстро расхаживали по каменному перрону. В лицо нам, как камни, летели из тумана куски близившегося грохота. Подлетел поезд, я обнялся с товарищем и, вскинув кверху чемодан, вскочил на площадку. Криком раскатились кремни бетона, щелкнула дверца, я прижался к окну. Поезд по дуге срезал все пережитое, и раньше, чем я ждал, пронеслись, налетая друг на друга, — Лан, переезд, шоссе и мой недавний дом. Я рвал книзу оконную раму. Она не подавалась. Вдруг она со стуком опустилась сама. Я высунулся что было мочи наружу. Вагон шатало на стремительном повороте, ничего не было видно. Прощай, философия, прощай, молодость, прощай, Германия!

11

Прошло шесть лет. Когда все забылось. Когда протянулась и кончилась война и разразилась революция. Когда пространство, прежде бывшее родиной материи, заболело

гангреной тыловых фикций и пошло линючими дырами отвлеченного несуществования. Когда нас развезло жидкою тундрой и душу обложил затяжной дребезжащий, государственный дождик. Когда вода стала есть кость и времени не стало чем мерить. Когда после уже вкушенной самостоятельности пришлось от нее отказаться и по властному внушенью вещей впасть в новое детство, задолго до старости. Когда я впал в него, по просьбе своих поселясь первым вольным уплотнителем у них в доме, в низкие полуторазэтажные сумерки приполз по снегу из тьмы и раздался в квартире вневременный звонок по телефону. «Кто у телефона?» — спросил я. «Г-в», — последовал ответ. Я даже не удивился, так это было удивительно. «Где вы?» — внеременно выдавил я из себя. Он ответил. Новая нелепость. Место оказалось у нас под боком, перейдя двор. Он звонил из бывшей гостиницы, занятой общежитьем Наркомпроса. Через минуту я сидел у него. Жена его ничуть не изменилась. Детей я раньше не знал.

Но вот что было неожиданно. Оказалось, что он все эти годы прожил на земле, как все, и хотя за границей, но все под той же пасмурной войной за освобождение малых народностей. Я узнал, что он недавно из Лондона. И не то в партии, не то ярый ее сочувственник. Служит. С переездом правительства в Москву автоматически переведен при подлежащей части наркомпросовского аппарата. Оттого и сосед. Вот и все.

А я бежал к нему как к марбурджу. Не для того, конечно, чтобы с его помощью начать жизнь сызнова, с того туманного далекого рассвета, когда мы стояли во мгле, точно скот на коровьем броде,— и на этот раз поосторожнее, без войны, по возможности. О, конечно, не для того. Но, зная наперед, что подобная реприза немислима, я бежал удостовериться, чем она немислима в моей жизни. Я бежал взглянуть на цвет моей безвыходности, на несправедливо частный ее оттенок, потому что безвыходность общая, и по справедливости принятая наравне со всеми, бесцветна и в выходы не годится.

Так вот, на такую живую безвыходность, сознание которой было бы мне выходом, и бежал взглянуть я. Но глядеть было не на что. Этот человек не мог помочь мне. Он был поврежден сыростью еще больше, чем я.



Впоследствии мне посчастливилось еще раз навестить в Марбург. Я провел в нем два дня в феврале 23-го года. Я ездил туда с женой, но не догадался ей приблизить. Этим я провинился перед обоими. Однако и мне было трудно. Я видел Германию до войны и вот увидел после нее. То, что произошло на свете, явилось мне в самом страшном ракурсе. Это был период рурской оккупации. Германия голодала и холодала, ничем не обманываясь, никого не обманывая, с протянутой временам, как за подаяньем, рукой (жест для нее несвойственный) и вся поголовно на костылях. К моему удивленью, хозяйку я застал в живых. При виде меня она и дочь всплеснули руками. Обе сидели на тех же местах, что и одиннадцать лет назад, и шили, когда я явился. Комната сдавалась внаймы. Мне ее открыли. Я бы ее не узнал, если

бы не дорога из Окерсгаузена в Марбург. Она, как прежде, виднелась в окне. И была зима. Неопрятность пустой, захлаженной комнаты, голые ветлы на горизонте — все это было необычно. Ландшафт, когда-то слишком думавший о Тридцатилетней войне, кончил тем, что сам ее себе напрозорил. Уезжая, я зашел в кондитерскую и послал обеим женщинам большой ореховый торт.

А теперь о Когене. Когена нельзя было видеть. Коген умер.

12

Итак — станции, станции, станции. Станции, каменными мотыльками пролетающие в хвост поезда.

В Базеле была воскресная тишина, так что слышно было, как ласточки, снуя, оцарапывали крыльями карнизы. Плающие стены глазами яблоками закатывались под навесы черно-вишневых черепичных крыш. Весь город шурил и топырил их, как ресницы. И тем же гончарным пожаром, каким горел дикий виноград на особняках, горело горшечное золото примитивов в чистом и прохладном музее.

«Zwei francs vierzig centimes», — изумительно чисто произносит в лавке крестьянка в костюме кантона, но место слиянья обоих речевых бассейнов еще не тут, а направо, за низко нависшую крышу, на юг от нее, по жаркой, вольно раздавшейся федеральной лазури, и все время в гору. Где-то под St. Gothard'ом, и — глубокой ночью, говорят.

И такое-то место я проспал, утомленный ночными бденьями двухсуточной дороги! Единственную ночь жизни, когда не подобало спать, — почти как какое-то «Симон, ты спишь?» — да простится мне. И все же мгновеньями пробуждался, стойком у окна, на позорно короткие минуты, «ибо глаза у них отяжелели». И тогда...

Кругом галдел мирской сход недвижно столпившихся вершин. Ага, значит, пока я дремал и, давая свисток за свистком, мы винтом в холодном дыму ввинчивались из туннеля в туннель, нас успело обступить дыханье, на три тысячи метров превосходящее наше природное?

Была непрогляднейшая тьма, но эхо наполняло ее вы-

пуклою скульптурой звуков. Беззастенчиво громко разговаривали пропасти, по-кумовски перебивая косточки земле. Всюду, всюду, всюду судачили, сплетничали и сочились ручьи. Легко было угадать, как развешаны они по крутизнам и спущены сучеными нитками вниз, в долину. А сверху на поезд соскакивали висячие отвесы, рассаживаясь на крышах вагонов, и, перекрикиваясь и болтая ногами, предавались бесплатному катанью.

Но сон одолевал меня, и я впадал в недопустимую дремоту у порога снегов, под слепыми Эдиповыми белками Альпов, на вершине демонического совершенства планеты. На высоте поцелуя, который она, как Микеланджелова ночь, самовлюбленно кладет здесь на свое собственное плечо.

Когда я проснулся, чистое альпийское утро смотрело в окна. Какое-то препятствие, вроде обвала, остановило поезд. Нам предложили перейти в другой. Мы пошли по рельсам горной дороги. Лента полотна вилась разобщенными панорамами, точно дорогу все время совали за угол, как краденое. Мои вещи нес босой мальчик-итальянец, совершенно такой, каких изображают на шоколадных обертках. Где-то неподалеку музицировало его стадо. Звяканье колокольчиков падало ленивыми встрясками и отмахками. Музыка сосали слепни. Вероятно, на ней дёргом ходила кожа. Благоухали ромашки, и ни на минуту не прекращалось переливанье из пустого в порожнее незримо шлепавшихся отовсюду вод.

Следствия недосыпанья не замедлили сказаться. Я был в Милане полдня и не запомнил его. Только собор, все время менявшийся в лице, пока я шел к нему городом, в зависимости от перекрестков, с которых он последовательно открывался, смутно запечатлелся мне. Он тающим глетчером неоднократно вырастал на синем отвесе августовской жары и словно питал льдом и водой многочисленные кофейни Милана. Когда наконец неширокая площадь поставила меня к его подошве и я задрал голову, он съехал в меня всем хором и шорохом своих пилястр и башенок, как снежная пробка по коленчатому голенищу водосточной трубы.

Однако я едва держался на ногах, и первое, что обещал себе по прибытии в Венецию, так это основательно отоспаться.

Когда я вышел из вокзального зданья с провинциальным навесом в каком-то акцизно-таможенном стиле, что-то плавное тихо скользнуло мне под ноги. Что-то злокачественно-темное, как помой, и тронутое двумя-тремя блестками звезд. Оно почти неразличимо опускалось и подымалось и было похоже на почерневшую от времени живопись в качающейся раме. Я не сразу понял, что это изображение Венеции и есть Венеция. Что я — в ней, что это не снится мне.

Привокзальный канал слепой кишкой уходил за угол, к дальнейшим чудесам этой плавучей галереи на клоаке. Я поспешил к стоянке дешевых пароходиков, заменяющих тут трамвай.

Катер потел и задыхался, утирал нос и захлебывался, и тою же невозмутимой гладью, по которой тащились его затонувшие усы, плыли по полукругу, постепенно от нас отставая, дворцы Большого канала. Их зовут дворцами и могли бы звать чертогами, но все равно никакие слова не могут дать понятия о коврах из цветного мрамора, отвесно спущенных в ночную лагуну, как на арену средневекового турнира.

Есть особый елочный восток, восток прерафаэлитов. Есть представление о звездной ночи по легенде о поклонении волхвов. Есть извечный рождественский рельеф: забрызганная синим парафином поверхность золоченого грецкого ореха. Есть слова: халва и Халдея, маги и магний, Индия и индиго. К ним надо отнести и колорит ночной Венеции и ее водных отражений.

Как бы для того, чтобы тем прочней утвердить в русском ухе его ореховую гамму, на катере, пристающем то к одному берегу, то к другому, выкрикивают к сведенью едущих: «Fondaco dei Turchi! Fondaco dei Tedeschi». Но, разумеется, названия кварталов ничего общего с фундаками не имеют, а заключают воспоминанья о каравансараях, когда-то основанных тут турецкими и немецкими купцами.

Я не помню, перед каким именно из этих бесчисленных Вендраминов, Гримани, Корнеров, Фоскари и Лореданов увидел я первую, или первую поразившую меня, гондолу. Но это было уже по ту сторону Риальто. Она бесшумно вышла на канал из бокового проулка и, легши наперерез,

стала чалить к ближайшему дворцовому portalу. Ее как бы подали со двора на парадное на круглой брюшине медленно выкатившейся волны. За ней осталась темная расселина, полная дохлых крыс и пляшущих арбузных корок. Перед ней разбежалось лунное безлюдье широкой водной мостовой. Она была по-женски огромна, как огромно все, что совершенно по форме и несоизмеримо с местом, занимаемым телом в пространстве. Ее светлая гребенчатая алебарда легко летела по небу, высоко несомая круглым затылком волны. С той же легкостью бежал по звездам черный силуэт гондольера. А клубочок кабины пропадал, как бы вдавленный в воду в седловине между кормой и носом.

Уже и раньше, по рассказам Г-ва о Венеции, я рассудил, что всего лучше будет поселиться в районе близ Академии. Тут я и высадился. Не помню, перешел ли я по мосту на левый берег или остался на правом. Помню крошечную площадь. Ее обступали такие же дворцы, как и на канале, только серее и строже. И они упирались в сушу.

На залитой лунной площади стояли, прохаживались и полулежали люди. Их было немного, и они точно ее драпировали движущимися, малоподвижными и неподвижными телами. Был необыкновенно тихий вечер. Мне бросилась в глаза одна пара. Не поворачивая друг ко другу голов и наслаждаясь обоюдным отмалчиваньем, они напряженно всматривались в противоположную даль. Вероятно, это была отдохавшая прислуга палатцо. Сперва меня привлекла спокойная осанка лакея, его стриженная просесть, серый цвет его куртки. В них было что-то неитальянское. От них веяло севером. Затем я увидел его лицо. Оно показалось мне когда-то уже виденным, и только я не мог вспомнить, где это было.

Подойдя к нему с чемоданом, я выложил ему свою заботу о пристанище на несуществующем наречьи, сложившемся у меня после былых попыток почитать Данте в оригинале. Он вежливо меня выслушал, задумался и о чем-то спросил стоявшую рядом горничную. Та отрицательно покачала головой. Он вынул часы с крышкой, поглядел время, защелкнул, сунул в жилет и, не выходя из задумчивости, наклоном головы пригласил следовать за собою. Мы загнули из-за залитого лунною фасада за угол, где был полный мрак.

Мы шли по каменным переулочкам не шире квартир-ных коридоров. От времени до времени они подымали нас на короткие мосты из горбатого камня. Тогда по обе стороны вытягивались грязные рукава лагуны, где вода стояла в такой тесноте, что казалась персидским ковром в трубчатом свертке, едва втиснутым на дно кривого ящика.

По горбатым мостам проходили встречные, и задолго до ее появления о приближении венецианки предупреждал частый стук ее туфель по каменным лещадкам квартала.

В высоте поперек черных, как деготь, щелей, по которым мы блуждали, светлело ночное небо, и все куда-то уходило. Точно по всему Млечному Пути тянул пух семенившегося одуванчика, и будто ради того лишь, чтобы пропустить колонну-другую этого движущегося света, расступались порою переулки, образуя площади и перекрестки. И, удивляясь странной знакомости своего спутника, я беседовал с ним на несуществующем наречьи и переваливался из дегтя в пух, из пуха в деготь, ища с его помощью найдешевейшего ночлега.

Но на набережных, у выходов к широкой воде, царили другие краски, и тишину сменяла сутолока. На прибывавших и отходивших катерах толпилась публика, и маслянисто-черная вода вспыхивала снежной пылью, как битый мрамор, разламываясь в ступках жарко работавших или круто застопоривавших машин. А по соседству с ее хлопотаньем ярко жужжали горелки в палатках фруктошников, работали языки и толклись и прыгали фрукты в бестолковых столбах каких-то недоварившихся компотов.

В одной из ресторанных судомоен у берега нам дали полезную справку. Указанный адрес возвращал к началу нашего странствия. Направляясь туда, мы проделали весь наш путь в обратном порядке. Так что когда провожаемый водворил меня в одной из гостиниц близ Сапро Могосіні, у меня сложилось такое чувство, будто я только что пересек расстоянье, равное звездному небу Венеции, в направлении, встречном его движенью. Если бы у меня тогда спросили, что такое Венеция, — «Светлые ночи, — сказал бы я, — крошечные площади и спокойные люди, кажущиеся странно знакомыми».

«Ну-с, дружище, — громко, как глухому, прорычал мне хозяин, крепкий старик лет шестидесяти в расстегнутой грязной рубаше, — я вас устрою, как родного». Он налился кровью, смерил меня взглядом исподлобья и, заложив руки за пряжки подтяжек, забарабанил пальцами по волосатой груди. «Хотите холодной телятины?» — не смягчая взгляда, рявкнул он, не сделав никакого вывода из моего ответа.

Вероятно, это был добряк, корчивший из себя страшлище, с усами *à la Radetzki*. Он помнил австрийское владычество и, как вскоре обнаружилось, немного говорил по-немецки. Но так как язык этот представлялся ему языком унтеров-далматинцев по преимуществу, то мое беглое произношенье навело его на грустные мысли о паденьи немецкого языка со времени его солдатчины. Кроме того, у него, вероятно, была изжога.

Поднявшись, как на стременах, из-за стойки, он кроважно куда-то что-то проорал и пружинисто спустился во дворик, где протекало наше ознакомленье. Там стояло несколько столиков под грязными скатертями. «Я сразу почувствовал к вам расположение, как только вы вошли», — злорадно процедил он, движеньем руки пригласив меня присесть, и опустился на стул стола через два или три от меня. Мне принесли пива и мяса.

Дворик служил обеденным залом. Стояльцы, если тут какие имелись, давно, верно, отужинали и разбрелись на покой, и только в самом углу обжорной арены отсиживался плюгавый старичок, во всем угодливо поддакивавший хозяину, когда тот к нему обращался.

Уплетая телятину, я уже раз или два обратил вниманье на странные исчезновенья и возвращенья на тарелку ее влажно-розовых ломтей. Видимо, я впадал в дремоту. У меня слипались веки.

Вдруг, как в сказке, у стола выросла милая сухонькая старушка, и хозяин кратко поставил ее в известность о своей свирепой приязни ко мне, вслед за чем, куда-то поднявшись вместе с нею по узкой лестнице, я остался один, нащупал постель и без дальних размышлений лег в нее, раздевшись в потемках.

Я проснулся ярким солнечным утром, после десяти часов стремительного, бесперывного сна. Небылица под-

тверждалась. Я находился в Венеции. Зайчики, светлой мелюзгой роившиеся на потолке, как в каюте речного парохода, говорили об этом и о том, что я сейчас встану и побегу ее осматривать.

Я оглядел помещение, в котором лежал. На гвоздях, вбитых в крашеную перегородку, висели юбки и кофты, перьяная метелка на колечке, колотушка, плетеньем зацепленная за гвоздь. Подоконник был загроможден мазями в жестянках. В коробке из-под конфет лежал неочищенный мел.

За занавеской, протянутой во всю ширину чердака, слышался стук и шелест сапожной щетки. Он слышался уже давно. Это, верно, чистили обувь на всю гостиницу. К шуму примешивались женское шушуканье и детский шепот. В шушукавшей женщине я узнал свою вчерашнюю старушку.

Она приходилась дальней родней хозяину и работала у него в экономках. Он уступил мне ее конуру, однако когда я пожелал это как-нибудь исправить, она сама встревоженно упростила меня не вмешиваться в их семейные дела.

Перед одеваньем, потягиваясь, я еще раз оглядел все кругом, и вдруг мгновенный дар ясности осветил мне обстоятельства минувшего дня. Мой вчерашний провожатый напоминал обер-кельнера в Марбурге, того самого, что надеялся мне еще пригодиться.

Вероятный налет вмененья, заключавшийся в его просьбе, мог еще увеличить это сходство. Это-то и было причиной инстинктивного предпочтенья, которое я оказал одному из людей на площади перед всеми остальными.

Меня это открытие не удивило. Тут нет ничего чудесного. Наши невиннейшие «здравствуйте» и «прощайте» не имели бы никакого смысла, если бы время не было пронизано единством жизненных событий, то есть перекрестными действиями бытового гипноза.

Итак, и меня коснулось это счастье. И мне посчастливилось узнать, что можно день за днем ходить на свиданья с куском застроенного пространства, как с живою личностью.

С какой стороны ни идти на пьядцу, на всех подступах к ней стережет мгновенье, когда дыханье учащается и, ускоряя шаг, ноги сами начинают нести к ней навстречу. Со стороны ли мерчерии или телеграфа дорога в какой-то момент становится подобьем преддверья, и, раскинув свою собственную, широко расчерченную поднебесную, площадь выводит, как на прием: кампанилу, собор, дворец дожей и трехстороннюю галерею.

Постепенно привязываясь к ним, склоняешься к ощущенью, что Венеция — город, обитаемый зданьями — четырьмя перечисленными и еще несколькими в их роде. В этом утверждении нет фигуральности. Слово, сказанное в камне архитекторами, так высоко, что до его высоты никакой риторике не дотянуться. Кроме того, оно, как ракушками, обросло вековыми восторгами путешественников. Растущее восхищение вытеснило из Венеции последний след декламации. Пустых мест в пустых дворцах не осталось. Все занято красотой.

Когда перед посадкой в гондолу, нанятую на вокзал, англичане в последний раз задерживаются на пьядцетте в позах, которые были бы естественны при прощаньи с живым лицом, площадь ревнуешь к ним тем острее, что, как известно, ни одна из европейских культур не подходила к Италии так близко, как английская.

16

Однажды под этими же штандартными мачтами, переплетаясь поколеньями, как золотыми нитками, толпилось три великолепно вотканых друг в друга столетья, а недалеко от площади недвижимой корабельной чашей дремал флот этих веков. Он как бы продолжал планировку города. Снасти высывались из-за чердаков, галеры подглядывали, на суше и на кораблях двигались по-одинаковому. Лунной ночью иной трехпалубник, уставясь ребром в улицу, всю ее сковывал мертвой грозой своего недвижно развернутого напора. И в том же выносном величьи стояли фрегаты на якорях, облюбовывая с рейда наиболее тихие и глубокие залы. По тем временам это был флот очень сильный. Он поражал своей численностью. Уже в пятнадцатом веке в нем одних торговых судов,

не считая военных, насчитывалось до трех с половиной тысяч, при семидесяти тысячах матросов и судорабочих.

Этот флот был невымысленной явью Венеции, прозаической подоплекой ее сказочности. В виде парадокса можно сказать, что его покачивавшийся тоннаж составлял твердую почву города, его земельный фонд и торговое и тюремное подземелье. В силках снастей сучал плененный воздух. Флот томил и угнетал. Но, как в паре сообщающихся сосудов, с берега вровень его давлению поднималось нечто ответно-искупительное. Понять это — значит понять, как обманывает искусство своего заказчика.

Любопытно происхождение слова «пantalоны». Когда-то, до своего позднейшего значенья штанов, оно означало лицо итальянской комедии. Но еще раньше, в первоначальном значеньи, «*rianta leone*» выражало идею венецианской победоносности и значило: водрузительница льва (на знамени), то есть, иными словами, — Венеция-завоевательница. Об этом есть даже у Байрона в «Чайльд Гальде»:

Her very byword sprung from victory,
The «Planter of the Lion», wick through fire
And blood she bore o'er subject earth and sea¹.

Замечательно перерождаются понятия. Когда к ужасам привыкают, они становятся основаниями хорошего тона. Поймем ли мы когда-нибудь, каким образом гильотина могла стать на время формой дамской брошки?

Эмблема льва многообразно фигурировала в Венеции. Так, и опускная щель для тайных доносов на лестнице цензоров, в соседстве с росписями Веронеза и Тинторетто, была изваяна в виде львиной пасти. Известно, какой страх внушала эта «*bossa di leone*» современникам и как мало-помалу стало признаком невоспитанности упоминание о лицах, загадочно провалившихся в прекрасно изваянную щель, в тех случаях, когда сама власть не выражала по этому поводу огорчения.

¹ Даже ее прозвище произошло от победы — распространительница льва, которого сквозь огонь и кровь она несла покоренной суше и морю.

Когда искусство воздвигало дворцы для поработителей, ему верили. Думали, что оно делит общие воззрения и разделит в будущем общую участь. Но именно этого не случилось. Языком дворцов оказался язык забвения, а вовсе не тот панталонный язык, который им ошибочно приписывали. Панталонные цели истлели, дворцы остались.

И осталась живопись Венеции. Со вкусом ее горячих ключей я был знаком с детства по репродукциям и в вывозном музейном разливе. Но надо было попасть на их месторождение, чтобы, в отличие от отдельных картин, увидеть самое живопись, как золотую топь, как один из первичных омутов творчества.

17

Я глядел на это зрелище глубже и более расплывчато, нежели это выразят теперь мои формулировки. Я не старался осознать увиденное в том направлении, в каком его сейчас истолкую. Но впечатления сами отложились у меня сходным образом в течение лет, и в своем сжатом заключении я не удалюсь от правды.

Я увидел, какое наблюдение первым поражает живописный инстинкт. Как вдруг постигается, каково становится видимому, когда его начинают видеть. Будучи замечена, природа расступается послушным простором повести, и в этом состоянии ее, как сонную, тихо вносят на полотно. Надо видеть Карпаччио и Беллини, чтобы понять, что такое изображение.

Я узнал далее, какой синкретизм сопутствует расцвету мастерства, когда при достигнутом тождестве художника и живописной стихии становится невозможным сказать, кто из троих и в чью пользу проявляет себя всего деятельнее на полотне — исполнитель, исполненное или предмет исполнения. Именно благодаря этой путанице мыслимы недоразумения, при которых время, позируя художнику, может вообразить, будто подымает его до своего преходящего величия. Надо видеть Веронеза и Тициана, чтобы понять, что такое искусство.

Наконец, недостаточно оценив эти впечатления в то время, я узнал, как мало нужно гению для того, чтоб взорваться.

Кругом — львиные морды, всюду мерещащиеся,

сующиеся во все интимности, все обнюхивающие, — лвиные пасти, тайно сглатывающие у себя в берлоге за жизнью жизнь. Кругом лвиный рык мнимого бессмертья, мыслимого без смеху только потому, что все бессмертное у него в руках и взято на крепкий лвиный повод. Все это чувствуют, все это терпят. Для того чтобы ощутить *только это*, не требуется гениальности: это видят и терпят все. Но раз это терпят сообща, значит, в этом звенце должно быть и нечто такое, чего не чувствует и не видит *никто*.

Это и есть та капля, которая переполняет чашу терпения гения. Кто поверит? Тождество изображенного, изобразителя и предмета изображения, или шире: равнодушие к непосредственной истине, вот что приводит его в ярость. Точно это пощечина, данная в его лице человечеству. И в его холсты входит буря, очищающая хаос мастерства определяющими ударами страсти. Надо видеть Микеланджело Венеции — Тинторетто, чтобы понять, что такое гений, то есть художник.

18

Однако в те дни я не входил в эти тонкости. Тогда, в Венеции, и еще сильнее во Флоренции, или, чтобы быть окончательно точным, в ближайшие после путешествия зимы в Москве мне приходили в голову другие, более специальные мысли.

Главное, что выносит всякий от встречи с итальянским искусством, — это ощущение осязательного единства нашей культуры, в чем бы он его ни видел и как бы ни называл.

Как много, например, говорилось о языке гуманистов и как по-разному, — как о течении законном и незаконном. И правда, столкновение веры в воскресенье с веком Возрождения — явление необычайное и для всей европейской образованности центральное. Кто также не замечал анахронизма, часто безнравственного, в трактовках канонических тем всех этих «Введений», «Вознесений», «Бракосочетаний в Кане» и «Тайных вечерь» с их разнузданно великосветской роскошью?

И вот именно в этом несоответствии сказала мне тысячелетняя особенность нашей культуры.

Италия кристаллизовала для меня то, чем мы бессозна-

тельно дышим с колыбели. Ее живопись сама доделала для меня то, что я должен был по ее поводу додумать, и пока я днями переходил из собрания в собрание, она выбросила к моим ногам готовое, до конца выварившееся в краске наблюдение.

Я понял, что, к примеру, Библия есть не столько книга с твердым текстом, сколько записная тетрадь человечества, и что таково все вековечное. Что оно жизненно не тогда, когда оно обязательно, а когда оно восприимчиво ко всем уподоблениям, которыми на него озираются исходящие века. Я понял, что история культуры есть цепь уравнений в образах, попарно связывающих очередное неизвестное с известным, причем этим известным, постоянным для всего ряда, является легенда, заложенная в основание традиции, неизвестным же, каждый раз новым — актуальный момент текущей культуры.

Вот чем я тогда интересовался, вот что тогда понимал и любил.

Я любил живую суть исторической символики, иначе говоря, тот инстинкт, с помощью которого мы, как ласточки саланганы, построили мир, — огромное гнездо, слепленное из земли и неба, жизни и смерти и двух времен, наличного и отсутствующего. Я понимал, что ему мешает развалиться сила сцепления, заключающаяся в сквозной образности всех его частиц.

Но я был молод и не знал, что это не охватывает судьбы гения и его природы. Я не знал, что его существо покоится в опыте реальной биографии, а не в символике, образно преломленной. Я не знал, что, в отличие от примитивов, его корни лежат в грубой непосредственности нравственного чутья. Замечательна одна его особенность. Хотя все вспышки нравственного аффекта разыгрываются внутри культуры, бунтовщику всегда кажется, что его бунт прокатывается на улице, за ее оградой. Я не знал, что долговечнейшие образы оставляет иконоборец в тех редких случаях, когда он рождается не с пустыми руками.

Когда папа Юлий Второй выразил неудовольствие по поводу колористической бедности сикстинского плафона, то в применении к потолку, изображающему создание мира с полагающимися фигурами, Микеланджело, оправдываясь, заметил: «*В те времена в золото не рядились. Особы, здесь изображенные, были людьми небогатыми.*»

Вот громopodobный и младенческий язык этого типа.

Предела культуры достигает человек, таящий в себе укрощенного Савонаролу. Неукрощенный Савонарола разрушает ее.

19

Вечером накануне отъезда на пьядце был концерт с иллюминацией, какие часто там устраивались. Ограничивающие ее фасады сверху донизу оделись остриями лампочек. Ее с трех сторон озарил черно-белый транспарант. Лица слушавших под открытым небом вспарило банной яркостью, как в закрытом великолепно освещенном помещении. Вдруг с потолка воображаемого балльного зала стало слегка накрапывать. Но, едва начавшись, дождик внезапно перестал. Иллюминационный отсвет кипел над площадью цветною мглой. Колокольня св. Марка ракетой из красного мрамора врезалась в розовый туман, до половины заволакивавший ее верхушку. Несколько подальше клубились темно-оливковые пары, и в них сказочно прятался пятиголовый остов собора. Тот конец площади казался подводным царством. На соборном притворе золотом играла четверка коней, вскачь примчавшихся из древней Греции и тут остановившихся, как на краю обрыва.

Когда концерт кончился, стал слышен жернов равномерного шарканья, вращавшийся и раньше по галерейному кругу, но тогда заглушавшийся музыкой. Это было кольцо фланеров, шаги которых шумели и сливались, подобно шороху коньков в ледяной чашке катка.

Среди гулявших быстро и гневно проходили женщины, скорее угрожавшие, чем сеявшие обольщение. Они обращались на ходу, точно с тем, чтобы оттолкнуть и уничтожить. Вызывающе изгибая стан, они быстро скрывались под портиками. Когда они оглядывались, на вас уставлялось смертельно насурмленное лицо черного венецианского платка. Их быстрая походка в темпе *allegro iato* странно соответствовала черному дрожанию иллюминации в белых царапинах алмазных огоньков.

В стихах я дважды пробовал выразить ощущение, на-

всегда связавшееся у меня с Венецией. Ночью перед отъездом я проснулся в гостинице от гитарного арпеджио, оборвавшегося в момент пробуждения. Я поспешил к окну, под которым плескалась вода, и стал вглядываться в даль ночного неба так внимательно, точно там мог быть след мгновенно смолкшего звука. Судя по моему взгляду, посторонний сказал бы, что я спронеся исследую, не возшло ли над Венецией какое-нибудь новое созвездье, со смутно готовым представленьем о нем как о Созвездьи Гитары.





ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

1

Цепь бульваров прорезала зимами Москву за двойным пологом почернелых деревьев. В домах желтели огни, как звездчатые кружки перерезанных посередке лимонов. На деревья низко свешивалось небо, и все белое кругом было сине.

По бульварам, нагибаясь, как для боданья, пробегали бедно одетые молодые люди. С некоторыми я был знаком, большинства не знал, все же вместе были моими ровесниками, т. е. неисчислимыми лицами моего детства.

Их только что стали звать по отчеству, наделили правами и ввели в секрет слов: овладеть, извлечь пользу,

присвоить. Они обнаруживали поспешность, достойную более внимательного разбора.

На свете есть смерть и предвиденье. Нам мила неизвестность, наперед известное страшно, и всякая страсть есть слепой отскок в сторону от накатывающей неотвратимости. Живым видам негде было бы существовать и повторяться, если бы страсти некуда было прыгать с той общей дороги, по которой катится общее время, каковое есть время постепенного разрушения вселенной.

Но жизни есть где жить и страсти есть куда прыгать, потому что наряду с общим временем существует непрекращающаяся бесконечность придорожных порядков, бессмертных в воспроизведении, и одним из них является всякое новое поколение.

Нагибаясь на бегу, спешили сквозь вьюгу молодые люди, и хотя у каждого были свои причины торопиться, однако больше всех личных побуждений подхлестывало их нечто общее, и это была их историческая цельность, то есть отдача той страсти, с какой только что вбежало в них, спасаясь с общей дороги, в несчетный раз избежавшее конца человечество.

А чтобы заслонить от них двойственность бега сквозь неизбежность, чтобы они не сошли с ума, не бросили начатого и не перевешались всем земным шаром, за деревьями по всем бульварам караулила сила, страшно бывалая и искушенная, и провожала их своими умными глазами. За деревьями стояло искусство, столь прекрасно разбирающееся в нас, что всегда недоумеваешь, из каких неисторических миров принесло оно свою способность видеть историю в силуэте. Оно стояло за деревьями, страшно похожее на жизнь, и терпелось в ней за это сходство, как терпят портреты жен и матерей в лабораториях ученых, посвященных естественной науке, то есть постепенной разгадке смерти.

Какое же это было искусство? Это было молодое искусство Скрябина, Блока, Комиссаржевской, Белого, — передовое, захватывающее, оригинальное. И оно было так поразительно, что не только не вызывало мыслей о замене, но, напротив, его для вящей прочности хотелось повторить с самого основания, но только еще шибче, горячее и цельнее. Его хотелось пересказать залпом, что было без страсти невысказуемо, страсть же отскакивала в сторону, и таким путем получалось новое. Однако новое возникало

не в отмену старому, как обычно принято думать, но совершенно напротив, в восхищенном воспроизведении образа. Таково было искусство. Каково же было поколенье?

Мальчишкам близкого мне возраста было по тринадцати лет в девятьсот пятом году и шел двадцать второй год перед войною. Обе их критические поры совпали с двумя красными числами родной истории. Их детская возмужалость и их призывное совершеннолетие сразу пошли на скрепы переходной эпохи. Наше время по всей толще прошито их нервами и любезно предоставлено ими в пользование старикам и детям.

Однако для полноты их характеристики надо вспомнить государственный порядок, которым они дышали.

Никто не знал, что это правит Карл Стюарт или Людовик XVI. Почему монархами по преимуществу кажутся последние монархи? Есть, очевидно, что-то трагическое в самом существе наследственной власти.

Политический самодержец занимается политикой лишь в тех редких случаях, когда он Петр. Такие примеры исключительны и запоминаются на тысячелетья. Чаше природа ограничивает властителя тем полнее, что она не парламент и ее ограничения абсолютны. В виде правила, освященного веками, наследственным монархом зовется лицо, обязанное церемониально изживать одну из глав династической биографии — и только. Здесь имеется пережиток жертвенности, подчеркнутой в этой роли оголеннее, чем в пчелином улье.

Что же делается с людьми этого страшного призванья, если они не Цезари, если опыт не перекипает у них политикой, если у них нет гениальности — единственного, что освобождает от судьбы пожизненной в пользу посмертной?

Тогда не скользят, а поскользываются, не ныряют, а тонут, не живут, а вживаются в щекотливости, низводящие жизнь до орнаментального прозябанья. Сначала в часовые, потом в минутные, сначала в истинные, потом в вымышленные, сначала без посторонней помощи, потом с помощью столоверченья.

При виде котла пугаются его клокотанья. Министры уверяют, что это в порядке вещей и чем совершеннее котлы, тем страшнее. Излагается техника государственных преобразований, заключающаяся в переводе тепловой

энергии в двигательную и гласящая, что государства только тогда и процветают, когда грозят взрывом и не взрываются. Тогда, зажмурясь от страха, берутся за ручку свистка и со всей прирожденной мягкостью устраивают Ходынку, кишиневский погром и Девятое января и сконфуженно отходят в сторону, к семье и временно прерванному дневнику.

Министры хватаются за голову. Окончательно выясняется, что территориальными далями правят недалекие люди. Объяснения пропадают даром, советы не достигают цели. Широта отвлеченной истины ни разу не пережита ими. Это рабы ближайших очевидностей, заключающие от подобного к подобному. Переучивать их поздно, развязка приближается. Подчиняясь увольнительному рескрипту, их оставляют на ее произвол.

Они видят ее приближенье. От ее угроз и требований бросаются к тому, что есть самого тревожного и требовательного в доме. Генриэтты, Марии-Антуанетты и Александры получают все больший голос в страшном хоре. Отдаляют от себя передовую аристократию, точно площадь интересуется жизнью дворца и требует ухудшенья его комфорта. Обращаются к версальским садовникам, к ефрейторам Царского Села и самоучкам из народа, и тогда всплывают и быстро поднимаются Распутины, никогда не опознаваемые капитуляции монархии перед фольклорно поднятым народом, ее уступки веяньям времени, чудовищно противоположные всему тому, что требуется от истинных уступок, потому что это уступки только во вред себе, без малейшей пользы для другого, и обыкновенно как раз эта несуразность, оголяя обреченную природу страшного призванья, решает его судьбу и сама чертами своей слабости подает раздражающий знак к восстанью.

Когда я возвращался из-за границы, было столетье отечественной войны. Дорогу из Брестской переименовали в Александровскую. Станции побелили, сторожей при колоколах одели в чистые рубахи. Станционное зданье в Кубинке было утыкано флагами, у дверей стоял усиленный караул. Поблизости происходил высочайший смотр, и по этому случаю платформа горела ярким развалом рыхлого и не везде еще притоптанного песку.

Воспоминаний о празднуемых событиях это в едущих не вызывало. Юбилейное убранство дышало главной осо-

бенностью царствования — равнодушьем к родной истории. И если торжества на чем и отражались, то не на ходе мыслей, а на ходе поезда, потому что его дольше положенного задерживали на станциях и чаще обычного останавливали в поле семафором.

Я невольно вспоминал скончавшегося зимой перед тем Серова, его рассказы поры писанья царской семьи, карикатуры, делавшиеся художниками на рисовальных вечерах у Юсуповых, курьезы, сопровождавшие купеческое издание «Царской охоты», и множество подходящих к случаю мелочей, связанных с Училищем живописи, которое состояло в ведении министерства имп. двора и в котором мы прожили около двадцати лет. Я также мог бы вспомнить девятьсот пятый год, драму в семье Касаткина и мою грошовую революционность, дальше бравированья перед казацкой нагайкой и удара ею по спине ватной шинели не пошедшую. Наконец, что касается сторожей станций и флагов, то и они, разумеется, предвещали серьезнейшую драму, а вовсе не были тем невинным водевилем, который видел в них мой легкомысленный аполитизм.

Поколение было аполитичным, мог бы сказать я, если бы не сознавал, что ничтожной его части, с которой я соприкасался, недостаточно даже для суждения обо всей интеллигенции. Такой стороной было оно повернуто ко мне, скажу я, но тою же стороной обращалось оно и ко времени, выступая со своими первыми заявлениями о своей науке, своей философии и своем искусстве.

2

Однако культура в объятая первого желающего не падает. Все перечисленное надо было взять с бою. Пониманье любви как поединка подходит и к этому случаю. Переход искусства к подростку мог осуществиться лишь в результате воинствующего влечения, пережитого со всем волнением, как личное происшествие. Литература начинающих пестрила признаками этого состоянья. Новички объединялись в группы. Группы разделялись на эпигонские и новаторские. Это были немыслимые в отдельности части того порыва, который был загадан с такой настойчивостью, что уже насыщал все кругом атмосферой совершающегося, а не только еще ожидаемого романа. Эпиго-

ны представляли влечение без огня и дара. Новаторы — ничем, кроме выхолащенной ненависти, не движимую воинственность. Это были слова и движения крупного разговора, подслушанные обезьяной и разнесенные куда придется по частям, в разрозненной дословности, без догадки о смысле, одушевлявшем эту бурю.

Между тем в воздухе уже висела судьба гадательного избранника. Почти можно было сказать, кем он будет, но нельзя было еще сказать, кто будет им. По внешности десятки молодых людей были одинаково беспокойны, одинаково думали, одинаково притязали на оригинальность. Как движение новаторство отличалось видимым единодушьем. Но, как в движениях всех времен, это было единодушие лотерейных билетов, роем взвихренных розыгрышной мешалкой. Судьбой движения было остаться навеки движением, то есть любопытным случаем механического перемещения шансов, с того часа, как какая-нибудь из бумажек, выйдя из лотерейного колеса, вспыхнула бы у выхода пожаром выигрыша, победы, лица и именного значенья. Движение называлось футуризмом.

Победителем и оправданьем тиража был Маяковский.

3

Наше знакомство произошло в принужденной обстановке групповой предвзятости. Задолго перед тем Ю. Анисимов показал мне его стихи в «Садке судей», как поэт показывает поэта. Но это было в эпигонском кружке «Лирика», эпигоны своих симпатий не стыдились, и в эпигонском кружке Маяковский был открыт как явление многообещающей близости, как громада.

Зато в новаторской группе «Центрифуга», в состав которой я вскоре попал, я узнал (это было в 1914 году, весной), что Шершеневич, Большаков и Маяковский наши враги и с ними предстоит нешуточное объяснение. Перспектива ссоры с человеком, уже однажды поразившим меня и привлекавшим издали все более и более, несколько меня не удивила. В этом и состояла вся оригинальность новаторства. Нарождение «Центрифуги» сопровождалось всю зиму нескончаемыми скандалами. Всю зиму я только и знал, что играл в групповую дисциплину, только и делал, что жертвовал ей вкусом и совестью. Я пригото-

вился снова предать что угодно, когда придется. Но на этот раз я переоценил свои силы.

Был жаркий день конца мая и мы уже сидели в кондитерской на Арбате, когда с улицы шумно и молодо вошли трое названных, сдали шляпы швейцару и, не умеряя звучности разговора, только что заглушавшегося трамваями и ломовиками, с непринужденным достоинством направились к нам. У них были красивые голоса. Позднейшая декламационная линия поэзии пошла отсюда. Они были одеты элегантно, мы — неряшливо. Позиция противника была во всех отношениях превосходной.

Пока Бобров препирался с Шершеневичем, — а суть дела заключалась в том, что они нас однажды задели, мы ответили еще грубее и всему этому надо было положить конец, — я не отрываясь наблюдал Маяковского. Кажется, так близко я тогда его видел впервые.

Его «э» оборотное вместо «а», куском листового железа колыхавшее его дикцию, было чертой актерской. Его намеренную резкость легко было вообразить отличным признаком других профессий и положений. В своей разительности он был не одинок. Рядом сидели его товарищи. Из них один, как он, разыгрывал денди, другой, подобно ему, был подлинным поэтом. Но все эти сходства не умаляли исключительности Маяковского, а ее подчеркивали. В отличие от игры в отдельное он разом играл во все, в противность разыгрыванью ролей, — играл жизнью. Последнее, без какой бы то ни было мысли о его будущем конце, — улавливалось с первого взгляда. Это-то и приковывало к нему, и пугало.

Хотя всех людей на ходу и когда они стоят, видно во весь рост, но то же обстоятельство при появлении Маяковского показалось чудесным, заставив всех повернуться в его сторону. Естественное казалось в его случае сверхъестественным. Причиной был не его рост, а другая, более общая и менее уловимая особенность. Он в большей степени, чем остальные люди, был весь в явлении. Выраженного и окончательного в нем было так же много, как мало этого у большинства, редко когда и лишь в случаях особых потрясений выходящего из мглы невыбродивших намерений и несостоявшихся предположений. Он существовал точно на другой день после огромной душевной жизни, крупно прожитой впрок на все случаи, и все заставляли его уже в снопе ее бесповоротных по-

следствий. Он садился на стул, как на седло мотоцикла, подавался вперед, резал и быстро глотал венский шницель, играл в карты, скашивая глаза и не поворачивая головы, величественно прогуливался по Кузнецкому, глуховато потягивал в нос, как отрывки литургии, особо глубокомысленные клочки своего и чужого, хмурился, рос, ездил и выступал, и в глубине за всем этим, как за прямою разбежавшегося конькобежца, вечно мерещился какой-то предшествующий всем дням его день, когда был взят этот изумительный разгон, распрямлявший его так крупно и непринужденно. За его манерою держаться чудилось нечто подобное решенью, когда оно приведено в исполнение и следствия его уже не подлежат отмене. Таким решением была его гениальность, встреча с которой когда-то так его потрясла, что стала ему на все времена тематическим предписанием, воплощению которого он отдал всего себя без жалости и колебанья.

Но он был еще молод, формы, предстоявшие этой теме, были впереди. Тема же была ненасытима и отлагательств не терпела. Поэтому первое время ей в угоду приходилось предвосхищать свое будущее, предвосхищение же, осуществляемое в первом лице, есть поза.

Из этих поз, естественных в мире высшего самовыраженья, как правила приличья в быту, он выбрал позу внешней цельности, для художника труднейшую и в отношении друзей и близких благороднейшую. Эту позу он выдерживал с таким совершенством, что теперь почти нет возможности дать характеристику ее подоплеки.

А между тем пружиной его беззастенчивости была дикая застенчивость, а под его притворной волей крылось феноменально мнительное и склонное к беспричинной угрюмости безволие. Таким же обманчивым был и механизм его желтой кофты. Он боролся с ее помощью вовсе не с мещанскими пиджаками, а с тем черным бархатом таланта в самом себе, приторно-чернобровые формы которого стали возмущать его раньше, чем это бывает с людьми менее одаренными. Потому что никто, как он, не знал всей пошлости самородного огня, не разъяряемого исподволь холодной водой, и того, что страсти, достаточной для продолженья рода, для творчества недостаточна и что оно нуждается в страсти, требующейся для продолженья образа рода, то есть в такой страсти, которая

внутренне подобна страстям и новизна которой внутренне подобна новому обетованью.

Вдруг переговоры кончились. Враги, которых мы должны были уничтожить, ушли непопранными. Скорее условия выработанной мировой были унижительны для нас.

Между тем на улице потемнело. Стало накрапывать. В отсутствие врагов кондитерская томительно опустела. Обозначились мухи, недоеденные пирожные, ослепленные горячим молоком стаканы. Но гроза не состоялась. В панель, скрученную мелким лиловым горошком, сладко ударило солнце. Это был май четырнадцатого года. Превратности истории были так близко. Но кто о них думал? Аляповатый город горел финифтью и фольгой, как в «Золотом петушке». Блестела лаковая зелень тополей. Краски были в последний раз той ядовитой травянистости, с которой они вскоре навсегда расстались. Я был без ума от Маяковского и уже скучал по нем. Надо ли прибавлять, что я предал совсем не тех, кого хотел.

4

Случай столкнул нас на следующий день под тентом греческой кофейни. Большой желтый бульвар лежал пластом, растянувшись между Пушкиным и Никитской. Зевали, потягиваясь и укладывая морды поудобней на передние лапы, худые длинноязыкие собаки. Няни, кума с кумой, все о чем-то судачили и о чем-то сокрушались. Бабочки мгновеньями складывались, растворясь в жаре, и вдруг расправлялись, увлекаемые вбок неправильными волнами зноя. Девочка в белом, вероятно совершенно мокрая, держалась в воздухе, всю себя за пятки охлестывая свистящими кругами веревочной скакалки.

Я увидел Маяковского издали и показал его Локсу. Он играл с Ходасевичем в орел и решку. В это время Ходасевич встал и, заплатив проигрыш, ушел из-под навеса по направлению к Страстному. Маяковский остался один за столиком. Мы вошли, поздоровались с ним и разговорились. Немного спустя он предложил кое-что прочесть.

Зеленели тополя. Суховато серели липы. Выведенные блохами из терпенья, сонные собаки вскакивали на все лапы сразу и, призвав небо в свидетели своего морального бессилья против грубой силы, валились на песок в

состоянии негодующей сонливости. Давали горловые свистки паровозы на Брестской дороге, переименованной в Александровскую, и кругом стригли, брили, пекли и жарили, торговали, передвигались — и ничего не ведали.

Это была трагедия «Владимир Маяковский», тогда только что вышедшая. Я слушал, не помня себя, всем перехваченным сердцем, затаив дыхание. Ничего подобного я раньше никогда не слышал.

Здесь было все. Бульвар, собаки, тополя и бабочки. Парикмахеры, булочки, портные и паровозы. Зачем цитировать? Все мы помним этот душный таинственный летний текст, теперь доступный каждому в десятом издании.

Вдали белугой ревели локомотивы. В горловом краю его творчества была та же безусловная даль, что на земле. Тут была та бездонная одухотворенность, без которой не бывает оригинальности, та бесконечность, открывающаяся с любой точки жизни, в любом направлении, без которой поэзия — одно недоразумение, временно не разъясненное.

И как просто было это все. Искусство называлось трагедией. Так и следует ему называться. Трагедия называлась «Владимир Маяковский». Заглавье скрывало гениально простое открытие, что поэт не автор, но — предмет лирики, от первого лица обращающейся к миру. Заглавье было не именем сочинителя, а фамилией содержания.

5

Собственно, тогда с бульвара я и унес его всего с собою в свою жизнь. Но он был огромен, удержать его в разлуке не представляло возможности. И я его утрачивал. Тогда он напоминал мне о себе. «Облаком в штанах», «Флейтой-позвоночником», «Войной и миром», «Человеком». То, что выветривалось в промежутках, было так громадно, что и напоминанья требовались экстраординарные. Таки-ми они и бывали. Каждый из перечисленных этапов заставлял меня неподготовленным. На каждом, выросши до неузнаваемости, он весь рождался вновь, как в первый раз. К нему нельзя было привыкнуть. Что же в нем было столь непривычного?

Он обладал сравнительно постоянными качествами. Относительно устойчива была и моя восторженность. Она всегда для него была готова. Казалось бы, при таких

условиях и привыкание мое не должно было бы делать скачков. Между тем вот как обстояло дело.

Пока он существовал творчески, я четыре года привыкал к нему и не мог привыкнуть. Потом привык в два часа с четвертью, что длилось чтение и разбор нетворческих «150 000 000-нов». Потом больше десяти лет протомился с этой привычкой. Потом вдруг разом ее в слезах утратил, когда он *во весь голос* о себе напомнил, как бывало, но уже из-за могилы.

Привыкнуть нельзя было не к нему, а к миру, который он держал в своих руках и то пускал в ход, то приводил в бездействие по своему капризу. Я никогда не пойму, какой ему был прок в размагничивании магнита, когда в сохранении всей внешности ни песчинки не двигала подкова, вздыбливавшая перед тем любое воображение и притягивавшая какие угодно тяжести ножками строк. Едва ли найдется в истории другой пример того, чтобы человек, так далеко ушедший в новом опыте, в час, им самим предсказанный, когда этот опыт, пусть и ценой неудобств, стал бы так насущно нужен, так полно бы от него отказался. Его место в революции, внешне столь логичное, внутренне столь принужденное и пустое, навсегда останется для меня загадкой.

Привыкнуть нельзя было к Владимиру Маяковскому трагедии, к фамилии содержанья, к поэту, извечно содержащемуся в поэзии, к возможности, осуществляемой наиболее сильными, а не к так называемому «интересному человеку».

С зарядом этой непривычности я и пошел домой с бульвара. Я снимал комнату с окном на Кремль. Из-за реки мог во всякое время явиться Николай Асеев. Он пришел бы от сестер С., семьи глубоко и разнообразно одаренной. Я узнал бы в вошедшем: воображение, яркое в беспорядочности, способность претворять неосновательность в музыку, чувствительность и лукавство подлинной артистической природы. Я его любил. Он увлекался Хлебниковым. Не пойму, что он находил во мне. От искусства, как и от жизни, мы добивались разного.

6

Зеленели тополя и ящерицами бегали по речной воде отраженья золота и белого камня, когда я Кремлем к Покровке проехал на вокзал и оттуда с Балтрушайтисами

на Оку, в Тульскую губернию. Там под боком жил Вячеслав Иванов. Остальные дачники были также из артистического мира.

Еще цвела сирень. Выбежав далеко на дорогу, она только что без музыки и хлеба-соли устраивала живую встречу на широком въезде в имение. За ней долго еще спускался к домам пустой, избитый скотом и поросший неровною травой двор.

Лето обещало быть жарким, богатым. Для тогда возникшего Камерного театра я переводил комедию Клейста «Разбитый кувшин». В парке было много змей. Речь о них заходила ежедневно. О змеях говорили за ухой и на купанье. Когда же мне предлагали рассказать что-нибудь о себе, я заговаривал о Маяковском. В этом не было ошибки. Я его боготворил. Я олицетворял в нем свой духовный горизонт. С гиперболизмом Гюго первым на моей памяти стал сравнивать его тогда Вячеслав Иванов.

7

Когда объявили войну, заненастилось, пошли дожди, полились первые бабьи слезы. Война была еще нова и в тряс страшна этой новостью. С ней не знали, как быть, и в нее вступали как в студеную воду.

Пассажирские поезда, в которых уезжали местные из волости на сбор, отходили по старому расписанию. Поезд трогался, и ему вдогонку, колотясь головой о рельсы, раскатывалась волна непохожего на плач, неестественно нежного и горького, как рябина, кукованья. Пожилую, не по-летнему укутанную женщину подхватывали на руки. Родня снаряженного с односложными уговорами отводила ее под станционные своды.

Это только в первые месяцы державшееся причитанье было шире горя молодых и матерей, в нем изливавшегося. Оно чрезвычайным порядком вводилось по линии. Начальники станций брали при его следовании под козырек, телеграфные столбы уступали ему дорогу. Оно преображало край, видимое отовсюду в оловянном окладе ненастья, потому что это была отвычная вещь жгучей яркости, которую не трогали с прошлых войн, извлекли из-под спуда истекшей ночью, утром привезли на лошади к поезду и, как выведут за руки из-под станционных сводов, повезут назад домой горькой грязью проселка. Так провожали

своих, вольными одиночками или с земляками уезжавших в город в зеленых вагонах.

Солдат же, готовыми маршевыми частями проходивших прямо туда, в самый страх, встречали и провожали без голошенья. Во всем в обтяжку, они не по-мужицки прыгали из высоких теплушек в песок, звеня шпорами и волоча по воздуху криво накинутые шинели. Другие стояли в вагонах у перекладин, похлопывая лошадей, надменными ударами копыт ковырявших грязную древесину местами подгнившего пола. Платформа яблок даром не отдавала, за ответом в карман не лезла и, пунцово вспыхивая, усмехалась в углы плотно сколотых платков.

Кончался сентябрь. Грязью залитого пожара горел в лощинах мусорно-золотой орешник, погнутый и обломанный ветрами и лазальщиками по орехи, сумбурный образ разоренья, свернутого со всех суставов упрямым сопротивленьем беде.

Как-то в августе в полдень ножи и тарелки на террасе позеленели, на цветник пали сумерки, притихли птицы. Небо, как шапку-невидимку, стало сдирать с себя светлую сетчатую ночь, обманно на него наброшенную. Вымерший парк зловеще закосился ввысь, на унижительную загадку, превращавшую во что-то заштатное землю, громкую славу которой он так горделиво пил всеми корнями. На дорожку выкатился еж. На ней египетским иероглифом, как сложенная узлом веревка, валялась дохлая гадюка. Он шевельнул ее и вдруг бросил и замер. И снова сломал и осыпал сухую охапку игл и высунул и спрятал свиную морду. Все время, что длилось затмение, то сапожком, то шишкой сбирался клубок колючей подозрительности, пока предвестье возрождающейся несомненности не погнало его назад в нору.

8

Зимой на Тверском бульваре поселилась одна из сестер С-х — З. М. М-ва. Ее посещали. К ней заходил замечательный музыкант (я дружил с ним) И. Добровейн. У ней бывал Маяковский. К той поре я уже привык видеть в нем первого поэта поколения. Время показало, что я не ошибся.

Был, правда, Хлебников с его тонкой подлинностью. Но часть его заслуг и доньше для меня недоступна, потому что поэзия моего пониманья все же протекает

в истории и в сотрудничестве с действительной жизнью. Был также Северянин, лирик, изливавшийся непосредственно строфически, готовыми, как у Лермонтова, формами и при всей неряшливой пошлости поражавший именно этим редким устройством своего открытого, разомкнутого дара.

Однако вершиной поэтической участи был Маяковский, и позднее это подтвердилось. Всякий раз, как потом поколение выражало себя драматически, отдавая свой голос поэту, будь то Есенин, Сельвинский или Цветаева, именно в их генерационной связанности, то есть в их обращении от времени к миру, слышался отзвук кровной ноты Маяковского. Я умалчиваю о таких мастерах, как Тихонов и Асеев, потому что ограничиваюсь и в дальнейшем этой драматической линией, более близкой мне, а они выбрали для себя другую.

Маяковский редко являлся один. Обыкновенно его свиту составляли футуристы, люди движенья. В хозяйстве М-вой я увидел тогда первый в моей жизни примус. Изобретенье не издавало еще вони, и кому думалось, что оно так изгадит жизнь и найдет себе в ней такое широкое распространенье.

Чистый ревуший кузов разбрасывал высоконапорное пламя. На нем одну за другой поджаривали отбивные котлеты. Локти хозяйки и ее помощниц покрывались шоколадным кавказским загаром. Холодная кухонька превращалась в поселенье на огненной земле, когда, наведываясь из столовой к дамам, мы технически дикими патагонцами склонялись над медным блином, воплощавшим в себе что-то светлое, архимедовское. И — бегали за пивом и водкой. В гостиной, в тайной стачке с деревьями бульвара, протягивала лапы к роялю высокая елка. Она была еще торжественно мрачна. Весь диван, как сладостями, был завален блестящей канителью, частью еще в картонных коробках. К ее украшенью приглашали особо, с утра по возможности, то есть часа в три пополудни.

Маяковский читал, смешил все общество, торопливо ужинал, не терпя, когда сядут за карты. Он был язвительно любезен и с большим искусством прятал свое постоянное возбужденье. С ним что-то творилось, в нем совершался какой-то перелом. Ему уяснилось его назначенье. Он открыто позировал, но с такою скрытой тревогой и лихорадкой, что на его позе стояли капли холодного пота.

Но не всегда он приходил в сопутствии новаторов. Часто его сопровождал поэт, с честью выходявший из испытанья, каким обыкновенно являлось соседство Маяковского. Из множества людей, которых я видел рядом с ним, Большаков был единственным, кого я совмещал с ним без всякой натяжки. Обоих можно было слушать в любой последовательности, не насилуя слуха. Как впоследствии его еще более крепкое единенье с другом на всю жизнь, Л. Ю. Брик, эту дружбу легко было понять, она была естественна. В обществе Большакова за Маяковского не болело сердце, он был в соответствии с собой и не ронял себя.

Обычно же его симпатии вызывали недоуменье. Поэт с захватывающе крупным самосознанием, дальше всех зашедший в обнаженьи лирической стихии и со средневековой смелостью сблизивший ее с темою, в безмерной росписи которой поэзия заговорила языком почти сектантских отождествлений, он так же широко и крупно подхватил другую традицию, более местную.

Он видел под собою город, постепенно к нему поднявшийся со дна «Медного всадника», «Преступления и наказания» и «Петербурга», город в дымке, которую с ненужной расплывчатостью звали проблемой русской интеллигенции, по существу же город в дымке вечных гаданий о будущем, русский необеспеченный город девятнадцатого и двадцатого столетья.

Он обнимал такие виды и наряду с этими огромными созерцаньями почти как долгу верен был всем карликовым затеям своей случайной, наспех набранной и всегда до неприличья посредственной клики. Человек почти животной тяги к правде, он окружал себя мелкими привередниками, людьми фиктивных репутаций и ложных, неоправданных притязаний. Или, чтобы назвать главное. Он до конца все что-то находил в ветеранах движенья, им самим давно и навсегда упраздненного. Вероятно, это были следствия рокового одиночества, раз установленного и затем добровольно усугубленного с тем педантизмом, с которым воля идет иногда в направленьи осознанной неизбежности.

Однако все это сказалось позднее. Признаки будущих странностей тогда еще были слабы. Маяковский читал Ахматову, Северянина, свое и большаковское о войне и городе, и город, куда мы выходили ночью от знакомых, был городом глубокого военного тыла.

Уже мы проваливались по всегда трудным для огромной и одухотворенной России предметам транспорта и снабженья. Уже из новых слов — наряд, медикаменты, лицензия и холодильное дело — вылупливались личинки первой спекуляции. Тем временем, как она мыслила вагонами, в вагонах этих дни и ночи спешно с песнями вывозили крупные партии свежего коренного населенья в обмен на порченное, возвращавшееся санитарными поездами. И лучшие из девушек и женщин шли в сестры.

Местом истинных положений был фронт, и тыл все равно попадал бы в ложное, даже если бы в придачу к этому не изощрялся в добровольной лжи. Город прятался за фразы, как пойманный вор, хотя тогда еще никто его не ловил. Как все лицемеры, Москва жила повышенно внешней жизнью и была ярка неестественной яркостью зимней цветочной витрины.

Ночами она казалась вылитым голосом Маяковского. То, что в ней творилось, и то, что громоздил и громил этот голос, было как две капли воды. Но это не было то сходство, о котором мечтает натурализм, а та связь, которая сочетает воедино анод и катод, художника и жизнь, поэта и время.

От М-вой напротив был дом московского полицеймейстера. Осенью в течение нескольких дней меня там сталкивала с Маяковским и, кажется, с Большаковым одна из формальностей, требовавшихся при записи в добровольцы. Процедуру эту мы друг от друга скрывали. Я не довел ее до конца, несмотря на отцово сочувствие. Но, если не ошибаюсь, и у товарищей тогда из нее ничего не вышло.

Меня заклял отказаться от этой мысли сын Шестова, красавец прапорщик. Он с трезвой положительностью рассказал мне о фронте, предупредив, что я встречу там одно противоположное тому, что рассчитываю найти. Вскоре за тем он погиб в первом из боев по возвращеньи на

позиции из этого отпуска. Большаков поступил в Тверское кавалерийское училище, Маяковский позднее был призван в свой срок, я же после летнего освобождения перед самой войной освобождался при всех последующих переосвидетельствованиях.

Через год я уехал на Урал. Перед тем я на несколько дней ездил в Петербург. Война чувствовалась тут меньше, чем у нас. Тут давно обосновался Маяковский, тогда уже призванный.

Как всегда, оживленное движение столицы скрадывалось щедростью ее мечтательных, нуждами жизни не исчерпываемых просторов. Проспекты сами были цвета зимы и сумерек, и в придачу к их серебристой порывистости не требовалось много фонарей и снегу, чтобы заставить их мчаться вдаль и играть.

Мы шли с Маяковским по Литейному, он мял взмахами шагов версты улиц, и я, как всегда, поражался его способности быть чем-то бортовым и обрамляющим к любому пейзажу. Искристо-серому Петрограду он в этом отношении шел еще больше, чем Москве.

Это было время «Флейты-позвоночника» и первых набросков «Войны и мира». Тогда книжкой в оранжевой обложке вышло «Облако в штанах».

Он рассказывал про новых друзей, к которым меня вел, про знакомство с Горьким, про то, как общественная тема все шире проникает в его замыслы и позволяет ему работать по-новому, в определенные часы, размеренными порциями. И тогда я в первый раз побывал у Бриков.

Еще естественнее, чем в столицах, разместились мои мысли о нем в зимнем полуазиатском ландшафте «Капитанской дочки», на Урале и в пугачевском Прикамьи.

Вскоре после Февральской революции я вернулся в Москву. Из Петрограда приехал и остановился в Столешниковом переулке Маяковский. Утром я зашел к нему в гостиницу. Он вставал и, одеваясь, читал мне новые «Войну и мир». Я не стал распространяться о впечатленьи. Он прочел его в моих глазах. Кроме того, мера его действия на меня была ему известна. Я заговорил о футуризме и сказал, как чудно было бы, если бы он теперь все это гласно послал к чертям. Смеясь, он почти со мной соглашался.

В предшествующем я показал, как я воспринимал Маяковского. Но любви без рубцов и жертв не бывает. Я рассказал, каким вошел Маяковский в мою жизнь. Остается сказать, что с ней при этом сделалось. Теперь я восполню этот пробел.

Вернувшись в совершенном потрясении тогда с бульвара, я не знал, что предпринять. Я сознавал себя полной бездарностью. Это было бы еще с полбеды. Но я чувствовал какую-то вину перед ним и не мог ее осмыслить. Если бы я был моложе, я бросил бы литературу. Но этому мешал мой возраст. После всех метаморфоз я не решился перепределяться в четвертый раз.

Случилось другое. Время и общность влияний роднили меня с Маяковским. У нас имелись совпадения. Я их заметил. Я понимал, что если не сделать чего-то с собою, они в будущем участвую. От их пошлости его надо было уберечь. Не умея назвать этого, я решил отказаться от того, что к ним приводило. Я отказался от романтической манеры. Так получилась неромантическая поэтика «Поверх барьеров».

Но под романтической манерой, которую я отныне возбранял себе, крылось целое мировосприятие. Это было понимание жизни как жизни поэта. Оно перешло к нам от символистов, символистами же было усвоено от романтиков, главным образом немецких.

Это представленье владело Блоком лишь в течение некоторого периода. В той форме, в которой оно ему было свойственно, оно его удовлетворить не могло. Он должен был либо усилить его, либо оставить. Он с этим представленьем расстался. Усилили его Маяковский и Есенин.

В своей символике, то есть во всем, что есть образно соприкасающегося с орфизмом и христианством, в этом полагающем себя в мерила жизни и жизнью за это расплачивающемся поэте, романтическое непонимание покоряюще ярко и неоспоримо. В этом смысле нечто непреходящее воплощено жизнью Маяковского и никакими эпитетами не охватываемой судьбой Есенина, самоистребительно просящейся и уходящей в сказки.

Но вне легенды романтический этот план фальшив. Поэт, положенный в его основание, немыслим без непозтов, которые бы его оттеняли, потому что поэт этот не

живое, поглощенное нравственным познанием лицо, а зрительно-биографическая эмблема, требующая фона для наглядных очертаний. В отличие от пассионалий, нуждавшихся в небе, чтобы быть услышанными, эта драма нуждается во зле посредственности, чтобы быть увиденной, как всегда нуждается в филистерстве романтизм, с утратой мещанства лишаящийся половины своего содержания.

Зрелищное понимание биографии было свойственно моему времени. Я эту концепцию разделял со всеми. Я расставался с ней в той еще ее стадии, когда она была необязательно мягка у символистов, героизма не предполагала и кровью еще не пахла. И, во-первых, я освобождался от нее бессознательно, отказываясь от романтических приемов, которым она служила основанием. Во-вторых, я и сознательно избегал ее, как блеска, мне неподходящего, потому что, ограничив себя ремеслом, я боялся всякой поэтизации, которая поставила бы меня в ложное и несоответственное положение.

Когда же явилась «Сестра моя жизнь», в которой нашли выражение совсем не современные стороны поэзии, открывшиеся мне революционным летом, мне стало совершенно безразлично, как называется сила, давшая книгу, потому что она была безмерно больше меня и поэтических концепций, которые меня окружали.

12

В не убравшуюся месяцами столовую смотрели с Сивцева Вражка зимние сумерки, террор, крыши и деревья Приарбатья. Хозяин квартиры, бородатый газетный работник чрезвычайной рассеянности и добродушья, производил впечатленье холостяка, хотя имел семью в Оренбургской губернии. Когда выдавался досуг, он охапками сгребал со стола и сносил на кухню газеты всех направлений за целый месяц вместе с окаменелыми остатками завтраков, которые правильными отложениями из свиной кромки и хлебных горбушек скапливались между его утренними чтениями. Пока я не утратил совести, пламя под плитой по тридцатым числам получалось светлое, громкое и пахучее, как в святочных рассказах Диккенса о жареных гусях и конторщиках. При наступлении темноты постовые открывали вдохновенную стрельбу

из наганов. Они стреляли то пачками, то отдельными редкими вопрошаньями в ночь, полными жалкой безотзывной смертоносности, и так как им нельзя было попасть в такт и много гибло от шальных пуль, то в целях безопасности по переулкам вместо милиции хотелось расставить фортепьянные метрономы.

Иногда их трескотня переходила в одичалый вопль. И как часто тогда сразу не разобрать бывало, на улице ли это или в доме. А это минутами просветленья среди сплошного беспамятства звал к себе из кабинета его единственный, переносный со штепселем жилец.

Отсюда телефонным звонком приглашали меня в особняк в Трубниковском, на сбор всех, какие могли только оказаться тогда в Москве, поэтических сил. По этому же телефону, но гораздо раньше, до корниловского мятежа, спорил я с Маяковским.

Маяковский извещал, что поставил меня на свою афишу вместе с Большаковым и Липскеровым, но также и с вернейшими из верных, в том числе и с тем, кажется, что разбивал лбом вершковые доски. Я почти радовался случаю, когда впервые как с чужим говорил со своим любимцем и, приходя во все большее раздраженье, один за другим парировал его доводы в свое оправданье. Я удивлялся не столько его бесцеремонности, сколько проявленной при этом бедности воображенья, потому что инцидент, как говорил я, заключался не в его непрошеном распоряженьи моим именем, а в его досадном убежденьи, что мое двухлетнее отсутствие не изменило моей судьбы и занятий. Следовало вперед поинтересоваться, жив ли я еще и не бросил ли литературы для чего-нибудь лучшего. На это он резонно возражал, что после Урала я уже с ним виделся раз весною. Но удивительнейшим образом резон этот до меня не доходил. И я с ненужной настойчивостью требовал от него газетной поправки к афише, вещи по близости вечера неисполнимой и по моей тогдашней безвестности — аффективно бессмысленной.

Но хотя я тогда еще прятал «Сестру мою, жизнь» и скрывал, что со мной делалось, я не выносил, когда кругом принимали, будто у меня все идет по-прежнему. Кроме того, совсем глухо во мне, вероятно, жил именно тот весенний разговор, на который Маяковский так безуспеш-

но ссылаясь, и меня раздражала непоследовательность этого приглашения после всего тогда говорившегося.

13

Телефонную эту перепалку напомнил он мне спустя несколько месяцев в доме стихотворца-любителя А. Там были Бальмонт, Ходасевич, Балтрушайтис, Эренбург, Вера Инбер, Антокольский, Каменский, Бурлюк, Маяковский, Андрей Белый и Цветаева. Я не мог, разумеется, знать, в какого несравненного поэта разовьется она в будущем. Но не зная и тогдашних замечательных ее «Верст», я инстинктивно выделил ее из присутствовавших за ее бросающуюся в глаза простоту. В ней угадывалась родная мне готовность в любую минуту расстаться со всеми привычками и привилегиями, если бы что-нибудь высокое зажгло ее и привело в восхищенье. Мы обратили тогда друг к другу несколько открытых товарищеских слов. На вечере она была мне живым палладиумом против толпившихся в комнате людей двух движений, символистов и футуристов.

Началось чтение. Читали по старшинству, без сколько-нибудь чувствительного успеха. Когда очередь дошла до Маяковского, он поднялся и, обняв рукою край пустой полки, которою кончалась диванная спинка, принялся читать «Человека». Он барельефом, каким я всегда видел его на времени, высился среди сидевших и стоявших и, то подпирая рукой красивую голову, то упирая колено в диванный валик, читал вещь необыкновенной глубины и приподнятой вдохновенности.

Против него сидел с Маргаритою Сабашниковой Андрей Белый. Войну он провел в Швейцарии. На родину его вернула революция. Возможно, что Маяковского он видел и слышал впервые. Он слушал как замороженный, ничем не выдавая своего восторга, но тем громче говорило его лицо. Оно несло навстречу читавшему, удивляясь и благодаря. Части слушателей я не видел, в их числе Цветаевой и Эренбурга. Я наблюдал остальных. Большинство из рамок завидного самоуваженья не выходило. Все чувствовали себя именами, все — поэтами. Один Белый слушал, совершенно потеряв себя, далеко-далеко унесенный той радостью, которой ничего не жаль, потому что

на высотах, где она чувствует себя как дома, ничего, кроме жертв и вечной готовности к ним, не водится.

Случай сталкивал на моих глазах два гениальных оправдания двух последовательно исчерпавших себя литературных течений. В близости Белого, которую я переживал с горделивой радостью, я присутствие Маяковского ощущал с двойной силой. Его существо открывалось мне во всей свежести первой встречи. В тот вечер я это пережил в последний раз.

После этого прошло много лет. Прошел год, и, прочтя ему первому стихи из «Сестры», я услышал от него вдесятеро больше, чем рассчитывал когда-либо от кого-нибудь услышать. Прошел еще год. Он в тесном кругу прочитал «150 000 000». И впервые мне нечего было сказать ему. Прошло много лет, в течение которых мы встречались дома и за границей, пробовали дружить, пробовали совместно работать, и я все меньше и меньше его понимал. Об этом периоде расскажут другие, потому что в эти годы я столкнулся с границами моего понимания, по-видимому — непреодолимыми. Воспоминанья об этом времени вышли бы бледными и ничего бы к сказанному не прибавили. И потому я прямо перейду к тому, что мне еще осталось досказать.

14

Я расскажу о той из века в век повторяющейся странности, которую можно назвать последним годом поэта.

Вдруг кончают не поддававшиеся завершенью замыслы. Часто к их недовершенности ничего не прибавляют, кроме новой и только теперь допущенной уверенности, что они завершены. И она передается потомству.

Меняют привычки, носятся с новыми планами, не нахвалятся подъемом духа. И вдруг — конец, иногда насильственный, чаще естественный, но и тогда, по нежеланью защищаться, очень похожий на самоубийство. И тогда спохватываются и сопоставляют. Носились с планами, издавали «Современник», собирались ставить крестьянский журнал. Открывали выставку двадцатилетней работы, исхлопывали заграничный паспорт.

Но другие, как оказывается, в те же самые дни видели их угнетенными, жалующимися, плачущими. Люди целых десятилетий добровольного одиночества вдруг по-детски пугались его, как темной комнаты, и ловили руки случай-

ных посетителей, хватаясь за их присутствие, только бы не оставаться одним. Свидетели этих состояний отказывались верить своим ушам. Люди, получившие столько подтверждений от жизни, сколько она дает не всякому, рассуждали так, точно они никогда не начинали еще жить и не имели опыта и опоры в прошлом.

Но кто поймет и поверит, что Пушкину восемьсот тридцать шестого года внезапно дано узнать себя Пушкиным любого — Пушкиным девятьсот тридцать шестого года. Что настает время, когда вдруг в одно переорожденное, расширившееся сердце сливаются отклики, давно уже шедшие от других сердец в ответ на удары главного, которое еще живо, и бьется, и думает, и хочет жить. Что множившиеся все время перебои наконец так учащаются, что вдруг выравниваются и, совпав с содроганьями главного, пускаются жить одною, отныне равноударной с ним жизнью. Что это не иносказанье. Что это переживается. Что это какой-то возраст, порывисто кровный и реальный, хотя пока еще не названный. Что это какая-то нечеловеческая молодость, но с такой резкой радостью надрывающая непрерывность предыдущей жизни, что за неназванностью возраста и необходимостью сравнений она своей резкостью больше всего похожа на смерть. Что она похожа на смерть. Что она похожа на смерть, но совсем не смерть, отнюдь не смерть, и только бы, только бы люди не пожелали полного сходства.

И вместе с сердцем смещаются воспоминанья и произведения, произведенья и надежды, мир созданного и мир еще подлежащего созданию. Какова была его личная жизнь, спрашивают иногда. Сейчас вы просветитесь насчет его личной жизни. Огромная, предельного разноречья область стягивается, сосредоточивается, выравнивается и вдруг, вздрогнув одновременностью по всем частям своего сложенья, начинает существовать телесно. Она открывает глаза, глубоко вздыхает и сбрасывает с себя последние остатки позы, временно данной ей в подмогу.

И если вспомнить, что все это спит ночью и бодрствует днем, ходит на двух ногах и зовется человеком, естественно ждать соответствующих явлений и в его поведении.

Большой, реальный, реально существующий город.

В нем зима. В нем рано темнеет, деловой день проходит в нем при вечернем свете.

Давно, давно когда-то он был страшен. Его надлежало победить, надо было сломить его непризнание. С тех пор утекло много воды. Его признание вырвано, его покорность вошла в привычку. Требуется большое усилие памяти, чтобы вообразить, чем он мог вселять когда-то такое волнение. В нем мигают огоньки и, кашляя в платки, щелкают на счетах, его засыпает снегом.

Его тревожная громадность неслась бы мимо незамеченной, когда бы не эта новая, дикая впечатлительность. Что значит робость отрочества перед уязвимостью этого нового рожденья. И вновь, как в детстве, замечается все. Лампы, машинистки, дверные блоки и калоши, тучи, месяц и снег. Страшный мир.

Он топорщится спинками шуб и санок, он, как гривенник по полу, катится на ребре по рельсам и, закатясь вдаль, ласково валится с ребра в туман, где за ним нагибается стрелочница в тулупе. Он перекатывается, и мельчает, и кишит случайностями, в нем так легко напороться на легкий недостаток вниманья. Это неприятности намеренно воображаемые. Они сознательно раздуваются из ничего. Но и раздутые, они совершенно ничтожны в сравнении с обидами, по которым так торжественно шагало еще так недавно. Но в том-то и дело, что этого нельзя сравнивать, потому что это было в той, прежней жизни, разорвать которую было так радостно. О, если бы только эта радость была ровней и правдоподобней.

Но она невероятна и бесподобна, и, однако, так, как швыряет эта радость из крайности в крайность, ничто ни во что никогда еще в жизни не швыряло.

Как тут падают духом. Как опять повторяется весь Андерсен с его несчастным утенком. Каких только слонов не делают тут из мух.

Но, может быть, врет внутренний голос? Может быть, прав страшный мир?

«Просят не курить». «Просят дела излагать кратко». Разве это не истины?

«Этот? Повесится? Будьте покойны». — «Любить? Этот? Ха-ха-ха! Он любит только себя».

Большой, реальный, реально существующий город. В нем зима, в нем мороз. Визгливый, ивового плетенья двадцатиградусный воздух как на вбитых сваях стоит

поперек дороги. Все туманится, все закатывается и запропачивается в нем. Но разве бывает так грустно, когда так радостно? Так это не второе рождение? Так это смерть?

15

В отделах записей актов гражданского состояния приборов для измерения правдивости не ставят, искренности рентгеном не просвечивают. Для того чтобы запись имела силу, ничего, кроме крепости чужой регистрирующей руки, не требуется. И тогда ни в чем не сомневаются, ничего не обсуждают.

Он напишет предсмертную записку собственной рукой, завещательно представив свою драгоценность миру как очевидность, он свою искренность измерит и просветит быстрым, не поддающимся никакой переделке исполнением, и кругом пойдут обсуждать, сомневаться и сопоставлять.

Они сравнивают ее с предшественницами, а она сравнивает только с ним одним и со всем его предшествующим. Они строят предположения о его чувстве и не знают, что можно любить не только в днях, хотя бы и навеки, а хотя бы и не навеки, всем полным собранием прошедших дней.

Но одинаковой пошлостью стали давно слова: гений и красавица. А сколько в них общего.

Она с детства стеснена в движениях. Она хороша собой и рано это узнает. Единственный, с кем можно быть вполне собой, — это так называемый божий мир, потому что с другими нельзя сделать шагу, чтобы не огорчить или не огорчиться.

Она подростком выходит за ворота. Какие у ней умыслы? Она уже получает письма до востребования. Она держит в курсе своих тайн двух-трех подруг. Все это у нее уже есть, и допустим: она выходит на свиданье.

Она выходит за ворота. Ей хочется, чтобы ее заметил вечер, чтобы у воздуха сжалось сердце за нее, чтобы звездам было что про нее подхватить. Ей хочется известности, которой пользуются деревья и заборы и все вещи на земле, когда они не в голове, а на воздухе. Но она расхохоталась бы в ответ, если бы ей приписали такие желанья. Ни о чем таком она не думает. На то есть в мире у нее далекий брат, человек огромного обыкновенья, чтобы

знать ее лучше ее самой и быть за нее в последнем ответе. Она здраво любит здоровую природу и не сознает, что расчет на взаимность вселенной никогда ее не покидает.

Весна, весенний вечер, старушки на лавочках, низкие заборы, волосатые ветлы. Винно-зеленое, слабого настоя, некрепкое, бледное небо, пыль, родина, сухие, щепящиеся голоса. Сухие, как щепки, звуки и, вся в их занозах, — гладкая, горячая тишина.

Навстречу—человек по дороге, тот самый, которого естественно было встретить. На радостях она твердит, что вышла к нему одному. Отчасти она права. Кто несколько не пыль, не родина, не тихий весенний вечер? Она забывает, зачем вышла, но про то помнят ее ноги. Он и она идут дальше. Они идут вдвоем, и чем дальше, тем больше народу попадаетеся им навстречу. И так как она всей душой любит спутника, то ноги немало огорчают ее. Но они несут ее дальше, он и она едва поспевают друг за другом, но неожиданно дорога выводит на некоторую широту, где будто бы малолюднее и можно бы передохнуть и оглянуться, но часто в это же самое время сюда выходит своей дорогой ее далекий брат, и они встречаются, и что бы тут ни произошло, все равно, все равно какое-то совершеннейшее «я — это ты» связывает их всеми мыслимыми на свете связями и гордо, молодо и утомленно набивает медалью профиль на профиль.

16

Начало апреля застало Москву в белом остолбененьи вернувшейся зимы. Седьмого стало вторично таять, и четырнадцатого, когда застрелился Маяковский, к новизне весеннего положенья еще не все привыкли.

Узнав о несчастьи, я вызвал на место происшествя Ольгу Силлову. Что-то подсказало мне, что это потрясенье даст выход ее собственному горю.

Между одиннадцатью и двенадцатью все еще разбегались волнистые круги, порожденные выстрелом. Весть качала телефоны, покрывая лица бледностью и устремляя к Лубянскому проезду, двором в дом, где уже по всей лестнице мостились, плакали и жались люди из города и жильцы дома, ринутые и разбрызганные по стенам плющильною силой событья. Ко мне подошли Я. Черняк и Ромадин, первыми известившие меня о несчастьи. С ними

была Женя. При виде ее у меня конвульсивно заходили щеки. Она, плача, сказала мне, чтобы я бежал наверх, но в это время сверху на носилках протащили тело, чем-то накрытое с головой. Все бросились вниз и спрудились у выхода, так что когда мы выбрались вон, карета скорой помощи уже выезжала за ворота. Мы потянулись за ней в Гендриков переулок.

За воротами своим чередом шла жизнь, безучастная, как ее напрасно называют. Участье асфальтового двора, вечного участника таких драм, осталось позади.

По резиновой грязи бродил вешний слабоногий воздух и точно учился ходить. Петухи и дети заявляли о себе во всеуслышанье. Ранней весной их голоса странно доходят, несмотря на городскую деловую трескотню.

Трамвай медленно взбирался на Швивую горку. Там есть место, где сперва правый, а потом левый тротуар так близко подбираются под окна вагона, что, хватаясь за ремень, невольным движеньем нагибаешься над Москвой, как к поскользнувшейся старухе, потому что она вдруг опускается на четвереньки, скучно обирает с себя часовщиков и сапожников, подымает и переставляет какие-то крыши и колокольни и вдруг, встав и отряхнув подол, гонит трамвай по ровной и ничем не замечательной улице.

На этот раз ее движенья были столь явным отрывком из застрелившегося, то есть так сильно напоминали что-то важное из его существа, что я весь задрожал и знаменитый телефонный вызов из «Облака» сам собой прогрохотал во мне, словно громко произнесенный кем-то рядом. Я стоял в проходе возле Силловой и наклонился к ней, чтобы напомнить восьмистишье, но

И чувствую, «я» для меня малó... —

складывали губы, как пальцы в варежках, проговорить же вслух я от волнения не мог ни слова.

В конце Гендрикова у ворот стояли две пустые машины. Их окружала кучка любопытных.

В передней и столовой стояли и сидели в шапках и без шапок. Он лежал дальше, в своем кабинете. Дверь из передней в Лилину комнату была открыта, и у порога, прижав голову к притолоке, плакал Асеев. В глубине у окна, втянув голову в плечи, трясся мелкой дрожью беззвучно рыдавший Кирсанов.

Сырой туман оплакивания прерывался и тут озабоченными разговорами вполголоса, как по окончании панихид, когда после густой, как варенье, службы первые слова, сказанные шепотом, так сухи, что кажутся произнесенными из-под полу и пахнут мышами. В один из таких перерывов в комнату осторожно прошел дворник со стамеской за сапожным голенищем и, вынув зимнюю раму, медленно и бесшумно открыл окно. На дворе раздевшись было еще вдрызг дрожко, и воробьи и ребятишки взбадривали себя беспричинным криком.

Выйдя на цыпочках от покойника, кто-то тихо спросил, послана ли телеграмма Лиле. Л. А. Г. ответил, что послали. Женя отвела меня в сторону, обратив внимание на мужество, с каким Л. А. нес страшную тяжесть стряпшегося. Она заплакала. Я крепко сжал ее руку.

В окно лилось кажущееся безучастье безмерного мира. Вдоль по небу, точно между землей и морем, стояли серые деревья и стерегли границу. Глядя на сучья в горячающихся почках, я постарался представить себе далеко-далеко за ними тот маловероятный Лондон, куда отошла телеграмма. Там вскоре должны были вскрикнуть, простереть сюда руки и упасть без памяти. Мне перехватило горло. Я решил опять перейти в его комнату, чтобы на этот раз вырваться в полную досталь.

Он лежал на боку, лицом к стене, хмурый, рослый, под простыней до подбородка, с полуоткрытым, как у спящего, ртом. Горделиво ото всех отвернувшись, он даже лежа, даже и в этом сне упорно куда-то порывался и куда-то уходил. Лицо возвращало к временам, когда он сам назвал себя красивым, двадцатидвухлетним, потому что смерть закостенила мимику, почти никогда не попадающуюся ей в лапы. Это было выражение, с которым начинают жизнь, а не которым ее кончают. Он дулся и негодовал.

Но вот в сенях произошло движение. Особняком от матери и старшей сестры, уже неслышно горевавших среди собравшихся, на квартиру явилась младшая сестра покойного Ольга Владимировна. Она явилась требовательно и шумно. Перед ней в помещение вплыл ее голос. Подымаясь одна по лестнице, она с кем-то громко разговаривала, явно адресуясь к брату. Затем показалась она сама и, пройдя, как по мусору, мимо всех до братниной двери, всплеснула руками и остановилась. «Володя!» — крикнула она на весь дом. Прошло мгновение. «Молчит! —

закричала она того пуще. — Молчит. Не отвечает. Володя. Володя!! Какой ужас!»

Она стала падать. Ее подхватили и бросились приводить в чувство. Едва придя в себя, она жадно двинулась к телу и, сев в ноги, торопливо возобновила свой неутоленный диалог. Я разреvelся, как мне давно хотелось.

Так не могло плакаться на месте происшествия, где огнестрельную свежесть факта быстро вытеснил стадный дух драмы. Там асфальтовый двор, как селитрой, вонял обожествленным неизбежности, то есть тем фальшивым городским фатализмом, который зиждется на обезьяньей подражательности и представляет жизнь цепью послушно отпечатляемых сенсаций. Там тоже рыдали, но оттого, что потрясенная глотка с животным медиумизмом воспроизводила судорогу жилых корпусов, пожарных лестниц, револьверной коробки и всего того, от чего тошнит отчаяньем и рвет убийством.

Сестра первую плакала по нем своей волей и выбором, как плачут по великом, и под ее слова плакалось ненасытимо широко, как под рев органа.

Она же не унималась. «Баню им! — негодовал собственный голос Маяковского, странно приспособленный для сестрина контральто. — Чтобы посмешнее. Хохотали. Вызывали. — А с ним вот что делалось. — Что же ты к нам не пришел, Володя?» — навзрыд протянула она, но, тотчас овладев собой, порывисто пересела к нему ближе. «Помнишь, помнишь, Володичка?» — почти как живому вдруг напомнила она и стала декламировать:

И чувствую, «я» для меня малó,
Кто-то из меня вырывается упрямо.
Алло!
Кто говорит?! Мама?
Мама! Ваш сын прекрасно болен.
Мама! У него пожар сердца.
Скажите сестрам, Люде и Оле,
Ему уж некуда деться.

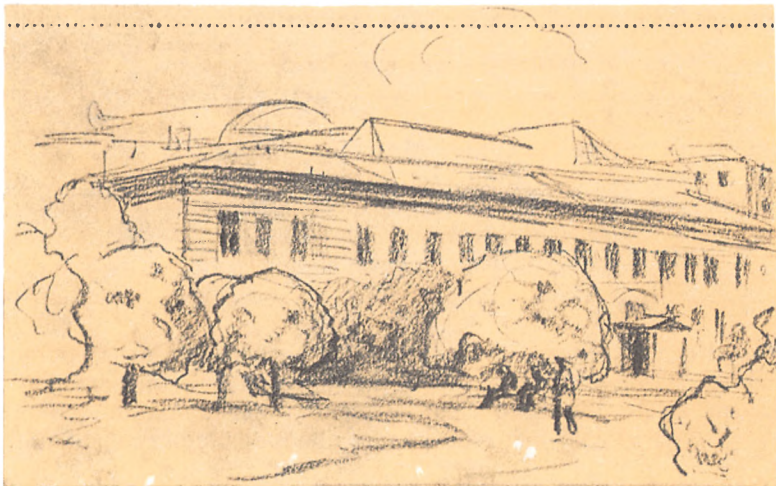
Когда я пришел туда вечером, он лежал уже в гробу. Лица, наполнявшие комнату днем, успели смениться другими. Было довольно тихо. Уже почти не плакали.

Вдруг внизу, под окном, мне вообразилась его жизнь,

теперь уже начисто прошлая. Она пошла вбок от окна в виде какой-то тихой, обсаженной деревьями улицы, вроде Поварской. И первым на ней у самой стены стало наше государство, наше ломящееся в века и навсегда принятое в них, небывалое, невозможное государство. Оно стояло внизу, его можно было кликнуть и взять за руку. В своей осязательной необычности оно чем-то напоминало покойного. Связь между обоими была так разительна, что они могли показаться близнецами.

И тогда я с той же необязательностью подумал, что этот человек был, собственно, этому гражданству единственным гражданином. Остальные боролись, жертвовали жизнью и создавали или же терпели и недоумевали, но все равно были туземцами истекшей эпохи и, несмотря на разницу, родными по ней земляками. И только у этого новизна времен была климатически в крови. Весь он был странен странностями эпохи, наполовину еще неосуществленными. Я стал вспоминать черты его характера, его независимость, во многом совершенно особенную. Все они объяснялись привычкой к состояниям, хотя и подразумеваемым нашим временем, но еще не вошедшим в свою злободневную силу. Он с детства был избалован будущим, которое далось ему довольно рано и, видимо, без большого труда.

1930





НАЧАЛО ПРОЗЫ 1936 ГОДА

1. УЕЗД В ТЫЛУ

Помню вечер, он как сейчас предо мною. Это было на мельнице тестя. Днем я ездил по его делам верхом в город.

Я выехал рано. Тоня с Шурой еще спали, когда я на цыпочках выбрался от них на свет кончавшейся ночи. Кругом по колена в траве и комарином плаче стояли березы, всматриваясь куда-то в одну точку, откуда близилась осень. Я шел в ту же сторону.

Там за оврагом был двор с домом, где мы жили раньше и откуда незадолго перед тем перебрались в лесную сторожку, чтобы освободить место для дачницы. Ее

ожидали со дня на день. Среди дел, предстоявших мне в городе, должен я был повидать и ее.

На мне были новые, неразношенные сапоги. Когда я нагнулся, чтобы пересунуть пятку в правом по подбору, в высоте надо мной прошумело что-то тяжелое. Я поднял голову. Две белки пулями лупили друг за дружкой сквозь листву. Там и сям оживали деревья, враскачку перебрасывая их с верхушки на верхушку.

Хотя преследование это прерывалось частыми перелетами по воздуху, но с такой гладкостью, что оставляло впечатленье какой-то беготни по ровному предрассветному небу. А за оврагом гремел ведром, отпирал ворота конюшни и седлал Сороку работник Демид.

Последний раз я был в городе в середине июля. Прошло три недели, и за это время произошли новые перемены к худшему.

По правде сказать, мне трудно было о них судить. Свою безумную покупку Александр Александрович совершил в самом начале войны. В первый наш наезд из Москвы на мельницу, как здесь по старой памяти звали его лесное приобретение, уральское лицо Юрятина уже было заслонено беженцами, австрийскими военнопленными и множеством военных и штатских из обеих столиц, заброшенных сюда все усложнявшимися нуждами военного времени. Он сам уже ничего не представлял собою и только отражал как в зеркале изменения, происходившие в стране и на фронте.

Волны эвакуации докатывались сюда и раньше. Но когда с железнодорожного переезда за Скобянниками я увидел горы оборудования из Прибалтики, сваленные вдоль путей товарной станции под открытым небом, мне подумалось, что пройдут годы, прежде чем кто-нибудь вспомнит об этих Этнах, Ревельских трубопрокатных и Перунах, и что не мы, а именно эти груды ржавчины будут когда-нибудь свидетельствовать, чем все это кончится.

Несмотря на ранний час, присутствие у воинского начальника было в полном разгаре. На дворе старший из толпы татар и вотяков объяснял, что деревня плетет корзины под серноокислотные бутылки для Объединения Малояшвинских и Нижневарынских, работающих на оборону. В таких случаях крестьян по простым заявкам заводов оставляли на месте целыми волостями. Ошибкой этой партии было то, что они сами проявили жизнь и ко-

му-то показались. Их дело затеряли и теперь, тяготясь скучными поисками, гнали на фронт. Хотя в теплом помещении канцелярии признавали их доводы, на дворе их никто не слушал. Мои бумаги оказались в исправности, и статья о килах и грыжах, по которой гулял Демид, также пока еще не оспаривалась.

За угол от воинского, на Сенной, против собора, был заезжий двор, куда я поставил Сороку, стеснявшую меня в городе за короткостью его расстояний. Был Успенский пост. Больше года не продавали вина в казенных лавках. Но своей тишиной и мрачностью двор выделялся и среди всеобщего потрезвенья. Под широкой его крышей тайно промышляли кумышкой. Если не считать хозяина, здесь было теперь бабье царство. Лошадь приняла одна из его снох.

— Продаваться не надумали? — спросил хозяин откуда-то сверху, высунувшись из окна и подперши голову рукою.

Я не сразу сообразил, к чему относится его вопрос.

— Нет, не собираемся, — ответил я. Очевидно, слухи о наших лесных владениях дошли до города и стали притчей во языцех.

Улица ослепила меня после дворовых потемок. Очувтившись на своих ногах после седла, я ощутил наступленье утра как бы вторично. Поздней обычного тащились на рынок возы с капустой и морковью. Дальше Дворянской они не доезжали. Их уже останавливали на каждом шагу как какую-то невидаль и раскупали дорогой. Стоя на телегах, бабы-огородницы, как со всенародного возвышения, клялись угодить каждому, но это не остепеняло толпы, не по-провинциальному шумной и сварливой, которая вокруг них вырастала.

По крашенной под мрамор лестнице в городскую контору Усть-крымженских заводов я нагнал седобородого юртинского горожанина в сибирке сборами, придававшими его талии сзади что-то бабье. Он медленно взбирался передо мной и, войдя в контору, высморкался в красный платок, надел серебряные очки и принялся разбирать объявленья, испещрявшие ближайшую от входа левую стену. Кроме издавна ее покрывавших печатных реклам и проспектов, одноцветных и в краску, на ней белело несколько столбцов бумажек, исписанных на машинке и от руки, которые и привлекли его внимание.

Здесь были публикации о покупке лесов на корню и в срубе, объявления о торгах для сдачи подрядов на всякого рода перевозки, извещение рабочих и служащих о единовременной прибавке на дороговизну в размере трехмесячного заработка, вызовы ратников ополчения второго разряда в стол личного состава. Висело тут и постановление об отпуске рабочим и служащим продовольственных товаров из заводских лавок в твердой месячной норме, по ценам, близким к довоенным.

— «Муки ржаной сорок пять фунтов, цена за пуд один рубль тридцать пять копеек, масла постного два фунта...» — читал по складам юрятинский мещанин.

Я застал его потом перед одной из конторок, за справками, согласилось ли бы правление рассчитываться по объявленным подрядам не кредитками, а карточными системами — как именно он сказал — вывешенного образца. Долго не могли взять в толк, что ему надо, а когда поняли, то сказали, что тут ему не лабаз. Я не слышал, чем кончилось недоразуменье. Меня отвлек Вяхрищев.

Он торчал в главном зале счетного отдела, разгороженного надвое решеткою со стойками, и, заставляя сторониться молодых людей в развевающихся пиджаках, кидавшихся с ворохами бумаг из дверей кабинета правления, рассказывал всему помещению анекдоты и давился горячим чаем, который стакан за стаканом, ни одного не допивая, брал с подноса у стряпухи, в несколько приемов разносившей его по конторе.

Это был военный из Петербурга, в чине капитана, бритый и саркастический, состоявший приемщиком Главного артиллерийского управления на заводах.

Заводы находились в двадцати пяти верстах к югу от Юрятина, то есть в противоположную от нас сторону. Это было далекое путешествие, и его приходилось совершать на лошадях. Мы ездили иногда туда в гости, когда за нами посылали, однако это не имеет никакого отношения к Вяхрищеву. Надо рассказать, чем поддерживалось его постоянное остроумие.

Роль его была не из легких. Он был официальным лицом на заводах и жил там на положении гостя в доме для приезжающих, называвшемся приезжею. Кругом были специалисты, выдвинутые на первое место новыми военными требованиями, перед их авторитетом стушевывалось значение властей и владельцев. В большинстве это были

люди университетские, по-разному, но все до одного прошедшие школу девятьсот пятого года. Для примера назову главного директора Льва Николаевича Голоменникова, имя которого, ныне покойного, известно по нескольким институтам, которым оно присвоено.

В студенческие годы он принадлежал к той группе российской социал-демократии, которой суждено было сказать миру так много нового. Однако было бы анахронизмом отнести это замечание в нынешнем его значении к тем зимним вечеринкам, на которых принимал или появлялся этот высоченный, рано поседевший и слегка насмешливый человек.

Приезжая помещалась на выезде, близ нефтехранилища, вынесенного с заводской территории на пустырь, к реке, и Вяхищев уверял, что там-то и содержится лабораторный спирт, раствор которого так оживлял эти вечерние собрания. Во всех увеселениях участвовал, разумеется, и он, и когда разговоры при нем немного умеряли не из страха перед его присутствием, а из опасения, как бы его чем-нибудь не обидеть, он, естественно, оскорблялся и, таким образом, нехотя сам способствовал их революционности.

Эту несуразность он отлично сознавал и при случае выражал достаточно ядовито. «Русский военный атташе на Крымже», — представлялся он, давая понять, что заводы считает самостоятельной державой. Или пускался в перечисление союзников и, дойдя до Румынии (это было позднее), продолжал: «хлорный, хромпиковый Лев Николаевич Голоменников». И все хохотали.

При виде меня он притворился, будто от неожиданности глотнул кипятку больше нужного, в испуге выкатил глаза, перекрестился и, поставив блюдце со стаканом на край загородки, стал отмахиваться, как от призрака.

— Значит, вы живы? — кончив представление, затараторил он. — Где же вы пропадали? Что слышно в ваших лесах? Сепаратного еще не заключили?

— Тут сверток для господина Громеко. Не захватите? — спросил вышедший из-за решетки конторщик.

— Как же, конечно. Я за ним. А не тяжело? На себе утащу?

— Для ваших заплечных ремней, пожалуй, тяжело. Кулек ощутительный.

— Тогда я часа через два, я сейчас без лошади.

Простите,— обратился я к Вяхрищеву, — меня отвлекли. Я к вашим услугам.

Он стал таскать меня из комнаты в комнату, засыпая невозможным вздором и убеждая тотчас же ехать с ним на Крымжу на какой-то тамошний семейный праздник. По счастью, нам навстречу попался доктор, член юрятинской врачебной управы, выходивший в это время из директорской.

— Вас ли я вижу, дорогой доктор? — воскликнул Вяхрищев.

Фарс начался. Воспользовавшись освобождением, я поспешил в наше отделение Союза земств и городов, ютившееся в одной из квартир того же дома, со стороны Ермаковского сада.

Хотя Союз больше всего был занят задачами снабжения, в которых Александр Александрович не смыслил ни бельмеса, отделение, собственно, было местом его службы. Он состоял при разделе резервов вольным консультантом по молочному скоту и его селекции — специальность, по которой и окончил в свое время Женевский политехникум, и даже с каким-то отличьем. Сам он наведывался в Юртин не часто и для подачи консультации пользовался представлявшимися случаями или посылал в отделение с записками Демида. Делать ему в отделение было решительно нечего, и он лишь изредка напоминал о себе, чтобы не вышло скандала, то одному сослуживцу, то другому, видоизменяя поводы для живости и правдоподобья.

Сейчас я под самым праздным предлогом должен был повидать одного из основателей отделения, редактора прогрессивной газеты края, почему-то охотнее принимавшего в земствах и городах, нежели у себя в редакции. Однако оказалось, что он накануне выехал в Москву. Я отправился к Истоминой.

Об этой женщине что-то рассказывали. Она была родом из здешних мест, кажется, из Перми, и с какой-то сложной и несчастною судьбою. Ее отец, адвокат с нерусскою фамилиею Люверс, разорился при падении каких-то акций и застрелился, когда она была еще ребенком. Другие приписывали это какой-то неизлечимой болезни. Дети с матерью переехали в Москву. Потом, по выходе замуж, дочь каким-то образом снова очутилась на родине. Ходившие о ней рассказы относились к позднему времени и займут нас не скоро.

Хотя преподаватели казенных учебных заведений мобилизации не подлежали, ее муж, физик и математик юртинской гимназии Владимир Васильевич Истомин, пошел на войну добровольцем. Уже около двух лет о нем не было ни слуху ни духу. Его считали убитым, и жена его то вдруг уверялась в своем неустановленном вдовстве, то в нем сомневалась.

Я взбежал к ней по черной лестнице нового здания гимназии с несколько удлиненными маршами очень тесного и потому казавшегося кривым лестничного колодца. Лестница что-то напоминала.

Чувство той же знакомости охватило меня на пороге учительской квартиры. Дверь в нее была открыта. В передней стояло несколько мест дорожной клади, ожидавшейся обшивки. Из нее виднелся край темной гостиной с пустым и сдвинутым с места книжным шкапом и зеркалом, снятым с подзеркальника. В окнах, вероятно выходящих на север, горела зелень гимназического сада, освещенного сзади. Не по сезону пахло нафталином.

На полу в гостиной хорошенькая девочка лет шести укладывала и стягивала мотком грязной марли свое кукольное хозяйство. Я кашлянул. Она подняла голову. Из дальней комнаты в гостиную выглянула Истомина с охапкой пестрых платков, низ которых она волочила по полу, а верх придерживала подбородком. Она была вызывающе хороша, почти до оскорбительности. Связанность движений очень шла к ней и была, может быть, рассчитанна.

— Вот, наконец решилась,— сказала она, не выпуская из рук охапки. — Долго же я вас водила за нос.

Среди гостиной стояла раскрытая дорожная корзина. Она сбросила в нее платки, отряхнулась, огладилась и подошла ко мне. Мы поздоровались.

— Дача с обстановкой, — напомнил я ей. — На что вам туда мебель? — Основательность ее сборов меня смутила.

— А ведь и в самом деле! — заволновалась она. — Что ж теперь делать? К трем сговорены подводы. Дуня, сколько у вас там на кухонных? Ах, ведь я сама послала в дворницкую. Катя, не мешайся тут, ради Христа.

— Двенадцать, — сказал я. — Надо отказать лишним ломовикам, а одного оставить. У вас еще много времени.

— Ах, да разве в этом дело!

Это было сказано почти с отчаяньем. Я не мог понять,

к чему оно относится. Вдруг я стал догадываться. Вероятно, ей отказывают от казенной квартиры и она надеется найти у нас постоянное пристанище. Этим объясняется ее поздний переезд. Надо предупредить ее, что зимы мы проводим в Москве, а дом заколачиваем.

В это время с лестницы донесся гул голосов. Вскоре им наполнилась и прихожая. В дверях гостиной показалась девушка с несколькими связками свежей рогожи и дворник с двумя ящиками, которые он со стуком опустил на пол. Опасаясь новой проволоочки, я стал прощаться.

— Так что же, — сказал я, — в добрый час, Евгения Викентьевна. До скорого свиданья. Дороги просохли, ехать сейчас одно удовольствие.

Выйдя на улицу, я вспомнил, что с постоянного мне не прямо домой, а еще в контору за тучком, отложенным для Александра Александровича. Однако до Сенной я решил зайти пообедать на вокзал, буфет которого славился дешевизной и добротностью своей кухни.

Дорогой мысли мои вернулись к Истоминой.

До этого разговора я видел ее два или три раза, и во всякую встречу меня преследовало ощущение, будто сверх того я уже ее когда-то видел. Долгое время я считал это ощущение обманчивым и не искал ему объяснения. Сама Истомина ему способствовала. Она должна была что-нибудь напоминать каждому, потому что некоторой неопределенностью манер сама часто походила на воспоминанье.

На вокзале было сущее столпотворенье. Я сразу понял, что уйду несолоно хлебавши. Растекаясь рукавами от билетных касс, толпа уже без промежутков заливала все его залы. Публику в буфете составляли по преимуществу военные. Половине не хватало места за столами, и они толпились вокруг обедающих, прогуливались в проходах, курили, несмотря на развешанные запрещения, и сидели на подоконниках. Из-за конца главного стола все порывался вскочить какой-то военный. Товарищи его удерживали. За общим шумом ничего не было слышно, но судя по движениям оправдывавшегося официанта, на него кричали. Направляясь туда, зал пересекал содержатель буфета, толстяк, раздутый, как казалось, до своих неестественных размеров посудными гулами помещенья и близостью дебаркадера.

На дебаркадер было сунулся я, чтобы, минуя давку,

пройти в город путями, но швейцар меня не пустил. Сквозь стекла выхода бросалась в глаза его необычная пустотность. Стоявшие на нем артельщики смотрели в сторону открытой, в глубь путей отнесенной платформы, служившей продолжением крытых перронов. Туда прошел начальник станции с двумя жандармами. Говорили, что при отправке маршевой роты там недавно произошел какой-то шум, рода которого никто толком не знал.

Обо всем этом вспомнил я в конце обратного пути лесной дорогой через рыньвенскую казенную дачу, где Сорока, точно заразаясь моей усталостью, сама, встряхивая головой и поводя боками, пошла шагом.

В этом месте с лесом делалось то же самое, что со мной и с лошадью. Малоезжая дорога пролегла сечью. Она поросла травой. Казалось, ее проложил не человек, но сам лес, подавленный своей необъятностью, расступился здесь по своей воле, чтобы пораздумать на досуге. Просека казалась его душой.

В ее конце мысом в жердяной изгороди вклинивался белый прямоугольник. Это были ясырские яровые. Немного дальше показывалась бедная деревенька. Обрамлявший ее с горизонта лес смыкался дальше новой стеною. Ясыри с их овсами оставались позади ничтожным островком. Вероятно, как и в соседнем Пятибратском, часть земли крестьяне арендовали у уделов.

Я ехал шагом и, хлопая комаров на руках у себя, на лбу и шее, думал о своих, о жене и сыне, к которым возвращался.

Я думал о них, ловя себя на мысли, что вот я приеду и опять никогда им не узнать, как я думал о них этою дорогой, и будет казаться, будто я люблю их недостаточно, будто так, как хотелось бы им, я люблю что-то другое и отдаленное, что-то подобное одиночеству и шаганью лошади, что-то подобное книге. Но растолковать им, что это-то все и есть они, не будет никаких сил, и их недовольство будет меня мучить.

Поразительно, сколько было на их стороне правды. Все это были знамения времени. Их улавливало бесхитрое чутье близких. Нечто более неведомое и отдаленное, чем все эти пристрастья, уже стояло за лесом и вихрем должно было пронестись по человеческим судьбам. И они угадывали веянье грядущих разлук и перемен.

Что-то странное было в той осени. Будто перед тем, как выпить море и закусить небом, природа вздумала перевести дыхание и его вдруг захватило. Не так куковала кукушка, не так белел и плющился спелый послеобеденный воздух, не так рос и розовел иван-чай. И не так возвращался человек к себе в семью, дорожке которой он ничего не знал.

Через некоторое время лес поредел. За неглубоким логом, межевою его границей, куда спускалась и откуда подымалась затем дорога, показался пригорок с несколькими строеньями.

Роща, в которой стояла усадьба, заменяла ей ограду. Она была до того запущена, что могла позавидовать зимним кордонам лесников, попадавшим в разных концах соседнего леса. Изю всех глупостей, совершенных Александром Александровичем, это была самая непростительная. Какой-то школьный товарищ, занятый в здешней промышленности, присмотрел для него этот ведьмовский уголок. Александр Александрович не глядя дал письменное согласие на сделку вместо приобретения луговых земель где-нибудь в Средней России, где ему с большей пользойгодились бы его животноводческие познания. Но о пользе меньше всего думал этот образованный и тогда еще не старый человек. Он тоже посвящал свои мысли далекому и отвлеченному. Недаром получил я воспитание в его доме наравне с Тоней, его дочкой. Как бы то ни было, становилось не до шуток. Сокровище это надо было как можно скорее продать на дрова, благо был на них спрос. Фабрики переводили с минерального топлива на древесное, в городе больше всего говорили об этом.

При виде флигеля под малиновой крышей Сорока пошла вскачь. С горы я увидел Тоню и Шуру, со смехом бежавших ко мне со стороны оврага. Конюшня так и стояла с утра настезь. Только ступил я на землю, как лошадь, вырвав поводья, ринулась в нее, к корму и отдыху, слишком дразнившим ее глаз и обонянье. Шурка запрыгал и стал хлопать в ладоши, точно это было сделано нарочно для его забавы.

— Пойдем ужинать, — сказала Тоня. — Что это, ты хромаешь?

— Никак на ногу не ступлю, отсидел. Ничего, разомнись, пройдет.

Из-за угла сарая вышел Демид и, скучливейше поклонившись, пошел расседлывать и убирать Сороку.

— Да, там в ремнях за седлом папе подношение. Надо отвязать и отнести. Где он, кстати?

— Папа уехал до вторника. Днем были с заводов. Сегодня девятое, там какая-то Марья именинница. А что это такое?

— Продовольственный паек. Если он на Крымже, то тем лучше. Второй получит.

— Ты, кажется, сердисься?

— Суди сама, это начинает входить в систему. Мы не бездельники, не юроды, а папа твой так и попросту отличный человек. Между тем все детство я на хлебах у вас, папа — у своей родни, та — еще на чьих-то, и так далее, и так до бесконечности. Мы могли бы жить не дармоедствуя. Сколько раз предлагал я подсчитать наши знания и способности...

— Ну и что же?

— В том-то и дело, что теперь уже поздно. Это распространилось и стало всеобщим злом. В городе спят и видят, как бы попасть в приписанники к какому-нибудь горшку посытнее. Это возвращение посессионных времен, знаешь ли ты, что это такое? Каждый, кого ни возьмешь, к чему-нибудь прикреплен и даже не знает, из каких рук в чьи завещан и передоверен. Источник самостоятельного существования утрачен. Согласись, радости в этом мало.

— Ах, как все это старо и надоело! Смотри, что ты делаешь. Это действие твоих монологов.

Мальчик плакал.

После ужина и примирения я ушел на кручу, обрывавшуюся в задней части рощи над рекою. Странно, как я до сих пор ничего не сказал об этом демоне места, упоминаемом в песнях и занесенном на карты любого масштаба.

Это была Рыньва в своих верховьях. Она выходила с севера вся разом как бы в сознание своего речного имени и тут же, на выходе, в полуверсте вверх от нашего обрыва, задерживалась в нерешительности, как бы проходя на глаз места, подлежащие ее занятию. Каждое ее колебание разливалось излучиной. Ее созерцание создавало заводи. Самая широкая была под нами. Здесь ее легко было принять за лесное озеро. На том берегу был другой уезд.

Я лег на траву. Я давно уже лежал, растянувшись в ней, но вместо того, чтобы смотреть на реку, шевелил без смысла носами тесных сапог, разглядывая их с высоты подложенного локтя. Чтобы увидеть реку, глаза надо было чуть-чуть приподнять. Я все время собирался это сделать и все откладывал.

Все шло не по-моему, но и не наперекор мне и, следовательно, ни по-какому. Пожеланиям моим не хватало настойчивости. Уступчивость моя была не с добра. Страшно было подумать, от чего только не был я готов отказаться. Без меня родным было бы лучше, я портил им жизнь.

Постепенно мною завладел круг мыслей, привычных в те годы всем людям на свете и разнообразившихся лишь их долею и личным складом да еще отличьями поры, в которую они приходили: тревожных в четырнадцатом году, еще более смутных в пятнадцатом и совершенно беспросветных в том шестнадцатом, осенью которого это происходило.

Мне снова подумалось, что было бы, может быть, лучше, если бы, несмотря на повторные браковки, я все же понюхал военного пороху. Я знал, что сожаленьям этим грош цена, добро бы я что-нибудь для этого делал.

Но прежде я жалел об этом из любви к жизни. Я жалел, что в ней останется пробел, если в памятный для отечества час я не разделю военных подвигов своих ровесников. Теперь я сожалел об этом из отвращения. Мне было жалко, что неучастие в войне сохраняет мне жизнь, настолько уже на себя не похожую, что с ней хотелось расстаться раньше, чем она сама тебя покинет. А расстаться с нею всего достойнее и с наибольшей пользой можно было на фронте.

Тем временем наш берег покрылся тенью. У противоположного вода лежала куском треснувшего зеркала. Он повторялся в ней на лаках зловещей яркости, в духе этой недоброй приметы. Берег был низкий. Отраженья засасывало под травяную бровку луга. Они стягивались и уменьшались.

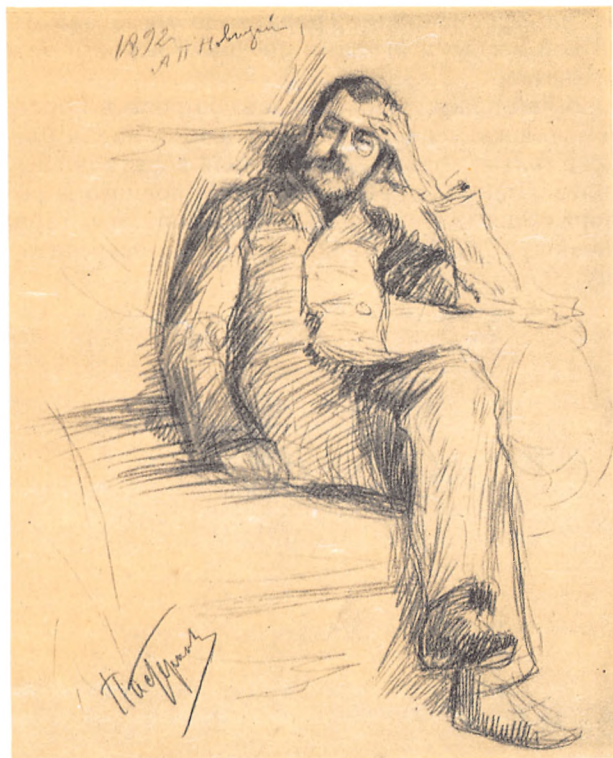
Скоро солнце закатилось. Оно село за моей спиной. Река запыхалась, поросла щетиной, засалилась. Вдруг ее бородавчатая гладь задымилась в нескольких местах сразу, точно ее подожгли сверху и снизу.

В Пятибратском чуть внятно, но с видимой причиной залаяли собаки. Их лай подхватили на ближнем кордоне

громко, но без причины. Трава подо мной заметно сырела. В ней лесными ягодами бредовой ясности зажглись первые звезды.

Скоро лай вдали возобновился, но роли в пространстве переменились: теперь с явным поводом лаяли ближние, а дальние только подвывали. С лесной дороги послышался стук колес. Донеслись неровные звуки ровного дорожного разговора. Разговаривающих подбрасывало в тарантасе. Поднявшись с мокрой травы, я пошел встречать нашу дачницу.





2. ПЕРЕД РАЗЛУКОЙ

Не успела переехать Истомина, как промелькнула осень, и мы стали собираться в Москву. А тем временем, как в каждом из нас пробуждался столичный житель, сама природа городом обступила нас отовсюду.

Темным утром конца сентября Тоня попросила меня вывести Шуру на прогулку. Ей самой нездоровилось. Погода показалась мне неподходящей. Не выходила и Катя, каждое утро игравшая с Шурой на дворе. Однако, настаивая на своем, Тоня уже кутала его и одевала. Взяв его за руку, я вышел с ним в лес.

Тьма и сырость тотчас огласились его разглагольствованиями. Это было щебетанье возраста, шелканье данного вида. Так, как он, рассуждала вся земная тварь,

обществом которой, на аршин от земли, он наслаждался.

Вдруг он отбежал и стал звать меня к себе. По траве скакал и обрывался на взлетах галчонок с волочащимся крылом. Он не сразу дался нам в руки. Наконец, сложив ему крылья и выпустив из пригоршни колпачком нахлобученную головку, я с ним поднялся. То показывая его сыну, то поднося к груди, я долго стоял нагнувшись. Глаза мои были прикованы к рукам, а руки заняты колотившимся сквозь пух и перья сердцем. Когда, выпрямившись, я посмотрел кругом, глаз мой не поспел за быстрой переменой положения. Тогда дружная обособленность лиственного леса в хвойном, главное чудо осени, бросилась мне в глаза чуть ли не впервые.

Расписным и золоченым городом стоял первый во втором, и его улицы, колокольни и кровли дождевым небом облегалась черная, дымом ввысь уходившая хвоя. В этом городе все и произошло.

С тех пор прошло двадцать лет. Они падают на революцию, главное происшествие, заслоняющее все остальные. Родилось новое государство, никем не описанное, небывалое. Его родила Россия, та Россия, которую застают и потом покидают мои воспоминания.

Мой сын, физик с будущим, стал человеком в более прямом значении, чем если бы вырос, может быть, при мне. Мужественнее моего справилась со своими испытаниями так долго меня ему заменявшая мать. Жив Александр Александрович, неутомимый шестидесятилетний специалист-генетик. Казалось бы, на их счет я мог бы наконец успокоиться. И, однако, всякий раз, как я ворошу в памяти сцены той осени, я опять надолго заболеваю бессонницей, как в позапрошлом году, когда еще при жизни их главной виновницы стал впервые записывать эти происшествия.

Для их хода несущественно, в каком порядке они располагались. Внешность Истоминой не давала мне покоя. В этом не было особого дива. Она приглянулась бы всякому. Однако бешенство, называемое увлечением, завладело мною позднее. Сначала я испытал действие других сил.

На пороге третьей военной зимы, неотвратимо близившей народное бедствие нашего полного разгрома, Истомина единственная из нас была человеком с откровенно разбитую жизнью. Она всех полнее отвечала моему

чувству конца. Не посвященный в подробности ее истории, я в ней угадывал улику времени, человека в неволе, помещенного во всем бессмертии его задатков в грязную клетку каких-то закабальюющих обстоятельств. И прежде всякой тяги к ней самой меня потянуло к ней именно в эту клетку.

Приближался день нашего отъезда, билеты были заказаны. В отличие от прошлых зим, Демид на эту просился к родным в Пятибратское. Учительскую квартиру в Юрятине получило новое лицо. Но не видно было, чтобы эти приготовления чем-нибудь беспокоили Истому.

— Поговори с ней, — попросил меня Александр Александрович. — Не брать же ее, в самом деле, с собою в Москву.

Я не помню ее ответа, так памятно мне, что его-то я при этих обстоятельствах все равно что не получил. Может быть, она сказала, что собирается стеречь дачу, если мы ее не гоним, но готовность прозимовать одной с ребенком в оглашаемом волками и заметном вьюгами лесу — какой же это был ответ? Жаль, что не прибавила она, что одна не останется и защитники у ней найдутся.

Я передал разговор Александру Александровичу и сказал, чтобы они ехали, а я задержусь еще немного на мельнице, чтобы дописать статью об исторических источниках пугачевского преданья, начатую тем летом по его почину; когда же помогу Евгении Викентьевне прискаты угол в Юрятине, вернусь домой с готовой статьей — по моим расчетам в ноябре или, во всяком случае, не позже его исхода.

Здесь не было задней мысли. Таковы были мои истинные намерения. Никто в этом не сомневался. Но родные оказались дальновиднее. Они приняли мое решение с большой тревогой, точно знали наперед, что случится, и стали меня от него отговаривать. Разговоры затягивались за полночь, нарушали распорядок дня и оканчивались общими слезами. Но я не сдавался. Отъезд пришлось отложить на несколько дней, после чего его больше не отменяли.

После одного такого разговора с Александром Александровичем я долго не мог уснуть на полу в сторожке, на который перебрался с постели, чтобы не мешать крепко спавшей Тоне напряженностью моего бодрствования.

Весь день недвижный дождь на границе измороси без

капанья каплями висел в воздухе. Временами прояснялось. Набрав в жабы облаков, сколько они вмещали свежести и свету, вплавь показывалось небо, низко мчавшееся над двором. Мглу раздирало до ушей. Это длилось мгновенье. Ее концы сходились. Становилось темно, как ночью.

Мы разговаривали у него наверху, над истоминским низом. С некоторого времени упоминанья о ней в ее отсутствие ранили меня, получив осязательность лишения. Мне хотелось избежать этой слабости. Мы о ней не заикались.

В этот день она в первый раз топила. У Александра Александровича было жарко и накурено. Все время он то зажигал, то гасил огонь сообразно погоде и всякий раз, прежде чем насадить ламповое стекло на решетчатый кружок горелки, играл им, перекатывая в руке и согревая дыханьем. Но это не облегчало пониманья. У него было установлено, что я охладел к Тоне и недостаточно люблю Шуру, и легче было бы сдвинуть гору, чем переубедить его.

— Я больше не могу,— говорил я.— Тевтоны и проливы у меня вот где сидят. Я чувствую, как дичаю и дурею. Тоня и Шура не видят жизни. Выжиданием мира я развешествляю ее. Вспомните Протасова из «Живого трупа». Мне надо устраниваться. Когда родился Шура, я был на его счет спокоен. Как все мне удавалось, какая деятельность рисовалась впереди! Я мог надеяться, что ему будет на кого оглянуться, как мне на вас, хоть вы мне и не отец. Какое детство вы мне обеспечили, какими окружили картинами! Правда, жалко, что я не обучен какому-нибудь ремеслу, но такие сожаленья в России будут раздаваться часто. Образование, направленное на обман, долго будет нашим проклятьем. Но это не ваша вина. А за воспитанье навек вам спасибо. Нечто подобное хотел я оставить своему ребенку. Но кто мог думать, что на нас надвинется такая небывальщина. Вглядывались ли вы когда-нибудь в Шуру как следует? Чертами лица он в Тоню, а их жизнью и игрою — в меня. Глаза же у него не от нас, это свое, но лучше бы этого не бывало. В них мольба и недетский испуг. Точно это не зрачки, а руки, вытянутые в отвращенье близящегося несчастья.— Я не выдержал и заплакал. — Так смотрят обманутые. Это я обманул его, залучив в жизнь неосуществимыми

надеждами.— И, окончательно разрыдавшись, я закрыл лицо руками.

Александр Александрович задул лампу. Бледный день, до неузнаваемости обезображенный ненастьем, пробрался в комнату. Александр Александрович шагал по ней и разносил меня на чем свет стоит. Внизу пекли картошку в золе и гремели печной заслонкой.

Вдруг какой-то удар в оконное стекло заставил нас обернуться. По нему, плющимая ветром, серебром и ртутью разбегалась вода. Два кленовых листа сидели на нем, как приросшие. Мне страшно хотелось, чтобы они отвалились, точно это были не листья, а мое решение зимовать на мельнице, тяготившее меня не меньше близких. Но вода бежмя бежала по стеклу, а листья не трогались, и это меня угнетало.

— Что же вы остановились? — спросил я Александра Александровича. — Вы что-то хотели сказать о моих родителях. Ну да — ссыльный поляк и дочь кантониста... И я потерял их трех лет от роду и слишком поздно узнал по рассказам. Что же дальше? К чему вы их приплели?

— Так как же тебе не стыдно! В кого ты уродился? Уж ежели кому сокрушаться об отечестве, так мне сам бог велел. Я явление потомственное, Александр Громеко, член военно-промышленного комитета, ну, не член, черт с тобой, а консультант, и не комитета — с тобой язык сломаешь, но дело не в этом. Я с верой смотрю на будущее, а тебя пугает приближение революции.

— Боже мой, боже мой, что за пошлость! Уши, честное слово, вянут! Смейтесь надо мной, но хоть без подчеркивания.

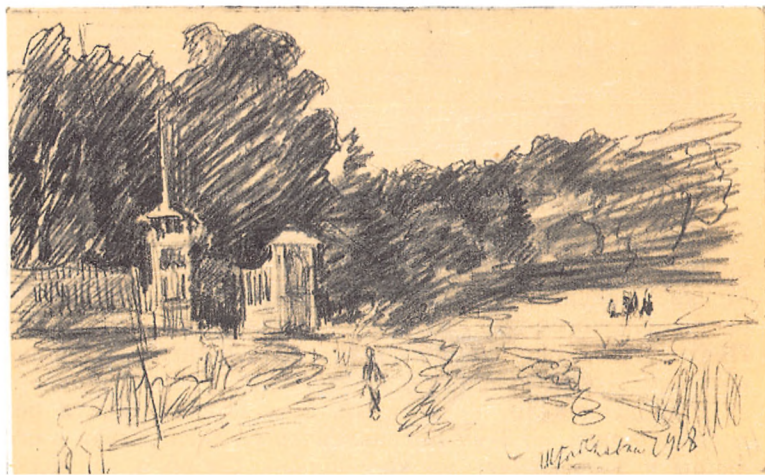
— Какой тут смех? Тут, брат, не до шуток. Любопытно, что бы ты мне ответил, если бы это было не в шутку.

— Я бы вам напомнил ваши собственные слова по возвращении от Голоменникова, — помните, вы туда ездили на Марью? Помните, как он вас тогда срезал? Развал армии, понявшей свое поражение, еще не революция — так по крайней мере вы передавали. Волны общественного недовольства выше, чем в пятом году, но обстановка другая. Дни рабочей группы в военно-промышленном комитете сочтены, и ее не сегодня завтра арестуют. Если собрание распыленных сил не произойдет раньше, чем разразится ураган, нас может ждать анархия. А это — Голоменников. не мы с вами, человек свой в ре-

волюции, со связями в Финляндии и петербургском подполье... Да что вы, в самом деле, глазами хлопаете? Ведь я вам повторяю, что сам от вас слышал, если только вы этого не сочинили. Так о какой же вы тогда революции? Да и разве в этом дело?

Разговор замедлился и вернулся к прежней теме. Я напомнил Александру Александровичу сцены детства, проведенного в его доме. Эти сцены и обступили меня ночью. Из-за печной разгородки доносилось бормотанье Шуры. Он смеялся во сне. Рядом раздавалось мерное дыханье Тони.

Я отдался воспоминаниям тем охотнее, что они куда дружнее соединяли меня со спавшими, нежели тогдашняя моя, на смех мне данная свобода. Кое-что я расскажу.





3. НАДМЕННЫЙ НИШИЙ

Тысяча девятьсот второй или третий год, жаркий день апреля. Видимо, это на Фоминой, перед обычным в Москве майским похолоданием. Кругом простор и широкая слышимость, сменившие долгошумные проводы Пасхи. Небо еще не просохло от целодневного звона, которым его поливали всю Святую.

Мне девять лет — десятый. Уже полчаса как я без дела слоняюсь по 3-му Богоявленскому, заглядывая в его дворы и заезываясь на колокольни. Скоро я тут поселюсь в доме Громеко. Пока же, хотя и частый его посетитель, я переулку еще чужой и плохо знаю эти места.

Какая-то площадь виднеется вдаль, за дровяным двором, обрывающимся в нижнем конце переулка. Я не знаю, что это Большие Скотники, которые так поразят меня через два или три года, и что из двух домов на площади один, многостекольный и из голого кирпича, — Шепихинские мастерские, а другой, крашенный в охру, — Анилиновая фабрика Анонимного общества. Также не знаю я, что, вопреки настоящему своему названию, красивая церковь с тринадцатью куполами в верхней части

переулка зовется Взысканьем погибших, по имени чудотворной иконы, в ней находящейся.

Еще квартирую я у Федора Степановича Остромысленского, дальнего родственника Громеко, их седьмой воды на киселе, которого вслед за всеми зову дядей Федей. Никогда не задумываюсь я над тем, кем он мне приходится. Матрена Ивановна Белестова, дочь псаломщика, молоденькая его сожительница и по этой причине отверженница родной семьи, величает его моим сухотником, то есть человеком, призванным обо мне заботиться. Сколько себя помню, я всегда с ним, хотя и не знаю, как у него очутился.

Сейчас он у Громеко, а меня оставил на улице, чтобы я случился под рукой, когда ему туда понадобится. Я на часах — караулю эту минуту, хотя и не ведаю, как о ней узнаю.

Вчера его письмецом вызвали сюда, и, видимо, неприятным. Его подали вечером, а до этого день прошел позаведенному. После обеда дядя Федя разбирал сломанные кухонные часы. Это была главная его страсть. Их он разобрал на своем веку несчетное множество, но не собрал ни одной пары. Потом, разбранив меня не за тот табак и послав на Сретенку за новым, набивал папиросы. Потом, вспомнив про расшатанные табуретки, со стамеской и рубанком пошел на кухню пристрагивать им новые ножки, но, не закончив дела, только задал хлопот Моте: засыпал стружками белье на гладильной доске и опрокинул на пол жбан с горячим столярным клеем.

Потом присел к окошку с «Единственным и его достоянием» Макса Штирнера, книгой действительно вредной и полной грубых заблуждений, но на которую он стал бы шипеть и в том случае, если бы это был глагол самой истины. Книги, вообще говоря, читал он только затем, чтобы потом их опровергать в мосм и Мотином обществе. За чтением имел он привычку напевать что-нибудь вполголоса, а слуху у него не было никакого. Штирнера этого читал он почему-то на мотив «Среди долины ровная», прерывая его восклицаньями: «Ах, разбойник! Ну, погоди же, покажу я тебе!»

Тем временем жизнь двора шла своим чередом. Он помещался в одном из переулков между Сретенкой и Цветным бульваром. Цежеными трелями заливались канарейки у бобыля, промышлявшего ими на Трубе по

воскресеньям. Татарам, торговавшим кониной, привозили и выгружали синие конские туши с умными мраморными головами. Кот из конских барышников, недавно выпущенный из тюрьмы, избивал свою мамашку, как тут говорили, и она возбуждительно визжала, а потом в соблазнительной растерзанности вырывалась наружу плакаться встречным и поперечным. Ко всему безучастная и как бы окаменев от запоя, раскорякой стояла старая нищенка близ помойной ямы. Старуха ветошница со щепой в мешке, казавшемся костлявым ее продолжением, угощала ее козьей ножкой. Обе, жмурясь, затягивались, отхаркивались басом и, сплевывая и почесывая зады, смотрели на круглое небо с круглым солнцем, стоявшим прямо над дворовою дыроу.

Письмо подали перед ужином. За рассольником с потрохами и студнем из телячьих ножек дядя Федя жаловался на людскую напраслину, смолоду его преследовавшую.

— Лучше б вам все-таки куда-нибудь определиться, — робко замечала Мотя. — И самим было бы приятнее, и легче смотреть в глаза людям. При типографии Архива чем была не служба? Ну, о городском училище я не говорю. Обучение детей, видно, не по душе вам, и это правда, хуже нет, когда начальство в букварях ищет смутьянства.

«Чем живет дядя Федя?» — думаю и я, разгуливая по 3-му Богоявленскому. Александр Александрович читает в Петровской академии и пишет руководства по естественному, его брат Николай — профессор римского права, его зять Канчугин занимается врачебной практикой. Я перебираю всех, кого знаю, вплоть до знакомых столяров, сапожников и горничных, и прихожу к заключению, что у дяди Феди есть какой-то секрет ни жать, ни сеять и питаться как птицы небесные, если не лучше.

В противоположность нашим краям окрестности четырех Богоявленских полны чистоты и поэзии. В тени без угомону возятся воробьи, булыжины пахнут сковородной пригарью солнцепека. Точно в частом поту свешиваются липовые побеги в крепко, до едкости, пахнущих почках. А в церковном саду у Взысканья погибших тополя уже в молодом листе, точно во всем жары ради смененном летнем.

А внизу еще сыро. Груды белошафранного швырка

на дровяном дворе плавают в горячем шоколаде черной слякоти.

Как яйцо в глазунью, выпущен в лужи синий, бело-облачный полдень. Всю Страстную тут гоготали гуси, соперничая в белизне с последними сугробами.

Но теперь тут ни гусей, ни снега. Головастые ветлы над конторой угорают от грачиного крика. По двору дрогливо и рассудительно похаживают куры. Дворы всем околотком отвечают петуху, скрытому за поленницей. Но вот и сам он, масленоголовый и шелковобородый, — рясофорная, бисерящаяся птица самоварного золота. Видно, опять пора ему раскатить свое «слушай» по всем караульням — так выпрямляется он, точно аршин проглотил, перед тем, как загорланить. Потом давится, как костью, кукареканьем и, обугливаясь жаром пера и хвостом осыпая искры, оправляется от запевки, точно облегчив желудок. Тихо кругом. Жарко.

Но что это? Не сигнал ли мне? Зажмурясь, как перед выстрелом, обеими руками открывает окно гостиной старая громековская девушка Глафира Никитична. Приткнув половинки крючками и сложив руки под передником, она локтями и грудью ложится на подоконник. Перед ней через дорогу три этажа каменного противоположного дома.

— У вас, видать, новенькая, — негромко, как из комнаты в комнату, обращается она куда-то под крышу. — Вы ей прикажите наперед мелом, а то что ж это такое: возит, возит, не отмажется.

Не слышно, что ей отвечают. Из громековского полуподвала выходит обойщик Мухрыгин, личность, прежде времени сморщенная смешливостью и склонностью к душевным угрызениям.

— Вы их послушайте, мадам, — говорит он в ту же сторону. — Подол задирать — все равно крыши не покроешь. А окна мыть — на это самые знающие маляры. Тут не мыло, тут надоть мел.

Обогнув дом, я двором прохожу в него с черного хода.

Тут первым делом попадаю я в обширные сени. В них широкое трехстворчатое окно. Из них поднимается лестница в мезонин.

На дворе перед сенями растет старый трехствольный тополь. Летом, когда он зазеленеет, стекло в окне ка-

жется бутылочным, и все играет пивными зайчиками бурого зноя.

Посмотрев через дверь, я вижу у окна в гостиной Тоню с детским рукоделем. Не глядя на работу, она к чему-то прислушивается.

— Что ты тут делаешь? — спрашиваю я, подойдя к ней.

Ничего мне не ответив, она прикладывает палец к губам, а потом вдруг говорит:

— Ты теперь бедный. Совсем-совсем. Они говорят, он тебя, как кустик, объел. Не спорь, я сама слыхала. Все, говорят, спустил и профарфорил. Тебя отдадут в гимназию. Ты будешь жить у нас.

Дверь из будуара Анны Губертовны, называемого бабушкиной угловушкой, приотворена. Ее за ручку придерживает изнутри дядя Федя. Видимо, он собирается уходить. Но вот он снова ее притворяет, оставив щель. Там дымно и много народу. Но это может быть обман чувств, этому способствует обстановка угловушки.

Там с потолка низвергается целый дождь благозвучных стеклянных подвесков, с бамбуковых жардиньерок спускаются усики вьющихся растений, перед окнами просвечивающие слюдяные картинки на цепочках, а у входа камышовая с бисером занавесь, в струйчатых изломах которой и стоит дядя Федя.

— Главное, он обижается! — голосом тигрицы вырывается из этой тростниковой заросли. — Подумаешь, казанская сирота!

Этот голос громековской невестки, запойной кофейницы и любительницы меховых палантинов, бровастой брюнетки. Дяди Феде не слышно, он говорит вполголоса. Вероятно, он предлагает очную со мной ставку. Это вызывает новую бурю негодования. Все говорят разом, нельзя отличить, кто о чем.

— Детей впутывать? — Опомнитесь! — Вы тунец! — Недавно у нас в сиротском суде... Мамуриться, брат, можешь, с кем тебе угодно, но дети... — Не ваше дело, бога вы не боитесь. — Лучше скажите, что вы сделали с закладной? — Bravo, Анета. Да, да, ты нам ответь, что ты сделал с закладной. — Наука? — В интересах науки? — Нет, он мертвого рассмешит! — Ну и горе-аптекарь, нечего сказать. — Анисовую настаивать или зверобой...

Ха-ха-ха! — И спаситель наш... Моментально, Федор, прекратить, а то я при всех такую покажу тебе паперть — будешь у меня жалобить, как на Хитровке. — Успокойся, Саша, умоляю. Тебе вредно расстраиваться.

Голоса выравниваются. После общего крика их спокойствие кажется гробовой тишиной. На семейном совете обсуждают что-то практическое. Дядю Федю просят вглубь, к круглому столу. Частыми вызовами посылают Глашу то за чаем с птифурами, то за чернильным прибором. Она его приносит на подносе, с сургучом и свечкой в подсвечнике. Составляют и подписывают какую-то бумагу.

Мы с Тоней собираемся наверх, в ее детскую, но, как пригвожденные, остаемся на месте. В дверях показывается дядя Федя, долговязая орясина в очках, с отращенными волосами, живая всему на свете укоризна в серых штанах, заправленных в мягкие валенки.

Он нас не видит. Дойдя до середины зала, он с разбегу останавливается. Наклонившись вперед и ладошкой подгребая бороду, он задумывается. Решив оставить последнее слово за собой, он поворачивает назад к будуару.

— Дядя Федя! — окликаем мы его, предупреждая о своем присутствии.

— Зачем вы тут, дети? — говорит он, забыв о данном мне поручении.

Передумав заходить в угловушку, он в рассеянности направляется к выходу, но, вспомнив о нас, возвращается.

— Прощай, Патрикий, — с дрожью в голосе говорит он. — Расти и тут, как рос у меня. Добрые семена, которые я заронил в тебе, не пропадут даром. Малы вы еще понимать, что тут приключилось, в этом женском кабинете. Господь терпел и нам велел. Прощай, Патрик. Прощай, Антонина. И, прошу, не провожайте меня.

На другой день я поселился под одним кровом с Тоней.

Впоследствии, когда наряду с историографией пристрастился я к литературе и призванье столкнуло меня с учением о типах, доверие к теории было у меня в корне отбито воспоминаниями о первом моем покровителе. На

своем детском опыте научился я думать, что всякая типичность равносильна неестественности и типами, строго говоря, бывают лишь те, кто в ущерб природе сами в них умышленно лезут. Зачем, думалось мне, тащить типичность на сцену, когда уже и в жизни она театральна? Силу свою дядя Федя полагал в пародии на народника и светлую личность, которую, не имея об этих вещах никакого представления, он из себя корчил.

Свою склонность к отвлеченным существительным среднего рода и неопределенным местоимениям принимал он за философскую жилку. Каким-то сретенским Диогеном казался он себе и свою ничем не выделяющуюся серость считал качеством простого народа.

Как могло родиться такое притязание? Рядом жил и двигался этот народ, сплошь ремесленник, деталист, знаток чего-нибудь одного, мастер и фанатик частности, дитя страсти и игрушка случая, а он не видел его острой отчетливости, воспринимая в той водянистой и напыщенной общности, которою сам являлся, ничему толком не обученный, приблизительный, никакой всякий.

Прошли годы и не изменили его. Не изменило и несчастье. За него отдувалась Мотя, распродававшая его книги и благодаря каллиграфической руке зарабатывавшая перепиской бумаг и нотариальных актов.

Химик-любитель по Рубакину, кипятил он однажды какую-то смесь. По неизвестной причине пробирку разнесло вдребезги. Мига не прошло, как лицо его превратилось в кровавую кашу. Он ослеп в несказанных мучениях, оба глаза были забиты мельчайшими стеклянными осколками.

В последних классах гимназии занимался я платным репетиторством. Один из уроков давал я на Царицынской. Остромысленские после несчастья жили в Хамовниках. У меня был их адрес. Я решил их навестить.

Окна кухоньки, которую они снимали в нежилой, сдававшейся под контору квартире, выходили на улицу. Из них раздавались ровные звуки Мотина голоса. Она вслух что-то читала. По переводчику, материи и форме можно было догадаться, что это Аристотель в каком-то допотопном переводе.

— Вы это понимаете? — перебила Мотя свое чтение.

— А что тут понимать? Явная галиматья. Автора не трону, имя почтенное, а переводчику не поздоровится. Продолжай, пожалуйста.

Тут я их окликнул. Оба мне обрадовались и стали звать внутрь. Но у меня было подряд два урока. Я пообещал зайти в другой раз, а пока, сказал, постою на улице. Так мы и разговаривали.

Некоторое время все шло хорошо. Дядя Федя мало изменился. Ранения на лице зажили без следов. Он слегка поседел. Разговор шел в соответствии с теплым уличным воздухом, с нашими местами в кухне и на тротуаре, с разницей нашего возраста.

— Ах, годы, годы,— говорил дядя Федя. — Где же ты столько пропадал. Мотя, обсмотри его со всех сторон и опиши. Важничает? Вырос? Небось важничает, морда лошадиная. А Матрена Ивановна в январе папашу похоронила, ты посочувствуй.

С этой фразы все переменялось. Мне бросилась в глаза Мотина молодость и миловидность. В нее так легко было влюбиться. Не должен был так говорить об ее утрате этот старый дурак, никакая ей не поддержка и горю ее вероятный виновник. Мне стало противно.

— Слухами земля полнится. О пробах пера твоих знаю, — сказал он и заговорил о них подробнее. В принципе он их одобрял, но предостерегал от дурных примеров. Под последними разумел он как раз все то, чему поклонялся я тогда, пред чем благоговел.

В вырезе усов и бороды двигались его губы, самодовольные, как две астраханских виноградины. На них страшно было глядеть, потому что в живом своем блеске производили они впечатление зрячего места на этом гладком лице, затянутом и успокоенном слепотой. Он поучал, наслаждаясь, точно десерт ел, а я вынужденно соглашался, чтобы не огорчать его.

— Хоть на крылечко бы зашел. На минутку,— позвала Мотя, чтобы прекратить мученье моего недобровольного предательства.

Я послушался. Завернув во дворик, я застал ее сидящей на ступеньке с толщеннейшим священным писанием на коленях. Муслия палец, она быстро его перелистывала и, не подымая головы, подала мне для пожатия левую руку.

— Вот гляди, Патричок, что покажу тебе. Вот гляди, на что на днях наткнулась. Ах, да куда же оно занастилось? Вот. Вот, смотри.

— «И три рода людей, — прочел я в стихе, — возненавидела душа моя: надменного нищего, лживого богача и старика прелюбодея...»

— Надменного нищего, — с торжеством повторила Мотя. — Каково, Патричок? Не в бровь, а в глаз!





4. ТЕТЯ ОЛЯ

У Александра Александровича была сводная сестра Ольга Васильевна, слушательница Высших женских курсов Герье. Это была миловидная блондинка, любившая поговорить и подурачиться, существо компанейское и страшная непоседа.

Она принимала близко к сердцу все частности академической жизни у себя и в университете, и значение, которое она им придавала, часто производило комическое впечатление.

В девятьсот четвертом году, работая одно время в студенческой столовой, она с увлечением рассказывала о борьбе, которая ведется между кассой взаимопомощи и прежним Обществом вспомоществования, которое она призвана заменить.

Александр Александрович не понимал, как можно с таким жаром толковать не о помощи нуждающимся, а о том, где и под каким именем она будет производиться.

— Что ж тут непонятного? — в свою очередь удивлялась Оля. — Общество — учреждение официальное, утвержденное попечительством, а касса — начинание

демократическое и, занимаясь текущими нуждами, не будет чуждаться политики.

— Виноват, — поправлялся тогда Александр Александрович. — Я не говорю, что не вижу разницы. Наоборот, она так очевидна, что разговор выеденного яйца не стоит. Ты же рассуждаешь об этом как об историческом событии.

Историческим событием все это потом и стало.

Весь год Оля носилась по студенческим сходкам и не пропустила ни одной демонстрации, с которых иногда влетала к нам со свежими политическими новостями. К весне тысяча девятьсот пятого года она была уже записной и признанной пропагандисткой. Тогда случай свел ее с одним любопытным человеком.

В середине января, вскоре после событий девятого, выступала она на парфюмерной фабрике Дюшателя, где было много работниц. Собрание происходило на фабричном дворе, под открытым небом. Взобравшись на перевернутый ящик, Оля призывала собравшихся примкнуть к забастовке протеста, готовившейся в ответ на происшедшее. Ее слушали с земли и таких же ящиков, во множестве загромождавших вход в экспедицию и браковочную.

Хозяева вызвали казаков. В те месяцы их было не узнать. Булыгинский проект узаконивал крамолу. Им все чаще давали отпор на улицах. Казаки стали в отдаленье за воротами фабрики и нагаек в ход не пускали.

Как бы то ни было, собравшимся предложили разойтись, и Оле, которую застали говорящей, грозил неминуемый арест. Тогда, чтобы запутать картину, работницы стали влезать на ящики и перекрикиваться издали и, постепенно окружив Олю, дали ей с ними смешаться. В давке, образовавшейся перед проходною, чьи-то руки накинули на нее тулуп и платок. В тулупе внакидку вместе со всей ватагой Оля вышла со двора и неузнанною прошла мимо казаков. Дальше толпа разбилась, и когда улицы через три Оля вспомнила про платок и тулуп, не у кого было спросить, кому их отдать.

За ними от Дюшателевой работницы пришел в воскресенье упаковщик той же фабрики Петр Терентьев, рослый малый в ватном пиджаке и высоких сапогах. Он стал у двери и не проронил ни слова, пока Оля суетилась, оп-

равдывалась и увязывала вещи в худую, но чистую простыню.

В марте она его видела два раза на загородных массовках. На первой, где она выступала, они только поздоровались. На второй, по нездоровью отказавшись от слова, она сама попала в его слушательницы, и они потом разговорились.

Массовку устраивали мебельщики со Стромынки при участии соседей, рабочих Ярославской железной дороги. Ни к тем, ни к другим Терентьев не имел никакого отношения. Олю удивило, что все его знают.

Весна только начиналась. По ложбинам кусками черного мела залеживался снег. Сидели на пнях и бревнах недавней лесной валки.

На собрании выступил анархист. Еще раньше Терентьев подсел к Оле. Разложив на коленях газету, он резал хлеб и чистил крутые яйца. Когда заговорил анархист, он стал сопровождать его речь замечаниями, обнаружившими ум и начитанность. Оля подумала: «Какой же это укладчик?»

Вдруг анархист кончил, и все закричали:

— Терентьев! Петька! Валяй анархию по косточкам!

Он не дал себя упрасивать, аккуратно стряхнул с платья яичную скорлупу и крошки ситного, утер рукою рот и, поднявшись, стал возражать предшествующему оратору.

Интеллигенты-общественники любят говорить под народ, что выходит нарочито, даже когда не перевирают поговорок. Подымаясь в общественники, народ потом копирует эту копию, хотя мог бы без чувства фальши пользоваться живущим в нем оригиналом. Так, то вдруг нескладно-книжно, то неумеренно образно, говорил и Терентьев. Но все это было умно и живо.

Пустую вырубку окружали голенастые ели и сосны. За ними лиловела голая, еще только что отзимовавшая чаща. Из нее заплывал паровозный дым и тянул клочьями до самой заставы.

Обратно шли пешком. По Сокольническому шоссе летели вагоны недавно проложенной электрички. Оля что-то сморозила насчет тока и тяги, и Терентьев подивился ее техническому невежеству. Чтобы сгладить неловкость, он сказал:

— Тянет «Коммунистический манифест» почитать, а

по истории я ни в зуб. Скоро лето, вам не учиться. Что, если б вместе?

После двух-трех встреч она узнала. Он сын клепальщика Люберецкого депо, чуть ли не с двенадцати лет стал на ноги, одну за другою окончив две школы, городскую и ремесленную, шестнадцати лет поступил на службу мастером на пятнадцатирублевое жалованье; учась на каждом новом месте и чтением пополняя образование, переходил с фабрики на фабрику; рано просветился политически; сидел в частях и высылался по этапу; а главное, как она давно уже подозревала, в парфюмерных упаковщиках скрывался с последнего места, где, кроме сборки дуговых фонарей, был организатором среди товарищей и откуда должен был исчезнуть.

— Вы очень способны, знаете ли вы это? — говорила она ему, когда невзначай он ненадолго заходил к ней, всегда куда-нибудь торопясь.

От хозяйки приносили самовар, и, заварив чай, Оля принималась что-нибудь рассказывать, про что сама узнавала из десятых рук утром или накануне. Про недавно состоявшийся Третий съезд, например, или про то, как относятся к вопросу власти в Лондоне и Женеве. «Мы, социал-демократы, полагаем», — говорила она. Или о тогда еще новом расколе: органы социал-демократии стали органами борьбы против социал-демократии. И на цыпочках подходила к двери проверить, не подслушивают ли. Терентьев выпивал стакан-другой и уходил, поблагодарив за беседу.

Иногда, но это было позднее, летом, дождь или какая-нибудь другая нечаянность задерживали его. Он садился что-нибудь обдумывать и вычерчивать. Идеи механических упрощений занимали его и задачи вроде изобретенья сверла, развертывающего четырехугольные отверстия.

Оля читала что-нибудь вслух, а он сопел, откидывая голову набок. справа и слева осматривал рисунок и насвистывал, и эта работа несколько не мешала ему следить за Олиным чтением. Комната была в два света, и они отворяли в ней все окна.

В задних, за спинками стульев, виднелся двор, в передних переулочек, и трудно было поверить, что и в природе они не разделены так же полно. Но внезапно их объединяла смена тождественного освещения.

Двор и переулок заливало желтым, как сера, светом, признаком кончающегося дождя. Но он возобновлялся, весь в мерцающих струях, точно натянутых на раму ткацкого стана. Желтое освещение сменялось черным, если такое выражение допустимо, черное — красным. В закате загорался притвор Спаса в Песках и черепные впадины его звонниц. Заглохший самовар приходилось раздувать. Это почти никогда не удавалось. Его разводили сызнова.

Подкрадывались сумерки. Оля закрывала книгу. Чай садились пить в надвинувшейся темноте. Только руки, сахарница и что-нибудь из закусок озарялись на минуту красноватым вздохом угольков, падавших в решетку самоварного поддувала. Вдруг занавески или страницы книги приходили в трепещущее движение, легкомысленное и тревожное, как мелькание ночной бабочки. Отблеск уличного фонаря заскакивал на вздрагивающую оконницу, или на глазной белок Терентьева, или на голую кафлю голландки. И тогда неловкое волнение, давно охватывавшее Олю, становилось очевидным.

— Опять гроза от Дорогомилова, — говорила Оля и поднималась, чтобы затворить окна надворного ряда, а когда возвращалась на место, мысли ее получали неожиданное направление.

Ей вспоминалась работница, не пожалевшая для нее платка и тулупа, и все относящееся к этой неведомой женщине начинало необычайно ее занимать. Но что-то не нравилось Терентьеву в ее расспросах. «Вдова, трое детей, мал мала меньше, золотое сердце», — почти отмалчивался он, и Оля не знала, чем ей огорчаться: тем ли, что она может причинить огорчение незнакомой женщине, ничего, кроме добра, Оле не сделавшей, или тем, что никакого огорчения она ей причинить не может, такая у той власть и сила.

Но это было летом, а друзьями они стали раньше, и раннею еще весной предложил он ей как-то навестить своих. Она стала перелистывать расписание, думая, что он приглашает к старикам в Люберцы. Но свои оказались инструментальною Казанских железнодорожных мастерских.

На станках рядами притирали какие-то части, и так как гул валов все равно заглушил бы голоса, то Терентьеву только знаками выразили свою радость и неопределенно кивнули Оле. Кто помахал рукой, ладонью разго-

няя круглую рукоятку тисков, кто, нагнувшись к соседу, мотнул на вошедших головой и, что-то крича ему в самое ухо и смеясь, почесал бритую морщинистую щеку и стал рыться с выбором в грудке железной мелочи, чтобы сменить резец в гнезде или переменить деталь в патроне. С ленивой телесностью, как волос в парикмахерской, на пол падало жирное серебро стальной стружки. Как иные звания объединяет язык и платье, все движенья, вплоть до сверканья зубов и улыбки, подчинялись ходу незримого двигателя, раздувавшего тещины языки вытянувшихся трансмиссий. Мимо обширного застекления с полопавшимися стеклами, сотрясая полы и своды, пробегали поезда и паровозы. Но свистков не было слышно, лишь видно было, как отрывались от клапанов петушки белого пара и отлетали в пустое послеобеденное небо.

Все же несколько человек терентьевских приятелей вышли в разных местах из рядов. Одни, отлучаясь на короткое время, перевели станки на холостой ход. Другие, имея в виду постоять и поговорить, сняли их с привода.

Части, при вращении сплошь казавшиеся круглыми, по его прекращении лишались симметрии. Воображаемые валы и оси, приходя с замедленного бега в состояние покоя, оказывались четырехгранными брусками неправильной формы, с вынутыми шейками и непарными шипами. То же самое делалось с товарищами Терентьева по мере их приближения. Общетипическое отступало перед силою разностей и несходств.

С видом его ровесников, хотя некоторые были вдвое старше, они окружили стол у входа с какими-то наглухо приделанными к доске лекалами и винкелями, на который он сел и, помогши Оле вспрыгнуть, усадил ее рядом.

— Никак престол на парфюмерной, что в прогулочке? — спросили его, здороваясь.

— Н-да, святомученика Дюшателя, — понимающе усмехнулся он и прибавил: — Нет. Сами по себе шабашуем, — и рекомендуя округленьем показал на Олю, знакомя.

Все стали здороваться за руку, и, как всегда, рук оказалось больше, чем кажется сразу в толпе. Некоторые знали ее по митингам в Консерватории. Это ей польстило. Посыпались новости. Кто-то сказал:

— Помнишь Назарова?

— Ну как же.

— Попадется — остерегайся. Провокатор.

— Быть не может.

— Будьте покойны.

— Где ж он теперь?

— А мы что — каменные? В февральскую стачку четверых уволили по нашему требованию. Ну, то же и он.

— Видите, как вас улаживают. На задних лапках ходят. А вы не верили.

— Это кто ж не верил?

— Да я первый.

— Вот так клюква!

— А что же ты думаешь? Бывало, поднимаешь вас на шарап, сулишь вам золотые горы, а самого раздумки берут. Быть-то оно, думаешь, будет, да только за тем морем, что хвалилась синица зажечь. А она его, стерва, возьми и зажги. Зажгла. Показали мы им прибавочную стоимость.

Ему стали рассказывать о сокращении рабочего дня, повышении заработной платы и других улучшениях, достигнутых без него в февральскую стачку.

В разговор давно старался вмешаться темный, как прокуренный мундштук, модельщик с пучками волос в ушах и ноздрях, морщивший лоб с такой натугой, точно весь его надо было упрятать под черные очки. Ввиду неисполнимости намеренья верхняя часть лица выходила у него разочарованно-сердитой, а нижняя, в свисающих усах, удовлетворенно улыбалась. Наконец к нему прислушались.

— Это что! — рванул он и, как клещами гвозди, стал тащить хрипотою погнутые слова со дна самой, казалось, селезенки. — По свистку в главной конторе курсы Французской революции. Ей-богу правда, расшиби меня гром. Лектор каждую среду, по казенному найму.

— Правда, правда, — подтвердили остальные.

— А также Соединенные Штаты, — добавил кто-то для точности.

— Это для желающих, — одернули выскочку, чтобы не портил цельности впечатленья.

Слово вернулось к модельщику.

— Пуговкин в ночной смене, — пожалел он. — А то бы ты послушал, как он солдат перевозил.

— Это какой же Пуговкин?

— Да знаешь ты его. Такой сознательный. Песочная пара.

— Не знаю. При мне не было.

— Выдумывай! Двадцать раз вместе видали. Выговор такой польский: ах, быуа не быуа, песочная пара. Такой аккуратненький.

— Не помню.

— Сижу в бюро, и часы от Буре...

— А, Козодой, что ли?

— Во-во.

— Так бы ты прямо и сказал.

— В феврале дорога нас поддерживала. Он от мастерских прошел в комитет. Пуговкин. Да, да, Пуговкин — ты не мешай. Приходит на линию военный эшелон, возвращающийся с Дальнего Востока. С направленьем на брестскую ветку. Но, как сказано, состав ни тпру ни ну. Забастовка. В один прекрасный день отворяется дверь в комитет и входит сам начальник тракции фон Дебервиц-Свистелкин. Мать честная, те так и ахнули! Ты, конечно, имеешь понятие про эту сеledочную потроху, какой это фурур и язва здешних мест. А он фуражку в кулачок и чуть не надвое расстиляется. И, можете себе представить, прямо к Пуговкину; просит, чтобы он позволил передать эшелон на ветку. «Господа члены стачечного комитета, говорит, прошу, говорит, вашего разрешения передать эшелон на ветку». И чуть не плачет. А в комитете виднейшие теоретики сидели. Вот и делают виднейшие теоретики Пуговкину указания бровями и глазами. «Ступайте, говорят, товарищ Пуговкин, на паровоз, как бы с машинистом не получилось недоразуменья». А эти брови и глаза он так понял, что сам, дескать, не промах, срывай, как говорится, цветы, пока горячо, и, как сказать, лови момент. То есть чтоб он их разагитировал. И действительно, что он и сделал.

Терентьев сидел, опустив голову и свесив между колен сложенные руки. Не все в этих рассказах нравилось ему. «Что малые дети, — думал он. — Напроказили и радуются. А что дальше, об том никто и не думает».

— Ну а ты как? — спросили его.

Вместо ответа он выпрямился и, закинув руки за голову, потянулся.

Он сказал, что как это все ни распрекрасно, но далеко еще не все. Надо вперед смотреть. Даже когда и форма

правления полетит в тартарары, это будет с полдела, пока мы сами не переменимся. Самим надо по-другому жить, повторил он, ничего не объяснив. Вот они кое-чего добились, а о том не подумали, что на то и перемены, чтобы их обживать по-новому. И опять все осталось в неясности.

Тут была какая-то важная для него идея. Ближе определить ее он не мог и про себя решил, что надо будет насчет этого справиться в местах распорядительной мысли, где это должны знать лучше. Таких мест тогда было два: окружной и городской комитеты. В окружном он никого не знал, а в городском у него были знакомые. Как бы то ни было, в мастерских о таких вещах и не задумывались, и, следовательно, как ни смутны были его собственные догадки, во вразумители сюда он еще годился. И тогда он вспомнил, зачем, собственно, пришел сюда. Он сказал, что собирается вернуться в мастерские. Время стало легче, прятаться больше нечего. На днях он потребует расчета у Дюшателя и попробует устроиться у них. Есть у него, кроме того, одна вещичка, которую надо будет у них выточить и потом испытать.

— Пойдемте, Левицкая, — сказал он, спрыгнув со стола, и стал прощаться с товарищами, а когда вышел с нею за двери, предложил: — Хочешь в Сокольники?





5. НОЧЬ В ДЕКАБРЕ

Осенью в гимназии, где я учился, произошли беспорядки. В младших классах они выразились в глупейших безобразиях, в старших сомкнулись со студенческим движением, полным смысла и мужества. Мы забастовали.

Я жил в семье либеральной, а то как бы очутился я в ней, безымянный отпрыск осужденных политических. Не ругать правительство считалось у нас дурным тоном. Да и как было его не осуждать.

Из многочисленной громековской родни были взяты на Дальний Восток кто военным врачом, кто инженером запаса. Но и без того о войне нельзя было забыть ни на минуту. В отличие от предшественников, царствование любило шум. Оно не только обманывало народ, но все-

ми видами слова ежедневно ему об этом обмане напоминало.

Нас били — оно выдавало это за победы. Мы шли на постыднейшую капитуляцию — оно и этот позор ухитрялось обернуть в какой-то трофей. Обнародовался манифест о свободах, которыми пользуется все образованное человечество, — но каким-то образом обстоятельство это ничего в наших порядках не изменяло.

Александр Александрович швырял газету на стол и в раздражении шагал по комнате. Потом надевал медвежью шубу и, зайдя к Анне Губертовне, отводил у ней душу, после чего, нахлобучив шапку и сунув ноги в глубокие ботинки, летел на извозничьих санках к какому-нибудь из университетских товарищей и жертвовал на организации.

В октябре после университетской осады нас посетила полиция. Сразу подумали, что разыскивают Ольгу Васильевну. Тогда Александру Александровичу было бы несдобровать. Но произошло недоразумение. Требовался некто Фалетеров, которого никто у нас не знал. Помощник пристава преобразился, установив ошибку, и изогнулся надвое, устремившись к выходу, точно дверная притолока опустилась и ему предстояло лезть от нас как из погреба. «Ничего, помилуйте, пустяки», — говорил Александр Александрович, а он все рассыпался в извинениях, прикладывал руку к козырьку и, изящно оступаясь, стучал кожаными калошами с медными подшпорниками.

После этого Ольга Васильевна перестала бывать у нас. Но этот визит имел еще другие последствия.

В сени к нам пришел с повинною пьяный обойщик Мухрыгин и покался в совершенном на нас ложном обносе.

Если бы о деле надо было догадываться по собственным показаниям обойщика, толку добились бы не скоро. Но оно было наполовину известно. Появлению Мухрыгина предшествовали пересуды нашего дворника с соседскими, перешептыванья Глафиры Никитичны с Анной Губертовной.

Мухрыгин сложил об Александре Александровиче кудрявую сказку, будто тот по подписному листу набирает охотников в жидовскую веру, сам подписался первым и даже его подбивал. Это была его основная мысль. Он ее на разные лады варьировал.

С ним на правах кума был соседский дворник. Сопровождение провинившихся было второй его природой. Забывая о кумовстве, он ни в чем обойщику не давал потачки. Усы в сосульках придавали ему вид блюстительный и свирепый.

Почему-то все мы оказались при этом в сборе. Анна Губертовна с утра просила мужа обойтись с обойщиком гуманно, дабы не сталкивать его с доброго пути, на который он вступил. Александр Александрович с трудом себя пересиливал.

— Отчего огня не зажигают? Лампу заправили? — спрашивал он. — Тогда пора зажигать. Да и что его слушать? Гнать в шею, и кончено. Я тебя, милочка, не понимаю.

Но Анна Губертовна делала ему знаки глазами. Александр Александрович пожимал плечами и, засунув руки в карманы, зевал и переминался с ноги на ногу. В сенях было холодно. Он скучал и зябнул.

Мухрыгин не сразу овладел речью. Он долго плакал, неутешно болтая поникшей головой. Несвязные восклицания душили его. Им в подкрепление собирал он пальцы в триперстие и, задерживая руку на подъеме, медленно осенял себя широким крестом. Потом, распустив щепоть, вытягивал руку вперед и плавательными движениями разгребал перед собою воздух в поисках слова. Он не раз рухнул бы лицом наземь, если бы плечо не ныло у него в плоской клешне дворниковой рукавицы. Это раздражало его.

— Да что ты, шут гороховый, меня держишь? — возмущался он. — Кто ты есть такой, воротная петля, так меня держать? Я у их квартирующий в обоюдном согласье, а твое дело скребок да метла. Дозвольте, барин дорогой, слово сказать. Вы не то глядите, что я, как говорится, пьян, а глядите, об чем я плачу и убиваюсь. Слова нет, может, я действительно не в своем виде, ну я весь перед вами как на ладони, ваша воля казнить, ваша милость, и притом не в буйном хмелю. Матушка барыня Анна Кувертовна, детки дорогие, надоть глядеть, откедова у человека слезы, верно я говорю? Какой, может, о душе, а какой об закащицком кредите, это надоть понимать. Теперь, к примеру, может, которому вашему знакомому гарнитур перетянуть или, скажем, новый лак и чтобы человек знающий и, главная

вещь, с рекомендацией. Так ведь у вас в настоящее время на мою фамелию и язык не повернется, видите, какой грех. И как такое попритчилось, ума не приложу. Люди ведь, не кто-нибудь, коренные домовладельцы, своя косточка, а вот поди ж ты, на таких людей да вдруг такую канифоль...

— Что ж ты там все-таки сказал? — хмурясь, перебивал Александр Александрович.

— И не говорите, грех поминать. Тут и ночи курляндские, и пятьдесят два разбойника, и под Кремль подкоп.

— Как это пятьдесят два? Не много ли сразу?

— А это карты-с, ежели вы насчет разбойников. Обнаковенный ночной картеж.

— Ну и враль же ты, сукин сын! Карты он у нас видал, как это тебе, Анна, понравится? Ну да черт с тобой. Кремлю поверили, вот ты мне что скажи?

— А кто ж, ваша милость, такой околесной станет верить? Из Сущева, сами знаете, крюк немалый. Диви б какой антирес, а то какой вам расчет копать?

— Так какого ж черта ты все это молол? — Терпенье Александра Александровича истощалось. — Вот что, — сказал он. — За тебя барыня просила. А то б ты мне за клевету ответил. На этот раз ступай. Но вперед смотри. Таких квартирантов мне не надо.

В тот же день проводили мы вечер у Тониных двоюродных сестер. Все взрослые были в отлучке. Мы играли во мнения. Когда пришла моя очередь выйти из круга, меня вывели через две комнаты в третью дожидаться обратного вызова.

Это была гостиная. В ней горела одна стенная лампа в круглом абажуре. Тусклое сиянье кое-как добиралось до первого блестящего предмета, которому можно было бы сдать это трудное ночное дежурство. Ближайшим был ящик аквариума. Листья водорослей перехватывали луч-другой сквозь стекло и воду.

Мне не игралось. Я из этих глупостей вырос. Меня не занимало, что наврут обо мне братья Лунцы или сестры Ярыго, но, подумав о Тоне, я вдруг почувствовал, что огорчусь, если и в шутку она отзовется обо мне обидно. Этой чувствительности я раньше за собой не знал. «Да еще и этот Мухрыгин...» — ни к селу ни к городу подумал я.

Сцена во всех нас оставила неловкий осадок. Я смутно чувствовал, что надо что-то поправить не в обойной под нами, а во всем свете, но что именно и каким способом, не пытался и думать, такая томительная неразрешимость исходила от вопроса. Что ж это они? — удивился я. Неужто еще не готовы? Ну и наслушаюсь!

По переулку со жмущим капустным скрипом прошел пешеход. Видно, сильно подморозило. В два яруса сразу, по земле и небу, пронеслась карета. С занавеси на занавесь поплыли безногие блики. Рыбки в аквариуме вспомнили, что они живые, и, какая зеркальцем, какая медной денежкой, обошли грот с фонтанчиком, распылив несколько капель огня этой части гостиной.

В комнату влетела младшая из сестер, хохотушка Нонна.

— Он подслушивает! — крикнула она в глубь темной анфилады. — Надо переиграть. — И с хохотом убежала, затворив за собой дверь и задернув портьеру.

На рояль падал свет уличного фонаря, горевшего через дорогу. Он стоял у садового забора. Над рожком свешивалось несколько сучьев. Они бросали на окно, покрытое зернистой мутью мороза, серые тени в бревно толщиной.

Вдруг низ дома огласился шагами и звуками. «Неужели сами? — подумал я. — Здорово ж тогда мы засиделись у дочек!» Но это была бабушка девочек, старуха Харлушкина.

Только она появилась, как пустой дом населился по всем направлениям голосами и изъявлениями задушевности. Медленно следуя через их ряды и делясь с ними какую-то очередную радостью, она вплыла в гостиную с туго замотанною в шаль головою. От нее пахло миндальным мылом. Она как-то вкусно отдувалась. Я сразу понял, что она из бани.

— С легким паром, Нимфодора Пеоновна, — сказал я ей, подходя к ручке из своего прикрытия, и густо покраснел, так это глупо получилось.

— Ну тебя совсем, как напугал! — сказала она, потрянув пухлую ладошкой в перчатке, и продолжала: — А правда из маскарада. Ну, спасибо. Это что, что с легким, ты скажи — с последним. Во всем мне счастье, на все легкая рука. Еду, ничего не знаю, приезжаю — и что же? Завтра не топят, понедельник — трудный день, а во втор-

ник станут бани, забастовка. Я последний пар захватила, честное слово! Что же ты стала как пень, неси в спальню,— сказала она молодой горничной с такою же закутанной в платок головою, которая вошла в гостиную с саквояжем на одной руке и пустым тазом с мочалкою под другою. — Что на свете творится, баррикады, как в Париже, ты подумай! А я с мыльным подарком и на санях прокатилась. Эх, сбавить бы мне десяток-полтора, — я двух не требую, — я, б вам показала. Все мать твою вспоминаю, покойницу. Не много не дожила, порадовалась бы, бедняжка. Правда восторжествовала, ты вникни. Это, брат, знаешь ли, не шутка. А вы у вертихвосток наших? Ну ладно. Спустишь потом, или сам ко мне подымись, небось знаешь дорогу.

Этим намекала она на частые мои посещения всякий раз, как мы бывали у девочек. Только ради нее и ходил я сюда. Слушать ее было истинное удовольствие. Выставляя вперед подбородок, она говорила нараспев и несколько в нос, растягивая слова, с чуть замедленными придыханьями и столь же мало заметными ускореньями. При круглоте и дородности была она неподражаемая умница и, что называется, шило, то есть, видя всякую вещь насквозь, сверлом входила в ее обсуждение, сверлом выходя наружу. И не удивительно, что считали ее близкой приятельницей старика Лужницына, всей Москве известного хранителя одного из музеев, а также радикала из славянофилов Татьбищина, в свою очередь друживших с Федоровым, Толстым и Соловьевым.

Но не всегда бывала она в таком ударе, как сейчас, когда ее обурежала банная удаль. Любила она и поплакать.

Тогда, откинувшись в кресло и подперши голову рукою, вдруг переходила она со мной на «вы», точно чтя во мне какое-то воспоминанье. Шурясь от приятности, она медленно, с грудными скрипами говорила:

— Ах, Патрик, ваша мать была такая милочка. Она бесподобно пела, ее знали братья Рубинштейны. А Соня, Софья Григорьевна, та просто в ней души не чаяла. Вы скажите вашему Громеке (все второе поколение она презирала, терпя лишь третье, внучатное) — пусть вас когда-нибудь к ней сводит. Перемерет наша гвардия, тогда хватитесь. А главное — это был человек не от мира сего.

При этих словах Нимфодора Пеоновна изящно, углышком платка, точно извлекая из глаз соринку или мушку, утирала слезы, а потом с кряхтеньем, утвердись на ручках кресел, из них поднималась. Достав из комода пачку шелковистых, как карты, фотографий на скользком картоне, она мне их совала, забывая, что мамы среди них не будет, потому что, как сама она мне раз поведала, мама не любила сниматься. Но между этими мужчинами в форме и штатском и красивыми и некрасивыми женщинами были две молочно-сиреневых выцветших карточки, на которых снят был в молодости мой отец.

Глядя на это лицо, полное силы и представительности и в доверчивости как бы готовое улыбнуться, я заключал, что, значит, я целиком в маму, потому что ничего своего я в этих приятных чертах не находил.

— Если бы не этот человек, — продолжала Нимфодора Пеоновна, снова опустившись в кресло, — она бы никогда своего таланта в землю не зарыла. Но она была человек не от мира сего. И у нее были более высокие цели.

И тут в очень общих выражениях, рисовавших мамино самопожертвованье, Нимфодора Пеоновна подводила разговор к концу и убирала фотографии, и мама моя, молодая моя мамочка кончалась на моих глазах, не успев родиться, потому что далее следовала история освободительного движения в России, в которой Нимфодора Пеоновна не была сильна.

Отчего так скудны были эти сведения? Это не было случайное забвение. Его обидную дымку я обязательно бы отличил и ни с чем на свете не спутал. Но нет, этой неизвестности не хотелось трогать. На ней лежала печать безмятежности и удовлетворенья. Очевидно, она была добровольна. Покойная сама хотела остаться в тени и сумела этого добиться. Откуда же могло явиться такое желанье?

Не может быть, чтобы она стыдилась своего происхождения. Я этой мысли не допускал. Это слишком расходилось с ее нравственным обликом. С этим не мирились мои чувства.

Вероятно, это был ревнивый характер с повышенными представлениями о душевной красоте и долге, все с меньшим удовлетворением меривший ими свою жизнь. К поре, когда человек начинает управляться привыч-

ками и дает санкцию всему, что не в его власти, она попушенью предпочла одиночество. Неизвестно, как это внешне у ней проявилось, но утверждающего одобренья прожитому она не дала: след невольной к нему причастности стерла и на память о себе ничего не оставила, кроме меня, единственного и прямого своего продолженья...

Предсказанья Харлушкиной оправдались. В ту же ночь артиллерия осадила училище Фидлера на Чистых прудах. Драгуны обстреляли мирную толпу на Тверской. В наших местах и по соседству стали строить баррикады.

Улицы опустели. На них было небезопасно соваться. Бледные ряды зданий в крышах, подъездах и чердаках стояли как отсутствующие, точно пространство отступилось от них и повернулось к ним спиною.

Что делалось при этом с воздухом! Это заслуживает особого описания. Весь он, с земли до неба, был приобщен к восстанью и весь, морозный, высокий и безлюдный, вертелся и гудел, как медный волчок, до смерти закруженный выстрелами и взрывами. Они уже не воспринимались раздельно. Оглушенное небо было сплошь пропитано их колебаньем. Слуха достигало другое. Назойливое комариное зуденье, усыпительное чоканье и тихое шелестенье...

Пулей пробило форточку в домашней лаборатории Александра Александровича. Пройдя сквозь стену, она сколупнула кусок штукатурки с потолка в его кабинете. Нас держали взаперти и экономили керосин и дрова, потому что их не запасли и они были на исходе. В эти дни случилось несчастье с Анной Губертовной.

В ноябре, между обеими забастовками, любитель старины Александр Александрович купил где-то по случаю чудовищных размеров гардероб, величиной с екатерининскую выездную колымагу. Человек в пальто, доставивший эту вещь на ломовике, внес ее по частям в зал. Возник вопрос, где ее собирать и ставить. Анна Губертовна была в отчаянье от покупки. Комнаты ломались от мебели. В них негде было повернуться.

Дело было к ночи. Ломовик просил отпустить его. Человеку в пальто не хотелось возвращаться пешком по морозу. Он не торопил Анну Губертовну, но и не снимал пальто. Это ее нервировало.

Второпях, за невозможностью выбрать место получше, решили гардероб временно оставить в зале как самой просторной комнате дома, где он и был в пять минут без шума собран искусником в пальто, который безмолвно затем откланялся, как артист, исполнивший на большом вечере свой коротенький номер. «Смерть это моя, а не шқап», — вздыхала Анна Губертовна, когда проходила мимо него из своей угловушки. Он мозолил всем глаза. Я тоже его возненавидел.

Одиннадцатого вечером, доставая с пыльного его верха какой-то узел с теплыми вещами, Анна Губертовна ступила в темноте на борт выдвинутого ящика, ухватилась за край развершки и, потеряв равновесие, упала, усложнив падение тем, что, балансируя, повернулась вперед всем корпусом. Она так больно расшибла коленку, что в первые минуты лишилась сознания.

Двенадцатого в перестрелке наступило затишье. Пользуясь им, в ближайшей окрестности разыскали и с трудом уговорили прийти врача не по специальности. Хотя он и не установил перелома, но допускал возможность костной трещины и велел прикладывать лед.

С этой вылазки Глафира Никитична явилась победительницей, полная гордого достоинства. Все ее расспрашивали о виденном, но ровням она отвечала неохотно, а в спальне рассказала, что Скотники и прилегающие переулки перегорожены пустыми баррикатами. Народ с них ушел и засел в Верхнем Копытниковском, но к ночи фабричные беспрерывно спустятся и устроят страженье на площади.

Александр Александрович посылал ее за льдом и просил не утомлять больной таким вздором, потому что члены боевых дружин не такие дураки, чтобы укрепляться в яме, по которой можно стрелять отовсюду сверху. Глаша обижалась и надувала губы. Нас на несколько минут выпустили во двор.

Состояние, царившее на нем, в обычное время называется тишиной. Однако в те минуты оно казалось лишенным имени и необъяснимым. Воздух, который столько дней подряд дырявили плеточные щелчки выстрелов, поражал нетронутостью и благодаря заре и сумеркам был румян и гладок, как кожа у девушки.

В этой тишине и раздался вдруг негромкий разговор, слышный от слова до слова. Ерофей, старый наш дворник,

завел его, может быть, нарочно для нас. Он беседовал с Мухрыгиным за углом дома, в воротном проходе. Край стены скрывал их от нас.

— В трицу веровать не диво, — говорил Ерофей, — так уж люди родятся. Да ино вещь делом, ино языком. Эли запускать поглыбже, так сейчас встрелись семик и антисемик, какие за весну народного освобождения, а какому наплевать. И верно про тебя господа сказали — антисемик, как ты хоша и богомольный, ну выходишь супротивник семика. Жисти ты настоящей не знаешь, живешь без проветру в каменном помещенье, как мокрая склизь или какая-нибудь древесная губа, и тута и кашель твой, и табак, и запой, а дворник завсегда находящийся на вольном воздухе, и от этого польза уму и грудям.

Среди ночи я проснулся.

— Вставай, мы горим! — кричала в дверь Тоня, одеваясь.

— Тише, дом подымешь. Это костры. У нас отходники качают. Слышишь, какая вонь?

И я тотчас захрапел, но через несколько минут снова проснулся.

Весь дом был на ногах. Внизу хлопали дверьми. Стрельба в городе возобновилась с неиспытанной силой. Верно, это были пушки. Тоня, растолкавшая меня на этот раз, стояла надо мной одевшись.

— Выйди на минутку, — сказал я ей.

Накинув одеяло, я вскочил на подоконник и распахнул форточку. Меня обдало прежним зловоньем, но раз ощутив его, я больше не стал его слышать. Его очистила дикая тревога, исходившая от зрелища.

Небо лопалось и дышало огнем и гулом орудий. Его опоясывали зарева нескольких пожаров. Один полыхал где-то поблизости. Неразличимые голоса сталкивались в темноте, бежали друг за другом, друг друга обгоняя. Кто-то кого-то звал, куда-то посылал, что-то приказывал. Срывая дома с оснований, по переулку проскакала кавалерия. Языки пламени дернулись в ту сторону. Все смолкло.

Я не заметил, как оделся. Вверх по лестнице прогремели шаги Александра Александровича. С никогда не слышанной зычностью он звал нас вниз со средней площадки.

Услышав наш ответ и еще раз в нем уверясь, он с грохотом сбежал с лестницы.

Мы собрались в столовой все в верхнем, чтобы быть наготове, если придется идти из дому. Суконные гардины на окнах задернули пола за полу, свечку на обеденном столе заставили стойком поставленной книгой.

Анна Губертовна в накинутой на плечи ротонде лежала на диване, закатив по своей привычке глаза под опущенные веки. Из-под ресниц просвечивали полоски белков. Тоня бросилась целовать ее. Покусывая губы, она высвободила руку из ротонды и, кривясь от слез, стала с прерывистым шепотом крестить себя, и дочку, и стены собравшей нас столовой.

Вдруг в дверь заглянул бледный, как смерть, Ерофей и позвал Александра Александровича. Оба были слишком озабоченны, чтобы заниматься мною. Пользуясь замешательством, я выбежал за ними.

Каждое утро выходил я отсюда при огне, на исходе синей зимней ночи. По гимназической привычке показалось мне, что светает. С улицы стучали в ворота. Они трещали. Их высаживали силой.

— Сбежать бы на парадное, посмотреть — кто, отпирать ли.

Не успел Александр Александрович договорить, как во двор вбежало человек пять-шесть вооруженных, кто в ватном пальто, кто в полушубке.

— Кто хозяин? — спросила порт-артурская косматая папаха.

— Я, — отвечал Александр Александрович.

— Можно спрятаться?

— О, конечно! Прячьтесь, господа. Можно в сарай. Можно в дом. Ерофей, ключи! Впрочем, уж не знаю, как... В доме больные...

Дружинники переглянулись. Десятник в папаче, а за ним и другие стали осматриваться.

— Что за забором? — спросил десятник.

— Глухой соседский сад.

— А сзади?

— Пустырь со свалками.

— А дальше?

— Система переулков с выходом на Долгоруковскую.

— Прятаться не будем? — полувопросом, полуутвердительно предложил старший.

— Нет, — отвечали остальные. — Двор невелик и стоять не велит.

Все рассмеялись.

— Правильно. Айда, товарищи, — сказал старший, и все бросились к забору.

— Лестницу, Ерофей! — крикнул Александр Александрович.

Но все до одного уже были по ту сторону.

Прошло несколько минут.

— А мороз-то злющий, — сказал Александр Александрович и зевнул.

— Как есть злющий. Так точно.

— Ты, Ерофей, смотри. Длинный у тебя язык.

— Что вы? Глыбше могилы... Лестницу прикажете убраться?

— Да. Давай вместе снесем. Фу-ты, следов сколько, затоптать бы.

Этим и занялись, когда заперли в сарай лестницу.

— Заходи от забора. Опять ты задом, дуралей! — кричал Александр Александрович. — Я ведь тебе сказал как, а ты все норовишь по-своему. Надо, чтобы от нас шли следы, а не к нам.

В это время переулочек огласился тем же топотом, что я слышал, проснувшись. По легкости разбега отряд должен был пролететь дальше. Вдруг он остановился. Лошадей осадили у нашего дома. Они стали, скользя и разъезжаясь.

Послышался шум прыжков, шаги и бряцанье. Ерофей спрятался за сараем. Александр Александрович вбежал на крыльцо и стал в дверной коробке. На середку двора, освещенную заревом, вышли несколько спешенных казаков.

Ремни и винтовки за плечами кургузили их. Все казались окривевшими от водки, мороза и недосыпу. Им было скользко в сапогах. Кавалерийская походка их сутулила.

— Дубровин, пятерых к забору! — орал хорунжий. — Онисименко, я сказал — дворника! Ах, вот он, каналья! Кому служишь, мать твою в пята? Приказ градоначальника знаешь? Отчего ворота расстегашкой? Отчего, я спрашиваю, ворота, — хлясь, хлясь, — я тебя научу, — хлясь, хлясь, — отвечать, вихлозадый черт. Иметь наблюдение. Очухается — допрошу. Ничего не понимаю, рапортуй толком, Дубровин. Следы? Какие следы? А, следы на снегу!

Тут он оглянулся и забыл об ефрейторе. Он отскочил в сторону и выхватил револьвер.

— Застрелю! Ни с места! — закричал он. — Подымите руки! Кто вы такой, милостивый государь?

— За что вы дворника бьете? — тихо, с дрожью в голосе спросил Александр Александрович.

— Прошу меня не учить. После девяти запрещено выходить на улицу. На каком основании вы здесь и кто вы сами?

— Я владелец дома и должен вам сообщить что-то важное. Но вперед велите обыскать меня. Я не могу отвечать под дулом револьвера. У меня затекают руки.

— Фамилия?

— Громеко.

— Не слыхал. Так вы хозяин? Тем хуже. Вас придется привлечь к ответственности по всей строгости закона. Вы приказ градоначальника читали? А знаете ли вы, в каком виде у вас наружные ворота? Вот видите. Ну нельзя же так, нельзя же так, молодой человек. Вы только рот раскрыли, и ваше первое слово — дворник. А знаете ли вы его? Готовы ли за него поручиться? Да и только ли это? Отчего в доме не спят? На душе беспокойно? Это курьезно. Отчего же у вас беспокойно на душе? Ну хорошо-с. Оружие есть?

— Нету.

— Вы дворянин?

— Да.

— Можете опустить руки.

— Мерси, — машинально пробормотал Александр Александрович и, спускаясь со ступеньки на ступеньку, сошел с крыльца на землю.

— В доме спали, — начал он. — Ворота были на запре. Вдруг переполох. Бужу дворника. На дворе несколько вооруженных. Рабочие.

— Какие это рабочие? Надо называть вещи своими именами. Это воры, висельники, хамово племя.

— Ну да. Несколько этих... висельников. — Александр Александрович замялся. — Вижу, они с Долгоруковской пробрались соседними владеньями и рубят ворота, пребываясь в переулок. Удивляюсь, как вы с ними не столкнулись. Это было назад минут пять, десять. Значит, они кинулись в Скотники.

— А скажите, откуда эти дни не постреливали? С соседних садов. Не замечали?

— Нет. Там все спокойно.

— Так-с, так-с. Вы ответите, если это неправда. Вольно, Дубровин. Ты докладывал — следы. Пойдем, покажи. До свиданья, милостивый государь. Помните, чем вы рискуете. Я охраны не выставлю, но вас везде найти сумею.

Они удалились. В темной глубине двора раздались слова команды. Было слышно, как построились казаки и стройно, стройнее, чем входили, вышли на улицу. Отряду скомандовали в седла. Лошадей тронули и с нескольких шагов перешли в галоп. Беспмятный скок, слышанный мною ночью и как раз возле нас так страшно пресекавшийся, возобновился с прежней гладкостью и стал стихать и замер. Все скрылось, как прерванное сновиденье.

На крыльце стояли Глаша с Тоней и дергали меня за рукав.

— Сейчас. Отвяжитесь, — отмахивался я, но уже сам все им рассказывал.

Но Александр Александрович не мог вымолвить ни слова. Невольное унижение не давало ему покоя. У него дрожали губы. Он что-то с трудом в себе перевозмогал.

Как только отряд тронулся, он подошел к Ерофею. Но тот и сам поднялся без труда. Обморок его был наполовину притворен. У него слегка подбит был глаз, и на скуле кровавилась небольшая ссадинка с содранной кожей. Нас отправили по кроватям, и, странно, мы тотчас заснули.

Я встал поздно. Занавеска, как в варенье, вымокала в гранатовом соку заката. Спросонья мне показалось, что весна. Со двора неслись влажные, чавкающие звуки. Проваливаясь в мокрый снег, по нему что-то тащили. Была оттепель. Убирали остатки ночного обстрела. И по-прежнему воняло тепло и тошнотворно.

Я все вспомнил. Но в такой час вставал я впервые. Это чувство было ново. Оно затмевало ночные воспоминанья. Знакомство с ним так мне понравилось, что я решил искать случая встать еще раз в такое время.

У Анны Губертовны обнаружили воспаление коленного сустава. Она плохо спала и стонала ночами. Если бы я

устерег такую минуту и спустился к ней за сиделку, я заработал бы это право. Но я эти возможности безбожно просыпал.

Я не помню, каким для этого воспользовался предложением. Восстание кончилось. Все полно было сознанием его крушения и слухами о расправе. Рассказывали об изуверстве семеновцев и наглости уличных казачьих пикетов. Начались выезды военно-полевых судов.

Александр Александрович ходил сам не свой. Сверх общих огорчений его удручало состояние больной. Чтобы сделать ей приятное, он в первый выход в город, когда открыли магазины, купил ей синих и белых гиацинтов, несколько кустов цинерарий и три горшка лакфиоля. Когда вслед за остальными цветами лакфиоль внесли в спальню, она раскапризничалась. Оказалось, лакфиоля она не любит. Непамятливость мужа ее обидела. Лакфиоль поставили в столовой.

Я проснулся в шестом часу вечера. Как и в первый раз, неведомо как без меня прошедший день был весь позади. Пока я одевался, сгущался сумрак, похожий на облако дорожной пыли, поднятой его отбытием. С непобедимой грустью смотрел я на бордовый глазок заката, как на кондукторский фонарь в хвосте отошедшего поезда. И так же болела голова.

Я спустился в столовую. Там спиной ко мне стояла Глафира Никитична, чем-то занятая. Она только что полила цветы и расправляла подвернутые края лиловой обертки. Я спросил чаю. «Сейчас», — ответила она, наблюдая, как натекает вода в поддонники, чтобы подтереть, если перельется.

Из спальни от Анны Губертовны вышла массажистка. Ей должны были сегодня отказать. Вчера новый доктор пришел в ужас, узнав, что целую неделю материю разгоняли по всему телу. Глафира Никитична пошла провожать ее.

В это время позвонили с улицы. «Ну вот. Теперь она про чай забудет...» — подумал я и подошел к горке с лакфиолем.

Вдруг в гостиную рядом вихрем ворвался дядя Федя. По каким-то признакам я узнал его. Он нервно прошелся по коврам из угла в угол. Александр Александрович вышел к нему. Разговаривая, они вошли в столовую.

Дядя Федя был в страшном возбуждении. Слова рвались из него с такой силою, что он заплевывал бороду и мычал, утирая губы платком, чтобы не потерять ни минуты в безгласности.

— Ты знаешь, Саша, как я люблю тебя, — говорил он. — Но вы чудовищные люди. Кажется, свет перевернись, а вы будете развлекаться массажами и воздвигать комнатные растения. Приготовься к самому страшному. Где сестра твоя Оля?

— Если ты что-нибудь знаешь, то говори прямо.

— Нет, вперед ты. Вспомнил ли ты ее хоть раз? Догадался ли подумать?

— Я разыскиваю ее третий день. И пока — безрезультатно. Но это в порядке вещей и меня не смущает. Потому что, согласишься, на другой день после подавления при нынешних условиях отыскать ее — это, понимаешь ли, не лапоть сплести.

— Лапти! Условья! Не то ищешь! Не там ищешь! Тело надо!.. В приемных покоях!.. В анатомическом...

Но Александр Александрович уже держал его за руку выше кисти.

— Остановись! — крикнул он. — Что с ней?

— Она убита.

— Откуда ты знаешь?

— Чувство подсказало.

— Но... ты его проверил?

— Я был два раза у общих знакомых. О ней ни слуху ни духу.

— Свинья же ты после этого, типун тебе на язык! Спасибо за сведенье и... участие... Все равно, с дубу ли, с ветру ль, лишь бы шум и эффект. Во сне ли там приснилось или под шелудьями завелось, он тут как тут. «Чувство подсказало».

— Постой, Саша, не горячись. В таком случае что же... Я не жалею, что пришел. Я рад. Ты меня успокоил. Мне сообщилась твоя вера.

— И это в такое время, когда я буквально изнемогаю... Ньюта хворает...

— А, это коленка? Бог даст, обойдется.

— Ну конечно. В особенности твоими молитвами. К сожалению, я естественник. Существо и опасность септических процессов мне известны... И вместо того, чтобы помочь мне, когда я буквально разрываюсь...

Его напоили чаем. Он сходил в спальню проведать больную. Потом стал прощаться. Уходя, он сказал:

— Я догадываюсь, зачем у вас цветы. Но никакими тут кактусами и рододендронами не поможешь. Не заглушают. Перешибает смрад. Откуда такое?

— Это двенадцатого ночью у Жогловых снарядом колодец разворотило. Выгребной, ты понимаешь?

Через два дня Ольга Васильевна отыскалась.





6. ДОМ С ГАЛЕРЕЯМИ

Надо описать нашу последнюю встречу. Александр Александрович взял меня с собой. Мы наняли извозчика. Никогда в жизни нас не везли так далеко и долго. Это было у черта на куличках, где-то в другом конце Москвы.

Положение об усиленной охране еще не было снято. Пока мы ехали нашими краями, нам попадались следы недавних разрушений.

На углу Расторгуева переулка показывали насквозь прогоревший дом с провалившимися полами и обрушившейся лестницей. От нее оставались одни перила. Скрутившись от жара, они висели в воздухе мотками железного серпантина.

Несколько дальше стоял трехэтажный дом с выдавав-

шимися над тротуаром углами верхних этажей. Дому недоставало ворот. По стенам чернели четырехугольные следы сорванных вывесок. Из земли торчали круги спиленных телеграфных столбов. Видно, здесь залегали дружинники, и я вспомнил. На одной из баррикад, рассказывали, смерть следовала за смертью от таинственных выстрелов без видимого противника, пока не догадались выследить их происхождение.

Их производили из такого же, как эти каменные выступы, фонаря. В квартире жил скотопромышленник, член союза Михаила Архангела. Стрелял его сын, новопроизведенный прапорщик. Обоих отвели в революционный штаб, помещавшийся где-то поблизости. Может быть, здесь это все и происходило.

Два раза попались нам казачьи разъезды, патрулировавшие по городу.

— То-то осмелели, — сказал извозчик и смолк.

Александр Александрович ничего не ответил.

У въезда в Леонтьевский солдаты в поисках оружия с головы до ног охлопывали прохожих, а выезд из Газетного преграждали конные жандармы, и лошади под ними ходили боком, скача от тротуаров к середине мостовой между идущими и едущими. Тут и там нас пропустили не глядя.

Дозоры и заставы возобновлялись у вокзалов. Остановившись по требованию жандарма, подскакавшего на лошади, мы подслушали разговор между четою в соседних санях и другим конным, их остановившим.

— Не задерживайте извозчика. Мы опоздаем к поезду, — возмущалась дама. — Покажи им паспорт, что за наказанье...

— Вы за границу? — спросил жандарм, нагибаясь с седла и зажигая спичку за спичкой.

Мы тронулись дальше. Но и их пропустили. Оглянувшись, я увидел, как их извозчик стоя нахлестывал к Николаевскому.

— Какая же с этих вокзалов «заграница»? — изумился я.

— Сколько угодно, — отвечал Александр Александрович. — Во-первых, Финляндия. Морем из Петербурга. Кроме того, через Тосно или Режицу. А с Ярославского — так даже и в Америку.

Наконец мы приехали. Я потом таких домов больше не

видел. Скользящая лестница с сильным капустным кваском пролежала крытою холодною галереей. На нее выходили окна и двери квартир, по три, по четыре на ярус. К наружной стене жались кладовки и нужники. Первые были под висячими замками, вторые с деревянными завертками на гвоздиках.

Квартира за требующимся номером оказалась в третьем этаже налево. На медной, ввинченной в протесьменную клеенку дощечке без дальнего значилось «Вязлова» и больше ничего: ни буквенных инициалов, ни звания.

Я знал, что в квартире помещаются частные курсы, на которых готовят во все классы гимназии, в юнкерские училища и прочая, и удивился, что снаружи нет об этом объявления.

Не найдя звонка, Александр Александрович стал дубасить в дверь кулаком, но удары получались слабые. Их глушили войлочные подушки обивки.

Невдалеке стояла кадка с питьевой водой под немного сдвинутою крышкой. Вода была, наверное, на самом дне, а нутро кадки стягивал лед в несколько пустых, насквозь проломанных пластов. На краю верхнего, с лучеобразно рассачивающимися трещинами, стояла цинковая кружка.

Наконец нам отперли. Сухая старушка с часиками на черном шнурке молча пропустила нас вперед, ни о чем не спрашивая. Потом я узнал, что это сама Вязлова.

— Виноват, — сказал Александр Александрович. — Мы к Левицкой. Если не ошибаюсь, она у вас. Как к ней пройти?

К концу его слов Вязлова очутилась у него под самым подбородком.

— Пожалуйста. Она отдыхает, — сказала она, подняв голову и снизу заглядывая ему в глаза.

Из темной передней, куда мы за ней последовали, мне представилось зрелище, по тихой выразительности похожее на писаную картину. Громеко с Вязловой прошли дальше, я же остановился как вкопанный.

Передо мною было три комнаты. В средней, наверное, занимались. Дверь в нее была закрыта. Из нее доносились голоса, сменявшиеся в порядке, не похожем на разумную беседу.

В обеих боковых горели висячие лампы, и вполголоса, чтобы не помешать занимающимся, сидя и стоя переговаривались бедно и скромно одетые люди. Разговоры были не общие. Их вели парами и по трое по разным углам. Потом я узнал, что большинство — учащиеся других групп, ожидавшиеся очереди в среднюю комнату.

В квартире стоял тяжкий, настоянный на нужде и стесненье, кроватно-тюфячный запах. Вдруг я ощутил зуд в висках. Потом за ушами. Скоро у меня зачесалось запястье. Здесь было много клопов.

В комнате слева народу было меньше. С помощью комода и умывальника, скрытых откидным пологом, в ней отгорожен был угол. В проеме полога, как у входа в палатку, стоял угрюмого вида молодой человек. На нем была грубая рубашка с шитым воротом. Косясь за драпировку, он кого-то слушал. Судя по взглядам, которые он бросал за плечо, товарищ его лежал, не отпуская его от себя и в чем-то урезонивая. Молодой человек закашлялся, махнул на товарища рукой и вышел из-за полога в комнату. Мужская рука сунулась за ним вдогонку, но не поймала. Он пересек комнату и чуть не столкнулся со мной в дверях.

Справа вышла Вязлова. Она подошла к нему вплотную.

— Скоро вам, Нелль? — сказала она. — Митя кончает. Сейчас телеграфисты меня чуть до хрипоты не довели. Уверяют, будто при округе требуются сложные проценты. Точно я сейчас родилась и никогда программ не видала, а я любую назубок скажу. Например, в кадетских...

— Дайте мне ячменного сахару, и ну вас к черту с вашими корпусами, — сказал молодой человек и закашлялся.

— Как вы переменялись, — вздохнула Вязлова. — С тех пор, как вы повернулись к Леле спиной...

— Мамочка, какие выражения. Ноги меня не держат, ей-богу, так вы меня пронзили. Вон Петька валяется, если у вас язык чешется. Это почва поблагодарней.

Вязлова пожала плечами и отвернулась. Тут она меня заметила.

— Ах, вот он, малютка! — воскликнула она, впадая в тот же насмешливый тон. — А мы думали, вы в пути зате-

рялись. Что же вы в передней топчетесь, юный классик? Ступайте за мной, там ваши старшие.

Миновав правую боковую комнату, мы вошли в крошечную спальню.

Комната освещалась с потолка цветным фонарем. Александр Александрович сидел в темноте. Золотистый свет падал решетчатым кружком на Олино лицо и платье. Она поражала худобой, лихорадочной говорливостью и утомительностью поз, которые принимала, лежа на незастланной кровати.

— Как, и Патрик тут? Что ж ты мне, Саша, не сказал? — упрекнула она Громеко и, соскочив с постели, меня расцеловала.

Наступило молчание. Продолжению разговора мешало присутствие Вязловой. Когда она вышла, Оля его возобновила.

— Накануне вечером Фидлер, директор, при мне просит к телефону генерала Руднева. Ради бога, говорит, что вы делаете, ведь это дети, это просто безбожно. Потому что половина были его ученики, реалисты старших классов. Ты себе представляешь, Сашенька, волнение? Там такая мраморная лестница с золотыми досками медалистов. Типичный институтский вестибюль. Ее забаррикадировали скамьями и классными досками. Так и провели всю ночь. На рассвете нам дают слово, что сдавшихся не тронут, и мы всей ватагой из училища. Но это обещал ротмистр осаждавшей части, кажется, Рахманинов или Рахманов. А тем временем, как мы в Мыльников, из Машкова откуда ни возьмись другая. Рахманов кричит — стой-стой, потому что он поручился честью, ему стыдно, а тем хоть кол теши на голове, и ну рубить. Господи, твоя воля, что тут сделалось! Кругом темным-темно, на уме одно — поскорей бы в подворотню, а рядом валяются, у кого ухо отсечено, кому отхватили пальцы. А крики... А стоны... Ротмистр, кричу, так вот оно, ваше честное слово? А что он может сделать, когда его не слушают... Но ведь перед тем, что дальше было, Фидлер — капля в море.

Она спустила ноги с кровати и рассеянно это повторила. По звуку ее голоса я догадался, что она думает о чем-то другом и каждую минуту может расплакаться. Она встала и прошлась по комнате. На каждом шагу она на что-нибудь натыкалась. От круженья на одном месте юбка стала хлестать ее по ногам. Вдруг она остановилась и

закрыла глаза. Содроганье прошло по ней, точно ее знобило.

— Нет, нет и нет, — сказала она, словно очнувшись от сна, — вон из этого клоповника. Завтра же куда-нибудь перееду. Посадят — подумаешь, какая важность. По крайней мере хоть выплюсь. У вас не искали?

— Нет покамест.

— А в Спасопесковский наведывались.

— Да купи ты себе, дура ты этакая, персидского порошку и будешь спать как убитая.

Снова наступило молчание. Александр Александрович посмотрел на часы и, крикнув, стал подыматься.

— Ты куда это? — встрепенулась Оля. — И не думай. С семи до девяти перерыв, можно будет уединиться. Оставайтесь, прошу вас. Петя тоже не спит. Хочешь, я позову его. Вы с ним еще не видались? Послушай, будь с ним повнимательней, у него ужасное горе. Мы от него скрываем, но он догадывается. По Казанской прошла карательная экспедиция, ты слыхал? Волосы встают дыбом, какие душегубства. А в Люберцах у него родные.

Оля не выдержала и, упав лицом в подушки, зарыдала. Прошло несколько минут. Послышался храп со свистящими переливами. Мы переглянулись. Оля спала, разинув рот; ничком и наискось поперек кровати.

Как мы провели следующие час или полтора, не помню. В их исходе мы очутились в комнате рядом с той самой, что располагалась вправо от меня, пока я был в передней.

Ученики разошлись. Наступил перерыв, о котором говорила Оля. За столом сидело человек пять-шесть народу — сын Вязловой Дмитрий Дмитриевич, студент-путеец; желчный молодой человек Анемподист Дудоров; Петр Терентьев, которого я видел впервые, да еще два-три студента университета. Нас перезнакомили.

— Сперва все шло хорошо, — рассказывал Терентьев. — У полиции хлопот по горло. Их еще не хватились. Но только добираются до деревни, мужички их чуть ли не в колья. Вот вы как, говорят. Фабрику у себя сожгли, нас пришли бунтовать? И грозятся собрать сход. Еле унесли ноги.

— Ничего удивительного. Это в порядке вещей, — сказал Дудоров.

Все на него накинудись.

— Что ты рисуешься? — возмутился Вязлов. — Объясни ты мне, пожалуйста, эту бессмыслицу. Ты совсем не то, чем прикидываешься. Никуда ты из Москвы не выезжал, видели тебя на баррикадах. Тогда к чему ломанье?

— Глупости. Не могли меня видеть, я под Муромом охотился. Это какой-нибудь двойник.

После долгих споров он признался, что не устоял против искушения и действительно дрался в районе Мещанских, но особняком и только за свой страх.

Тут я узнал, что он из княжеского рода Дудоровых, несмотря на молодость, отбыл три года административной ссылки, но теперь отошел от привычного круга и к теоретическому марксизму охладел совершенно. С родными он давно порвал и жил бедно и одиноко, принятый обратно в университет по чьей-то сильной протекции. Он что-то переводил и пописывал, но еще без того имени, которое составил себе позднее, а сюда ходил преподавать языки и историю, выслушивать нападки бывлых товарищей и на них огрызаться. Здесь не могли ему в особенности простить разрыва с одной девушкой этого круга.

Терентьев развивал две излюбленные мысли. Что по своей молодости пролетариат у нас еще неотделим от крестьянства и что индустриальный рабочий является носителем новой, грядущей культуры. В защиту этой мысли приводил он следующие соображения. Природа и законы природы для современной интеллигенции — две разные вещи. Первое — предмет праздного любования, второе — пища для сухого и бесстрастного изучения. Для рабочего же это одно. Он и за формулами не забывает того, что это законы именно природы, а не чего-нибудь другого, той самой производящей земной природы, которая в грубом упрощении есть его родная деревня, но на этот раз в ее всеобщности, с целую подлунную, во вселенском, так сказать, ее размахе. Потому что физические устои мира открываются ему за работой, в той первичности, как его бабке сроки и особенности коровьего отела. Для этой мысли находил он свои слова, смелые и яркие. Но вдруг профессиональная дидактика завладевала им, и, забывая про то дорогое, живущее и меняющееся, что было в этой мысли, он терял ее нить и принимался за доказательство доказанного и вытверживание общеизвестного. Делал он это книжно, по-заученному и совсем не к месту, потому что кругом

на этом собаку съели и повторять это в этой компании было все равно что яйцам учить курицу.

— Всмотримся пристально в процесс, — говорил он, — что мы имеем. В ходе обнищания деревни крестьянский сын прощается с домом и в геометрической прогрессии отливает в города. Погодите, Варвара Ивановна. С другой стороны, в потребности рабочих рук промышленность все щедрее и щедрее черпает из этого резервуара. Но обратимся к нашему бездомному скитальцу, где мы его оставили, что мы увидим? В ходе развития промышленности представленный к котлам, охладительным змеевикам и аккумуляторам, он мало-помалу подыметя по железной лестнице на такую площадку, где с него с неизбежностью спросятя начатки механики, знание электричества и бойкое, не сходя с места, умозаключение. Знакомство с машиной откроет перед ним заветные страницы физики. Вот вы говорите, природа. Это, грубо говоря, молоко, грибы и ягоды в березовой роще, летний отдых в тенистой усадьбе. А потом вы говорите, законы природы. Это, грубо говоря, тихие своды университета, приборы, зимние теоретические выкладки. А он и над магнитным полем гнетяся, как над паровым перед распахкой под озимь. Потому что для него это одно...

Тут и следовала мысль, которую он выражал так самостоятельно и не избито. Дальше возвращались очевидности.

— Теперь последуем, однако, за ним по этой лесенке, где мы его оставили, и посмотрим вниз через перила, что мы увидим? Дамы-благотворительницы между собой стараются, как бы елку ему устроить и общество трезвости, и дай им волю — первой грамоте будут учить или, чего доброго, соску купят или погремушку. Но вот он руки обпаклю, а потом обблузу — и с этой лесенки прямо к ним вниз. Вот хомут и дуга, больше я вам не слуга.

— Да ты меня не агитируй, — говорил Дудоров. — Торжества революции я жду нетерпеливей всех вас. Сто лет как ее у нас готовят. Лучшие силы России ушли на эту подготовку, и в нравственном плане она даже уже будто когда-то была. Однако платонизм тут не уместен. Ее надо увидеть своими глазами. Еще лет десять оттяжки, и мы задохнемся. Погоди улыбаться. И, конечно, она придет. На первых порах это будет именно то, о чем мы так много говорим. Освобождение от самодержавия, от

уродств капиталистической эксплуатации. Но придет наконец и настоящая свобода. Освободится время, отданное несколькими поколениями ей, ее обсуждению, жизни и гибели за нее, освободятся мысли и силы. А согласись, за свои вековые жертвы Россия это заслужила... Только ли огорошивать ей и ошарашивать. А вдруг дано ей выдумать что-нибудь непредвосхитимо непритязательное, просиять, улыбнуться...

Его перебили в самом интересном месте. С галереи позвонили. «Звонок, — сказал Вязлов. — Петька, мотай на ус, потом ответим». И вышел отпирать. Вернувшись, он наклонился сзади к Терентьеву и шепнул ему что-то на ухо. Оба посмотрели на Дудорова и вышли. Тот тоже поднялся, смутился и в нерешительности затоптался на месте.

— Оставайтесь тут, — приказала Вязлова. — Они у Мити переговорят. Незачем вам встречаться.

Минут через пятнадцать послышались шаги и голоса у самого входа в столовую, но, минуя ее, удалились через переднюю и кухню наружу.

В столовую быстро вошел Терентьев. Он сиял и спешил к Оле.

— Митя провожать пошел, Варвара Ивановна, — сказал он на ходу.

В эту минуту сама Оля вышла из спальни, красная и заспанная. Она взглянула на его глаза и губы и как бы прочла новость, рвавшуюся с его языка.

— Леля Осипович? — воскликнула она и сделала такое движение, точно собиралась вцепиться в ответ руками.

— Да. Большая радость. Папаша и все домашние живы, здоровы и невредимы. Она прямо от них, минуту б раньше сама расспросила. Папаша, — продолжал он, обращаясь ко всем и в особенности к Александру Александровичу, — оказывается, об нас расстраивались. Этим и избыли беду. А то ведь там... язык прилипает, что было... И попадись он им под горячую руку... не знаю, чем от мысли зачураться. Но они еще раньше расстроились. Мамашу с сестрой спрятали в матушкиной семье, Бронницкий уезд, дальняя волость. А сами пешком в Москву за справками. Оттого и дом пустой, ни души, а мы-то напугались.

Оля слушала и смотрела на него. Он кончил и все сиял.

Какая-то радость, еще одна, была у него про запас для нее, тайная, неизрасходованная. И вот, забыв правила не то что конспирации, а просто-напросто благоразумия (чтобы не сказать — приличия), Оля на минуту задумалась...

— Паспорта принесли? — с тем же движением вскричала она, и все поднялись, замахали на нее и зашикали.

— Ну что ты с ней поделаешь, — сказал Терентьев, по-прежнему обращаясь к Александру Александровичу.

1936





ГЕНРИХ КЛЕЙСТ

Издательство «Советский писатель» поместило в сборнике моих переводов драму Клейста, другое выпустило его комедию. Представляется не лишним сказать о нем несколько слов.

Генрих фон Клейст один из интереснейших немецких писателей прошлого века. Круг его тем не так широк и безусловен, как мир Шиллера, Гёте и Гейне, отчего он и не идет с ними в сравнение. Но все написанное им запечатлено чертами силы и исключительности, которые ставят его на первое место вслед за названными.

Клейста отличает степень вещественности, необычная в немецкой литературе, и скупое богатство горячего, яркого и самобытного языка. Он оставил восемь драм и

столько же рассказов. Это единственные в своем роде изображения человеческих аффектов, в особенности инстинкта справедливости в его слепой первооснове, когда под влиянием обид и пробужденной мстительности этот благодетельный задаток превращается в источник столь же безотчетных злодейств и преступлений. Читая у Клейста описание поджогов и убийств, совершенных из высоких побуждений, нельзя отделаться от ощущения, что Пушкин мог знать Клейста, когда писал Дубровского.

Клейста напрасно причисляют к романтикам. Несмотря на общность времени и дружбу с некоторыми из них, их разделяет пропасть. В противоположность любительству, которым они гордились, и бесформенному фрагментаризму — цели их стремлений — Клейст всю жизнь боролся с недоучкой и ничтожеством, которых в себе подзревал, и хотя не все созданное им одинаково совершенно, все оно проникнуто угрюмою нешуточностью гения, не знавшего покоя и удовлетворения.

Он родился 18 октября 1777 года во Франкфурте на Одере. Принадлежность к старинной семье Клейстов с колыбели предназначала его к военному поприщу. Пятнадцати лет от роду он поступил рядовым в гвардию, а восемнадцати принял участие в рейнском походе против революционной Франции. Когда он вернулся домой, родителей уже не было в живых. Два года он прослужил в потсдамском гарнизоне.

Наступило новое время. Его вдохновителем, а потом и жертвой был Наполеон, вездесущее, волшебное и вскоре ненавистное имя. Среди ежедневных перемен, которым подвергались границы государств, нравы, наряды и понятия, в среднем сословии обособилось новое общественное деление, ради которого в декларацию прав заносились статьи о свободе личности и которое нигилисты в Петербурге прозвали в шестидесятых годах интеллигенцией. Шиллер учил о царстве эстетических идей. Девятнадцатый век был здесь уже как на ладони со всем своим будущим словарем. С легкой руки Фихте появилось выражение «выработка своего я», означавшее гуманитарное образование. Педагогическая горячка закружила Клейста. Он записался в студенты Франкфуртского университета.

Этот шаг уронил его в глазах родни и обязал к пожизненным оправданиям перед высшим судилищем, каким

оставался для него старый дом Клейстов близ набережной, будущее помещение почтовой конторы. Клейст вообразил, что, только удивив мир и совершив нечто неслыханное, он сможет снова подняться в их мнении. Это обострило до болезненности его самолюбие и наложило на его труды отпечаток гиперболизма и насильственности.

Восприимчивость, граничащая с медиумизмом, испестрила его жизнь знаками всего, что его окружало. В его сочинениях попадаются следы непретворенного шлегелевского Шекспира, заблуждения времени и его сенсации. «История отпадения Нидерландов» снабдила его онемеченной фламандщиной для «Разбитого кувшина», южноамериканское путешествие Александра Гумбольдта — повествовательной экзотикой, которая не резала бы уха и казалась бы национально привычною. В те дни Кант был не только событием мыслящего мира, но и гордостью Восточной Пруссии. Подверженность современным веяниям засадила Клейста за математику и нравственную философию.

Чтобы сократить испытание и приблизить торжество над родственниками, он решил с первых шагов студенчества практиковаться в будущем профессорстве, заказал столяру кафедру и стал читать повторительные курсы слышанного небольшому дамскому обществу из знакомого офицерского круга. Главными посетительницами лекций были невеста Клейста, генеральская дочь Вильгельмина фон Ценге, и его сводная сестра Ульрика. Она была ненавистницей своего пола и, на манер кавалерист-девицы Надежды Дуровой, ходила в рейтузах, с арапником. Она понимала брата и стала потом поверенной его тайн, товарищем в путешествиях и частою поддержкой в безднежи.

Скоро Клейст остыл к умозрению и бросил университет, родные пристроили его в одно из министерств. Он уехал в Берлин. Вскоре от него стали поступать тревожные вести. С ним что-то случилось, что повергло его в глубочайшую меланхолию, потом повторявшуюся. Это никогда не было объяснено и названо и дает простор догадкам биографов. Надо в «Михаеле Кольгаасе» Клейста, своего рода немецком Пугачеве, перечесть страницы о детях-героях, чтобы понять, как образцова была Клейстова наследственность. Другое дело, во что она ему обходилась.

Клейст был горяч, мнителен и нетерпелив. Какая-то нечаянность задела его и, восстановив против всего на свете, сделала врагом общительности.

В ответ на его письма, полные отчаяния, мании величия и странных умолчаний, в Вюрцбург, куда он скрылся, к нему выехала Ульрика. Для его успокоения решено было отправиться в большое заграничное путешествие. Она ему сопутствовала.

В 1803 году после долгого пребывания в Париже Клейст очутился в Швейцарии, близ Тунского озера. За окном чернели Шрекгорн и Финстерааргорн. К небу поднимался дым из сел, прятавшихся в долине. Его окружали зимние альпийские красоты, чистые линии, чистые нравы, люди, верившие в него и преданные литературе. Незадолго перед тем в нем пробудился дар творчества. Никогда до того он не помышлял о поэзии.

Здесь он дал волю вдохновению. Оно вылилось в три очень различных произведения. Одно — «Семейство Шроффенштейн», его слабый первенец, беспомощная и растянутая трагедия, полная нелепости. Другое — короткая комедия Клейста «Разбитый кувшин». Третье — венец его поисков «Роберт Гискар», набросок трагедии, занимавшей Клейста всю жизнь и уничтоженной в нескольких редакциях.

Один из швейцарских знакомых, у которых он гостил, бернский издатель Гесснер, выпустил «Шроффенштейнов» без его имени. В «Прямодушном», органе Августа Коцебу, только искавшего случая, как бы насолить Гёте, появился хвалебный разбор трагедии под заглавием «Рождение нового поэта».

Через всю жизнь Клейста протянулись последствия загадочного и тайного нерасположения Гёте. Попытки объясниться только усугубляли неприязнь. Клейст не знал, что своей известностью человеку, который был для него святыней и мог бы составить его счастье и которому он должен был казаться дурною копией Вертера, он обязан бестактности интриганов. В 1809 году Гёте писал одному литератору: «Я вправе порицать Клейста, потому что любил и возвысил его. Но либо его развитие, как теперь наблюдается у многих, задержано временем, либо по какой-то другой причине он не оправдывает обещаний. Ипохондрия губит его как человека и поэта. Вы знаете, сколько трудов я положил на то, чтобы поставить его «Кув-

шин» в здешнем театре. И если ему тем не менее не повезло, то это оттого, что талантливому и остроумному замыслу недостает естественно развивающегося действия. Приписывать мне, однако, свой неуспех и даже, как предполагалось, подумывать о посылке мне вызова — есть, как говорит Шиллер, доказательство тяжелого извращения природы, извинимого только крайнею раздраженностью нервов или болезнью».

Ко времени возвращения из Швейцарии жизнь Клейста определилась. Его узнали. К прирожденной робости гордого и таящегося характера прибавилась несвобода человека, замеченного столетием. Его несчастья приобрели закономерность.

То он старался где-нибудь обосноваться, как сперва в Кенигсберге и позднее в Дрездене, и запоем, всегда отличавшим его способ работы, писал поразительные вещи, вроде гениальных своих рассказов «Землетрясения в Чили», «Маркизы Л.», уже названного «Михаеля Кольгааса» и других. То в него вселялся какой-то бес, и он без оглядки бросался прочь от благосклонностей судьбы или женщины, труда и верного пристанища. Неурядицы военного времени поддерживали эту подвижность. Его бесцельные метания иногда осложнялись вмешательством полиции.

Так было, например, в его вторую поездку в Париж, когда в припадке иступления он сжег своего «Гискара» и поссорился с Пфулем, будущим генералом, своим приятелем, которого заставил весь следующий день пробегать по моргам Парижа в поисках его тела. Так было на французском побережье, где формировалась армия для высадки в Англию. Клейст считал, что судьба десанта быть погребенным на дне океана. Клейста нашли в Сент-Омере, куда он приехал для записи в добровольцы. Тут его задержали по подозрению в шпионстве. Только благодаря хлопотам прусского посланника Луккезини он избежал расстрела, после чего его выслали на родину. В 1807 году он по такому же подозрению был из занятого французами Берлина отправлен во французскую крепость Жу, место недавнего заточения и смерти черного консула Туссена Лувертюра. Это обстоятельство подсказало Клейсту его страшный рассказ «Обручение в Сан-Доминго».

Годы, которых мы достигли своим коротким обзором, были поворотными для нравственного строя Клейста.

Раньше им управляли выдумки, и химеры преобладали над фактами; скоро это переменялось. В 1806 году Пруссия потерпела поражение при Иене. Все стороны жизни пришли в расстройство. Наступило разорение. Клейсту перестали выплачивать назначенное королевой Луизой вспоможение. Перед ним мелькнул призрак нищеты.

Предположение, будто политика всегда покрывает жизнь, — недоказанная натяжка публицистов. Но в годы вековых потрясений это — истина. Когда в 1808 году Испания поднялась против французского владычества, это коснулось неисчислимо многих в самых далеких углах мира.

В это время Клейст находился в Дрездене. К Наполеону он питал личную вражду, как разве только к Гёте. Испанские события одушевили его. С обычной плодовитостью он в год с лишним написал три пятиактных драмы: «Пентезилею» на мотив из греческой мифологии, «Кетхен из Гейльбронна», драматическую сказку из времен немецкого рыцарства, и «Битву Арминия», патриотическую драму во славу древнегерманского оружия. Но что должен был почувствовать Клейст, когда примеру Испании последовало одно из германских государств и весной 1809 года Австрия вышла из повиновения завоевателю? Клейст возликовал и, бросив дела и работу, устремился в австрийскую действующую армию. В лагере под Асперном его ждали знакомые и дважды испытанные неприятности. Он показался подозрительным. С трудом выпутавшись из новой потасовки, он уехал в Прагу. Здесь его настигло известие о катастрофе при Ваграме — удар, от которого он уже не мог оправиться.

Как бы для того, чтобы последняя глава его жизни выделилась порельефнее, дальнейшие сведения о Клейсте на время прерываются. Некоторые думают, что в эти месяцы он готовил покушение на Наполеона. Распространились слухи о его смерти. И вот он приехал в Берлин.

Он приехал суровой зимой. Это уже не был прежний причудник, и в хорошее время все видевший в мрачном свете, а трезвый борец с действительными немилостями судьбы. В холоде и запустении, какие ему были по средствам, он развил деятельность, кажущуюся теперь невероятной. Он написал «Принца Гомбургского», лучшее свое создание, историческую драму, реалистическую по

исполнению, сжатую, яркую, неудержимо развивающуюся, совмещающую поэтический огонь с ясной последовательностью действия. Он предпринял издание вечерней газеты, для которой в течение нескольких месяцев написал бездну мелких статей и рассказов, лишь ничтожная часть которых распознана в куче безымянного материала, среди которого они появлялись. Он закончил роман в двух книгах, бесследно пропавший в одной из берлинских типографий, и подготовил к печати второй том своих бесподобных рассказов.

Между тем судьба не унималась. Умерла королева Луиза, его покровительница. Сменилось министерство, мирволившее ему и его газете. Новый кабинет стал преследовать газету ограничениями, обесценившими издание. Предприятие лопнуло. Клейст оказался в долгах. «Принца Гомбургского» не печатали. Вышедшие из печати рассказы никого не интересовали. Тогда, в февральские дни жестокой зимы 1811 года, которой точно не предвиделось окончания, Клейст вспомнил свое первое вступление в жизнь, детскую свою солдатчину и написал прошение на высочайшее имя об обратном приеме в армию. Его вскоре удовлетворили. Но ему не на что было обмундироваться. Он подал королю новую просьбу о предоставлении ссуды на экипировку и стал ждать ответа. Промелькнуло лето. Ему не отвечали. Пришла осень, показавшаяся возвратом все той же бесконечной зимы.

У Клейста была знакомая, неизлечимо больная музыкантша Генриетта Фогель. Как-то раз, когда они вдвоем что-то разыгрывали, она сказала, что охотно рассталась бы с жизнью, если бы нашла товарища. «За чем же дело стало?» — сказал Клейст и предложил себя в спутники.

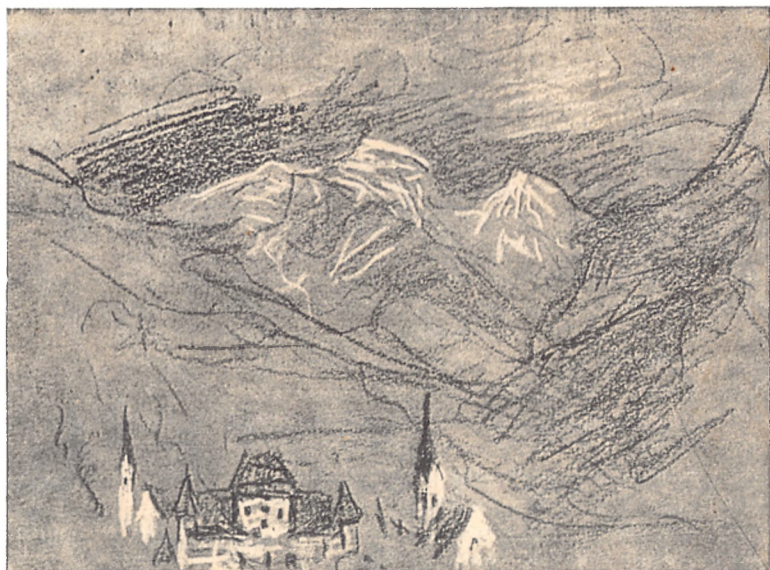
20 ноября 1811 года они выехали в Ванзее близ Берлина, место загородных прогулок. Снявши два номера в гостинице у озера, они провели в ней вечер и часть следующего дня. Все утро они гуляли, а после обеда попросили вынести столик на плотину по ту сторону заводи. В сумерки оттуда раздалось два выстрела. Одним Клейст уложил свою приятельницу, а другим покончил с собою.

Если бы наш интерес к Клейсту возник недавно, это было бы необъяснимым анахронизмом. Клейстом стали заниматься перед войною. В 1914 году, в одно время с Ф. Сологубом и В. Волькенштейном, мы перевели «Разби-

тый кувшин». Остальные переводы «Принца Гомбургского», «Семейства Шроффенштейн», «Роберта Гискара» сделаны между 1918 и 1919 годами.

Ознакомлению с Клейстом способствовали издания «Всемирной литературы» и «Academia». Первому предпослана превосходнейшая статья Вл. Зоргенфрея, второе снабжено интересным комментарием Н. Берковского. Выше всяких похвал переводы рассказов Клейста Г. Рачинского и Г. Петникова.

1940





В АРМИИ

Серия очерков

ОСВОБОЖДЕННЫЙ ГОРОД

Константину Федину

Мы входили в освобожденный город. Он был взят накануне. По последней инструкции неприятель должен уничтожить за собой все до основания. Здесь он этого не успел, выбитый раньше ожидания. Он спешил наверстать упущенное.

Обгоняя войска на марше, мы с широкой пыльной дороги свернули на тряский лесной проселок. Над нами ленивыми фигурными кругами заскользили самолеты. В них десятью черными облачками пыхнули зенитки.

С конца 1941 года я не видал немецкой авиации. Не было ее в эти дни затишья и над армией, где мы находились. С понятным чувством встретили мы старую знакомую московских кровель.

Остановив машины, мы отошли в кусты. Где-то впереди, очевидно за лесом, и на оставленной нами дороге началась бомбежка.

Немного погодя, мимо тянувшихся без конца усталых бойцов и лошадей, мелькавших на каждом шагу немецких надписей, дымившихся на ходу полковых кухонь и распологавшихся в сосновой роще замаскированных батарей, мы въехали в зажженный с воздуха город. Мы стали его осматривать. Он пылал с нескольких концов. Как щенята из-под брюха суки, языки пламени жадно лизали и посасывали края железных крыш или неистовствовали, вырываясь наружу. Мы пошли на немецкое офицерское кладбище в середине города.

Его хорошо описал Всеволод Иванов. Среди пыли и мусора соседних разрушений этот лес выстроенных по ранжиру черных орденских крестов казался голосом самой ограниченности среди бессмертного безмолвия страдания.

Не все иностранцы знают: совсем недавно Россия была купеческой страной. Блеску наших умственных верхов завидовала Европа. Это наше дело, почему, купеческие сыновья и дети профессоров, не говоря уже о народе, мы на время по-своему распорядились нашими запасами и знаниями. Кто хочет судить Россию по густоте устоявшегося уклада, должен был это сделать до 1914 года. Теперь предмет ее гордости иной.

В спаленных ли неприятелем областях, в индустриальной ли близости Москвы, или на не тронутом войною Востоке, лицо ее одинаково, несмотря на военные и географические различья. Подобно кинувшейся в лицо бледности или краске, все ее черты заслонены светом ее нынешнего, никому не снившегося исторического часа. Ее природой остается природа ее переворота. По замыслу врага его война должна была быть тою раз в тысячелетье разорвавшейся эпохальной бездной, которая вместе с Европой и всем ему не угодным должна была поглотить главный предмет его ненависти — русскую революцию. Между тем как раз русская революция, то есть наша добровольная скромность и привычка к лишениям, оказалась эпохальной бездной, поглотившей его войну.

Мосты в городе взорваны. Случайно уцелела земляная насыпь заводской плотины, на которой мы стоим. Теперь это единственная переправа.

Прямо перед нашими глазами на одной из улиц, ведущих к берегу, проходят заботы и треволнения приозерных жителей. Одни ищут фельдшера для раненых, другие тащат куда-то столы, койки и пустые кадушки, третьи давно что-то обсуждают посреди дороги. Их не много, и их голоса беспрепятственно разносятся по пустому городу, как по недостроенному дому или брошенной на зиму усадьбе.

Слева вдаль уходящая территория машиностроительного завода. Его взрывали трижды. Один раз — мы, эвакуировав оборудование, и два раза, при нашем приближении, — немцы.

Там, где прежде были турбины и откуда время от времени доносится плеск и капанье воды, разрушенные цеха заросли густым и сочным лозняком. Остальное глушат белена и пыльный, выше человека разросшийся репейник. Вавилоны погнутых ферм и лабиринты полопавшихся пролетов, на которые, вплоть до самого дальнего, загляделось, как прищурившееся, осеннее солнце.

Посреди завода братская могила. Если верить надписи, в ней заботами населенья с ведома противника погребены убитые красноармейцы. Но вот к нам подходят. Разбившись по двое, по трое, мы вступаем в разговоры.

И прежде всего мы узнаем правду о могиле посреди завода. Нам рассказывают о старом желчном скопидоме, утвержденном немцами городским головой, и о молодом типографском работнике, ко времени прихода немцев сидевшем за кражу и из тюрьмы попавшем в помощники бургомистра. Когда в начале января 1942 года, в течение нашего первого наступления, мы ненадолго вернули город и потом его оставили, 143 человека были расстреляны по распоряжению градоправителя на дворе завода. Они-то и похоронены в братской могиле. Обыкновенно же казненных не зарывали, рассказывают нам. Их приканчивали на берегу (нам показывают это место) так, чтобы тела падали с мыса в озеро, а зимою в прорубь.

Мои товарищи разговаривают с женой партизана Вострухина Марьей Кузьминишной. Долго, играя с огнем она поддерживала связь с мужем. На нее донесли и после полицейской отсидки приказали найти и указать его след.

Она разыграла смертельно опасную комедию его притворных розысков, обойдя ближние леса под немецким конвоем. Но теперь она действительно не знает, где ее муж и жив ли он, и спрашивает Иванова и Федина, где разместится райком, чтобы об этом справиться.

Другая группа окружает местного железнодорожного машиниста и его семью. На вчерашнем вынужденном отходе они потеряли друг друга и лишь несколько минут тому назад нашли. Сцены неизвестности друг о друге и нечаянных встреч совершаются на наших глазах. Но, разумеется, это исключенья, и в трагедии семейных гибелей, пропаж и разминок — ничем не искупимы и к небу вопиют неисчислимы страдания потерявшихся детей.

Я беседую с Риммой, славною девушкой со светлыми, начесанными на лоб волосами. С ее лица не сходит та рассеянная и немного возбужденная улыбка, которую ленивые военные корреспонденты, не привыкшие ни над чем задумываться, кроме гонорара, называют улыбкой радости. Между тем в этой улыбке целое историческое таинство. Это улыбка усталости, раздвигающей скулы и челюсти смертельно перемучившегося человека в момент облегчения, ни о чем не думающая и ничего не спрашивающая улыбка поколенья, связывающая нас и собеседниц почти телесным блаженством одного языка и понимания. Римма хочет в армию и спрашивает о формальностях приема.

Как просятся девушки в армию? В ряде случаев это одинокие, у которых близкие умерли, убиты или пропали без вести. Сердце их ищет утешенья, а руки — дела. Армия для них семья, чистый угол и кусок хлеба, главное же — источник покоя, полный желанной человеку жертвенности.

Нас с Риммой все время прерывают. Подходит дряхлый обыватель с палочкой, в сапогах и тройке, с бородежкой, каких у нас уже не носят, и, что-то шамкая, трясущимися руками вынимает бумажник. Подходит насмешливого вида любопытный с такою же бородежкой и сопровождает пояснениями глухое бормотанье первого. Нам показывают открытку, полученную им от племянника с его работы, из Германии. Я вижу новую немецкую почтовую марку с профилем Гитлера. Племянник пишет, что живет хорошо, только не дают спать клопы и мухи, и жаль, не захватил с собой деревянного изделия по мерке (гроба).

Нам с Риммой все время мешают, и потому наши разговоры вертятся вокруг пустяков. Как зарабатывали при

немцах, чем жили? Были ли товары в лавках? «Только советские, — отвечает Римма, — и то остатки вначале, а больше ничего». На бывшем дизельном заводе изготавливали сковороды, а при заводской конторе, обращенной в покойницкую, гробы для офицерского кладбища. Главную работой было рытье окопов, возка леса, настилка накатов в блиндажах и боковая маскировка дорог. За дневную выработку давали 250 г хлеба и горсточку пшена. Всех держали в страхе, унижали слабых, в особенности же издевались над собственными штрафными. Римма торопливо рассказывает об этом и вдруг обрывает. Мимо проходят несколько человек, в их числе незнакомый майор. «Его надо остановить, — говорит Римма, — этот военный знает, где муж Вострухиной, а ей это неизвестно, они незнакомы». — «Так остановите», — говорю я. «Я робею», — отвечает Римма. Я окликаю майора. Римма подбегает к нему. Вскоре оба подзывают Вострухину. Она возвращается, сияющая, к Федину и Иванову. «Муж жив, — говорит она. — Получил два ордена».

Все время из горящего дома на озерной набережной доносятся звуки «Чижика». Говорят, там бренчит на пианино мальчик, оставшийся без отца и матери. Его здесь знают. Тут же я слышу, как наши военные сговариваются взять его с собою. Близится вечер. Мы решаем ехать к себе на стоянку, попутно объехав город. Римма садится к нам в машину в качестве путеводительницы.

Пожар разгорается. Высшее педагогическое училище в городе объято морем пламени. Мы подъезжаем к зданию другой школы. Ввиду гигиенических преимуществ оно было занято немцами под баню, при которой имелись пивная и колбасная. Вот где вволю разгулялось художественное воображение нашего меченосца.

По стенному фризу, подобно порхающим амурам, пушены круглорожие малые с ножами, верхом на свиньях. Под ними соответствующая самодеятельность в легких двустушьях. Как гармонирует эта идиллия с заглядывающим из-за двери кровавым заревом и осторожно спускающейся на минированную землю ночью!

Мы подъезжаем к вытянувшемуся в длину тесовому домику с двумя крылечками и садом, где мы стоим. Я прошу, чтобы Римму угостили обедом в офицерской столовой, но мою просьбу исполняют только вполсилы, потому что кухня только что подошла и ничего не готово. Мы с ней

прощаемся и, стараясь не стучать сапогами, поодиночке проходим на нашу походную квартиру.

Ее нынешние хозяева, приятели прежних, подчинившихся распоряжению о выезде, ходят по неубранным комнатам, загроможденным сдвинутой в беспорядке мебелью, копают днем картошку и рубят капусту и продолжают принимать знакомых, которые сбежали с полпути от неприятеля или возвращаются из лесных укрытий со страшными рассказами об утренней бомбежке на большой дороге.

Почти впотьмах мы отправляемся ужинать в столовую Военного совета. У входа, между березовыми баясинками цветника, излюбленной ограды немцев, две дамы в серых боа и шляпках, как на работах Серова, спрашивают, где состоится торжественный митинг по случаю освобождения города, о котором мы еще не слышали.

1943





ПОЕЗДКА В АРМИЮ

1

С недавнего времени нами все больше завладевают ход и логика нашей чудесной победы. С каждым днем все яснее ее всеобъединяющая красота и сила.

Победил весь народ сверху донизу, от маршала Сталина до рядовых тружеников и простых бойцов (на войне это — главные герои), — победил весь народ, всеми своими слоями, и радостями, и горестями, и мечтами, и мыслями. Победило разнообразье.

Победили все и в эти самые дни, на наших глазах, открывают новую, высшую эру нашего исторического существования.

Дух широты и всеобщности начинает проникать деятельность всех. Его действие сказывается и на наших скромных занятиях.

Бригадой, числившей несколько литературных имен, мы ездили в части, бравшие Орел в дни, теперь уже далекие, когда Брянск и Смоленск еще не были нашими, но уже чувствовалось, что они ими будут. Жизнерадостно до легкомыслия покатали мы утром на грузовой машине, развивая бешеную скорость, и пестрое Подмосковье вихрем замелькало навстречу. Техническое совершенство машины и наши бумаги давали нам право стрелой уноситься от прочего движения, но в минуты задержек соотношение уравнивалось, и отставшие обгоняли нас, и был такой плотный военный, к нижней губе которого прилип и трепетал на ветру обрывок папиросной бумаги. Он по несколько раз обгонял нас на открытом «виллисе» и снова оставался позади, и время шло, менялись края и виды, а бумажка на губе все держалась.

Мы пообедали в Туле, где сохранились уличные баррикады, свидетельства позапрошлого года гражданской обороны, и где нам скучно и ordinarily о ней рассказывали в обкоме, пока не пришел ее герой и устроитель т. Жаворонков, изобразивший ее в живых и свободных красках. Мы поехали дальше. Мелькнули бурые угли Щеккина. Садилось солнце, когда по закатному небу прочертился непомерный костяк Косогорского индустриального гиганта. Дальше пошли достопримечательности: места особо прогремевшей стойкости, памятники страданий. Вечерело. С главной дороги мы свернули на боковую и, сделав километров пятнадцать, остановились.

По всем видимостям мы были в каком-то селении. Царила тишина, как на необитаемом острове. Нечто другое, чем обычные недосказанности теплой августовской ночи, окружало нас. Совершенно так, как могла бы стоять настоящая каменная стена, отвесно возвышалось перед нами небо ночи. Семь звезд Большой Медведицы свободно размещались в кривом проломе какого-то сада или строения. Нас обступали тени каких-то разрушений, непонятных в потемках. Это были развалины Черни, районного города области, начало нашего последующего шествия по нескончаемой дороге пустырей и пожарищ, первое преддверие того, что язык вражеских

приказов называет так всеизвиняюще просто зоною пустыни.

Вдруг пустыня оживилась. Где-то постучали в оконце. Тишина наполнилась шагами. Две-три женских тени, шагнув из-за угла, ушли за поворот. Последовали распоряжения. Мы двинулись за бригадирами.

Через полчаса мы сидели в гостеприимном кругу секретарши Чернского райкома А. А. Кукушкиной и ее молодых помощниц. Деревянный верх маленького, чудом уцелевшего дома был жарко освещен керосиновой «молнией». Наши хозяйки, деятельницы комсомола и городских учреждений, то отрываясь от общей беседы, то к ней возвращаясь, разносили по очереди чай и, минутой отлучаясь на кухню, жарили яичницу. Они были в светлых блузах, стянутых кушаками, прямых юбках и гладких круглых прическах. Их развитие и непринужденность вызвали в памяти что-то близкое, давно и лично пережитое. Девушки напоминали лучшую университетскую молодежь прошлого, курсисток девятьсот пятого года.

Разговор вращался вокруг двух тем: души времени и особенностей места. Душой времени была война. Девушки рассказывали, как они уходили из Черни, когда ее стали окружать немцы, и какой это требовало смелости и изворотливости, потому что немцы подступали с нескольких сторон и все деревни кругом были заняты. Главная опасность заключалась в их партийности, но население их покрывало. Все ушли, кроме двух подруг. Это были такие девушки, продолжают рассказчицы, что, бывало, кто на них посмотрит, так сейчас же и полюбит, и нельзя было подумать, чтобы их кто-нибудь тронул; их и правда долго не трогали, не знали, как велико их влияние и что они поддерживают связь с советской стороной. Но вот однажды мирволивший им немец пришел пьяный и сказал, что он много им прощал, а этого не спустит, и велел снять со стены Ленина и Сталина. Подруги уперлись, тогда он выхватил револьвер, выстрелил в портреты и застрелил девушек.

Умная и энергичная А. А. Кукушкина одновременно и принимает нас на правах хозяйки, и распоряжается ужином, и заботится о нашем ночлеге, и с живою искоркой дает направление беседе. От нее мы узнаем не только тяжелые подробности немецкого пленения Черни, Орла

и Мценска, но и любопытные черты из драгоценной истории края.

Читатель помнит: это места биографии Жуковского, Дельвига, Толстого, Тургенева, Фета, Лескова и Бунина. Неожиданно я начинаю понимать, отчего такой естественностью дышат слова наших собеседников и их манеры. Мы у первоисточника наших лучших национальных сокровищ. В этих уездах сложился говор, сформировавший наш литературный язык, о котором сказал свои знаменитые слова Тургенев. Нигде дух русской неподдельности — высшее, что у нас есть, — не сказался так исчерпывающе и вольно. Наши знакомые — уроженки этих гнезд. На них налет высшей русской одаренности. Они кость от кости и плоть от плоти Лизы Калитиной и Наташи Ростовской.

Когда мы утром встаем с сеновала, мы видим вчерашнее общество еще ярче при солнечном свете. Перед нами обломки города, который, наверное, живописно располагался по холмам и утопал в садах, а теперь своими руинами хищно и мстительно напоминает какой-то дагестанский аул времен Шамиля. Следом за своей вдохновительницей по его развалинам выводком ходят питомцы революции и ее блюстительницы, наводя до последней мелочи порядок в разоренном районе, и совершают дела величайшей государственной важности так же прирожденно-расторопно, как нагнулась бы их бабка за сбитым яблоком в траву или пошла бы щупать кур на птичий двор.

3

В отличие от удобств вчерашней гудронной дороги мы сегодня тарахтим по грунтовой. Вдобавок она не везде разминирована и местами взорвана. Мы все чаще объезжаем стороной ее мосты и переправы. Подскакивая на выбоинах, едем мы по настилу жердянок, по разнообразной раскраске ее проходя курс местного почвоведения. Сейчас это посеревший от сухости, сизый, как уголь, чернозем. Он начался с горемычного Мценска с его домами, завалившимися со скалистого берега в илстую Зушу, точно город несли на руках, поскользнулись и грохнули в воду. Все ближе война и армия. По-настоящему это начинает чувствоваться отсюда. Все чаще поля

по сторонам обтянуты колючей проволокой с предупреждениями на дощечках. Завтра по краям таких дорог гуськом потянутся саперы со щупами, сегодня это — колонны пополнения, щуплая и безусая молодежь, почерневшая от пыли и утомления. Первые подбитые танки, где-нибудь среди гряд с капустой, первые обгорелые остатки уничтоженных самолетов. И вот, задолго к этому подготовленной вышедшей из лесу панорамой, мы въезжаем в Орел.

Не сразу понятно, что мы пересекаем территорию вокзала. Точно тут треснула действительность и лопнул воздух, всюду, куда хватает глаз, куски покалеченной и разлетевшейся материи. Без конца торчащие пустые фермы дебаркадера. Мы едем по распавшимся обрубкам четвертованных рельс, точно тут рубили змей или топтали сококошек. Вывихнутые плечи и пролеты взорванного моста, который мы объезжаем по свеженаведенному плашкоуту, и мы в городе.

Жаль, что мы ни разу в нем не бывали раньше. Его не раз описали Тургенев, Лесков и Бунин. Он, наверное, был необычайно красив, как позволяют думать его камни, и производил впечатление большого европейского города, судя по его планировке. Сюда приезжал бушевать по поводу своих неудач Гитлер, здесь сместил главу своих танковых армий Шмидта, здесь заменил его генералом Моделем.

Орла больше нет. Как про Оку, на которой он стоял, про него можно сказать, что он стоит на химических минах замедленного действия. Он стоит на них и продолжает рваться и падать на наших глазах. Мы это видим из неплотного и заросшего цветника, куда заехали к командиру здешнего запасного стрелкового полка на короткий роздых.

Противоестественность зрелища так велика, что отраженным образом ее все время приписываешь освещению. Безоблачный полдень. Сухо цветет мальва. Все засижено мухами. За колючей изгородью тюрьмы через дорогу производит расследование массовых расстрелов и попыток немецкой комендатуры выездная комиссия из Москвы. Где-то вертится и гнусавит патефон, и, озаренные черным креповым светом с замогильного неба, целыми улицами лежат обмякшие здания с развинченными каменными конечностями, хватаясь за соседей; где-то

с треском взлетают на воздух отдельные кирпичные одиночки, и сползают и падают целые расслабленные кварталы по краям большого парка, где стоит скромная и славная могила командира 308-й стрелковой дивизии, героя Сталинграда и Орла генерала Гуртьева.

Во второй половине дня мы выбираемся из конвульсивного собрания судорожных орловских обломков. Но мы потеряли дорогу и долго, по нескольку раз, возвращаемся к одному и тому же дому, распотрошенному во всю глубину и вместительному, как некое поселение. Это целая многоэтажная драма с лестницами трех родов — черными, парадными и пожарными, длинными переходами вовнутрь и множеством сцен и явлений. Мы запечатлеваем на всю жизнь узор его обоев и, подкатив к нему в третий раз, неожиданно находим дорогу и мчимся дальше.

Но что сказать о Карачеве, который мы проезжаем к вечеру, если так много слов уже сказано об Орле. Мы думали, конца не будет бывшему городу купеческих невест и мукомолов.

Чудовищно представление о целом, когда оно дано в разложении на мельчайшие частицы. Одно дело сказать: пятьсот каменных домов и две с половиной тысячи деревянных. Вы представляете себе провинциальный городок, притом весьма небольшой. Другое дело, когда вам покажут три тысячи огромных бесформенных куч, щебенных и щепяных. У вас закружится голова, а глаз обессилеет, взмолятся о милости и разрыдается от жалости и обиды.

4

В глубокие сумерки мы приезжаем в Песочню. Деревенская улица загромождена народом и транспортом. Ни одного штатского, одни военные, грузовики и повозки под всеми углами поперек дороги. Это штаб армии, куда мы направлялись, цель нашей поездки. Завтра или, если позволят обстоятельства, сегодня ночью мы познакомимся с командованием, с легкой руки которого мы стали побеждать в такой планомерной прогрессии. А пока пойти выкупаться, смыть дорожную пыль и грязь, хотя уже тьма, хоть глаз выколи. «Там могут быть мины, — гово-

рят нам, — там, во всяком случае, дно в рваном железе, нырнете и напоретесь». Отправившись на реку, мы ныряем в холодную, плотным туманом текущую мимо неизвестность...

5

Так вот они, наше счастливое военное предопределение, творцы орловской победы и косвенные пособники последующих: мы в просторной избе на приеме у знакомящихся с нами членов Военного совета. Перед нами приветливый и моложавый командующий, гвардии генерал-лейтенант Александр Васильевич Горбатов, друг и сподвижник покойного Гуртьева. Ум и задушевность избавляют его от малейшей тени какой бы то ни было рисовки. Он говорит тихим голосом, медленно и немногосложно. Повелительность исходит не от тона его слов, а от их основательности. Это лучшая, но и труднейшая форма начальствования. Рядом с ним глубокомысленный и дальновидный генерал Кононов и образованный и блестящий генерал Сабенников. Еще ранее, минувшей ночью, мы познакомились с генералом Ивашечкиным, находчивым и решительным стратегом в минуты опасностей и осложнений и добродушным собеседником на отдыхе и за столом. Он и генерал Терпиловский отсутствуют. За их незанятыми местами в окошко виден конец растянувшейся в длину деревни. Серенький, непогожий денек. По деревне с автоматами, минометами и противотанковыми ружьями бесконечной цепью проходит с утра пехота. Командиры рот и полков объезжают на лошадях свои части и скрываются с ними за поворотом дороги. Это армия на марше. После июльского рывка мы безостановочно продвигаемся частыми и быстрыми переходами на запад.

6

Мы выходим на улицу. От проходящей мимо колонны отделяется и подъезжает на лошади к нашей группе военный. Наклонившись с седла, он разговаривает с нашим бригадиром и, простившись, нагоняет свою часть. Бригадир говорит мне, что это интереснейший человек, москвич, химик, пошедший капитаном запаса на войну и теперь командующий полком. Мне запоминается лицо

капитана Д. По ложным основаниям мне кажется, что оно похоже на одно из многих виденных вчера и позавчера на дороге, может быть, на военного с бумажкой на губе. Я тут же сам ошущаю ошибочность этого сближения и тут же осознаю, что это ошибка не случайная и мне хотя бы ценой оплошности надо удержать образ капитана для чего-то, что когда-нибудь выяснится. Через два дня я узнал, что капитан погиб, подорвавшись на mine.

Предположено, что мы будем писать книгу об орловской операции. После того, как мы знакомимся с ее ходом в самых общих чертах со слов ее вдохновителей, мы разъезжаемся по отдельным полкам и дивизиям, к ее непосредственным участникам.

Мы все время в движении, развозим товарищей к нашей цели. Мы заезжаем в 267-ю дивизию. Она стоит в редком смешанном лесу, и облетелый лист попеременно со рваными бумажками придает стоянке вид предотъездного беспорядка. Дивизия действительно в дорожных сборах. Всюду что-то записывают и увязывают и с минуты на минуту должны сняться с привала.

380-я располагается в перелесках с полянами. На одной из них мы наезжаем на командира дивизии полковника Кустова, части которого, наряду с 129-й, первыми ворвались в Орел на рассвете 5 августа, а еще раньше, утром 12 июля, вместе с 308-й дивизией начали знаменитое наступление, которое привело к прорыву немецкой обороны.

Хотя дивизия тоже готова к маршу, у полковника все так слажено, что его не заботят мелочи передвижения. Изящный и насмешливый, он намеренно изображает из себя верх светской беспечности. Поздоровавшись с нами среди леса, он продолжает, как до нас, перебрасываться шутливыми замечаниями с летчиком, прикомандированным к нему из соседней части для согласования действий. Оба куда-то всматриваются и ждут, по-видимому, машины. Кустову подводят красивую трофейную лошадь. Он легко на нее взвивается и, попорхав на ней по всем правилам высшей манежной выездки, возвращается и сдает ее вестовому. В это время подъезжает машина. Он картинно раскланивается и, сказав, что торопится, с извинениями уезжает. В его красивом орлином профиле есть что-то от героев 12-го года, Тучковское,

Багратионовское. Китель безупречно его облегает. Он выражается изысканно и витиевато. «Изволю торопиться», — говорит он о самом себе. Солдаты его обожают.

7

Десять дней мы только и знаем, что носимся по дорогам орловского и калужского края. Фронт по всей линии перемещается на северо-запад.

В продолжение трех дней я разыскиваю 308-ю Гуртьевскую дивизию, а она все уходит, и мне ее не догнать. О ней же спрашивают попадающиеся встречные отряды пополнения и офицеры связи. Дивизии не найти. Поиски заносят меня в Жиздру, Щигры и в Брынь у Сухиничей. Трижды пересекаю я границу между территорией, освобожденной в нынешнюю летнюю кампанию и в прошлогоднюю. Разница непередаваема. К югу несчетные километры выжженных кара-кум без малейших признаков жизни. На север смеющиеся зеленые горизонты с оранжевыми крапинками каменных сел и усадеб среди темно-оливковых и бело-сизых картофельных и капустных пространств. Убедившись, что дивизия неуловима, я решаю возвратиться в 342-ю, участвовавшую во взятии Мценска.

8

Однажды среди таких разъездов наши машины остановились в селе Белый Колодезь. Счастье села заключалось в том, что оно было не совершенно стерто с лица земли и, когда уходили немцы, хлеб еще только колосился и они не успели потравить его и сжечь. Его необмолоченные скирды возвышались среди села, на общественном току за прудом.

Через дорогу от пригорка, у которого мы остановились, несколько баб копошились у входов в подземное убежище и играли дети на местах сгоревших изб и печных устьей. Мы к ним подошли. Бабы были в белых зипунах с красной оторочкой поверх черных клетчатых панев, в лаптях с онучами и в платках, стянутых по старинному узлами на затылок. Спокойно и без ложного пафоса рассказали они судьбу своего села, общую со многими тысячами подобных и ранее описанных. Мы узнали,

что перед уходом немцы приказали жителям собраться со скотом и пожитками во временное переселение на запад, впредь до их возвращения. Большинство угнали, и лишь немногим удалось спрятаться в лесу. Зажимая детишкам рты и заматывая морды коровам, чтобы не мычали, они отсиживались в чаще, а ночами смотрели с опушки, как жгут их дома и рвут школу, колодцы, мельницу и каменные амбары.

Кругом, вымазавшись углем головешек, играли в золе и пепле дети, и оскорбительно было соседство садовой мебели из березовых веток, излюбленного украшения немецких уголков для отдыха, и изящных полуведерных жестянок из-под консервированной кислой капусты из Эслингена на Неккаре.

9

Вечерний костер в вековом высокоствольном дубовом лесу. Лес так густ, что, несмотря на наступающую ночь и требование светомаскировки, костра не тушат. У кухонь собирают ужин бойцам и командирам. Накрапывает дождь.

По эту сторону костра — я и девушка-боец В. Ф. на плохо утвержденной лавке, которая того и гляди опрокинется; по ту — вдова писателя Р. П. Островская и майор К.

Костер мечется по ветру и, когда в него подкладывают сучья, забрасывает нечеловеческие тени на озаряющийся в высоте над нами лиственный навес.

Я прошу В. Ф. рассказать, как ей жилось в Калуге при немцах. В то же время я краем уха прислушиваюсь к громкому разговору по ту сторону костра. В. Ф. тихо удовлетворяет мою просьбу. В ее голосе печаль и злоба на немцев, а также досада на меня за мою невнимательность, и на майора, мешающего ей рассказывать, и на костер, собравший вокруг себя столько отвлеченностей и противоречий. Обстоятельства разговора по ту сторону костра следующие.

Когда после Мценска наши части освободили тургеневское имение Спас-Лутовиново, комсомольцы отличившихся частей устроили в разрушенном заповеднике торжественное собрание. Естественно посвященное памяти Тургенева и нашей литературе, оно каким-то образом связалось с именем Николая Островского; автора книги

«Как закалялась сталь». Собравшиеся дали клятву следовать примеру комсомольского писателя и драться с немцами так, как дрался его герой Павел Корчагин.

Они оправдали эту клятву в ближайших сражениях. За ними утвердилась кличка корчагинцев. Комсомольцев того объединения было много во всей 342-й дивизии, особенно в 1150-м полку, митинг которого мы на другой день посетили.

Извещенная об этом движении, Островская приехала за материалами о нем. Соответствующие сведения сообщал ей отрывистый и уверенный в себе майор с правильными чертами лица, может быть, сам еще комсомолец и корчагинец.

А по эту сторону пламени девушка-боец, сама заслушиваясь майора, с машинальной и рассеянной грустью рассказывала мне свои мытарства. И я мысленно видел.

Лютая, пятидесятиградусная зима. Дров не напастись, и в Калуге разбирают заборы и дома на топливо. Густой иней на окнах темнит комнаты. Люди без голов, деревья без вершин, здания без крыш, черные дни.

«Я на вас докажу, вы передо мной хоть по полу катайтесь, хоть валяйтесь в ногах. Теперь моя воля, возьму и докажу, — говорит молодая и незлая их соседка-беспутница — и дни и ночи гуляет с немцами. — Вот ты мне сак отдала и ботинки, я с тебя последнюю рубашку сниму, а вспомню я вашего Ленина, тут такое со мной делается, я с собой владеть не могу, и я над тобой натешусь».

И она раздевает их до нитки, а кругом списки, улики и обыски, иней, туман, черные дни. И девушка-комсомолка скрывается из дому и узнает, что взяли сестру и мать. «А как тогда вешали? На проволоке. Ей-богу, правда. На проволочной петле. Но моих, если правду говорят, не мучили, расстреляли».

Но все это было с полбеды. А потом наехали эти, с нашитыми черепами, карательные отряды. И опять холода наступили, лютеющие холода. Привезли в собор немцы колокол, повесили, теперь, говорят, будет служба по-церковному, говорят, лютеранский брак. И девушки наши за них шли, ну, конечно, самый сброд и дурочки. Тоже доказчица, которая маму и сестру-извела. Мороз, а они в подвенечном на паперти, белые кружева, рожи красные, нахальные, хохочут. А с ними их кобели в высоких сапогах с нагайками, кости крест-накрест, нашитые

черепа. А как вы стали подходить, эти бабы ревмя, — что вы теперь с нами сделали? А те, — да помилуйте, чтобы мы законных, да что вы! — И ржут по-своему. Тут они опять немножко покуражились. — Счастливо оставаться! Едем на самолетах в Берлин!

Потом их всех за рощей подобрали, узнали по платьям. Их с летящих самолетов посбрасывали за городом.

Вот обрывки каких картин проплывают по эту сторону костра. А по ту — препирательства и отнекивания. Майору дела храбрости кажутся долгом чести и простой азбукой. Что тут рассказывать. Но вот отдельные случаи, когда немногие примером своей неустрашимости увлекли всех и этим решали исход боя. Часто почин этот исходил от корчагинцев. Я не слышу всех рассказов майора. Лишь отдельные слова долетают до меня. Орловская операция в ее боевой последовательности проходит передо мною. Я заслушиваюсь.

10

Она мне представляется звено за звеном в своей нравственной логике и справедливом ходе. Я стараюсь вспомнить, как в последний раз (потому что когда-нибудь эта безнаказанность ведь должна была кончиться) поднялись немцы 5 июля в свое бешеное наступление с двух хитроумных пунктов, чтобы перерезать с севера и с юга наш Курский выступ. Как семь дней подряд бились, бились они с очень слабой наградой за свою похвальную осатанелость. В течение первого дня ими было выпущено больше снарядов, чем за всю польскую кампанию, а за три первые дня — столько же, сколько за весь поход во Францию. Мы отвечали им артиллерийским огнем, еще более густым, примерно из двух тысяч стволов с двух километров фронта, и к концу первой недели все их продвижение было сброшено со счетов. Они вернулись в исходную позицию. С двух хитроумных пунктов, с севера и с юга, мы стали срезать их Орловский выступ. Все перевернулось, названия, роли, соотношение сил. Немецкое наступление стало называться обороной, с безотчетным предчувствием отступления, в которое ему суждено было превратиться. В математике и логике такие вещи называются выводом и следствием, в мире нравственном — воздаянием.

12-го утром Кустов и Гуртьев с 308-й и 380-й дивизиями прорвали немецкую оборону, и четырехкилометровый прорыв к вечеру расширился в полтора раза. Дальше все пошло так, как это полагалось из верховного стратегического предвидения и талантов отдельных начальников. Не раз и не два дело спасали твердость характера и быстрота соображения.

Сперва в развитие прорыва армии двигались к Орлу с востока и к двадцатым числам вышли к Оке. Противник не допустил попытки форсировать ее в этом месте. В ожесточенных налетах с 21-го по 23-е его авиация день и ночь висела над переправой. К этому времени 342-я дивизия, преследовавшая неприятеля от взятого накануне Мценска, захватила плацдарм у Багатищева и Нарыкова. Это открывало возможность продвижения на Орел с северо-востока. 25-го на соединение с 342-й дивизией сюда была двинута часть остальной армии. Однако противник разгадал план обхода. Подтянув 2-ю и 8-ю танковые и 26-ю мотодивизию сверх бывшей тут 56-й пехотной дивизии, он сосредоточил на этом фланге большие силы, в ущерб своему фронту, который он частично оголил. Тогда генерал-лейтенант Горбатов снова решил брать Орел лобовым ударом с востока. Заручившись уверенностью, что свою стремительную и сложную перегруппировку он совершит раньше, чем о ней догадается неприятель, он стянул 380-ю и 308-ю дивизии, стоявшие в обороне на широком фронте, перебросил к ним с направления главного удара 17-ю танковую бригаду, и 5 августа на рассвете знаменосец из Кустовской дивизии Аджаров водрузил над освобожденным городом красное знамя.

11

Нельзя быть злодеем другим, не будучи и для себя негодяем. Подлость универсальна. Нарушитель любви к ближнему первым из людей предаст самого себя.

Сколько заслуженной злости излито по адресу нынешней Германии! Между тем глубина ее падения больше, чем можно обнаружить справедливого негодования.

В гитлеризме поразительна утеря Германией полити-

ческой первичности. Ее достоинство принесено в жертву производной роли. Стране навязано значение реакционной сноски к русской истории. Если революционная Россия нуждалась в кривом зеркале, которое исказило бы ее черты гримасой ненависти и непонимания, то вот оно: Германия пошла на его изготовление. Это задача посторонняя, окраинная, остзейская, и ее провинциализм тем отчетливее, что ему присвоены всемирные масштабы.

Весь девятнадцатый век, в особенности к его концу, Россия быстро и успешно двигала вперед свое просвещение. Дух широты и всечеловечности питал ее понимание. Начало гениальности, подготовлявшее нашу революцию как явление нравственно-национальное (о политической подготовке ее мы не смели судить — это не наша специальность), было поровну разлито кругом и проникло собой атмосферу исторического кануна. Этот дух особенно сказался во Льве Толстом, русскими средствами выразившем природу гения и его предвзятость, подобно тому как на заре английской самобытности такое же начало, общее двадцати предшественникам, впитал и воплотил в себе Шекспир. Но что такое гений?

Гений есть кровно осязаемое право мерить все на свете по-своему, чувство короткости со вселенной, счастье фамильной близости с историей и доступности всего живого. Гений первичен и ненавязчив. Те же черты новизны и оригинальности сложили нашу революцию.

И всегда рядом с неряшливою щедростью самородка следует что-нибудь завистливо рядовое и посредственное. Дела и поступки счастливого соперника кажутся ему чудачеством и безумием. Невежда начинает с поучения и кончает кровью.

Такая-то таблица умножения подъехала к нам на громахующем «тигре» и самоходной пушке «фердинанд», и во мгновение ока она должна была показать, как все эти фразеры Рудины с их завиральным прекраснодушием провалятся во здравие трезвой немецкой практики и доброй кружки пива, и, о ужас, дважды два само провалилось, а широта одухотворения осталась и переживет и это страдание, и многие другие.

Мы входили в Людиново, освобожденное накануне. Еще издали, приближаясь к нему, мы наблюдали на горизонте густые столбы дыма, поднимавшиеся кверху. Отступая, немцы не успели предать его разрушению. Теперь, в несколько налетов, они зажгли его с воздуха.

Когда мы к нему подъезжали, над нами плавными кругами заскользило несколько «юнкеров». Мы отвели машины с дороги и стали между деревьями. Так же поступили на военных грузовиках, прибывавших сзади. Несколько самолетов пошло в пике. Впереди и сзади на дороге грохнули взрывы.

Людиново пылало, когда мы в него въехали. Пожар только еще разгорался и полной силы достиг только к вечеру. Мы осмотрели развалины дизельного машиностроительного завода и офицерское кладбище у собора. Оно щетинилось лесом черных орденских крестов с белыми надписями, своей рябью густотой напоминая иглы ежа или дикобраза. На другой день был назначен наш отъезд. На прощанье нам поручили написать обращение к армии.

Мы написали:

«Бойцы Третьей армии! В течение двух недель мы, несколько писателей, находились в ваших дивизиях и участвовали в ваших маршах. Мы проходили места, покрытые неувядаемой славой ваших подвигов, мы шли по следам жестокого и безжалостного врага. Нас встречало нечеловеческое зрелище разрушения, нескончаемые ряды взорванных и сожженных деревень. Население угонялось в неволю или, прячась в лесах, переживало бесчинства отступающего неприятеля и редкими кучками голяков и бездомных возвращалось на свои спаленные пепелища. Сердце сжималось при виде этого зрелища. Рождался вопрос: какие чудотворные силы поднимут на ноги эти области и вернут их к жизни?

Товарищи бойцы Третьей армии, силы эти в вас. Они в мужественности вашего сердца и меткости вашего оружия, в вашем заслуженном счастье и вашей верности долгу.

Как веками учил здравый смысл и повторял товарищ

Сталин, дело правого должно рано или поздно взять верх. Это время пришло. Правда восторжествовала. Еще рано говорить о бегстве врага, но ряды его дрогнули, и он уходит под ударами вашего победоносного оружия, под уяснившеюся очевидностью своего неотвратимого поражения, под давлением наших союзников, под непомерной тяжестью своей неслыханной исторической вины.

Тесните его без сожаления, и да пребудет с вами навеки ваша исконная удача и слава. Наши мысли и тревоги всегда с вами. Вы — наша гордость. Мы вами любимся».

1943





ПОЛЬ-МАРИ ВЕРЛЕН

Сто лет тому назад, 30 марта 1844 года, в городе Меце родился великий лирический поэт Франции Поль Верлен. Чем может он занимать нас сейчас, в горячие наши дни, среди нашей нешуточности, в свете нашей ошеломляющей победы?

Он оставил яркую запись пережитого и виденного, по духу и выражению сходную с позднейшим творчеством Блока, Рильке, Ибсена, Чехова и других новейших писателей, а также связанную нитями глубокого родства с мо-

лодой импрессионистической живописью Франции, скандинавских стран и России.

Художников этого типа окружала новая городская действительность, иная, чем Пушкина, Мериме и Стендаля. Был в расцвете и шел к своему концу девятнадцатый век с его капризами, самодурством промышленности, денежными бурями и обществом, состоявшим из жертв и баловней. Улицы только что замостили асфальтом и осветили газом. На них наседали фабрики, которые росли, как грибы, равно как и непомерно размножившиеся ежедневные газеты. Предельно распространились железные дороги, ставшие частью существования каждого ребенка, в разной зависимости от того, само ли его детство пролетало в поезде мимо ночного города или ночные поезда летели мимо его бедного окраинного детства.

На эту по-новому освещенную улицу тени ложились не так, как при Бальзаке, по ней ходили по-новому, и рисовать ее хотелось по-новому, в согласии с натурой. Однако главной новинкой улицы были не фонари и телеграфные провода, а вихрь эгоистической стихии, который проносился по ней с отчетливостью осеннего ветра и, как листья с бульваров, гнал по тротуарам нищету, чахотку, проституцию и прочие прелести этого времени. Этот вихрь бросался в глаза каждому и был центром картины. Под его дуновеньем рабочее движение перешло в свою сознательную фазу. Его дыханье совсем особенно сложило угол зрения новых художников.

Они писали мазками и точками, намеками и полутонами не потому, что так им хотелось и что они были символистами. Символистом была действительность, которая вся была в переходах и броженьи; вся что-то скорее значила, нежели составляла, и скорее служила симптомом и знаменьем, нежели удовлетворяла. Все сместилось и перемешалось, старое и новое, церковь, деревня, город и народность. Это был несущийся водоворот условностей, между безусловностью оставленной и еще не достигнутой, отдаленное предчувствие главной важности века — социализма — и его лицевого события — русской революции.

И как реалист Блок дал высшую и единственную по близости картину Петербурга в этом знаменательном мельканьи, так поступил и реалист Верлен, отведя в своих непозволительно личных исповедях главную роль истори-

ческому времени и обстановке, среди которых протекали его паденья и раскаянья.

Он был сыном рано скончавшегося полковника, любимцем матери и женской дворни, и мальчиком был послан из провинции в Париж, в закрытое учебное заведение. Нечто сходное с жизнью Лермонтова было в его голубиной чистоте, вынесенной из женского круга, и в ее последующей судьбе среди распущенных парижских товарищей. По окончании школы он поступил чиновником в ратушу. 1870 год застал его ополченцем на парижских укреплениях. Он женился. Грянуло восстание. Он принял участие в работах Коммуны по делам печати. Это отразилось на его судьбе. По восстановлении порядка его расчитали. Он запил. Тут судьба послала ему злого гения в виде того чудовища одаренности, каким был буян, оригинал и поэт-подросток Артюр Рембо.

Он сам на свою голову выкопал этого «начинающего» где-то в Шарлеруа и выписал в Париж. С поселения Рембо у Верленов их нормальная жизнь кончилась. Дальнейшее существование Верлена залито слезами его жены и ребенка. Начались скитания Рембо и Верлена, навсегда оставившего семью, по большим дорогам Франции и Бельгии, совместный запой, полуголодная жизнь в Лондоне на грошовые заработки, драка в Штутгарте, каталажки и больницы.

Однажды в Брюсселе после крупной ссоры Верлен выбежал за уходящим от него Рембо, два раза выстрелил по нем вслед, ранил, был арестован и приговорен судом к двухгодичному заключению в тюрьме в Монсе.

После этого Рембо отправился в Африку завоевывать новые области Менелику Абиссинскому, к которому поступил на службу, а Верлен в тюрьме написал одну из своих лучших книг.

Он умер зимой 1896 года, не прибавив ничего поражающего к своей давно уже сложившейся славе, окруженный почтительным вниманием молодежи и подражателей.

Верлен рано начал писать. «Сатурнические стихи» его первой книги были написаны в коллеже. Его обманчивая поэтика, как и заглавия некоторых его книг, вроде «Песен без слов» (названия для произведений словесности достаточно дерзкого), наводили на ложные мысли. Можно было думать, что пренебрежение к стилистике,

которое он провозглашал, внушено стремленьем к пресловутой «музыкальности» (ее редко кто понимает), что он жертвует смысловую и графической стороной поэзии в пользу вокальной. Это не так. Совсем напротив. Как всякий большой художник, он требовал *«не слов, а дела»* даже и от *искусства слова*, то есть хотел, чтобы поэзия содержала действительно пережитое или свидетельскую правду наблюдателя.

Вот что по этому поводу говорит он в знаменитом своем стихотворении «Искусство поэзии», превратно послужившем манифестом зауми и «напевности».

О, если б в бунте против правил
Ты рифмам совести прибавил!

И дальше:

Пускай в твоём стихе с разгону
Блеснут в дали преображенной
Другое небо и любовь.
Пускай он выболтает сдуру
Все, что впотьмах, чудотворя,
Наворочит ему заря, —
Все прочее — литература.

Верлен имел право говорить так. В своих стихах он умел подражать колоколам, уловил и закрепил запахи преобладающей флоры своей родины, с успехом передразнивал птиц и перебрал в своем творчестве все переливы тишины, внутренней и внешней, от зимнего звездного безмолвия до летнего оцепененья в жаркий солнечный полдень. Он как никто выразил долгую гложущую и неотпускающую боль утраченного обладания, все равно, будь то утрата бога, который был и которого не стало, или женщины, которая переменила свои мысли, или места, которое стало дороже жизни и которое надо покинуть, или утрата покоя.

Кем надо быть, чтобы представить себе большого и победившего художника медиумической крошкой, испорченным ребенком, который не ведает, что творит. Наши представления также недооценивают орлиной трезвости Блока, его исторического такта, *его чувства земной уместности*, неотделимой от гения. Нет, Верлен великолепно знал, что ему надо и чего недостает французской

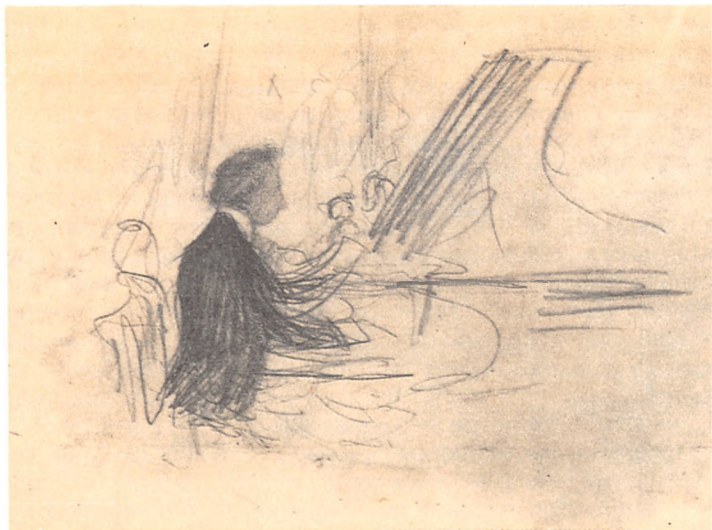
поэзии для передачи того нового вихря в душе и в городе, о котором речь шла выше. И в любой степени пьянства или маранья ради баловства, разложив ощущение до желаемой границы и приведя мысли в высшую ясность, он давал языку, на котором писал, ту беспредельную свободу, которая и была его открытием в лирике и которая встречается только у мастеров прозаического диалога в романе и драме. Парижская фраза во всей ее нетронутости и чарующей меткости влетала с улицы и ложилась в строчку целиком, без малейшего ущемленья, как мелодический материал для всего последующего построенья. В этой поступательной непринужденности — главная прелесть Верлена. Обороты французской речи были для него неделимы. Он писал целыми реченьями, а не словами, не дробил их и не переставлял.

Просты и естественны многие, если не все, но они просты в той начальной степени, когда это дело их совести и любопытно только то, искренне ли они просты или притворно. Такая простота величина нетворческая и никакого отношения к искусству не имеет. Мы же говорим о простоте идеальной и бесконечной. Такою простотой и был прост Верлен. По сравнению с естественностью Мюссе Верлен естественен непревосхитимо и не сходя с места, он по-разговорному, сверхъестественно естествен, то есть он прост не для того, чтобы ему поверили, а для того, чтобы не помешать голосу жизни, рвущемуся из него.

Вот, собственно, и все, что мы себе позволили сказать по ограниченности времени и места.

1944





ШОПЕН

1

Легко быть реалистом в живописи, искусстве, зрительно обращенном к внешнему миру. Но что значит реализм в музыке? Нигде условность и уклончивость не прощаются так, как в ней, ни одна область творчества не овеяна так духом романтизма, этого всегда удающегося, потому что ничем не проверяемого, начала произвольности. И, однако, и тут все зиждется на исключениях. Их множество, и они составляют историю музыки. Есть, однако, еще исключения из исключений. Их два — Бах и Шопен.

Эти главные столпы и создатели инструментальной музыки не кажутся нам героями вымысла, фантастическими фигурами. Это — олицетворенные достоверности в своем собственном платье. Их музыка изобилует подробностями и производит впечатление летописи их жизни. Действительность больше, чем у кого-либо другого, проступает у них наружу сквозь звук.

Говоря о реализме в музыке, мы вовсе не имеем в виду иллюстративного начала музыки, оперной или программной. Речь совсем об ином.

Везде, в любом искусстве, реализм представляет, по-

видимому, не отдельное направление, но составляет особый градус искусства, высшую ступень авторской точности. Реализм есть, вероятно, та решающая мера творческой детализации, которой от художника не требуют ни общие правила эстетики, ни современные ему слушатели и зрители. Именно здесь останавливается всегда искусство романтизма и этим удовлетворяется. Как мало нужно для его процветания! В его распоряжении — ходульный пафос, ложная глубина и наигранная умильность, — все формы искусственности к его услугам.

Совсем в ином положении художник-реалист. Его деятельность — крест и предопределение. Ни тени вольничания, никакой блажи. Ему ли играть и развлекаться, когда его будущность сама играет им, когда он ее игрушка!

И прежде всего. Что делает художника реалистом, что его создает? Ранняя впечатлительность в детстве, — думается нам, — и своевременная добросовестность в зрелости. Именно эти две силы сажают его за работу, романтическому художнику неведомую и для него необязательную. Его собственные воспоминания гонят его в область технических открытий, необходимых для их воспроизведения. Художественный реализм, как нам кажется, есть глубина биографического отпечатка, ставшего главной движущей силой художника и толкающего его на новаторство и оригинальность.

Шопен реалист в том же самом смысле, как Лев Толстой. Его творчество насквозь оригинально не из несходства с соперниками, а из сходства с натурой, с которой он писал. Оно всегда биографично не из эгоцентризма, а потому, что, подобно остальным великим реалистам, Шопен смотрел на свою жизнь как на орудие познания всякой жизни на свете и вел именно этот расточительно-личный и нерасчетливо-одинокий род существования.

2

Главным средством выражения, языком, которым у Шопена изложено все, что он хотел сказать, была его мелодия, наиболее неподдельная и могущественная из всех, какие мы знаем. Это не короткий, куплетно возвращающийся мелодический мотив, не повторение оперной арии, без конца выделяющей голосом одно и то же, это

поступательно развивающаяся мысль, подобная ходу приковывающей повести или содержанию исторически важного сообщения. Она могущественна не только в смысле своего действия на нас. Могущественна она и в том смысле, что черты ее деспотизма испытал Шопен на себе самом, следуя в ее гармонизации и отделке за всеми тонкостями и изворотами этого требовательного и покоряющего образования.

Например, тема третьего, E-dur-ного этюда доставила бы автору славу лучших песенных собраний Шумана и при более общих и умеренных разрешениях. Но нет! Для Шопена эта мелодия была представительницей действительности, за ней стоял какой-то реальный образ или случай (однажды, когда его любимый ученик играл эту вещь, Шопен поднял кверху сжатые руки с восклицанием: «О, моя родина!»), и вот, умножая до изнеможения проходящие и модуляции, приходилось до последнего полутона перебирать секунды и терции среднего голоса, чтобы остаться верным всем журчаньям и перебивам этой подмывающей темы, этого прообраза, чтобы не уклониться от правды.

Или в gis-moll-ном, восемнадцатом этюде в терцию с зимней дорогой (это содержание чаще приписывают C-dur-ному этюду, седьмому) настроение, подобное элегизму Шуберта, могло быть достигнуто с меньшими затратами. Но нет! Выразенью подлежало не только нырянье по ухабам саней, но стрелу пути все время перечеркивали вкось плывущие белые хлопья, а под другим углом пересекал свинцовый черный горизонт, и этот кропотливый узор разлуки мог передать только такой, хроматически мелькающий с пропаданьями, омертвело звенящий, замирающий минор.

Или в баркароле впечатление, сходное с «Песнью венецианского гондольера» Мендельсона, можно было получить более скромными средствами, и тогда именно это была бы та поэтическая приблизительность, которую обычно связываешь с такими заглавиями. Но нет! Маслянисто круглились и разбегались огни набережной в черной выгибающейся воде, сталкивались волны, люди, речи и лодки, и для того, чтобы это запечатлеть, сама баркарола вся, как есть, со всеми своими арпеджиями, трелями и форшлагами, должна была, как цельный бассейн, ходить вверх и вниз, и взлетать, и шлепаться на своем органном

пункте, глухо оглашаемая мажорно-минорными содрога-ниями своей гармонической стихии.

Всегда перед глазами души (а это и есть слух) какая-то модель, к которой надо приблизиться, вслушиваясь, совершенствуясь и отбирая. Оттого такой стук капель в Des-dig-ной прелюдии, оттого наскакивает кавалерийский эскадрон с эстрады на слушателя в As-dig-ном полонезе, оттого низвергаются водопады на горную дорогу в последней части h-moll-ной сонаты, оттого нечаянно распахивается окно в усадьбе во время ночной бури в середине тихого и безмятежного F-dig-ного ноктюрна.

3

Шопен ездил, концертировал, полжизни прожил в Париже. Его многие знали. О нем есть свидетельства таких выдающихся людей, как Генрих Гейне, Шуман, Жорж Санд, Делакура, Лист и Берлиоз. В этих отзывах много ценного, но еще больше разговоров об ундинах, золотых арфах и влюбленных пери, которые должны дать нам представление о сочинениях Шопена, манере его игры, его облике и характере. До чего превратно и несообразно выражает подчас свои восторги человечество! Всего меньше русалок и саламандр было в этом человеке, и, наоборот, сплошным роем романтических мотыльков и эльфов кишели вокруг него великосветские гостинные, когда, поднимаясь из-за рояля, он проходил через их расступающийся строй, феноменально определенный, гениальный, сдержанно-насмешливый и до смерти утомленный писанием по ночам и дневными занятиями с учениками. Говорят, что часто после таких вечеров, чтобы вывести общество из оцепенения, в которое его погружали эти импровизации, Шопен незаметно прокрадывался в переднюю к какому-нибудь зеркалу, приводил в беспорядок галстук и волосы и, вернувшись в гостиную с измененной внешностью, начинал изображать смешные номера с текстом своего сочинения — знатного английского путешественника, восторженную парижанку, бедного старика еврея. Очевидно, большой трагический дар немислим без чувства объективности, а чувство объективности не обходится без мимической жилки.

Замечательно, что куда ни уводит нас Шопен и что нам ни показывает, мы всегда отдаемся его вымыслам

без насилия над чувством уместности, без умственной неловкости. Все его бури и драмы близко касаются нас, они могут случиться в век железных дорог и телеграфа. Даже когда в фантазии, части полонезов и в балладах выступает мир легендарный, сюжетно отчасти связанный с Мицкевичем и Словацким, то и тут нити какого-то правдоподобия протягиваются от него к современному человеку. Это рыцарские преданья в обработке Мишле или Пушкина, а не косматая голоногая сказка в рогатом шлеме. Особенно велика печать этой серьезности на самом шопеновском в Шопене — на его этюдах.

Этюды Шопена, названные техническими руководствами, скорее изучения, чем учебники. Это музыкально изложенные исследования по теории детства и отдельные главы фортепианного введения к смерти (поразительно, что половину из них писал человек двадцати лет), и они скорее обучают истории, строению вселенной и еще чему бы то ни было более далекому и общему, чем игре на рояле. Значение Шопена шире музыки. Его деятельность кажется нам ее вторичным открытием.

1945





НИКОЛАЙ БАРАТАШВИЛИ

У Бараташвили есть поэма «Судьба Грузии». Ее герой, последний грузинский царь Ираклий Второй, собираясь отдать измученную войнами страну под русское покровительство, говорит, что хочет видеть ее избавленной от набегов восточных соседей, свободно вздохнувшей, счастливо пользующейся плодами безмятежного труда и просвещения.

Такою застал Грузию при своем рождении величайший грузинский поэт нового времени Николай Бараташвили. Грузинское дворянство породнилось с русским и в совместной деятельности с ним втянулось в общий ход общероссийских государственных дел и высших умственных интересов Петербурга и Европы. Прежде существовавшие здесь зачатки западного влияния усилились.

Круг нескольких княжеских семейств, в котором вырос Николай Бараташвили, был именно тем передовым кругом, в который благодаря Грибоедову, наверное, попадали на грузинском Кавказе Пушкин и Лермонтов.

Сверх пестрой восточной чужеземщины, какую встречал их Тифлис, они где-то сталкивались с каким-то могучим и родственным бродилом, которое вызывало в них к жизни и поднимало на поверхность самое родное, самое дремлющее, самое затаенное. В этом кругу было все как в Петербурге — вино, карты, остроумие, французская речь, поклоненье женщине и гордая, готовая отразить любую оплошность, заносчивая удаль. Тут так же были знакомы с долгами и кредиторами, устраивали заговоры, попадали на гауптвахту, и тоже разорялись, плакали, и писали в восемнадцать лет горячие, порывистые стихи неповторимого одухотворения, и вслед за тем рано умирали.

Отец Николая Бараташвили был обедневший предводитель грузинского дворянства, загубивший свое состояние на приемы и угощенья. Жизнь его сына Николая, бедная внешними событиями и проведенная в нужде и незаметности, была расплатою за эту пышность.

Он родился 22 ноября 1816 года в Тифлисе, учился в приходской школе и кончил гимназию. Его мечтам о военной карьере не суждено было сбыться, потому что мальчиком он сломал себе ногу и остался хромым на всю жизнь. Не осуществилось и другое его желание — завершить свое образование в одном из русских университетов. Расстроенные дела отца и необходимость поддерживать семью заставили его искать места на службе. Прослужив в небольших чинах на разных административных должностях, он в 1845 году был назначен помощником уездного начальника в Гянджу. По приезде туда он заболел свирепствовавшей там злокачественной лихорадкой и умер там 9 октября того же года.

Этот послужной список совершенно противоположен нашим представлениям о Бараташвили. Он кажется его отражением в кривом зеркале. Истинные черты его были резки и значительны. Они запомнились современникам и сохранены преданием.

В детстве он был сорванцом и бедовым мальчиком, в школе хорошим товарищем. Когда он вырос, он сердил тифлисское общество своими шутками и ядом своих

насмешек. Своей привычкой говорить в глаза правду он казался ненормальным.

Он любил сестру Нины Грибоедовой, княжну Екатерину Чавчавадзе. Она вышла за другого. Всю жизнь он прожил с этой незаживающей раной, которую он сам все время растравлял нежностью и ожесточением своей личной лирики и своими счетами с высшей грузинской аристократией, крупнейшей звездой которой сияла его ненаглядная, в замужестве владетельная княгиня мингрельская Дадиани.

Бараташвили был окружен литераторами. Григорий Орбелиани был его дядей, Александр Чавчавадзе — другом его отца.

Но его собственным писаниям придавали так мало значения, что едва ли он надеялся увидеть их напечатанными в близком будущем. Более дальние его расчеты были опрокинуты преждевременной смертью. Может быть, тот вид, в котором лежат его стихи перед нами, не представляет их окончательной редакции, и автор предполагал еще подвергнуть их дальнейшему отбору и шлифовке. Однако след гения, оставшийся в них, так велик, что именно он, этот дух, проникающий их, придает им последнее совершенство, более, может быть, значительное, чем если бы автор имел больше времени позаботиться об их внешности.

Лирику Бараташвили отличают ноты пессимизма, мотивы одиночества, настроения мировой скорби.

Счастливые эпохи с их верою в человека и восприимчивость потомства позволяют художникам высказывать только главное, почти не касаясь побочного, в надежде на то, что воображение читателя само восполнит отсутствующие подробности. Отсюда некоторая неточность языка и плодovitость классиков, естественная при большей легкости их очень общих и отвлеченных задач.

Художники-отщепенцы мрачной складки любят договариваться до конца. Они отчетливо доскональны из неверия в чужие силы. Отчетливость Лермонтова настойчива и высокомерна. Его детали покоряют нас сверхъестественно. В этих черточках мы узнаем то, что должны были бы доработать сами. Это магическое чтение наших мыслей на расстоянии. Секретом такого действия владел и Бараташвили.

Его мечтательность перемешана с чертами жизни и

повседневности. На его творчестве лежит индивидуальная, одному ему свойственная печать, которую на него наложили особенности его времени. Описания в «Сумерках на Мтацминде» и «Ночи на Кабахи» не оказывали бы своего волшебного действия, если бы наряду с описаниями душевного состояния они не были еще более удивительными описаниями природы. Взрывы изобразительной стихии в его бесподобном, бешеном и вдохновенном «Мерани» ни с чем несравнимы. Это символ веры большой борющейся личности, убежденной в своем бессмертии и в том, что движение человеческой истории отмечено целью и смыслом.

Лучшие стихотворения Бараташвили сверх названных — это его посвящения Екатерине Чавчавадзе и все стихи двух последних лет его жизни с его поразительным «Синим цветом» в том числе.

В 1893 году его прах был перенесен из Гянджи в Тифлис. 21 октября 1945 года вслед за Грузией, его родиной, весь Союз торжественно чествовал столетнюю годовщину его смерти.

1946





ЗАМЕЧАНИЯ К ПЕРЕВОДАМ ИЗ ШЕКСПИРА

ОБЩАЯ ЦЕЛЬ ПЕРЕВОДОВ

В разное время я перевел следующие произведения Шекспира. Это драмы: «Гамлет», «Ромео и Джульетта», «Антоний и Клеопатра», «Отелло», «Король Генрих Четвертый» (первая и вторая части), «Макбет» и «Король Лир».

Потребность театров и читателей в простых, легко читающихся переводах велика и никогда не прекращается. Каждый переводивший льстит себя надеждой, что именно он больше других пошел этой потребности навстречу. Я не избегаю общей участи.

Не представляют исключения и мои взгляды на существо и задачи художественного перевода. Вместе со многими я думаю, что дословная точность и соответствие формы не обеспечивают переводу истинной близости. Как сходство изображения и изображаемого, так и сходство перевода с подлинником достигается живостью и естественностью языка. Наравне с оригинальными писателями переводчик должен избегать словаря, не свойственного ему в обиходе, и литературного притворства, заключающегося в стилизации. Подобно оригиналу, перевод должен производить впечатление жизни, а не словесности.

ПОЭТИЧЕСКИЙ СТИЛЬ ШЕКСПИРА

Стиль Шекспира отличают три особенности. Его драмы глубоко реалистичны по духу. Их выполнение по-разговорному естественно в местах, написанных прозой, или когда куски стихотворного диалога сопряжены с действием или движением. В остальных случаях потоки его белого стиха повышено метафоричны, иногда без надобности и тогда в ущерб правдоподобию.

Образная речь Шекспира неоднородна. Порой это высочайшая поэзия, требующая к себе соответствующего отношения, порой откровенная риторика, нагромождающая десяток пустых околичностей вместо одного вертевшегося на языке у автора и второпях не уловленного слова. Как бы то ни было, метафорический язык Шекспира в своих прозрениях и риторике, на своих вершинах, в своих провалах верен главной сущности всякого истинного иносказания.

Метафоризм — естественное следствие недолговечности человека и надолго задуманной огромности его задач. При этом несоответствии он вынужден смотреть на вещи по-орлиному зорко и объясняться мгновенными и сразу понятными озарениями. Это и есть поэзия. Метафоризм — стенография большой личности, скоропись ее духа.

Бурная живость кисти Рембрандта, Микеланджело и Тициана не плод их обдуманного выбора. При ненасытной жажде написать по целой вселенной, которая их обуревала, у них не было времени писать по-другому. Импрессионизм извечно присущ искусству. Это выражение душевного богатства человека, изливающегося через край его обреченности.

Шекспир объединил в себе далекие стилистические

крайности. Он совместил их так много, что кажется, будто в нем живет несколько авторов. Его проза законченна и отделана. Она написана гениальным комиком-деталистом, владеющим тайной сжатости и даром передразнивания всего любопытного и диковинного на свете.

Полная противоположность этому — область белого стиха у Шекспира. Ее внутренняя и внешняя хаотичность приводила в раздражение Вольтера и Толстого.

Очень часто некоторые роли Шекспира проходят несколько стадий завершения. Какое-нибудь лицо сперва говорит в сценах, написанных стихами, а потом вдруг разражается прозой. В таких случаях стихотворные сцены производят впечатление подготовительных, а прозаические — заключительных и конечных.

Стихи были наиболее быстрой и непосредственной формой выражения Шекспира. Он к ним прибегал как к средству наискорейшей записи мыслей. Это доходило до того, что во многих его стихотворных эпизодах мерещатся сделанные в стихах черновые наброски к прозе.

Сила шекспировской поэзии заключается в ее могучей, не знающей удержу и разметавшейся в беспорядке эскизности.

РИТМ ШЕКСПИРА

Ритм Шекспира — первооснова его поэзии. Размер подсказал Шекспиру часть его мыслей, слова его изречений. Ритм лежит в основании шекспировских текстов, а не завершительно обрамляет их. Ритмическими взрывами объясняются некоторые стилистические капризы Шекспира. Движущая сила ритма определила порядок вопросов и ответов в его диалогах, скорость их чередования, длину и короткость его периодов в монологах.

Этот ритм отразил завидный лаконизм английской речи, позволяющей в одной строчке английского ямба охватить целое изречение, состоящее из двух или нескольких взаимно противопоставленных предложений. Это ритм свободной исторической личности, не творящей себе кумира и благодаря этому искренней и немногословной.

«ГАМЛЕТ»

Явственнее всего этот ритм в «Гамлете». Здесь у него троякое назначение. Он применен как средство характеристики отдельных персонажей, он материализует в звуке и

все время поддерживает преобладающее настроение трагедии, и он возвышает и сглаживает некоторые грубые сцены драмы.

Ритмическая характеристика в «Гамлете» ярка и рельефна. По-одному говорит Полоний, или король, или Гильденстерн и Розенкранц, по-другому — Лаэрт, Офелия, Горацио и остальные. Легковерие королевы сквозит не только в ее словах, а в манере говорить нараспев и растягивая гласные.

Но резче всего ритмическая определенность самого Гамлета. Она так велика, что кажется нам сосредоточенною в каком-то все время чудящемся, как бы повторяющемся при каждом выходе героя, но на самом деле не существующем, вводном ритмическом мотиве, ритмической фигуре. В коротких строчках гамлетовских реплик он весь. Это как бы достигший осязательности пульс всего его существа. Тут и непоследовательность его движений, и крупный шаг его решительной походки, и гордые полуповороты головы. Так скачут и летят мысли его монологов, так разбрасывает он направо и налево свои надменные и насмешливые ответы вертящимся вокруг него придворным, так вперяет глаза в даль неведомого, откуда уже окликнула его однажды тень умершего отца и всегда может заговорить снова.

Так же не поддается цитированию общая музыка «Гамлета». Ее нельзя привести в виде отдельного ритмического примера. Несмотря на эту бестелесность, ее присутствие так зловеще и вещественно вырастает в общую ткань драмы, что в соответствии сюжету ее невольно хочется назвать духовидческой и скандинавской. Эта музыка состоит в мерном чередовании торжественности и тревожности. Она сгущает до предельной плотности атмосферу вещи и позволяет выступить тем полнее ее главному настроению. Однако в чем оно заключается?

По давнишнему убеждению критики, «Гамлет» — трагедия воли. Это правильное определение. Однако в каком смысле понимать его? Безволие было неизвестно в шекспировское время. Этим не интересовались. Облик Гамлета, обрисованный Шекспиром так подробно, очевиден и не вяжется с представлением о слабонервности. По мысли Шекспира, Гамлет — принц крови, ни на минуту не забывающий о своих правах на престол, баловень старого двора и самонадеянный вследствие своей большой ода-

ренности самородок. В совокупности черт, которыми его наделил автор, нет места дряблости, они ее исключают. Скорее напротив, зрителю предоставляется судить, как велика жертва Гамлета, если при таких видах на будущее он поступает своими выгодами ради высшей цели.

С момента появления призрака Гамлет отказывается от себя, чтобы «творить волю пославшего его». «Гамлет» не драма бесхарактерности, но драма долга и самоотречения. Когда обнаруживается, что видимость и действительность не сходятся и их разделяет пропасть, не существенно, что напоминание о лживости мира приходит в сверхъестественной форме и что призрак требует от Гамлета мщения. Гораздо важнее, что волею случая Гамлет избирается в судьи своего времени и в слуги более отдаленного. «Гамлет» — драма высокого жребия, заповеданного подвига, вверенного предназначения.

Ритмическое начало сосредоточивает до осязательности этот общий тон драмы. Но это не единственное его приложение. Ритм оказывает смягчающее действие на некоторые резкости трагедии, которые вне круга его гармонии были бы невыносимы. Вот пример.

В сцене, где Гамлет посылает Офелию в монастырь, он разговаривает с любящей его девушкой, которую он растаптывает с безжалостностью послебайроновского себялюбивого отщепенца. Его иронии не оправдывает и его собственная любовь к Офелии, которую он при этом с болью подавляет. Однако посмотрим, что вводит эту бессердечную сцену? Ей предшествует знаменитое «Быть или не быть», и первые слова в стихах, которые говорят друг другу Гамлет и Офелия в начале обидной сцены, еще пропитаны свежей музыкой только что отзвучавшего монолога. По горькой красоте и беспорядку, в котором обгоняют друг друга, теснятся и останавливаются вырывающиеся у Гамлета недоумения, монолог похож на внезапную и обрывающуюся пробу органа перед началом реквиема. Это самые трепещущие и безумные строки, когда-либо написанные о тоске неизвестности в преддверии смерти, силой чувства возвышающиеся до горечи Гефсиманской ноты.

Не удивительно, что монолог предпослан жестокости начинающейся развязки. Он ей предшествует, как отпевание погребению. После него может наступить любая

неизбежность. Все искуплено, омыто и возвеличено не только мыслями монолога, но и жаром и чистотою звенящих в нем слез.

«РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА»

Если так велика роль музыки в «Гамлете», то что скажем мы о «Ромео и Джульетте»? Тема трагедии — первая юношеская любовь и ее сила. Где и разыгаться благозвучию и мерности, как не в таком произведении? Но оно нас обманывает. Лиризм совсем не то, что мы думали. Шекспир не пишет дуэтов и арий. С пронизательностью гения он идет по совершенно другой дороге.

Назначение музыки в этой вещи отрицательное. Она воплощает в трагедии враждебную любящим силу светской лжи и житейской суетоки.

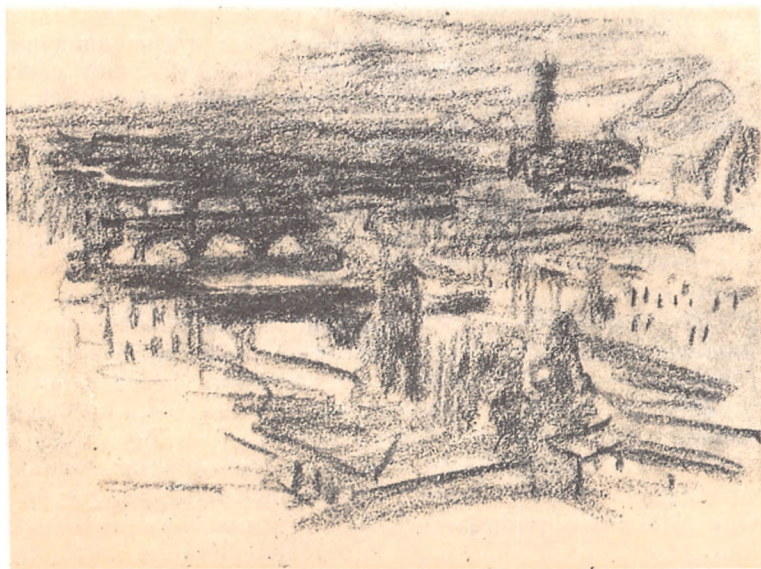
До знакомства с Джульеттой Ромео пылает выдуманной страстью к упоминаемой заочно и ни разу не показанной на сцене Розалинде. Это романическое ломанье в духе тогдашней моды. Оно выгоняет Ромео по ночам на одинокие прогулки, а днем он отсыпается, заслонившись ставнями от солнца. Все первые сцены, пока это продолжается, реплики Ромео написаны неестественными рифмованными стихами. В самой певучей форме Ромео несет все время высокопарный вздор на манерном языке гостиных той эпохи. Но стоит ему впервые на балу увидеть Джульетту, как он останавливается перед ней как вкопанный и от его мелодического способа выразиться ничего не остается.

В ряду чувств любовь занимает место притворно смирившейся космической стихии. Любовь так же проста и безусловна, как сознание и смерть, азот и уран. Это не состояние души, а первооснова мира. Поэтому, как нечто краеугольное и первичное, любовь равнозначительна творчеству. Она не меньше его, и ее показания не нуждаются в его обработке. Самое высшее, о чем может мечтать искусство, — это подслушать ее собственный голос, ее всегда новый и небывалый язык. Благозвучие ей ни к чему. В ее душе живут истины, а не звуки.

Как все произведения Шекспира, большая часть трагедии написана белым стихом. В этой форме объясняются герой и героиня. Но размер не подчеркнут в этом стихе и не выпирает. Это не декламация. Форма не заслоняет своим самолюбованием бездонно-скромного содержания. Это пример наивысшей поэзии, которую в ее лучших образцах

всегда пропитывают простота и свежесть прозы. Речь Ромео и Джульетты — образец настороженного и прерывающегося разговора тайком вполголоса. Такой и должна быть ночью речь смертельного риска и волнения. Это будущая прелесть «Виктории» и «Войны и мира» и та же чарующая чистота и непревосхитимость.

В трагедии оглушительны и повышено ритмичны сцены уличного и домашнего многолюдства. За окном звенят мечи дерущейся родни Монтеки и Капулетти и льется кровь, на кухне перед нескончаемыми приемами бранятся стряпухи и стучат ножи поваров, и под этот стук резни и стряпни, как под громовой такт шумового оркестра, идет и разыгрывается трагедия тихого чувства, в главной части своей написанная беззвучным шепотом заговорщиков.



«ОТЕЛЛО»

У самого Шекспира не было деления пьес на акты и сцены. Это разбивка позднейших издателей. В ней нет насилия, пьесы сами легко поддаются ей по своему внутреннему членению.

Хотя первоначальные тексты шекспировских драм печатались подряд, без перерывов, отсутствие разделов не мешало им отличаться строгостью построения и развития, в наши дни необычными.

Это в особенности относится к серединам шекспировских драм, содержащим их тематические разработки. Обыкновенно они обнимают третий акт, с некоторыми долями второго и четвертого. В пьесах Шекспира они занимают место пружинной коробки в заводном механизме.

В начальных и заключительных частях своих драм Шекспир вольно komponует частности интриги, а потом так же играючи разделяется с последними обрывками ее нитей. Его экспозиции и финалы навеяны жизнью и написаны с натуры в форме быстро сменяющихся друг друга картин, с величайшею в мире свободой и ошеломляющим богатством фантазии.

Но в средних частях драм, когда узел интриги завязан и начинается его распутывание, Шекспир не дает себе привычной воли и в своей ложной старательности оказывается рабом и детищем века.

Его третьи акты подчинены механизму интриги в степени, неведомой позднейшей драматургии, которую он сам научил смелости и правде. В них царит слишком слепая вера в могущество логики и то, что нравственные абстракции существуют реально. Изображение лиц с правдоподобно распределенными светотенями сменяется обобщенными образами добродетелей или пороков. Появляется искусственность в расположении поступков и событий, которые начинают следовать в сомнительной стройности разумных выводов, как силлогизмы в рассуждении.

В дни Шекспирова детства в английской провинции еще ставили средневековые нравоучительные аллегории. Они дышали формализмом отжившей схоластики. Шекспир ребенком мог видеть эти представления. Старомодная добросовестность его разработок — пережиток пленившей его в детстве старины.

Четыре пятых Шекспира составляют его начала и концы. Вот над чем смеялись и плакали люди. Именно они создали славу Шекспира и заставили говорить о его жизненной правде, в противоположность мертвому бездушию классики.

Но нередко правильным наблюдениям дают неправильные формулировки. Часто можно слышать восторги по поводу «Мышеловки» в «Гамлете» или того, с какой железной необходимостью разрастается какая-нибудь страсть или последствия какого-нибудь преступления у Шекспира. От восторгов захлебываются на ложных основаниях. Восторгаться надо было бы не «Мышеловкой», а тем, что Шекспир бессмертен и в местах искусственных. Восторгаться надо тем, что одна пятая Шекспира, представляющая его третьи акты, временами схематические и омертвелые, не мешает его величию. Он живет не благодаря, а вопреки им.

Несмотря на силу страсти и гения, сосредоточенные в «Отелло», и на его театральную популярность, сказанное в значительной степени относится к этой трагедии.

Вот одна за другой ослепительные набережные Венеции, дом Брабанцио, арсенал. Вот чрезвычайное заседание сената и непринужденный рассказ Отелло о зачатках постепенно зарождающейся взаимности между ним и Дездемоной. Вот картина морской бури у побережий Кипра и пьяной драки ночью в крепости. Вот известная сцена ночного туалета Дездемоны с пением еще более знаменитой «Ивушки» — верх трагической естественности перед страшными красками финала.

Но вот несколькими поворотами ключа Яго в средней части заводит, как будильник, доверчивость своей жертвы, и явление ревности с хрипом и вздрагиванием, как устаревший механизм, начинает раскручиваться перед нами с излишней простотой и слишком далеко зашедшей обстоятельностью. Скажут, что такова природа этой страсти и что это дань условностям сцены, требующей плоской ясности. Может быть. Но вред от этой дани не был бы так велик, если бы ее платил менее последовательный и гениальный художник. В наши дни приобретает особый интерес другая частность.

Случайно ли, что главный герой трагедии — черный, а все, что у него есть дорогого в жизни, — белая? Что значит этот подбор цветов? Означает ли это только то, что права каждой крови на человеческое достоинство одинаковы? Нет, мысли Шекспира, двигавшиеся в этом направлении, шли гораздо дальше.

Идеи равенства наций не было при нем. Жила полною жизнью более всеобъемлющая мысль христианства о дру-

гом роде их безразличия. Эту мысль интересовало не рождение человека, а его обращение, то, чему он служил и себя посвящал. Для Шекспира черный Отелло исторический человек и христианин, и это тем более, что рядом с ним белый Яго — необращенное доисторическое животное.

«АНТОНИЙ И КЛЕОПАТРА»

У Шекспира есть особняком стоящие трагедии, вроде «Макбета» и «Лира», образующие самобытные миры, без соответствия чему бы то ни было определенному на свете. Есть комедии, представляющие царство безраздельной выдумки и вдохновения, колыбель будущего романтизма. Есть исторические хроники из английской жизни, пылкие славословия родине, произнесенные величайшим из ее сынов. Часть событий, которые Шекспир описал в этих хрониках, продолжались в событиях окружавшей его жизни, и Шекспир не мог относиться к ним с трезвым беспристрастием.

Таким образом, несмотря на внутренний реализм, проникающий творчество Шекспира, напрасно стали бы мы искать в произведениях перечисленных разрядов объективности. Ее можно найти в его римских драмах.

«Юлий Цезарь» и в особенности «Антоний и Клеопатра» написаны не из любви к искусству, не ради поэзии. Это плоды изучения неприкрашенной повседневности. Ее изучение составляет высшую страсть всякого изобразителя. Это изучение привело к «физиологическому роману» девятнадцатого столетия и составило еще более бесспорную прелесть Чехова, Флобера и Льва Толстого.

Но почему вдохновительницей реализма явилась такая глубокая старина, как древний Рим? Этому не надо удивляться. Именно своей отдаленностью предмет разрешал Шекспиру называть вещи своими именами. Он мог говорить все, что ему бы ни заблагорассудилось, в политическом, нравственном и любом другом отношении. Перед ним был чужой и далекий мир, давно закончивший свое существование, замкнувшийся, объясненный и неподвижный. Какое желание мог он возбуждать? Его хотелось рисовать.

«Антоний и Клеопатра» самое реалистическое, самое зрелое и, может статься, самое лучшее произведение

Шекспира. Оно написано о любви к жизни в самом обыкновенном, истасканном и ходячем смысле слова. Шекспир показывает это чувство на примере двух великанов.

«Антоний и Клеопатра» — роман кутилы и обольстительницы. Шекспир описывает их прожигание жизни в тонах мистерии, как подобает настоящей вакханалии в античном смысле.

Историками записано, что Антоний с собутыльниками и Клеопатра с наиболее близкой частью двора не ждали добра от своего возведенного в служение разгула. В предвидении развязки они задолго до нее дали друг другу имя бессмертных самоубийц и обещание умереть вместе.

Так кончается и трагедия. В решающую минуту смерть оказывается той рисовальщицей, которая обводит повесть недостававшею ей общею чертою. На фоне походов, пожаров, измен и военных поражений мы в два приема прощаемся с обоими главными лицами. В четвертом акте закалывается герой, в пятом — лишает себя жизни героиня.

ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ ЗРИТЕЛЯ

Английские хроники Шекспира изобилуют намеками на тогдашнюю злобу дня. В то время газет не было. Чтобы узнать новости, замечает Дж. Б. Гаррисон в «Жизни Англии в дни Шекспира», сходились в питейных и театрах. Драма говорила обиняками. Не надо удивляться, что простой народ так понимал эти подмигивания. Намеки касались обстоятельств, близких каждому.

Политической подоплекой времени была трудная, с воодушевлением начатая, но скоро надоевшая война с Испанией. Ее пятнадцать лет вели на море и на суше, у берегов Португалии, в Нидерландах и в Ирландии.

Насмешки отрицателя Фальстафа над слишком затверженной воинственной фразой забавляли мирную простую публику, великолепно постигавшую, во что они метили, а в сценах Фальстафовой вербовки рекрут и их освобождения за взятку зритель с еще большим смехом узнавал свои собственные испытания.

Гораздо удивительнее другой пример понятливости тогдашнего зрителя.

Как у всех елисаветинцев, сочинения Шекспира пестрят обращениями к истории, параллелями из древних литера-

тур и мифологическими именами и названиями. Для того чтобы их понять теперь со справочником в руках, требуется классическое образование. А нам говорят, что средний лондонский зритель того времени, смотря «Гамлета» или «Лира», глотал на лету эти поминутно мелькавшие классицизмы и их успешно переваривал. Как этому поверить?

Но, во-первых, напрасно думать, что искусство вообще когда-нибудь поддается окончательному пониманию и что наслаждение им в этом нуждается. Подобно жизни, оно не может обойтись без доли темноты и недостаточности. Но не в этом дело.

Совершенно переменялся состав знаний. Латынь, которая теперь кажется признаком высшего образования, тогда была общим порогом низшего, как церковнославянский в древнерусском воспитании. В начальных, так называемых «грамматических» школах того времени, одну из которых закончил Шекспир, латынь была разговорным языком школьников, и, по сообщению историка Тревелиана, им запрещалось пользоваться английским даже в дворовых играх. Для лондонских подмастерьев и приказчиков, умевших читать и писать, Фортуны, Гераклы и Ниобеи были такой же азбукой, как зажигание в автомобиле или начатки электричества для современного городского подростка.

Шекспир застал старый, столетний быт, давным-давно более или менее сложившийся. Этот быт был всем понятен. Время Шекспира было праздником в истории Англии. Уже следующее царствование снова вывело вещи из равновесия.

ПОДЛИННОСТЬ ШЕКСПИРОВА АВТОРСТВА

Шекспир целен и везде верен себе. Он связан особенностями своего словаря. Он под разными именами переносит некоторые характеры из одного произведения в другое и перепевает себя на множество иных ладов. Среди этих перифраз особенно выделяются его внутренние повторения в пределах одного произведения.

Гамлет говорит Горацио, что он настоящий человек и не флюгер, что на нем нельзя играть, как на дудке. Через несколько страниц Гамлет предлагает Гильденстерну поиграть на флейте в том же аллегорическом смысле.

В тираде первого актера о жестокости Фортуны,

допустившей убийство Приама, боги призываются в наказание ей отобрать у нее колесо, символ ее власти, сломать его и обломки низринуть с облаков в бездну Тартара. Через несколько страниц Розенкранц в беседе с королем сравнивает власть монарха с колесом водоподъемного ворота, укрепленного на круче, которое сокрушит все на пути своего падения, если поколебать его устои.

Джюльетта выхватывает кинжал, висевший на боку у мертвого Ромео, и закаляется со словами: «Переходи сюда, кинжал, — вот твое место. Торчи в груди у меня и покрывайся ржавчиной, а я умру». Несколькими строчками ниже старик Капулетти восклицает то же самое о кинжале, ошибшемся местом и вместо чехла на кушаке Ромео сидящем в груди у его дочери. И так без конца, почти на каждом шагу. Что это значит?

Переводить Шекспира — работа, требующая труда и времени. Принявшись за нее, приходится заниматься ежедневно, разбив задачу на доли, достаточно крупные, чтобы работа не затянулась. Это каждодневное продвижение по тексту ставит переводчика в былые положения автора. Он день за днем воспроизводит движения, однажды проделанные великим прообразом. Не в теории, а на деле сближаешься с некоторыми тайнами автора, осязаемо посвящаешься в них.

Когда переводчик натывается на повторения, о которых была речь выше, он на собственном опыте убеждается в непродолжительности, в какой следуют друг за другом эти повторения, и, ошеломляясь, задает себе невольно вопрос: кто и при каких условиях мог дать доказательства такой непамятливости на протяжении нескольких суток?

Тогда с осязательностью, которая не дана исследователю и биографу, переводчику открывается определенность того, что жило в истории лицо, которое называлось Шекспиром и было гением. Это лицо в двадцать лет написало тридцать шесть пятиактных пьес, не считая двух поэм и собрания сонетов. Таким образом, вынужденное писать в среднем по две пьесы в год, оно не имело времени перечитывать себя и, сплошь и рядом забывая сделанное накануне, второпях повторялось.

Тогда непонятность «беконианской» теории охватывает с новой силой. Начинаешь еще больше удивляться тому, зачем понадобилось простоту и правдоподобие Шекспи-

ровой биографии заменять путаницей выдуманных тайн, подтасовок и их мнимых раскрытий.

Мыслимо ли, невольно спрашиваешь себя, чтобы Рутленд, Бекон и Саутгемптон маскировались так неудачно и, прячась с помощью шифра или подставного лица от Елисаветы и ее времени, распускали себя так неосторожно на глазах у всей последующей истории? Какую заднюю мысль или хитрость можно предположить в том верхе опрометчивости, какую представляет этот несомненно существовавший человек, не стыдившийся описок, зевавший перед лицом веков от усталости и знавший себя хуже, чем знают его теперь ученики средней школы? В обнаруженных слабостях проявляет себя его сила.

Попутно возникает другое недоумение. Почему именно посредственность с таким пристрастием занята законами великого? У нее свое представление о художнике, бездеятельное, усладительное, ложное. Она начинает с допущения, что Шекспир должен быть гением в ее понимании, прилагает к нему свое мерило, и Шекспир ему не удовлетворяет.

Его жизнь оказывается слишком глухой и будничной для такого имени. У него не было своей библиотеки, и он слишком коряво подписался под завещанием. Представляется подозрительным, как одно и то же лицо могло так хорошо знать землю, травы, животных и все часы дня и ночи, как их знают люди из народа, и в то же время быть настолько своим человеком в вопросах истории, права и дипломатии, так хорошо знать двор и его нравы. И удивляются, и удивляются, забыв, что такой большой художник, как Шекспир, неизбежно есть все человеческое, вместе взятое.

«КОРОЛЬ ГЕНРИХ ЧЕТВЕРТЫЙ»

Одна пора Шекспировой биографии для нас особенно несомненна. Это пора его юности.

Он тогда только что приехал в Лондон молодым безвестным провинциалом из Стратфорда. Вероятно, на какое-то время он, как высадился, остановился за городской чертой, до которой доезжали извозчики. Там было нечто вроде ямской слободы. Ввиду круглосуточного движения прибывающих и отбывающих предместье, наверное, день и ночь жило жизнью нынешних вокзалов и было, вероят-

но, богато прудами и рощами, огородами, экипажными и увеселительными заведениями, загородными садами и балаганами. Здесь могли быть театры. Сюда приезжала развлекаться молодая веселящаяся знать из Лондона.

Это был мир, по-своему близкий миру Тверских-Ямских в пятидесятых годах прошлого столетия, когда в Замоскворечьи жили и подвизались лучшие русские продолжатели стратфордского провинциала — Аполлон Григорьев и Островский, в сходном окружении девяти муз, высоких идей, троек, трактирных половых, цыганских хоров и образованных купцов-театралов.

Молодой приезжий был тогда человеком без определенных занятий, но зато с необыкновенно определенной звездой. Он верил в нее. Только эта вера и привела его из захолустья в столицу. Он еще не знал, какую роль будет он когда-нибудь играть, но чувство жизни подсказывало ему, что он сыграет ее неслыханно и небывало.

Все, за что он ни брался, делали до него — сочиняли стихи и пьесы, играли на сцене, оказывали услуги кутящим аристократам и всеми способами старались выйти в люди. Но за что ни брался этот молодой человек, он чувствовал прилив таких ошеломляющих сил, что самым лучшим для него было нарушать установившиеся навыки и делать все по-своему.

До него искусством считалось одно деланное, неестественное и не похожее на жизнь. Это несходство с жизнью было обязательным отличием искусства, и к нему прибегали, чтобы скрыть под этой ложной условностью свое неумение рисовать и душевное бессилие. А у Шекспира был такой превосходный глаз и такая уверенная рука, что для него прямою выгодой было опрокинуть это положение.

Он понимал, как он выиграет, если с общепринятой дистанции подойдет к жизни на своих ногах, а не на ходулях, и, состязаясь с нею в выдержке, заставит ее опустить глаза первую перед упорством его немигающего взгляда.

Была какая-то компания актеров, писателей и их покровителей, которая переходила из кабака в кабак, задирала незнакомых и, вечно рискуя головою, смеялась над всем на свете. Самым отчаянным и невредимым (ему все сходило с рук), самым неумеренным и трезвым (хмель не брал его), возбуждавшим самый неуправляемый

смех и самым сдержанным был этот мрачный юноша, в семимильных сапогах быстро уходивший в будущее.

Может быть, к кружку этой молодежи действительно принадлежал толстяк и старый обжора вроде Фальстафа. А может быть, это воплощенное в форме выдумки позднейшее воспоминание о том времени.

Оно было дорого Шекспиру не только былым весельем. То были дни рождения его реализма. Его реализм увидел свет не в одиночестве рабочей комнаты, а в заряженной бытом, как порохом, неубранной утренней комнате гостиницы. Реализм Шекспира не глубокомыслие остепенившегося гуляки, не пресловутая «мудрость» позднейшего опыта. Серьезнейшее, нешуточное, трагическое и вещественное искусство Шекспира родилось из ощущения успешности и силы во время этих ранних дурачеств, полных взбалмошной изобретательности, дерзости, предприимчивости и смертельного бешеного риска.

«МАКБЕТ»

Трагедия «Макбет» с полным правом могла бы называться «Преступлением и наказанием». Я не мог отделаться от параллелей с Достоевским, когда переводил ее.

Подготавливая убийство Банко, Макбет говорит наемным убийцам:

Через час, не больше.
Разведчик вам покажет, где вам стать,
И вам назначит миг для нападения.
Кончайте все поодаль от дворца
Сегодня ночью.

Немного спустя, в третьей сцене третьего акта, убийцы прячутся среди парка в засаде. На ночной пир в замок съезжаются гости. Убийцы подстерегают приглашенного Банко, они переговариваются:

В т о р о й у б и й ц а

Наверно, это он. Другие все
Уж во дворце.

П е р в ы й у б и й ц а

Их кони повернули.

Третий убийца

Их увели. Дорога для езды
Идет обходом с милю. Верно, Банко
Пройдет чрез парк пешком, как ходят все.

Убийство дело отчаянное, опасное. Перед его совершением надо все тщательно обдумать, предусмотреть все возможности. Шекспир и Достоевский, думающие за своих героев, наделяют их даром предвиденья и воображением, равным их собственному. Способность к своевременному уточнению частных и здесь одинаковая у авторов и их героев. Это двойной, повышенный реализм детектива или уголовного романа, осторожный, оглядывающийся, как само убийство.

И еще другое сходство. Макбет и Раскольников не природные злодеи, не преступники от рождения. Преступниками делают их ложные головные построения, шаткие ошибочные мозаключения.

В одном случае толчком, отправной точкой служит предсказание ведьм, зажигающее в человеке целый пожар честолюбия. В другом — слишком далеко зашедшее нигилистическое допущение, что если бога нет, то все дозволено, а значит, и совершение убийства, ничем существенным не отличающееся от любого другого человеческого действия или поступка.

Особенно огражден от последствий Макбет. Что может грозить ему? Шествующий по полю лес? Человек, не рожденный женщиной? Но таких вещей не бывает, это явные несообразности. Иными словами, он может проливать кровь безнаказанно. Да и в самом деле, какой закон будет обратим против него, когда, придя к королевской власти, сам он, и только он один, будет издавать законы?

Кажется, все так ясно и логично. Что может быть проще и очевиднее? И злодеяния совершаются одно за другим, много злодеяний в течение долгого времени, а потом лес вдруг трогается с места и пускается в путь, и является мститель, не рожденный женщиной.

Кстати о леди Макбет. Черты сильной воли и хладнокровия не главные в ее характере. Мне кажется, более общие женские свойства в ней преобладают. Это образ деятельной, настойчивой женщины в браке, женщины —

пособницы и мужней опоры, не отделяющей интересов мужа от своих собственных и принимающей его замыслы бесповоротно на веру. Она их не обсуждает, не подвергает разбору и оценке. Размышлять, сомневаться и составлять планы — это дело мужа и его забота. Она их исполнительница, более непоколебимая и последовательная, чем он сам. Она берет на себя чрезмерное бремя и погибает, не соразмерив сил, не от угрызений совести, а от душевного изнеможения, от сердечной тоски и усталости.

«КОРОЛЬ ЛИР»

«Короля Лира» трактуют всегда слишком шумно. Своевольничающий старик самодур, собрания в гулком дворцовом зале, окрики и приказания, а потом вопли отчаяния и проклятия, сливающиеся с раскатами грома и шумом ветра. Но, по существу, в трагедии бушует только ночная буря, а забившиеся в шалаш, смертельно перепуганные люди разговаривают шепотом.

«Король Лир» такая же тихая трагедия, как «Ромео и Джульетта», и по той же причине. В «Ромео и Джульетте» скрывается и подвергается преследованию взаимная любовь юноши и девушки, а в «Короле Лире» — любовь дочерняя и в более широком смысле любовь к ближнему, любовь к добру, любовь к правде.

В «Короле Лире» понятиями долга и чести притворно орудуют только уголовные преступники. Только они лицемерно красноречивы и рассудительны, и логика и разум служат фарисейским основанием их подлогам, жестокостям и убийствам. Все порядочное до неразличимости молчаливо или выражает себя противоречивой невнятицей, ведущей к недоразумениям. Положительные герои трагедии — глупцы и сумасшедшие, гибнущие и побежденные.

Вещь с этим содержанием написана языком ветхозаветных пророков и отнесена в легендарные времена дохристианского варварства.

О НАЧАЛЕ ТРАГИЧЕСКОГО И КОМИЧЕСКОГО У ШЕКСПИРА

У Шекспира нет комедий и трагедий в чистом виде, но более или менее средний и смешанный из этих элементов жанр. Он больше отвечает истинному лицу жизни,

в которой тоже перемешаны ужасы и очарование. Эту сообразность тона ставят Шекспиру в заслугу английские критики всех времен, от С. Джонсона до Т.-С. Элиота.

В трагическом и комическом Шекспир видел не только возвышенное и общежитейское, идеальное и реальное. Он смотрел на них как на нечто подобное мажору и минору в музыке. Располагая материал драмы в желательном порядке, он пользовался сменой поэзии и прозы и их переходами как музыкальными ладами.

Их чередование составляет главное отличие Шекспировой драматургии, душу его театра, тот широчайший скрытый ритм мысли и настроения, о котором говорилось в заметке о «Гамлете».

К этим контрастам Шекспир прибегал систематически. В форме таких, то шутовских, то трагических, часто сменяющихся сцен написаны все его драмы. Но в одном случае он пользуется этим приемом с особенным упорством.

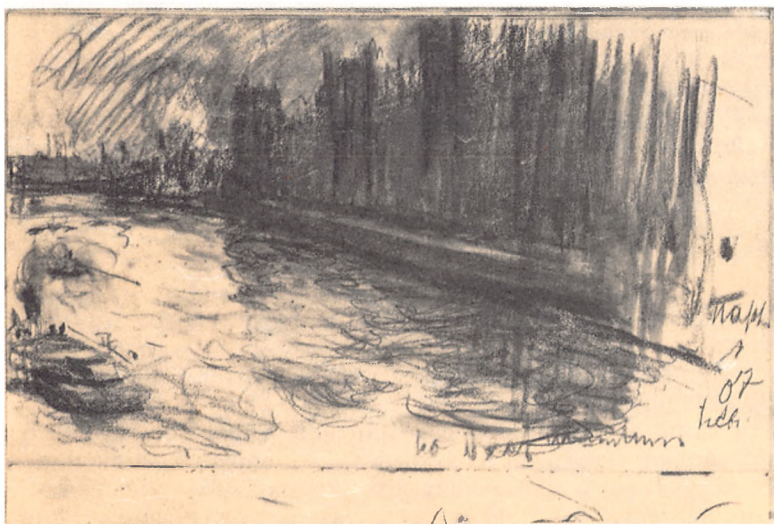
У края свежей могилы Офелии зал смеется над краснобайством философствующих могильщиков. В момент выноса Джульетты мальчик из лакейской потешается над приглашенными на свадьбу музыкантами, и они торгуются с выпроваживающею их кормилицей. Самоубийство Клеопатры предваряет появление придурковатого египтянина со змеями и его нелепые рассуждения о бесполезности гадов. Почти как у Леонида Андреева или Метерлинка!

Шекспир был отцом и учителем реализма. Общеизвестно значение, которое он имел для Пушкина, Гюго и других. Им занимались немецкие романтики. Один из Шлегелей переводил его, а другой вывел из творений Шекспира свое учение о романтической иронии. Мы не знаем, где нашлась бы подходящая литературная форма для необычайного сцепления Шеллинговых и Гегелевых идей, если бы не существовало Шекспира и его еще более безумной страсти к сочетанию любых понятий в любом порядке. Шекспир — предшественник будущего символизма Гёте в «Фаусте». Наконец, чтобы ограничиться самым важным, Шекспир — провозвестник позднейшего символического театра Ибсена и Чехова.

В этом именно духе и заставляет он ржать и врываться пошлую стихию ограниченности в погребальную торжественность своих финалов. Ее вторжения отодвигают в еще

большую даль и без того далекую и недоступную нам тайну конца и смерти. Почтительное расстояние, на котором мы стоим у порога высокого и страшного, еще немного вырастает. Для мыслителя и художника не существует последних положений, но все они предпоследние. Шекспир словно боится, как бы зритель не уверовал слишком твердо во мнимую безусловность и окончательность развязки. Перебоями тона в конце он восстанавливает нарушенную бесконечность. В духе всего нового искусства, противоположного античному фатализму, он растворяет временность и смертность отдельного знака в бессмертии его общего значения.

1956





ЛЮДИ И ПОЛОЖЕНИЯ

Автобиографический очерк

МЛАДЕНЧЕСТВО

1

В «Охранной грамоте», опыте автобиографии, написанном в двадцатых годах, я разобрал обстоятельства жизни, меня сложившие. К сожалению, книга испорчена ненужною манерностью, общим грехом тех лет. В настоящем очерке я не избегну некоторого пересказа ее, хотя постараюсь не повторяться.

2

Я родился в Москве 29 января 1890 года по старому стилю в доме Лыжина, против Духовной семинарии, в

Оружейном переулке. Необъяснимым образом что-то запомнилось из осенних прогулок с кормилицей по семинарскому парку. Размокшие дорожки под кучами опавших листьев, пруды, насыпные горки и крашенные рогатки семинарии, игры и побоища гогочущих семинаристов на больших переменах.

Прямо напротив ворот семинарии стоял каменный двухэтажный дом с двором для извозчиков и нашею квартирой над воротами, в арке их сводчатого перекрытия.

3

Ощущения младенчества складывались из элементов испуга и восторга. Сказочностью красок они восходили к двум центральным образам, надо всем господствовавшим и все объединявшим. К образу медвежьих чучел в экипажных заведениях Каретного ряда и к образу добряка великана, сутулого, косматого, глухо басившего книгоиздателя П. П. Кончаловского, к его семье и к рисункам карандашом, пером и тушью Серова, Врубеля, моего отца и братьев Васнецовых, висевшим в комнатах его квартиры.

Околоток был самый подозрительный — Тверские-Ямские, Труба, переулки Цветного. То и дело оттаскивали за руку. Чего-то не надо было знать, что-то не следовало слышать. Но няни и мамки не терпели одиночества, и тогда пестрое общество окружало нас. И в полдень учили конных жандармов на открытом плацу Знаменских казарм.

Из этого общения с нищими и странницами, по соседству с миром отверженных и их историй и истерик на близких бульварах, я преждевременно рано на всю жизнь вынес пугающую до замирания жалость к женщине и еще более нестерпимую жалость к родителям, которые умрут раньше меня и ради избавления которых от мук ада я должен совершить что-то неслыханно светлое, небывалое.

4

Когда мне было три года, переехали на казенную квартиру при доме Училища живописи, ваяния и зодчества на Мясницкой против Почтамта. Квартира помещалась во флигеле внутри двора, вне главного здания.

Главное здание, старинное и красивое, было во многих

отношениях замечательно. Пожар двенадцатого года пощадил его. Веком раньше, при Екатерине, дом давал тайное убежище масонской ложе. Боковое закругление на углу Мясницкой и Юшкова переулка заключало полукруглый балкон с колоннами. Вместительная площадка балкона нишею входила в стену и сообщалась с актовым залом Училища. С балкона было видно насквозь продолжение Мясницкой, убегавшей вдаль, к вокзалам.

С этого балкона население дома наблюдало в 1894 году церемониал перенесения праха императора Александра Третьего, а затем, спустя два года, отдельные сцены коронационных торжеств при воцарении Николая Второго.

Стояли учащиеся, преподаватели. Мать держала меня на руках в толпе у перил балкона. Под ногами у нее расступалась пропасть. На дне пропасти посыпанная песком пустая улица замирала в ожидании. Суетились военные, отдавая во всеуслышание громкие приказания, не достигавшие, однако, слуха зрителей наверху, на балконе, точно тишина затаившего дыхание городского люда, оттесненного шпалерами солдат с мостовой к краям тротуаров, поглощала звуки без остатка, как песок воду. Зазвонили уныло, протяжно. Издалека катящаяся и дальше прокатывающаяся волна колыхнулась морем рук к головам. Москва снимала шапки, крестилась. Под отовсюду поднявшийся погребальный перезвон показалась голова нескончаемого шествия, войскá, духовенство, лошади в черных попонах с султанами, немислимой пышности катафалк, герольды в невиданных костюмах иного века. И процессия шла и шла, и фасады домов были затянута целыми полосами крепа и обиты черным, и потупленно висели траурные флаги.

Дух помпы был неотделим от Училища. Оно состояло в ведении министерства императорского двора. Великий князь Сергей Александрович был его попечителем, посещал его акты и выставки. Великий князь был худ и долговяз. Прикрывая шапками альбомы, отец и Серов рисовали карикатуры на него на вечерах у Голицыных и Якунчиковых, где он присутствовал.

5

Во дворе, против калитки в небольшой сад с очень старыми деревьями, среди надворных построек, служб и сараев возвышался флигель. В подвале внизу отпускали

горячие завтраки учащимся. На лестнице стоял вечный чад пирожков на сале и жареных котлет. На следующей площадке была дверь в нашу квартиру. Этажом выше жил письмоводитель Училища.

• Вот что я прочел пятьдесят лет спустя, совсем недавно, в позднейшее советское время, в книге Н. С. Родионова «Москва в жизни и творчестве Л. Н. Толстого», на странице 125-й, под 1894 годом:

«23 ноября Толстой с дочерьми ездил к художнику Л. О. Пастернаку в дом Училища живописи, ваяния и зодчества, где Пастернак был директором, на концерт, в котором принимали участие жена Пастернака и профессора Консерватории скрипач И. В. Гржимали и виолончелист А. А. Брандуков».

Тут все верно, кроме небольшой ошибки. Директором Училища был князь Львов, а не отец.

Записанную Родионовым ночь я прекрасно помню. Посреди нее я проснулся от сладкой, шемящей муки, в такой мере ранее не испытанной. Я закричал и заплакал от тоски и страха. Но музыка заглушала мои слезы, и только когда разбудившую меня часть трио доиграли до конца, меня услышали. Занавеска, за которой я лежал и которая разделяла комнату надвое, раздвинулась. Показалась мать, склонилась надо мной и быстро меня успокоила. Наверное, меня вынесли к гостям, или, может быть, сквозь раму открытой двери я увидел гостиную. Она полна была табачного дыма. Мигали ресницами свечи, точно он ел им глаза. Они ярко освещали красное лакированное дерево скрипки и виолончели. Чернел рояль. Чернели сюртуки мужчин. Дамы до плеч высывались из платьев, как именные цветы из цветочных корзин. С кольцами дыма сливались седины двух или трех стариков. Одного я потом хорошо знал и часто видел. Это был художник Н. Н. Ге. Образ другого, как у большинства, прошел через всю мою жизнь, в особенности потому, что отец иллюстрировал его, ездил к нему, почитал его и что его духом проникнут был весь наш дом. Это был Лев Николаевич.

Отчего же я плакал так и так памятно мне мое страдание? К звуку фортепиано в доме я привык, на нем артистически играла моя мать. Голос рояля казался мне неотъемлемой принадлежностью самой музыки. Тембры струнных, особенно в камерном соединении, были мне непривычны и встревожили, как действительные, в форточ-

ку снаружи донесшиеся зовы на помощь и вести о несчастьи.

То была, кажется, зима двух кончин — смерти Антона Рубинштейна и Чайковского. Вероятно, играли знаменитое трио последнего.

Эта ночь межевою вехой пролегла между беспамятностью младенчества и моим дальнейшим детством. С нее пришла в действие моя память и заработало сознание, отныне без больших перерывов и провалов, как у взрослого.

6

Весной в залах Училища открывались выставки передвижников. Выставку привозили зимой из Петербурга. Картины в ящиках ставили в сарай, которые линиею тянулись за нашим домом, против наших окон. Перед Пасхой ящики выносили во двор и распаковывали под открытым небом перед дверьми сараев. Служащие Училища вскрывали ящики, отвинчивали картины в тяжелых рамах от ящичных низов и крышек и по двое на руках проносили через двор на выставку. Примостясь на подоконниках, мы жадно за ними следили. Так прошли перед нашими глазами знаменитейшие полотна Репина, Мясоедова, Маковского, Сурикова и Поленова, добрая половина картинных запасов нынешних галерей и государственных хранений.

Близкие отцу художники и он сам выставлялись у передвижников только вначале и недолго. Скоро Серов, Левитан, Коровин, Врубель, Иванов, отец и другие составили более молодое объединение «Союз русских художников».

В конце девяностых годов в Москву приехал всю жизнь проведший в Италии скульптор Павел Трубецкой. Ему предоставили новую мастерскую с верхним светом, пристроив ее снаружи к стене нашего дома и захватив пристройкою окно нашей кухни. Прежде окно смотрело во двор, а теперь стало выходить в скульптурную мастерскую Трубецкого. Из кухни мы наблюдали его лепку и работу его формовщика Робекки, а также его модели, от позировавших ему маленьких детей и балерин до парных карет и казаков верхами, свободно въезжавших в широкие двери высокой мастерской.

Из той же кухни производилась отправка в Петербург

замечательных отцовских иллюстраций к толстовскому «Воскресению». Роман по мере окончательной отделки глава за главой печатался в журнале «Нива», у петербургского издателя Маркса. Работа была лихорадочная. Я помню отцову спешку. Номера журнала выходили регулярно, без опоздания. Надо было успеть к сроку каждого.

Толстой задерживал корректуры и в них все переделывал. Возникла опасность, что рисунки к начальному тексту разойдутся с его последующими изменениями. Но отец делал зарисовки там же, откуда писатель черпал свои наблюдения, — в суде, пересыльной тюрьме, в деревне, на железной дороге. От опасности отступлений спасал запас живых подробностей, общность реалистического смысла.

Рисунки ввиду спешности отправляли с оказией. К делу привлечена была кондукторская бригада курьерских поездов Николаевской железной дороги. Детское воображение поражал вид кондуктора в форменной железнодорожной шинели, стоявшего в ожидании на пороге кухни, как на перроне у вагонной дверцы отправляемого поезда.

На плите варился столярный клей. Рисунки второпях протирали, сушили фиксативом, наклеивали на картон, заворачивали, завязывали. Готовые пакеты запечатывали сургучом и сдавали кондуктору.





СКРЯБИН

1

Два первые десятилетия моей жизни сильно отличаются одно от другого. В девяностых годах Москва еще сохраняла свой старый облик живописного до сказочности захолустья с легендарными чертами третьего Рима или былинного стольного града и всем великолепием своих знаменитых сорока сороков. Были в силе старые обычаи. Осенью в Юшковом переулке, куда выходил двор Училища, во дворе церкви Флора и Лавра, считавшихся покровителями коневодства, производилось освящение лошадей, и ими, вместе с приводившими их на освящение кучерами и конюхами, наводнялся весь переулок до ворот Училища, как в конную ярмарку.

С наступлением нового века на моей детской памяти мановением волшебного жезла все преобразилось. Москву охватило деловое неистовство первых мировых столиц.

Бурно стали строить высокие доходные дома на предпринимательских началах быстрой прибылью. На всех улицах к небу поднялись незаметно выросшие кирпичные гиганты. Вместе с ними, обгоняя Петербург, Москва дала начало новому русскому искусству — искусству большого города, молодому, современному, свежему.

2

Горячка девятисотых годов отразилась и на Училище. Казенных ассигнований не хватало на его содержание. Поручили дельцам изыскание денежных средств для пополнения бюджета. Решено было возводить на земле Училища многоэтажные жилые корпуса для сдачи квартир внаем, а посередине владения, на месте прежнего сада, выстроить стеклянные выставочные помещения для сдачи в аренду. В конце девяностых годов стали сносить дворовые флигеля и сараи, на месте выкорчеванного сада вырыли глубокие котлованы. Котлованы наполнялись водою, в них, как в прудах, плавали утонувшие крысы, с земли в них прыгали и ныряли лягушки. Наш флигель тоже предназначен был на слом.

Зимой нам оборудовали новую квартиру из двух или трех классных комнат и аудиторий в главном здании. Мы в нее перебрались в 1901 году. Так как квартиру перекраивали из помещений, из которых одно было круглое, а другое еще более прихотливой формы, то в новом жилище, в котором мы прожили десять лет, были чулан и ванна с площадью в виде полумесяца, овальная кухня и столовая со входящим в нее полукруглым выемом. За дверью всегда слышался заглушенный гул училищных мастерских и коридоров, а из крайней, пограничной комнаты можно было слушать лекции по устройству отопления профессора Чаплыгина в архитектурном классе.

Предшествующие годы, еще на старой квартире, со мной занимались дошкольным обучением то мать, то какой-нибудь приглашенный частный преподаватель. Одно время меня готовили в Петропавловскую гимназию, и я проходил все предметы начальной программы по-немецки.

Из этих наставников, которых я вспоминаю с благодарностью, назову первую свою учительницу Екатерину Ивановну Боратынскую, детскую писательницу и переводчицу литературы для юношества с английского. Она обучала меня грамоте, начаткам арифметики и французскому

с самых азов, с того, как сидеть на стуле и держать ручку с пером в руке. Меня водили к ней на урок в занимаемый ею номер мебелированных комнат. В номере было темно. Он снизу доверху был набит книгами. В нем пахло чистотой, строгостью, кипяченым молоком и жженым кофе. За окном, покрытым кружевной вязаной занавеской, шел, напоминая петли вязанья, грязноватый, серо-кремовый снег. Он отвлекал меня, и я отвечал Екатерине Ивановне, разговаривавшей со мной по-французски, невпопад. По окончании урока Екатерина Ивановна вытирала перо изнанкой кофты и, дождавшись, когда за мной зайдут, отпускала меня.

В 1901 году я поступил во второй класс Московской пятой гимназии, оставшейся классической после реформы Ванновского и сверх введенного в курс естествознания и других новых предметов сохранившей в программе древнегреческий.

3

Весной 1903 года отец снял дачу в Оболенском, близ Малоярославца, по Брянской, ныне — Киевской, железной дороге. Дачным соседом нашим оказался Скрябин. Мы и Скрябины тогда еще не были знакомы домами.

Дачи стояли на бугре вдоль лесной опушки, в отдалении друг от друга. На дачу приехали, как водится, рано утром. Солнце дробилось в лесной листве, низко свешивавшейся над домом. Расшивали и пороли рогожные тюки. Из них тащили спальные принадлежности, запасы провизии, вынимали сковороды, ведра. Я убежал в лес.

Боже и господи сил, чем он в то утро был полон! Его по всем направлениям пронизывало солнце, лесная движущаяся тень то так, то сяк все время поправляла на нем шапку, на его подымающихся и опускающихся ветвях птицы заливались тем всегда неожиданным чириканьем, к которому никогда нельзя привыкнуть, которое поначалу порывисто громко, а потом постепенно затихает и которое горячей и частой своей настойчивостью похоже на деревья вдаль уходящей чащи. И совершенно так же, как чередовались в лесу свет и тень и перелетали с ветки на ветку и пели птицы, носились и раскатывались по нему куски и отрывки Третьей симфонии или Божественной поэмы, которую в фортепианном выражении сочиняли на соседней даче.

Боже, что это была за музыка! Симфония беспрерывно рушилась и обваливалась, как город под артиллерийским огнем, и вся строилась и росла из обломков и разрушений. Ее всю переполняло содержание, до безумия разработанное и новое, как нов был жизнью и свежестью дышавший лес, одетый в то утро, не правда ли, весенней листвой 1903-го, а не 1803 года. И как не было в этом лесу ни одного листика из гофрированной бумаги или крашеной жести, так не было в симфонии ничего ложно глубокого, риторически почтенного, «как у Бетховена», «как у Глинки», «как у Ивана Ивановича», «как у княгини Марьи Алексеевны», но трагическая сила сочиняемого торжественно показывала язык всему одряхлело признанному и величественно тупому и была смела до сумасшествия, до мальчишества, шаловливо стихийная и свободная, как падший ангел.

Предполагалось, что сочинявший такую музыку человек понимает, кто он такой, и после работы бывает просветленно ясен и отдохновенно спокоен, как бог, в день седьмой почивший от дел своих. Таким он и оказался.

Он часто гулял с отцом по Варшавскому шоссе, прорезавшему местность. Иногда я сопровождал их. Скрябин любил, разбежавшись, продолжать бег как бы силою инерции вприпрыжку, как скользит по воде пущенный рикошетом камень, точно немногого не доставало, и он отделился бы от земли и поплыл бы по воздуху. Он вообще воспитывал в себе разные виды одухотворенной легкости и неотягощенного движения на грани полета. К явлениям этого рода надо отнести его чарующее изящество, светскость, с какой он избегал в обществе серьезности и старался казаться пустым и поверхностным. Тем поразительнее были его парадоксы на прогулках в Оболенском.

Он спорил с отцом о жизни, об искусстве, о добре и зле, нападал на Толстого, проповедовал сверхчеловека, аморализм, ницшеанство. В одном они были согласны — во взглядах на сущность и задачи мастерства. Во всем остальном расходились.

Мне было двенадцать лет. Половины их споров я не понимал. Но Скрябин покорял меня свежестью своего духа. Я любил его до безумия. Не вникая в суть его мнений, я был на его стороне. Скоро он на шесть лет уехал в Швейцарию.

В ту осень возвращение наше в город было задержано

несчастливым случаем со мной. Отец задумал картину «В ночное». На ней изображались девушки из села Бочарова, на закате верхом во весь опор гнавшие табун в болотистые луга под нашим холмом. Увязавшись однажды за ними, я на прыжке через широкий ручей свалился с разомчавшейся лошади и сломал себе ногу, сросшуюся с укорочением, что освобождало меня впоследствии от военной службы при всех призывах.

Я уже и раньше, до лета в Оболенском, немного брел на рояле и с грехом пополам подбирал что-то свое. Теперь, под влиянием обожания, которое я питал к Скрябину, тяга к импровизациям и сочинительству разгорелась у меня до страсти. С этой осени я шесть следующих лет, все гимназические годы, отдал основательному изучению теории композиции, сперва под наблюдением тогдашнего теоретика музыки и критика, благороднейшего Ю. Д. Энгеля, а потом под руководством профессора Р. М. Глиэра.

Никто не сомневался в моей будущности. Судьба моя была решена, путь правильно избран. Меня прочили в музыканты, мне все прощали ради музыки, все виды неблагодарного свинства по отношению к старшим, которым я в подметки не годился, упрямство, непослушание, небрежности и странности поведения. Даже в гимназии, когда на уроках греческого или математики меня накрывали за решением задач по фуге и контрапункту в разложенной на парте нотной тетради и, спрошенный с места, я стоял как пень и не знал, что ответить, товарищи всем классом выгораживали меня и учителя мне все спускали. И, несмотря на это, я оставил музыку.

Я ее оставил, когда был вправе ликовать и все кругом меня поздравляли. Бог и кумир мой вернулся из Швейцарии с «Экстазом» и своими последними произведениями. Москва праздновала его победы и возвращение. В разгаре его торжеств я осмелился явиться к нему и сыграл ему свои сочинения. Прием превзошел мои ожидания. Скрябин выслушал, поддержал, окрылил, благословил меня.

Но никто не знал о тайной беде моей, и скажи я о ней, никто бы мне не поверил. При успешно подвинувшемся сочинительстве я был беспомощен в отношении практическом. Я едва играл на рояле и даже ноты разбирал недостаточно бегло, почти по складам. Этот разрыв между ничем не облегченной новой музыкальной мыслью и ее отставшей технической опорой превращал подарок природы, который

мог бы служить источником радости, в предмет постоянной муки, которой я в конце концов не вынес.

Как возможно было такое несоответствие? В основе его лежало нечто недолжное, вызывавшее к оплате, непозволительная отроческая заносчивость, нигилистическое пренебрежение недоучки ко всему казавшемуся наживным и достижимым. Я презирал все нетворческое, ремесленное, имея дерзость думать, что в этих вещах разбираюсь. В настоящей жизни, полагал я, все должно быть чудом, предназначением свыше, ничего умышленного, намеренного, никакого своеволия.

Это была оборотная сторона скрябинского влияния, в остальном ставшего для меня решающим. Его эгоцентризм был уместен и оправдан только в его случае. Семена его воззрений, по-детски превратно понятых, упали на благодарную почву.

Я и без того с малых лет был склонен к мистике и суеверию и охвачен тягой к провиденциальному. Чуть ли не с родионовской ночи я верил в существование высшего героического мира, которому надо служить восхищенно, хотя он приносит страдания. Сколько раз в шесть, семь, восемь лет я был близок к самоубийству!

Я подозревал вокруг себя всевозможные тайны и обманы. Не было бессмыслицы, в которую бы я не поверил. То на заре жизни, когда только и мыслимы такие нелепости, может быть, по воспоминаниям о первых сарафанчиках, в которые меня наряжали еще раньше, мне мерещилось, что когда-то в прежние времена я был девочкой и что эту более обаятельную и прелестную сущность надо вернуть, перетягиваясь поясом до обморока. То я воображал, что я не сын своих родителей, а найденный и усыновленный ими приемыш.

В моих несчастиях с музыкой также были виноваты не прямые, мнимые причины, гадания на случайностях, ожидание знаков и указаний свыше. У меня не было абсолютного слуха, способности угадывать высоту любой произвольно взятой ноты, умения, мне в моей работе совершенно ненужного. Отсутствие этого свойства печалило и унижало меня, в нем я видел доказательство того, что моя музыка негодна судьбе и небу. Под таким множеством ударов я поникал душой, у меня опускались руки.

Музыку, любимый мир шестилетних трудов, надежд и тревог, я вырвал вон из себя, как расстаются с самым дра-

гоценным. Некоторое время привычка к фортепианному фантазированию оставалась у меня в виде постепенно пропадающего навыка. Но потом я решил проводить свое воздержание круче, перестал прикасаться к роялю, не ходил на концерты, избегал встреч с музыкантами.

4

Скрябинские рассуждения о сверхчеловеке были исконной русской тягой к чрезвычайности. Действительно, не только музыке надо быть сверхмузыкой, чтобы что-то значить, но и все на свете должно превосходить себя, чтобы быть собою. Человек, деятельность человека должны заключать элемент бесконечности, придающий явлению определенность, характер.

Ввиду моей нынешней отсталости от музыки и моих отмерших и совершенно истлевших связей с ней, Скрябиным моих воспоминаний, Скрябиным, которым я жил и питался, как хлебом насущным, остался Скрябин среднего периода, приблизительно от третьей сонаты до пятой.

Гармонические зарницы Прометея и его последних произведений кажутся мне только свидетельствами его гения, а не повседневною пищею для души, а в этих свидетельствах я не нуждаюсь, потому что поверил ему без доказательства.

Люди, рано умиравшие, Андрей Белый, Хлебников и некоторые другие, перед смертью углублялись в поиски новых средств выражения, в мечту о новом языке, нашаривали, нащупывали его слоги, его гласные и согласные.

Я никогда не понимал этих розысков. По-моему, самые поразительные открытия производились, когда переполнявшее художника содержание не давало ему времени задуматься и второпях он говорил свое новое слово на старом языке, не разобрав, стар он или нов.

Так на старом моцартовско-фильдовском языке Шопен сказал столько ошеломляюще нового в музыке, что оно стало вторым ее началом.

Так Скрябин почти средствами предшественников обновил ощущение музыки до основания в самом начале своего поприща. Уже в этюдах восьмого опуса или в прелюдиях одиннадцатого все современно, все полно внутренними, доступными музыке соответствиями с миром внешним, окру-

жающим, с тем, как жили тогда, думали, чувствовали, путешествовали, одевались.

Мелодии этих произведений вступают так, как тотчас же начинают течь у вас слезы, от уголков глаз по щекам, к уголкам рта. Мелодии, смешиваясь со слезами, текут прямо по вашему нерву к сердцу, и вы плачете не оттого, что вам печально, а оттого, что путь к вам вовнутрь угадан так верно и пронизательно.

Вдруг в течение мелодии врывается ответ или возражение ей в другом, более высоком и женском голосе и другом, более простом и разговорном тоне. Нечаянное препирательство, мгновенно улаживаемое несогласье. И нота потрясающей естественности вносится в произведение, той естественности, которою в творчестве все решается.

Вещами общеизвестными, ходовыми истинами полно искусство. Хотя пользование ими всем открыто, общеизвестные правила долго ждут и не находят применения. Общеизвестной истине должно выпасть редкое, раз в сто лет улыбающееся счастье, и тогда она находит приложение. Таким счастьем был Скрябин. Как Достоевский не романист только и как Блок не только поэт, так Скрябин не только композитор, но повод для вечных поздравлений, олицетворенное торжество и праздник русской культуры.





ДЕВЯТИСОТЫЕ ГОДЫ

1

В ответ на выступления студенчества после манифеста 17 октября буйствовавший охотнорядский сброд громил высшие учебные заведения, университет, Техническое училище. Училищу живописи тоже грозило нападение. На площадках парадной лестницы по распоряжению директора были заготовлены кучи булыжника и ввинчены шланги в пожарные краны для встречи погромщиков.

В Училище заворачивали демонстранты из мимо идущих уличных шествий, устраивали митинги в актовом зале, завладевали помещениями, выходили на балкон, произносили сверху речи оставшимся на улице. Студенты Училища входили в боевые организации, в здании ночью дежурила своя дружина.

В бумагах отца остались наброски: в агитаторшу, говорившую с балкона, снизу стреляют налетевшие на

толпу драгуны. Ее ранят, она продолжает говорить, хватаясь за колонну, чтобы не упасть.

В конце 1905 года в Москву, охваченную всеобщей забастовкой, приехал Горький. Стояли морозные ночи. Москва, погруженная во мрак, освещалась кострами. По ней, повизгивая, летали шальные пули, и бешено носились конные казачьи патрули по бесшумному, пешеходами не топтанному, девственному снегу.

Отец виделся с Горьким по делам журналов политической сатиры — «Бича», «Жупела» и других, куда тот его приглашал.

Вероятно, тогда или позже, после годичного пребывания с родителями в Берлине, я увидел первые в моей жизни строки Блока. Я не помню, что это было такое, «Вербочки» или из «Детского», посвященного Олениной д'Альгейм, или что-нибудь революционное, городское, но свое впечатление помню так отчетливо, что могу его восстановить и берусь описать.

2

Что такое литература в ходовом, распространеннейшем смысле слова? Это мир красноречия, общих мест, закругленных фраз и почтенных имен, в молодости наблюдавших жизнь, а по достижении известности перешедших к абстракциям, перепевам, рассудительности. И когда в этом царстве установившейся и только потому незамечаемой неестественности кто-нибудь откроет рот не из склонности к изящной словесности, а потому, что он что-то знает и хочет сказать, это производит впечатление переворота, точно распахиваются двери и в них проникает шум идущей снаружи жизни, точно не человек сообщает о том, что делается в городе, а сам город устами человека заявляет о себе. Так было и с Блоком. Таково было его одинокое, по-детски неиспорченное слово, такова сила его действия.

Бумага содержала некоторую новость. Казалось, что новость сама без спроса расположилась на печатном листе, а стихотворения никто не писал и не сочинял. Казалось, страницу покрывают не стихи о ветре и лужах, фонарях и звездах, но фонари и лужи сами гонят по поверхности журнала свою ветреную рябь, сами оставили в нем сырые, могучие воздействующие следы.

С Блоком прошли и провели свою молодость я и часть моих сверстников, о которых речь будет ниже. У Блока было все, что создает великого поэта, — огонь, нежность, проникновение, свой образ мира, свой дар особого, все претворяющего прикосновения, своя сдержанная, скрадывающаяся, вобравшаяся в себя судьба. Из этих качеств и еще многих других остановлюсь на одной стороне, может быть наложившей на меня наибольший отпечаток и потому кажущейся мне преимущественной, — на блоковской стремительности, на его блуждающей пристальности, на беглости его наблюдений.

Свет в окошке шатался.
В полумраке — один —
У подъезда шептался
С темнотой арлекин.

По улицам метель метет,
Свивается, шатается,
Мне кто-то руку подает
И кто-то улыбается.

Там кто-то машет, дразнит светом.
Так зимней ночью на крыльцо
Тень чья-то глянет силуэтом
И быстро скроется лицо.

Прилагательные без существительных, сказуемые без подлежащих, прятки, взбудораженность, юрко мелькающие фигурки, отрывистость — как подходил этот стиль к духу времени, таившемуся, сокровенному, подпольному, едва вышедшему из подвалов, объяснявшемуся языком заговорщиков, главным лицом которого был город, главным событием — улица.

Эти черты проникают существо Блока, Блока основного и преобладающего, Блока второго тома алконостовского издания, Блока «Страшного мира», «Последнего дня», «Обмана», «Повести», «Легенды», «Митинга», «Незнакомки», стихов: «В туманах, над сверканьем рос», «В кабаках, в переулках, в извивах», «Девушка пела в церковном хоре».

Черты действительности как током воздуха занесены вихрем блоковской впечатлительности в его книги. Даже самое далекое, что могло бы показаться мистикой, что можно бы назвать «божественным». Это тоже не метафизические фантазии, а рассыпанные по всем его стихам клочки церковно-бытовой реальности, места из ектеньи, молитвы перед причащением и панихидных псалмов, знакомые наизусть и сто раз слышанные на службах.

Суммарным миром, душой, носителем этой действительности был город блоковских стихов, главный герой его повести, его биографии.

Этот город, этот Петербург Блока — наиболее реальный из Петербургов, нарисованных художниками новейшего времени. Он до безразличия одинаково существует в жизни и воображении, он полон повседневной прозы, питающей поэзию драматизмом и тревогой, и на улицах его звучит то общеупотребительное, будничное просторечие, которое освежает язык поэзии.

В то же время образ этого города составлен из черт, отобранных рукой такую нервную, и подвергся такому одухотворению, что весь превращен в захватывающее явление редчайшего внутреннего мира.

4

Я имел случай и счастье знать многих старших поэтов, живших в Москве, — Брюсова, Андрея Белого, Ходасевича, Вячеслава Иванова, Балтрушайтиса. Блоку я впервые представился в его последний наезд в Москву, в коридоре или на лестнице Политехнического музея в вечер его выступления в аудитории музея. Блок был приветлив со мной, сказал, что слышал обо мне с лучшей стороны, жаловался на самочувствие, просил отложить встречу с ним до улучшения его здоровья.

В этот вечер он выступал с чтением своих стихов в трех местах: в Политехническом, в Доме печати и в Обществе Данте Алигьери, где собрались самые ревностные его поклонники и где он читал свои «Итальянские стихи».

На вечере в Политехническом был Маяковский. В середине вечера он сказал мне, что в Доме печати Блоку под видом критической неподкупности готовят бенефис, разнос и кошачий концерт. Он предложил вдвоем

отправиться туда, чтобы предотвратить задуманную низость.

Мы ушли с блоковского чтения, но пошли пешком, а Блока повезли на второе выступление в машине, и пока мы добрались до Никитского бульвара, где помещался Дом печати, вечер кончился и Блок уехал в Общество любителей итальянской словесности. Скандал, которого опасались, успел тем временем произойти. Блоку после чтения в Доме печати наговорили кучу чудовищностей, не постеснявшись в лицо упрекнуть его в том, что он отжил и внутренне мертв, с чем он спокойно соглашался. Это говорилось за несколько месяцев до его действительной кончины.

5

В те годы наших первых дерзаний только два человека, Асеев и Цветаева, владели зрелым, совершенно сложившимся поэтическим слогом. Хваленая самобытность других, в том числе и моя, проистекала от полной беспомощности и связанности, которые не мешали нам, однако, писать, печататься и переводить. Среди удручающе неумелых писаний моих того времени самые страшные — переведенная мною пьеса Бен Джонсона «Алхимик» и поэма «Тайны» Гёте в моем переводе. Есть отзыв Блока об этом переводе среди других его рецензий, написанных для издательства «Всемирная литература» и помещенных в последнем томе его собрания. Пренебрежительный, уничтожающий отзыв, в оценке своей заслуженный, справедливый. Однако от забежавших вперед подробностей пора вернуться к покинутому нами изложению, остановившемся у нас на годах давно прошедших, девятисотых.

6

Гимназистом третьего или четвертого класса я по бесплатному билету, предоставленному дядей, начальником петербургской товарной станции Николаевской железной дороги, один ездил в Петербург на рождественские каникулы. Целые дни я бродил по улицам бессмертного города, точно ногами и глазами пожирая какую-то гениальную каменную книгу, а по вечерам пропадал в театре Комиссаржевской. Я был оравлен новейшей литературой, бредил Андреем Белым, Гамсуном, Пшибышевским.

Еще большее, настоящее представление о путешествии получил я от поездки всей семьей в 1906 году в Берлин. Я в первый раз попал тогда за границу.

Все необычно, все по-другому. Как будто не живешь, а видишь сон, участвуешь в выдуманном, ни для кого не обязательном театральном представлении. Никого не знаешь, никто тебе не указ. Длинный ряд распахивающихся и захлопывающихся дверец вдоль всей стены вагона, по отдельной дверце в каждое купе. Четыре рельсовых пути по кольцевой эстакаде, высящейся над улицами, каналами, скаковыми конюшнями и задними дворами исполинского города. Нагоняющие, обгоняющие друг друга, идущие рядом и расходящиеся поезда. Двоящиеся, скрещивающиеся, пересекающие друг друга огни улиц под мостами, огни вторых и третьих этажей на уровне свайных путей, иллюминированные разноцветными огоньками автоматические машины в вокзальных буфетах, выбрасывающие сигары, лакомства, засахаренный миндаль. Скоро я привык к Берлину, слонялся по его бесчисленным улицам и беспредельному парку, говорил по-немецки, подделываясь под берлинский выговор, дышал смесью паровозного дыма, светильного газа и пивного чада, слушал Вагнера.

Берлин был полон русскими. Композитор Ребиков играл знакомым свою «Елку» и делил музыку на три периода: на музыку животную до Бетховена, музыку человеческую в следующем периоде и музыку будущего после себя.

Был в Берлине и Горький. Отец рисовал его. Андреевой не понравилось, что на рисунке скулы выступили, получились угловатыми. Она сказала: «Вы его не поняли. Он — готический». Так тогда выражались.

7

Наверное, после этого путешествия, по возвращении в Москву, в жизнь мою вошел другой великий лирик века, тогда едва известный, а теперь всем миром признанный немецкий поэт Райнер Мария Рильке.

В 1900 году он ездил в Ясную Поляну, к Толстому, был знаком и переписывался с отцом и одно лето прогостил под Клином, в Завидове, у крестьянского поэта Дрожжина.

В эти далекие годы он дарил отцу свои ранние сборники с теплыми надписями. Две такие книги с большим запозданием попались мне в руки в одну из описываемых зим и ошеломили меня тем же, чем поразили первые виденные стихотворения Блока: настоятельностью сказанного, безусловностью, нешуточностью, прямым назначением речи.

8

У нас Рильке совсем не знают. Немногочисленные попытки передать его по-русски неудачны. Переводчики не виноваты. Они привыкли воспроизводить смысл, а не тон сказанного, а тут все дело в тоне.

В 1913 году в Москве был Верхарн. Отец рисовал его. Иногда он обращался ко мне с просьбой занять портретируемого, чтобы у модели не застывало и не мертвело лицо. Так однажды я развлекал историка В. О. Ключевского. Так пришлось мне занимать Верхарна. С понятным восхищением я говорил ему о нем самом и потом робко спросил его, слышал ли он когда-нибудь о Рильке. Я не предполагал, что Верхарн его знает. Позировавший преобразился. Отцу лучшего и не надо было. Одно это имя оживило модель больше всех моих разговоров. «Это лучший поэт Европы, — сказал Верхарн, — и мой любимый названный брат».

У Блока проза остается источником, откуда вышло стихотворение. Он ее не вводит в строй своих средств выражения. Для Рильке живописующие и психологические приемы современных романистов (Толстого, Флобера, Пруста, скандинавов) неотделимы от языка и стиля его поэзии.

Однако сколько бы я ни разбирал и ни описывал его особенностей, я не дам о нем понятия, пока не приведу из него примеров, которые я нарочно перевел для этой главы с целью такого ознакомления.

9

ЗА КНИГОЙ

Я зачитался. Я читал давно.
С тех пор, как дождь пошел хлестать в окно.
Весь с головою в чтение уйдя,
Не слышал я дождя.

Я вглядывался в строки, как в морщины
Задумчивости, и часы подряд
Стояло время или шло назад.
Как вдруг я вижу, краскою карминной
В них набрано: закат, закат, закат.
Как нитки ожерелья, строки рвутся,
И буквы катятся куда хотят.
Я знаю, солнце, покидая сад,
Должно еще раз было оглянуться
Из-за охваченных зарей оград.
А вот как будто ночь по всем приметам.
Деревья жмутся по краям дорог,
И люди собираются в кружок
И тихо рассуждают, каждый слог
Дороже золота цена при этом.
И если я от книги подыму
Глаза и за окно уставлюсь взглядом,
Как будет близко все, как станет рядом,
Сродни и впору сердцу моему.
Но надо глубже вжиться в полутьму
И глаз приноровить к ночным громадам,
И я увижу, что земле мала
Околица, она переросла
Себя и стала больше небосвода,
И крайняя звезда в конце села
Как свет в последнем домике прихода.

СОЗЕРЦАНИЕ

Деревья складками коры
Мне говорят об ураганах,
И я их сообщений странных
Не в силах слышать среди неожиданных
Невзгод, в скитаньях постоянных,
Один, без друга и сестры.

Сквозь рощу рвется непогода,
Сквозь изгороди и дома,
И вновь без возраста природа,
И дни, и вещи обихода,
И даль пространств, как стих псалма.

Как мелки с жизнью наши споры,
Как крупно то, что против нас.

Когда б мы поддались напору
Стихии, ищущей простора,
Мы выросли бы во сто раз.

Все, что мы побеждаем, — малость,
Нас унижает наш успех.
Необычайность, небывалость
Зовет борцов совсем не тех.

Так ангел Ветхого завета
Нашел соперника под стать.
Как арфу, он сжимал атлета,
Которого любая жила
Струною ангелу служила,
Чтоб схваткой гимн на нем сыграть.

Кого тот ангел победил,
Тот правым, не гордясь собою,
Выходит из такого боя
В сознаныи и расцвете сил.
Не станет он искать побед.
Он ждет, чтоб высшее начало
Его все чаще побеждало,
Чтобы расти ему в ответ.

10

Приблизительно с 1907 года стали расти как грибы издательства, часто давали концерты новой музыки, одна за другою открывались выставки картин «Мира искусства», «Золотого руна», «Бубнового валета», «Ослиного хвоста», «Голубой розы». Вместе с русскими именами Сомова, Сапунова, Судейкина, Крымова, Ларионова, Гончаровой мелькали французские имена Боннара и Вюяра. На выставках «Золотого руна», в затененных занавесями залах, где пахло землей, как в теплицах, от наставленных кругом горшков с гиацинтами, можно было видеть присланные на выставку работы Матисса и Родена. Молодежь примыкала к этим направлениям.

На территории одного из новых домов Разгуляя во дворе сохранялось старое деревянное жилье домовладельца-генерала. В мезонине сын хозяина, поэт и художник Юлиан Павлович Анисимов, собирал молодых людей своего толка. У него были слабые легкие. Зимы он проводил

за границей. Знакомые собирались у него в хорошую погоду весной и осенью. Читали, музицировали, рисовали, рассуждали, закусывали и пили чай с ромом. Здесь я познакомился со множеством народа.

Хозяин, талантливейшее существо и человек большого вкуса, начитанный и образованный, говоривший на нескольких иностранных языках свободно, как по-русски, сам воплощал собою поэзию в той степени, которая составляет очарование любительства и при которой трудно быть еще вдобавок творчески сильною личностью, характером, из которого вырабатывается мастер. У нас были сходные интересы, общие любимцы. Он мне очень нравился.

Здесь бывал ныне умерший Сергей Николаевич Дурьин, тогда писавший под псевдонимом Сергей Раевский. Это он переманил меня из музыки в литературу, по доброте своей сумев найти что-то достойное внимания в моих первых опытах. Он жил бедно, содержа мать и тетку уроками, и своей восторженной прямою и неистовою убежденностью напоминал образ Белинского, как его рисуют предания.

Здесь университетский мой товарищ К. Г. Локс, которого я знал раньше, впервые показал мне стихотворения Иннокентия Анненского, по признакам родства, которое он установил между моими писаниями и блужданиями и замечательным поэтом, мне тогда еще неизвестным.

У кружка было свое название. Его окрестили «Сердардой», именем, значения которого никто не знал. Это слово будто бы слышал член кружка, поэт и бас Аркадий Гурьев однажды на Волге. Он его слышал в ночной суматохе двух сошедшихся у пристани пароходов, когда один пришвартовывают к другому и публика с нового парохода проходит с багажом на пристань через внутренность ранее причаленного, смешиваясь с его пассажирами и вещами.

Гурьев был из Саратова. Он обладал могучим и мягким голосом и артистически передавал драматические и вокальные тонкости того, что он пел. Как все самородки, он одинаково поражал непрерывным скоморошничаньем и задатками глубокой подлинности, проглядывавшими сквозь его ломанье. Незаурядные стихи его предвосхищали будущую необузданную искренность Маяковского и живо передающиеся читателю отчетливые образы Есени-

на. Это был готовый артист, оперный и драматический, в исконной актерской своей сути, неоднократно изображенной Островским.

У него была лобастая, круглая, как луковица, голова с едва заметным носом и признаками будущей лысины во весь череп, от лба до затылка. Весь он был движение, выразительность. Он не жестикулировал, не размахивал руками, но верх туловища, когда он стоя рассуждал или декламировал, ходил, играл, говорил у него. Он склонял голову, откидывался назад корпусом и ноги ставил врозь, как бы застигнутый в плясовой с притопыванием. Он немного зашибал и в запое начинал верить в свои выдумки. К концу своих номеров он делал вид, что пятка пристала у него к полу и ее не оторвать, и уверял, будто черт ловит его за ногу.

В «Сердарде» бывали поэты, художники, Б. Б. Крассин, положивший на музыку блоковские «Вербочки», будущий сотоварищ ранних моих дебютов Сергей Бобров, появлению которого на Разгуляе предшествовали слухи, будто это новонародившийся русский Рембо, издатель «Мусагета» А. М. Кожебаткин, наезжавший в Москву издатель «Аполлона» Сергей Маковский.

Сам я вступил в «Сердарду» на старых правах музыканта, импровизациями на фортепиано изображая каждого входящего в начале вечера, пока собирались.

Быстро проходила короткая весенняя ночь. В раскрытое окошко веяло утренним холодом. Его дыхание подымало полы занавесей, шевелило пламя догоравших свечей, шелестело лежавшими на столе листами бумаги. И все звали, гости, хозяин, пустые дали, серое небо, комнаты, лестницы. Мы расходились, обгоняя по широким и удлинившимся от безлюдья улицам гроыхающие бочки нескончаемого ассенизационного обоза. «Кентавры», — говорил кто-нибудь на языке времени.

Вокруг издательства «Мусагет» образовалось нечто вроде академии. Андрей Белый, Степун, Рачинский, Борис Садовской, Эмилий Метнер, Шенрок, Петровский, Эллис, Нилендер занимались с сочувственной молодежью вопросами ритмики, историей немецкой романтики, русской лирикой, эстетикой Гёте и Рихарда Вагнера, Бодлером

и французскими символистами, древнегреческой досократовской философией.

Душой всех этих начинаний был Андрей Белый, неотразимый авторитет этого круга тех дней, первостепенный поэт и еще более поразительный автор «Симфоний» в прозе и романов «Серебряный голубь» и «Петербург», совершивших переворот в дореволюционных вкусах современников и от которых пошла первая советская проза.

Андрей Белый обладал всеми признаками гениальности, не введенной в русло житейскими помехами, семьей, непониманием близких, разгулявшейся вхолостую и из силы производительной превратившейся в бесплодную и разрушительную силу. Этот изъян излишнего одухотворения не ронял его, а вызывал участие и прибавлял страдальческую черту к его обаянию.

Он вел курс практического изучения русского классического ямба и методом статистического подсчета разбирал вместе со слушателями его ритмические фигуры и разновидности. Я не посещал работ кружка, потому что, как и сейчас, всегда считал, что музыка слова — явление совсем не акустическое и состоит не в благозвучии гласных и согласных, отдельно взятых, а в соотношении значения речи и ее звучания.

Иногда молодежь при «Мусагете» собиралась не в конторе издательства, а в других местах. Таким сборным местом была мастерская скульптора Крахта на Пресне.

В мастерской был жилой верх в виде неогороженных, свешивавшихся над ней полатей, а внизу, задрапированные плющом и другой декоративной зеленью, белели слепки с античных обломков, гипсовые маски и собственные работы хозяина.

Однажды поздней осенью я читал в мастерской доклад под названием «Символизм и бессмертие». Часть общества сидела внизу, часть слушала сверху, разлегшись на полу антресолей и выставив за их край головы.

Доклад основывался на соображении о субъективности наших восприятий, на том, что ощущаемым нами звукам и краскам в природе соответствует нечто иное, объективное колебание звуковых и световых волн. В докладе проводилась мысль, что эта субъективность не является свойством отдельного человека, но есть качество родовое, сверхличное; что это субъективность человеческого мира,

человеческого рода: Я предполагал в докладе, что от каждой умирающей личности остается доля этой неумирающей, родовой субъективности, которая содержалась в человеке при жизни и которую он участвовал в истории человеческого существования. Главную целью доклада было выставить допущение, что, может быть, этот предельно субъективный и всечеловеческий угол или выдел души есть извечный круг действия и главное содержание искусства. Что, кроме того, хотя художник, конечно, смертен, как все, счастье существования, которое он испытал, бессмертно и в некотором приближении к личной и кровной форме его первоначальных ощущений может быть испытано другими спустя века после него по его произведениям.

Доклад назывался «Символизм и бессмертие» потому, что в нем утверждалась символическая, условная сущность всякого искусства в том самом общем смысле, как можно говорить о символике алгебры.

Доклад произвел впечатление. О нем говорили. Я с него вернулся поздно. Дома я узнал, что задержанный болезнью в пути после ухода из Ясной Поляны Толстой скончался на станции Астапово и что отец вызван туда телеграммой. Мы быстро собрались и отправились на Павелецкий вокзал, к ночному поезду.

12

Тогда выезд за город был заметнее, чем теперь, сельская местность больше отличалась от городской, чем в настоящее время. С утра окно вагона наполнила и уже весь день не оставляла ровная, едва оживляемая редкими селениями ширь паров и озимей, тысячеверстная ширь России пахотной, деревенской, которая кормила небольшую городскую Россию и на нее работала. Землю уже посеребрили первые морозы, и необлетевшее золото берез обрамляло ее по межам, и это серебро морозов и золото берез скромным украшением лежало на ней, как листочки накладного золота и серебряной фольги на ее святой и смиренной старине.

Вспаханная и отдыхающая земля мелькала в окнах вагона и не знала, что где-то рядом, совсем неподалеку, умер ее последний богатырь, который по родовитости мог быть ее царем, а по искушенности ума, избалованного

всеми тонкостями мира, баловнем всем баловникам и баарином всем барам и который, однако, из любви к ней и совестливости перед ней ходил за сохой и одевался и подпоясывался по-мужицки.

13

Наверное, стало известно, что покойника будут рисовать, а потом приехавший с Меркуровым формовщик будет снимать с головы маску, и прощавшихся удалили из комнаты. Когда мы вошли, она была пуста. Из дальнего угла навстречу отцу быстро шагнула заплаканная Софья Андреевна и, схватив его за руки, судорожно и прерывисто промолвила сквозь слезы: «Ах, Леонид Осипович, что я перенесла! Вы ведь знаете, как я его любила!» И она стала рассказывать, как она пыталась покончить с собой, когда Толстой ушел, и топилась и как ее, едва живую, вытащили из пруда.

В комнате лежала гора, вроде Эльбруса, и она была ее большой отдельною скалой. Комнату занимала грозовая туча в полнеба, и она была ее отдельною молнией. И она не знала, что обладает правом скалы и молнии безмолвствовать, и подавлять загадочностью поведения, и не вступать в тяжбу с тем, что было самым нетолстовским на свете, — с толстовцами, и не принимать карликового боя с этой стороною.

А она оправдывалась и призывала отца в свидетели того, что преданностью и идейным пониманием превосходит соперников и уберегла бы покойного лучше, чем они. Боже, думал я, до чего можно довести человека и более того: жену Толстого.

Странно, в самом деле. Современный человек, отрицающий дуэль как устаревший предрассудок, пишет огромное сочинение на тему о дуэли и смерти Пушкина. Бедный Пушкин! Ему следовало бы жениться на Щеголеве и позднейшем пушкиноведении, и все было бы в порядке. Он дожил бы до наших дней, присочинил бы несколько продолжений к Онегину и написал бы пять «Полтав» вместо одной. А мне всегда казалось, что я перестал бы понимать Пушкина, если бы допустил, что он нуждался в нашем понимании больше, чем в Наталии Николаевне.

Но в углу лежала не гора, а маленький сморщенный старичок, один из сочиненных Толстым старичков, которых десятки он описал и рассыпал по своим страницам. Место было кругом утыкано невысокими елочками. Садившееся солнце четырьмя наклонными снопами света пересекало комнату и крестило угол с телом крупной тенью оконных крестовин и мелкими, детскими крестиками вычертившихся елочек.

Станционный поселок Астапово представлял в тот день нестройно шумевший табор мировой журналистики. Бойко торговал буфет на вокзале, официанты сбивались с ног, не поспевая за требованиями и бегом разнося поджаристые бифштексы с кровью. Рекою лилось пиво.

На вокзале были Толстые Илья и Андрей Львовичи. Сергей Львович прибыл в поезде, пришедшем за прахом Толстого для перевоза его в Ясную Поляну.

С пением «Вечной памяти» студенты и молодежь перенесли гроб с телом по станционному дворику и саду на перрон, к поданному поезду, и поставили в товарный вагон. Толпа на платформе обнажила головы, и под возобновившееся пенье поезд тихо отошел в тульском направлении.

Было как-то естественно, что Толстой упокоился, успокоился у дороги, как странник, близ проездных путей тогдашней России, по которым продолжали пролетать и круговращаться его герои и героини и смотрели в вагонные окна на ничтожную мимолежащую станцию, не зная, что глаза, которые всю жизнь на них смотрели, и обняли их взором, и увековечили, навсегда на ней закрылись.

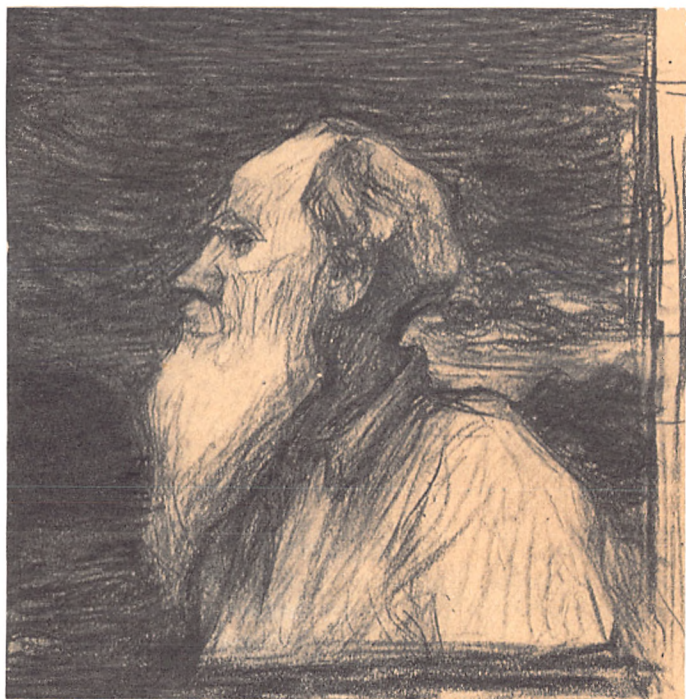
Если взять по одному качеству от каждого писателя, например, назвать страстность Лермонтова, многосодержательность Тютчева, поэтичность Чехова, ослепительность Гоголя, силу воображения Достоевского, — что сказать о Толстом, ограничив определение одной чертою?

Главным качеством этого моралиста, уравниателя, проповедника законности, которая охватывала бы всех без послаблений и изъятий, была ни на кого не похожая, парадоксальности достигавшая оригинальность.

Он всю жизнь, во всякое время обладал способностью видеть явления в оторванной окончателности отдельного мгновения, в исчерпывающем выпуклом очерке, как глядим мы только в редких случаях в детстве, или на гребне всеобновляющего счастья, или в торжестве большой душевной победы.

Для того чтобы так видеть, глаз наш должна направлять страсть. Она-то именно и озаряет своей вспышкой предмет, усиливая его видимость.

Такую страсть, страсть творческого созерцания, Толстой постоянно носил в себе. Это в ее именно свете он видел все в первоначальной свежести, по-новому и как бы впервые. Подлинность виденного им так расходится с нашими привычками, что может показаться нам странной. Но Толстой не искал этой странности, не преследовал ее в качестве цели, а тем более не сообщал ее своим произведениям в виде писательского приема.





ПЕРЕД ПЕРВОЙ МИРОВОЮ ВОЙНОЮ

1

Половину 1912 года, весну и лето, я пробыл за границей. Время наших учебных каникул приходится на Западе на летний семестр. Этот семестр я провел в старинном университете города Марбурга.

В этом университете Ломоносов слушал математика и философа Христиана Вольфа. За полтора столетия до него здесь проездом из-за границы, перед возвращением на родину и смертью на костре в Риме, читал очерк своей новой астрономии Джордано Бруно.

Марбург — маленький средневековый городок. Тогда он насчитывал 29 тысяч жителей. Половину составляли студенты. Он живописно лепится по горе, из которой добыт камень, пошедший на постройку его домов и церквей, зам-

ка и университета, и утопает в густых садах, темных как ночь.

У меня остались крохи от средств, отложенных на жизнь и учение в Германии. На этот неизрасходованный остаток я съездил в Италию. Я видел Венецию, кирпично-розовую и аквамариново-зеленую, как прозрачные камушки, выбрасываемые морем на берег, и посетил Флоренцию, темную, тесную, стройную, — живое извлечение из дантовских терцин. На осмотр Рима у меня не хватило денег.

В следующем году я окончил Московский университет. Мне в этом помог Мансуров, оставленный при университете молодой историк. Он снабдил меня целым собранием подготовительных пособий, по которым сам он сдавал государственный экзамен в предшествующем году. Профессорская библиотека с избытком превышала экзаменационные требования и кроме общих руководств содержала подробные справочники по классическим древностям и отдельные монографии по разным вопросам. Я насилу увез это богатство на извозчике.

Мансуров был родней и другом молодого Трубецкого и Дмитрия Самарина. Я их знал по Пятой гимназии, где они ежегодно сдавали экзамены экстернами, обучаясь дома.

Старшие Трубецкие, отец и дядя студента Николая, были — один профессором энциклопедии права, другой ректором университета и известным философом. Оба отличались крупной корпуленцией и, слонами в сюртуках без талий взгромоздясь на кафедру, тоном упрощения глуховатыми, аристократически картавыми, клянчащими головами читали свои замечательные курсы.

Сходной породы были молодые люди, неразлучною тройкой заглядывавшие в университет, рослые даровитые юноши со сросшимися бровями и громкими голосами и именами.

В этом кругу была в почете Марбургская философская школа. Трубецкой писал о ней и посылал туда наиболее одаренных учеников совершенствоваться. Побывавший там до меня Дмитрий Самарин был в городке своим человеком и патриотом Марбурга. Я туда отправился по его совету.

Дмитрий Самарин был из знаменитой славянофильской семьи, в бывшем имении которой теперь раскинулся городок писателей в Переделкине и Переделкинский детский туберкулезный санаторий. Философия, диалектика, знание

Гегеля были у него в крови, были наследственными. Он разбрасывался, был рассеян и, наверное, не вполне нормален. Благодаря странным выходкам, которыми он поражал, когда на него находило, он был тяжел и в общежитии невыносим. Нельзя винить родных, не уживавшихся с ним и с которыми он вечно ссорился.

В начале нэпа он очень опростившимся и всепонимающим прибыл в Москву из Сибири, по которой его долго носила гражданская война. Он опух от голода и был с пути во вшах. Измученные лишениями близкие окружили его заботами. Но было уже поздно. Вскоре он заболел тифом и умер, когда эпидемия пошла на убыль.

Я не знаю, что случилось с Мансуровым, а знаменитый филолог Николай Трубецкой прославился на весь мир и недавно умер в Вене.

2

Лето после государственных экзаменов я провел у родителей на даче в Молодах, близ станции Столбовой по Московско-Курской железной дороге.

В доме по преданию казаки нашей отступавшей армии отстреливались от наседавших передовых частей Наполеона. В глубине парка, сливавшегося с кладбищем, зарастали и приходили в ветхость их могилы.

Внутри дома были узкие, по сравнению с их высотой, комнаты, высокие окна. Настольная керосиновая лампа разбрасывала гигантских размеров тени по углам темно-бордовых стен и потолку.

Под парком вилась небольшая речка, вся в крутых водороинах. Над одним из омутов полуоборвалась и продолжала расти в опрокинутом виде большая старая береза.

Зеленая путаница ее ветвей представляла висевшую над водою воздушную беседку. В их крепком переплетении можно было расположиться сидя или полулежа. Здесь обосновал я свой рабочий угол. Я читал Тютчева и впервые в жизни писал стихи не в виде редкого исключения, а часто и постоянно, как занимаются живописью или пишут музыку.

В гуще этого дерева я в течение двух или трех летних месяцев написал стихотворения своей первой книги.

Книга называлась до глупости притязательно «Блинец в тучах», из подражания космологическим мудрено-

стям, которыми отличались книжные заглавия символистов и названия их издательств.

Писать эти стихи, перемарывать и восстанавливать зачеркнутое было глубокой потребностью и доставляло ни с чем не сравнимое, до слез доводящее удовольствие.

Я старался избегать романтического наигрыша, посторонней интересности. Мне не требовалось громыхать их с эстрады, чтобы от них шарахались люди умственного труда, негодуя: «Какое падение! Какое варварство!» Мне не надо было, чтобы от их скромного изящества мерли мухи и дамы-профессорши после их чтения в кругу шести или семи почитателей говорили: «Позвольте пожать вашу честную руку». Я не добивался отчетливой ритмики, плясовой или песенной, от действия которой почти без участия слов сами собой начинают двигаться ноги и руки. Я ничего не выражал, не отражал, не отображал, не изображал.

Впоследствии, ради ненужных сближений меня с Маяковским, находили у меня задатки ораторские и интонационные. Это неправильно. Их у меня не больше, чем у всякого говорящего.

Совсем напротив, моя постоянная забота обращена была на содержание, моей постоянной мечтой было, чтобы само стихотворение нечто содержало, чтобы оно содержало новую мысль или новую картину. Чтобы всеми своими особенностями оно было вгравировано внутрь книги и говорило с ее страниц всем своим молчанием и всеми красками своей черной, бескрасочной печати.

Например, я писал стихотворение «Венеция» или стихотворение «Вокзал». Город на воде стоял предо мной, и круги и восьмерки его отражений плыли и множились, разбухая, как сухарь в чаю. Или вдали, в конце путей и перронов, возвышался, весь в облаках и дымах, железнодорожный прощальный горизонт, за которым скрывались поезда и который заключал целую историю отношений, встречи и проводы и события до них и после них.

Мне ничего не надо было от себя, от читателей, от теории искусства. Мне нужно было, чтобы одно стихотворение содержало город Венецию, а в другом заключался Брестский, ныне Белорусско-Балтийский вокзал. Строки «Бывало, раздвинется запад в маневрах ненастий и шпал» из названного «Вокзала» нравились Боброву. У нас было в сообществе с Асеевым и несколькими другими начинающими небольшое содружеское издательство на началах складчи-

ны. Знавший типографское дело по службе в «Русском архиве» Бобров сам печатался с нами и выпускал нас. Он издал «Близнеца» с дружеским предисловием Асеева.

Мария Ивановна Балтрушайтис, жена поэта, говорила: «Вы когда-нибудь пожалеете о выпуске незрелой книжки». Она была права. Я часто жалел о том.

3

Жарким летом 1914 года, с засухой и полным затмением солнца, я жил на даче у Балтрушайтисов в большом имении на Оке, близ города Алексина. Я занимался предметами с их сыном и переводил для возникшего тогда Камерного театра, которого Балтрушайтис был литературным руководителем, немецкую комедию Клейста «Разбитый кувшин».

В имени было много лиц из художественного мира: поэт Вячеслав Иванов, художник Ульянов, жена писателя Муратова. Неподалеку, в Тарусе, Бальмонт для того же театра переводил «Сакунталу» Калидасы.

В июле я ездил в Москву на комиссию, призываться, и получил белый билет, чистую отставку, по укорочению сломанной в детстве ноги, с чем и вернулся на Оку к Балтрушайтисам.

Вскоре после этого выдался такой вечер. По Оке долго в пелене тумана, стлавшегося по речным камышам, плыла и приближалась снизу какая-то полковая музыка, польки и марши. Потом из-за мыса выплыл небольшой буксирный пароходик с тремя баржами. Наверное, с парохода увидели имение на горе и решили причалить. Пароход повернул через реку наперерез и подвел баржи к нашему берегу. На них оказались солдаты, многочисленная гренадерская воинская часть. Они высадились и развели костры под горою. Офицеров пригласили наверх ужинать и ночевать. Утром они отвалили. Это была одна из особенностей заблаговременно проводившейся мобилизации. Началась война.

4

Тогда я в два срока с перерывами около года прослужил домашним учителем в семье богатого коммерсанта Морица Филиппа, гувернером их сына Вальтера, славного и привязчивого мальчика.

Летом во время московских противонемецких беспорядков в числе крупнейших фирм Эйнема, Ферейна и других громили также Филиппа, контору и жилой особняк.

Разрушения производили по плану, с ведома полиции. Имущества служащих не трогали, только хозяйское. В творившемся хаосе мне сохранили белье, гардероб и другие вещи, но мои книги и рукописи попали в общую кашу и были уничтожены.

Потом у меня много пропадало при более мирных обстоятельствах. Я не люблю своего стиля до 1940 года, отрицаю половину Маяковского, не все мне нравится у Есенина. Мне чужд общий тогдашний распад форм, оскудение мысли, засоренный и неровный слог. Я не тужу об исчезновении работ порочных и несовершенных. Но и совсем с другой точки зрения меня никогда не огорчали пропажи.

Терять в жизни более необходимо, чем приобретать. Зерно не даст всхода, если не умрет. Надо жить не уставая, смотреть вперед и питаться живыми запасами, которые совместно с памятью вырабатывает забвение.

В разное время у меня по разным причинам затерялись: текст доклада «Символизм и бессмертие». Статьи футуристического периода. Сказка для детей в прозе. Две поэмы. Тетрадь стихов, промежуточная между сборником «Поверх барьеров» и «Сестрой моей, жизнью». Черновик романа в нескольких листового формата тетрадях, которого отделанное начало было напечатано в виде повести «Детство Люверс». Перевод целой трагедии Суинберна из его драматической трилогии о Марии Стюарт.

Из разоренного и наполовину сожженного дома Филиппы перебрались в наемную квартиру. Тут тоже имелась для меня отдельная комната. Я хорошо помню. Лучи садившегося осеннего солнца бороздили комнату и книгу, которую я перелистывал. Вечер в двух видах заключался в ней. Один легким порозовением лежал на ее страницах. Другой составлял содержание и душу стихов, напечатанных в ней. Я завидовал автору, сумевшему такими простыми средствами удержать частицы действительности, в нее занесенные. Это была одна из первых книг Ахматовой, вероятно, «Подорожник».

В те же годы, между службою у Филиппов, я ездил на Урал и в Прикамье. Одну зиму я прожил во Всеволодовильеве, на севере Пермской губернии, в месте, некогда посещенном Чеховым и Левитаном, по свидетельству А. Н. Тихонова, изобразившего эти места в своих воспоминаниях. Другую перезимовал в Тихих горах на Каме, на химических заводах Ушковых.

В конторе заводов я вел некоторое время военный стол и освобождал целые волости военнообязанных, прикрепленных к заводам и работавших на оборону.

Зимой заводы сообщались с внешним миром допотопным способом. Почту возили из Казани, расположенной в двухстах пятидесяти верстах, как во времена «Капитанской дочки», на тройках. Я один раз проделал этот зимний путь.

Когда в марте 1917 года на заводах узнали о разразившейся в Петербурге революции, я поехал в Москву.

На Ижевском заводе я должен был найти и захватить ранее командированного туда инженера и замечательного человека Збарского, поступить в его распоряжение и следовать с ним дальше.

Из Тихих гор гнали в кибитке, крытом возке на полозьях, вечер, ночь напролет и часть следующего дня. Замотанный в три азяма и утопая в сене, я грузным кулем перекаtywался на дне саней, лишенный свободы движений. Я дремал, клевал носом, засыпал и просыпался и закрывал и открывал глаза.

Я видел лесную дорогу, звезды морозной ночи. Высокие сугробы горой горбили узкую проезжую стежку. Часто возок крышею наезжал на нижние ветки нависших пихт, осыпал с них иней, и с шорохом проволакивался по ним, таща их на себе. Белизна снежной пелены отражала мерцание звезд и освещала путь. Светящийся снежный покров пугал в глубине, внутри чащи, как вставленная в лес горящая свеча.

Три лошади, запряженные гусем, одна другой в затылок, мчали возок, то одна, то другая сбиваясь в сторону и выходя из ряда. Ямщик поминутно выравнивал их и, когда кибитка клонилась набок, соскакивал с нее, бежал рядом и плечом подпирал ее, чтобы она не упала.

Я опять засыпал, теряя представление о протекшем

той порою времени, и вдруг пробуждался от толчка и прекратившегося движения.

Ямской стан в лесу, совершенно как в сказках о разбойниках. Огонек в избе. Шумит самовар, и тикают часы. Пока довезший кибитку ямщик разоблачается, отходит от мороза и негромко, по-ночному, во внимание к спящим, может быть, за перегородкой, разговаривает с собирающей ему поесть становихой, новый утирает усы и губы, застегивает армяк и выходит на мороз закладывать свежую тройку.

И опять гон всюю, свист полозьев и дремота и сон. А потом, на другой день, — неведомая даль в фабричных трубах, бескрайняя снежная пустыня большой замерзшей реки и какая-то железная дорога.

6

Бобров незаслуженно тепло относился ко мне. Он неусыпно следил за моей футуристической чистотой и берег меня от вредных влияний. Под таковыми он разумел сочувствие старших. Едва он замечал признаки их внимания, как из страха, чтобы их ласка не ввергла меня в академизм, любыми способами торопился разрушить наметившуюся связь. Я не переставал со всеми ссориться по его милости.

Мне были по душе супруги Анисимовы, Юлиан и его жена Вера Станевич. Невольным образом мне пришлось участвовать в разрыве Боброва с ними.

Мне сделал трогательную надпись на подаренной книге Вячеслав Иванов. Бобров в кругу Брюсова высмеял надпись в таком духе, точно я сам дал толчок зубокальству. Вячеслав Иванов перестал со мною кланяться.

Журнал «Современник» поместил мой перевод комедии Клейста «Разбитый кувшин». Работа была незрелая, неинтересная. Мне следовало в ноги поклониться журналу за ее помещение. Кроме того, еще больше надлежало мне поблагодарить редакцию за то, что чья-то неведомая рука прошла по рукописи к ее вящей красе и пользе.

Но чувство правды, скромность, признательность не были в цене среди молодежи левых художественных направлений и считались признаками сентиментальности и кисляйства. Принято было задирать нос, ходить гоголем и нахальничать, и, как это мне ни претило, я против воли

тянулся за всеми, чтобы не упасть во мнении товарищей.

Что-то случилось с корректурой комедии. Она опоздала и содержала посторонние приписки наборной, к тексту не относившиеся.

В оправдание Боброва надо сказать, что сам он о деле не имел ни малейшего представления и в данном случае действительно не ведал, что творил. Он сказал, что так этого безобразия, мазни в корректуре и непрошеной стилистической правки оригинала нельзя оставить и что я должен на это пожаловаться Горькому, негласно причастному, по его сведениям, к ведению журнала. Так я и сделал. Вместо благодарности редакции «Современника» я в глупом письме, полном деланной, невежественной фанаберии, жаловался Горькому на то, что со мною были внимательны и оказали мне любезность. Годы прошли, и оказалось, что я жаловался Горькому на Горького. Комедия была помещена по его указанию, и он правил ее своею рукою.

Наконец, и знакомство мое с Маяковским началось с полемической встречи двух враждовавших между собой футуристических групп, из которых к одной принадлежал он, а к другой я. По мысли устроителей должна была произойти некоторая потасовка, но ссоре помешало с первых слов обнаружившееся взаимопонимание нас обоих.

7

Я не буду описывать моих отношений с Маяковским. Между нами никогда не было короткости. Его признание преувеличивают. Его точку зрения на мои вещи искажают.

Он не любил «Девятьсот пятого года» и «Лейтенанта Шмидта» и писание их считал ошибкою. Ему нравились две книги — «Поверх барьеров» и «Сестра моя, жизнь».

Я не буду приводить истории наших встреч и расхождений. Я постараюсь дать, насколько могу, общую характеристику Маяковского и его значения. Разумеется, то и другое будет субъективно окрашено и пристрастно.

8

Начнем с главного. Мы не имеем понятия о сердечном терзании, предшествующем самоубийству. Под физической пыткой на дыбе ежеминутно теряют сознание, муки

истязания так велики, что сами невыносимостью своей близят конец. Но человек, подвергнутый палаческой расправе, еще не уничтожен, впадая в беспамятство от боли, он присутствует при своем конце, его прошлое принадлежит ему, его воспоминания при нем, и если он захочет, может воспользоваться ими, перед смертью они могут помочь ему.

Приходя к мысли о самоубийстве, ставят крест на себе, отворачиваются от прошлого, объявляют себя банкротами, а свои воспоминания недействительными. Эти воспоминания уже не могут дотянуться до человека, спасти и поддержать его. Непрерывность внутреннего существования нарушена, личность кончилась. Может быть, в заключение убивают себя не из верности принятому решению, а из нестерпимости этой тоски, неведомо кому принадлежащей, этого страдания в отсутствие страдающего, этого пустого, не заполненного продолжающейся жизнью ожидания.

Мне кажется, Маяковский застрелился из гордости, оттого, что он осудил что-то в себе или около себя, с чем не могло мириться его самолюбие. Есенин повесился, толком не вдумавшись в последствия и в глубине души полагая — как знать, может быть, это еще не конец и, не ровен час, бабушка еще надвое гадала. Марина Цветаева всю жизнь заслонялась от повседневности работой, и когда ей показалось, что это непозволительная роскошь и ради сына она должна временно пожертвовать улекательною страстью и взглянуть кругом трезво, она увидела хаос, не пропущенный сквозь творчество, неподвижный, непривычный, косный, и в испуге отшатнулась, и, не зная, куда деться от ужаса, впопыхах спряталась в смерть, сунула голову в петлю, как под подушку. Мне кажется, Паоло Яшвили уже ничего не понимал, как колдовством оплетенный шигалевщиной тридцать седьмого года, и ночью глядел на спящую дочь, и воображал, что больше недостоин глядеть на нее, и утром пошел к товарищам и дробью из двух стволов разнес себе череп. И мне кажется, что Фадеев с той виноватой улыбкой, которую он сумел пронести сквозь все хитросплетения политики, в последнюю минуту перед выстрелом мог проститься с собой с такими, что ли, словами: «Ну вот, все кончено. Прощай, Саша».

Но все они мучились неопиcуемо, мучились в той степе-

ни, когда чувство тоски уже является душевной болезнью. И помимо их таланта и светлой памяти участливо склонимся также перед их страданием.

9

Итак, летом 1914 года в кофейне на Арбате должна была произойти сшибка двух литературных групп. С нашей стороны были я и Бобров. С их стороны предполагались Третьяков и Шершеневич. Но они привели с собой Маяковского.

Оказалось, вид молодого человека, сверх ожидания, был мне знаком по коридорам Пятой гимназии, где он учился двумя классами ниже, и по кулуарам симфонических, где он мне попадался на глаза в антрактах.

Несколько раньше один будущий слепой его приверженец показал мне какую-то из первинок Маяковского в печати. Тогда этот человек не только не понимал своего будущего бога, но и эту печатную новинку показал мне со смехом и возмущением, как заведомо бездарную бессмыслицу. А мне стихи понравились до чрезвычайности. Это были те первые ярчайшие его опыты, которые потом вошли в сборник «Простое, как мычание».

Теперь, в кофейне, их автор понравился мне не меньше. Передо мной сидел красивый, мрачного вида юноша с басом протодиакона и кулаком боксера, неистощимо, убийственно остроумный, нечто среднее между мифическим героем Александра Грина и испанским тореадором.

Сразу угадывалось, что если он и красив, и остроумен, и талантлив, и, может быть, архиталантлив, — это не главное в нем, а главное — железная внутренняя выдержка, какие-то заветы или устои благородства, чувство долга, по которому он не позволял себе быть другим, менее красивым, менее остроумным, менее талантливым.

И мне сразу его решительность и взлохмаченная грива, которую он ерошил всей пятерней, напомнили сводный образ молодого террориста-подпольщика из Достоевского, из его младших провинциальных персонажей.

Провинция не всегда отставала от столиц во вред себе. Иногда в период упадка главных центров глухие углы спасала задержавшаяся в них благодетельная старина. Так, в царство танго и скетинг-рингов Маяковский вывез из глухого закавказского лесничества, где он ро-

дился, убеждение, в захолустье еще незыблемое, что просвещение в России может быть только революционным.

Природные внешние данные молодой человек чудесно дополнял художественным беспорядком, который он напускал на себя, грубоватой и небрежной громоздкостью души и фигуры и бунтарскими чертами богемы, в которые он с таким вкусом драпировался и играл.

10

Я очень любил раннюю лирику Маяковского. На фоне тогдашнего паясничания ее серьезность, тяжелая, грозная, жалующаяся, была так необычна. Это была поэзия мастеровски вылепленная, горделивая, демоническая и в то же время безмерно обреченная, гибнущая, почти зовущая на помощь.

Время! Хоть ты, хромой богомаз,
лик намалюй мой в божницу уродца века!
Я одинок, как последний глаз
у идущего к слепым человека!

Время послушалось и сделало, о чем он просил. Лик его вписан в божницу века. Но чем надо было обладать, чтобы это увидеть и угадать!

Или он говорит:

Вам ли понять, почему я, спокойный,
насмешек грозою
душу на блюде несу
к обеду идущих лет...

Нельзя отделаться от литургических параллелей. «Да молчит всякая плоть человека и да стоит со страхом и трепетом, ничтоже земное в себе да помышляет. Царь бо царствующих и Господь господствующих приходит заклатися и датися в снедь верным».

В отличие от классиков, которым был важен смысл гимнов и молитв, от Пушкина, в «Отцах пустынников» пересказавшего Ефрема Сирина, и от Алексея Толстого, переключавшего погребальные самогласны Дамаскина стихами, Блоку, Маяковскому и Есенину куски церковных распевов и чтений дороги в их буквальности, как отрывки живого быта, наряду с улицей, домом и любыми словами разговорной речи.

Эти залежи древнего творчества подсказывали Мая-

ковскому пародическое построение его поэм. У него множество аналогий с каноническими представлениями, скрытых и подчеркнутых. Они призывали к огромности, требовали сильных рук и воспитывали смелость поэта.

Очень хорошо, что Маяковский и Есенин не обошли того, что знали и помнили с детства, что они подняли эти привычные пласты, воспользовались заключенной в них красотой и не оставили ее под спудом.

11

Когда я узнал Маяковского короче, у нас с ним обнаружили непредвиденные технические совпадения, сходное построение образов, сходство рифмовки. Я любил красоту и удачу его движений. Мне лучшего не требовалось. Чтобы не повторять его и не казаться его подражателем, я стал подавлять в себе задатки, с ним перекликавшиеся, героический тон, который в моем случае был бы фальшив, и стремление к эффектам. Это сузило мою манеру и ее очистило.

У Маяковского были соседи. Он был в поэзии не одинок, он не был в пустыне. На эстраде до революции соперником его был Игорь Северянин, на арене народной революции и в сердцах людей — Сергей Есенин.

Северянин повелевал концертными залами и делал, по цеховой терминологии артистов сцены, полные сборы с аншлагами. Он распевал свои стихи на два-три популярных мотива из французских опер, и это не впадало в пошлость и не оскорбляло слуха.

Его неразвитость, безвкусица и пошлые словоновщества в соединении с его завидно чистой, свободно лившейся поэтической дикцией создали особый, странный жанр, представляющий, под покровом банальности, запоздалый приход тургеневщины в поэзию.

Со времени Кольцова земля русская не производила ничего более коренного, естественного, уместного и родового, чем Сергей Есенин, подарив его времени с бесподобною свободой и не отяжелив подарка стопудовой народнической старательностью. Вместе с тем Есенин был живым, бьющимся комком той артистичности, которую вслед за Пушкиным мы зовем высшим моцартовским началом, моцартовской стихией.

Есенин к жизни своей отнесся как к сказке. Он Иван-

царевичем на сером волке перелетел океан и, как жар-птицу, поймал за хвост Айседору Дункан. Он и стихи свои писал сказочными способами, то, как из карт, раскладывая пасьянсы из слов, то записывая их кровью сердца. Самое драгоценное в нем — образ родной природы, лесной, среднерусской, рязанской, переданной с ошеломляющей свежестью, как она далась ему в детстве. По сравнению с Есениным дар Маяковского тяжелее и грубее, но зато, может быть, глубже и обширнее. Место есенинской природы у него занимает лабиринт нынешнего большого города, где заблудилась и нравственно запуталась одинокая современная душа, драматические положения которой, страстные и нечеловеческие, он рисует.

12

Как я уже сказал, нашу близость преувеличивали. Однажды, во время обострения наших разногласий, у Асеева, где мы с ним объяснялись, он с обычным мрачным юмором так определил наше несходство: «Ну что же. Мы действительно разные. Вы любите молнию в небе, а я — в электрическом утюге».

Я не понимал его пропагандистского усердия, внедрения себя и товарищей силою в общественном сознании, компанейства, артельщины, подчинения голосу злободневности.

Еще непостижимее мне был журнал «Леф», во главе которого он стоял, состав участников и система идей, которые в нем защищались. Единственным последовательным и честным в этом кружке отрицателей был Сергей Третьяков, доводивший свое отрицание до естественного вывода. Вместе с Платоном Третьяков полагал, что искусству нет места в молодом социалистическом государстве или, во всяком случае, в момент его зарождения. А то испорченное поправками, сообразными времени, нетворческое, ремесленное полуискусство, которое процветало в Лефе, не стоило затрачиваемых забот и трудов, и им легко было пожертвовать.

За вычетом предсмертного и бессмертного документа «Во весь голос», позднейший Маяковский, начиная с «Мистерии-буфф», недоступен мне. До меня не доходят эти неуклюжие зарифмованные прописи, эта изощренная бессодержательность, эти общие места и избитые истины,

изложенные так искусственно, запутанно и неостроумно. Это, на мой взгляд, Маяковский никакой, несуществующий. И удивительно, что никакой Маяковский стал считаться революционным.

Но по ошибке нас считали друзьями, и, например, Есенин в период недовольства имажинизмом просил меня помирить и свести его с Маяковским, полагая, что я наиболее подхожу для этой цели.

Хотя с Маяковским мы были на «вы», а с Есениным на «ты», мои встречи с последним были еще реже. Их можно пересчитать по пальцам, и они всегда кончались неистовствами. То, обливаясь слезами, мы клялись друг другу в верности, то завязывали драки до крови, и нас силою разнимали и растаскивали посторонние.

13

В последние годы жизни Маяковского, когда не стало поэзии ничьей, ни его собственной, ни кого бы то ни было другого, когда повесился Есенин, когда, скажем проще, прекратилась литература, потому что ведь и начало «Тихого Дона» было поэзией, и начало деятельности Пильняка и Бабеля, Федина и Всеволода Иванова, в эти годы Асеев, отличный товарищ, умный, талантливый, внутренне вольный и ничем не ослепленный, был ему близким по направлению другом и главной опорой.

Я же окончательно отошел от него. Я порвал с Маяковским вот по какому поводу. Несмотря на мои заявления о выходе из состава сотрудников «Лефа» и о непринадлежности к их кругу, мое имя продолжали печатать в списке участников. Я написал Маяковскому резкое письмо, которое должно было взорвать его.

Еще раньше, в годы, когда я еще находился под обаянием его огня, внутренней силы и его огромных творческих прав и возможностей, а он платил мне ответной теплотой, я сделал ему надпись на «Сестре моей, жизни» с такими среди прочих строками:

Вы заняты нашим балансом,
Трагедией ВСНХ,
Вы, певший Летучим голландцем
Над краем любого стиха!

Я знаю, ваш путь неподделен,
Но как вас могло занести
Под своды таких богаделен
На искреннем вашем пути?

14

Были две знаменитых фразы о времени. Что жить стало лучше, жить стало веселее и что Маяковский был и остался лучшим и талантливейшим поэтом эпохи. За вторую фразу я личным письмом благодарил автора этих слов, потому что они избавляли меня от раздувания моего значения, которому я стал подвергаться в середине тридцатых годов, к поре съезда писателей. Я люблю свою жизнь и доволен ей. Я не нуждаюсь в ее дополнительной позолоте. Жизни вне тайны и незаметности, жизни в зеркальном блеске выставочной витрины я не мыслю.

Маяковского стали вводить принудительно, как картофель при Екатерине. Это было его второй смертью. В ней он неповинен.





ТРИ ТЕНИ

1

В июле 1917 года меня, по совету Брюсова, разыскал Эренбург. Тогда я узнал этого умного писателя, человека противоположного мне склада, деятельного, незамкнутого.

Тогда начался большой приток возвращающихся из-за границы политических эмигрантов, людей, застигнутых на чужбине войной и там интернированных, и других. Приехал из Швейцарии Андрей Белый. Приехал Эренбург.

Эренбург расхваливал мне Цветаеву, показывал ее стихи. На одном сборном вечере в начале революции я присутствовал на ее чтении в числе других выступавших.

В одну из зим военного коммунизма я заходил к ней с каким-то поручением, говорил незначительности, выслушивал пустяки в ответ. Цветаева не доходила до меня.

Слух у меня тогда был испорчен выкрутасами и ломкою всего привычного, царившими кругом. Все нормально сказанное отскакивало от меня. Я забывал, что слова сами по себе могут что-то заключать и значить, помимо побрякушек, которыми их увешали.

Именно гармония цветаевских стихов, ясность их смысла, наличие одних достоинств и отсутствие недостатков служили мне препятствием, мешали понять, в чем их суть. Я во всем искал не сущности, а посторонней остроты.

Я долго недооценивал Цветаеву, как по-разному недооценил многих — Багрицкого, Хлебникова, Мандельштама, Гумилева.

Я уже сказал, что среди молодежи, не умевшей изъясняться осмысленно, возводившей косноязычие в добродетель и оригинальной поневоле, только двое, Асеев и Цветаева, выражались по-человечески и писали классическим языком и стилем.

И вдруг оба отказались от своего умения. Асеева прельстил пример Хлебникова. С Цветаевой произошли собственные внутренние перемены. Но победить меня успела еще прежняя, преемственная Цветаева, до перерождения.

2

В нее надо было вчитаться. Когда я это сделал, я ахнул от открывшейся мне бездны чистоты и силы. Ничего подобного нигде кругом не существовало. Сокращу рассуждения. Не возьму греха на душу, если скажу: за вычетом Анненского и Блока и с некоторыми ограничениями Андрея Белого, ранняя Цветаева была тем самым, чем хотели быть и не могли все остальные символисты, вместе взятые. Там, где их словесность бессильно барахталась в мире надуманных схем и безжизненных архаизмов, Цветаева легко носилась над трудностями настоящего творчества, справляясь с его задачами играючи, с несравненным техническим блеском.

Весной 1922 года, когда она была уже за границей,

я в Москве купил маленькую книжечку ее «Верст». Меня сразу покорило лирическое могущество цветаевской формы, кровно пережитой, не слабогрудой, круто сжатой и сгущенной, не запыхивающейся на отдельных строчках, охватывающей без обрыва ритма целые последовательности строф развитием своих периодов.

Какая-то близость скрывалась за этими особенностями, быть может, общность испытанных влияний или одинаковость побудителей в формировании характера, сходная роль семьи и музыки, однородность отправных точек, целей и предпочтений.

Я написал Цветаевой в Прагу письмо, полное восторгов и удивления по поводу того, что я так долго прозевывал ее и так поздно узнал. Она ответила мне. Между нами завязалась переписка, особенно участившаяся в середине двадцатых годов, когда появилось ее «Ремесло» и в Москве стали известны в списках ее крупные по размаху и мысли, яркие, необычные по новизне «Поэма конца», «Поэма горы» и «Крысолов». Мы подружились.

Летом 1935 года я, сам не свой и на грани душевного заболевания от почти годовой бессонницы, попал в Париж, на антифашистский конгресс. Там я познакомился с сыном, дочерью и мужем Цветаевой и как брата полюбил этого обаятельного, тонкого и стойкого человека.

Члены семьи Цветаевой настаивали на ее возвращении в Россию. Частью в них говорила тоска по родине и симпатии к коммунизму и Советскому Союзу, частью же соображения, что Цветаевой не житье в Париже и она там пропадает в пустоте, без отклика читателей.

Цветаева спрашивала, что я думаю по этому поводу. У меня на этот счет не было определенного мнения. Я не знал, что ей посоветовать, и слишком боялся, что ей и ее замечательному семейству будет у нас трудно и беспокойно. Общая трагедия семьи неизмеримо превзошла мои опасения.

3

В начале этого вступительного очерка, на страницах, относящихся к детству, я давал реальные картины и сцены и описывал живые происшествия, а с середины перешел

к обобщениям и стал ограничивать изложение беглыми характеристиками. Это пришлось сделать в интересах сжатости.

Если бы я стал рассказывать случай за случаем и положение за положением историю объединявших меня с Цветаевой стремлений и интересов, я далеко вышел бы из поставленных себе границ. Я должен был бы посвятить этому целую книгу, так много пережито было тогда совместного, менявшегося, радостного и трагического, всегда неожиданного и всегда, от раза к разу, обоюдно расширявшего кругозор.

Но и здесь, и в оставшихся главах я воздержусь от личного и частного и ограничусь существенным и общим.

Цветаева была женщиной с деятельной мужскою душой, решительной, воинствующей, неукротимой. В жизни и творчестве она стремительно, жадно и почти хищно рвалась к окончательности и определенности, в преследовании которых ушла далеко и опередила всех.

Кроме немногого известного, она написала большое количество неизвестных у нас вещей, огромные бурные произведения, одни в стиле русских народных сказок, другие на мотивы общеизвестных исторических преданий и мифов.

Их опубликование будет большим торжеством и открытием для родной поэзии и сразу, в один прием, обогатит ее этим запоздалым и единовременным даром.

Я думаю, самый большой пересмотр и самое большое признание ожидают Цветаеву.

Мы были друзьями. У меня хранилось около ста писем от нее в ответ на мои. Несмотря на место, которое, как я раньше сказал, занимали в моей жизни потери и пропажи, нельзя было вообразить, каким бы образом могли когда-нибудь пропасть эти бережно хранимые драгоценные письма. Их погубила излишняя тщательность их хранения.

В годы войны и моих наездов к семье в эвакуацию одна сотрудница Музея имени Скрябина, большая почитательница Цветаевой и большой мой друг, предложила мне взять на сохранение эти письма вместе с письмами моих родителей и несколькими письмами Горького и Рол-

лана. Все перечисленное она положила в сейф музея, а с письмами Цветаевой не расставалась, не выпуская их из рук и не доверяя прочности стенок несгораемого шкафа.

Она жила круглый год за городом и каждый вечер возила эти письма в ручном чемоданчике к себе на ночлег и привозила по утрам в город на службу. Однажды зимой она в крайнем утомлении возвращалась к себе домой, на дачу. На полдороге от станции она в лесу спохватилась, что оставила чемоданчик с письмами в вагоне электрички. Так уехали и пропали письма Цветаевой.

4

На протяжении десятилетий, протекших с напечатания «Охранной грамоты», я много раз думал, что если бы пришлось переиздать ее, я приписал бы к ней главу о Кавказе и двух грузинских поэтах. Время шло, и надобности в других дополнениях не представлялось. Единственным пробелом оставалась эта недостающая глава. Сейчас я напишу ее.

Около 1930 года зимой в Москве посетил меня вместе со своею женою поэт Паоло Яшвили, блестящий светский человек, образованный, занимательный собеседник, европеец, красавец.

Вскоре в двух семьях, моей и другой дружественной, произошли перевороты, осложнения и перемены, душевно тяжелые для участников. Некоторое время мне и моей спутнице, впоследствии ставшей моей второй женою, нигде было приклонить голову. Яшвили предложил нам пристанище у себя в Тифлисе.

Тогда Кавказ, Грузия, отдельные ее люди, ее народная жизнь явились для меня совершенным откровением. Все было ново, все удивляло. В глубине всех уличных пролетов Тифлиса нависавшие темные каменные громады. Вынесенная из дворов на улицу жизнь беднейшего населения, более смелая, менее прячущаяся, чем на севере, яркая, откровенная. Полная мистики и мессианизма символика народных преданий, располагающая к жизни воображением и, как в католической Польше, делающая каждого поэтом. Высокая культура передовой части общества, умственная жизнь, в такой степени в те годы уже редкая.

Благоустроенные уголки Тифлиса, напоминавшие Петербург, гнутые в виде корзин и лир оконные решетки бельэтажей, красивые закоулки. Преследующая по пятам и везде наступающая дробь бубна, отбивающего ритм лезгинки. Козлиное бляение волынки и каких-то других инструментов. Наступление южного городского вечера, полного звезд и запахов из садов, кондитерских и кофеен.

5

Паоло Яшвили — замечательный поэт послесимволистического времени. Его поэзия строится на точных данных и свидетельствах ощущения. Она сродни новейшей европейской прозе Белого, Гамсуна и Пруста и, как эта проза, свежа неожиданными и меткими наблюдениями. Это предельно творческая поэзия. Она не загромождена плотно напиханными в нее эффектами. В ней много простору и воздуху. Она движется и дышит.

Первая мировая война застала Яшвили в Париже, студентом Сорбонны. Он кружным путем возвращался к себе на родину. На глухой норвежской станции Яшвили зазевался и не заметил, как ушел его поезд. Молодая норвежская чета, сельские хозяева, из глубины края на санях приехавшие на станцию за почтой, видели ротозейство жгучего южанина и его последствия. Они пожалели Яшвили и, неизвестно как объяснившись с ним, увезли к себе на ферму до следующего поезда, ожидавшегося только на другие сутки.

Яшвили чудно рассказывал. Он был прирожденный рассказчик приключений. С ним вечно происходили неожиданности в духе художественных новелл. Случайности так и льнули к нему, он имел на них дар, легкую руку.

Одаренность сквозила из него. Огнем души светились его глаза, огнем страстей были опалены его губы. Жаром испытанного было обожжено и вычернено его лицо, так что он казался старше своих лет, человеком потрепанным, пожившим.

В день нашего приезда он собрал своих друзей, членов группы, вожакom которой он состоял. Я не помню, кто при-

шел тогда. Наверное, присутствовал его сосед по дому, перворазрядный и неподдельный лирик, Николай Надирадзе. И были Тициан Табидзе с женой.

6

Как сейчас вижу эту комнату. Да и как бы я ее забыл? Я тогда же, в тот же вечер, не ведая, какие ужасы ее ждут, осторожно, чтобы она не разбилась, опустил ее на дно души вместе со всем тем страшным, что потом в ней и близ нее произошло.

Зачем посланы были мне эти два человека? Как назвать наши отношения? Оба стали составною частью моего личного мира. Я ни одного не предпочитал другому, так они были нераздельны, так дополняли друг друга. Судьба обоих вместе с судьбой Цветаевой должна была стать самым большим моим горем.

7

Если Яшвили весь был во внешнем, центробежном проявлении, Тициан Табидзе был устремлен внутрь и каждую своей строкой и каждым шагом звал в глубину своей богатой, полной догадок и предчувствий души.

Главное в его поэзии — чувство неисчерпанности лирической потенции, стоящее за каждым его стихотворением, перевес несказанного и того, что он еще скажет, над сказанным. Это присутствие незатронутых душевных запасов создает фон и второй план его стихов и придает им то особое настроение, которым они пронизаны и которое составляет их главную и горькую прелесть. Души в его стихах столько же, сколько ее было в нем самом, души сложной, затаенной, целиком направленной к добру и способной к ясновидению и самопожертвованию.

Когда я думаю о Яшвили, городские положения приходят в голову, комнаты, споры, общественные выступления, искрометное красноречие Яшвили на ночных многлюдных пирушках.

Мысль о Табидзе наводит на стихию природы, в воображении встают сельские местности, приволье цветущей равнины, волны моря.

Плывут облака, и в один ряд с ними в отдалении строятся горы. И с ними сливается плотная и приземистая фигура улыбающегося поэта. У него немного подрагивающая походка. Он трясется всем телом, когда смеется. Вот он поднялся, стал боком к столу и постучал ножом о бокал, чтобы произнести речь. От привычки поднимать одно плечо выше другого он кажется немного кособоким.

Стоит дом в Коджорах на углу дорожного поворота. Дорога подымается вдоль его фасада, а потом, обогнув дом, идет мимо его задней стены. Всех идущих и едущих по дороге видно из дома дважды.

Это разгар времени, когда, по остроумному замечанию Белого, торжество материализма упразднило на свете материю. Нечего есть, не во что одеваться. Кругом ничего осязаемого, одни идеи. Если мы не погибаем, это заслуга тифлисских друзей-чудотворцев, которые все время что-то доставают и привозят и неизвестно подо что снабжают нас денежными ссудами от издательств.

Мы в сборе, делимся новостями, ужинаем, что-нибудь друг другу читаем. Веянье прохлады, точно пальчиками, быстро перебирает серебристую листвою тополя, белобархатную с изнанки. Воздух переполнен одуряющими ароматами юга. И, как передок любой повозки на шкворне, ночь в высоте медленно поворачивает весь кузов своей звездной колымаги. А по дороге идут и едут арбы и машины, и каждого видно из дома дважды.

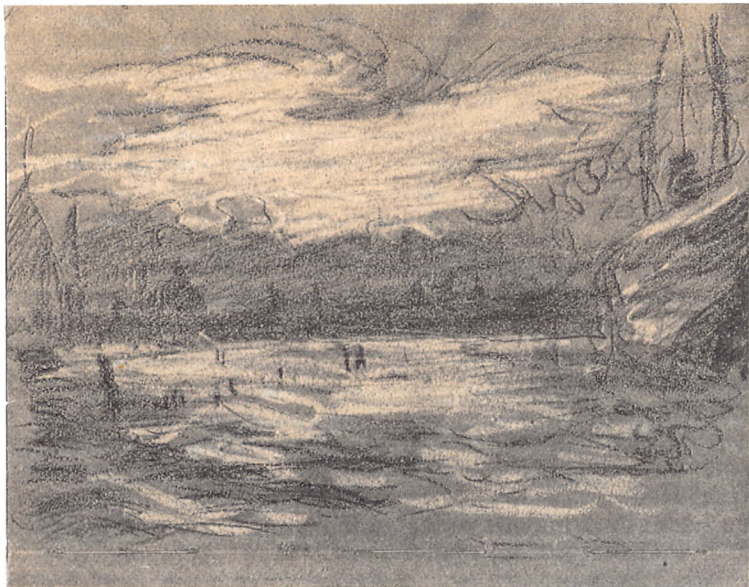
Или мы на Военно-Грузинской дороге, или в Боржоме, или в Абастумане. Или после поездок, красот, приключений и возлияний мы кто с чем, а я с подбитым от падения глазом в Бакурианах, в гостях у Леонидзе, самобытнейшего поэта, больше всех связанного с тайнами языка, на котором он пишет, и потому меньше всех поддающегося переводу.

Ночное пиршество на траве в лесу, красавица хозяйка, две маленьких очаровательных дочки. На другой день неожиданный приход мествире, бродячего народного импровизатора, с волынкой и величание экспромтом всего стола подряд, гостя за гостем, с подобающим каждому текстом и умением ухватиться за любой подвернувшийся повод для тоста, за мой подбитый глаз, например.

Или мы на море, в Кобулетах, дожди и штормы, и в од-

ной гостинице с нами Симон Чиковани, будущий мастер яркого живописного образа, тогда еще совсем юный. И над линией всех гор и горизонтов голова идущего рядом со мной улыбающегося поэта, и светлые признаки его непомерного дара, и тень грусти и судьбы на его улыбке и лице. И если я еще раз прощусь с ним теперь на этих страницах, пусть будет это в его лице прощанием со всеми остальными воспоминаниями.





ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Здесь кончается мой биографический очерк.

Продолжать его дальше было бы непомерно трудно. Соблюдая последовательность, дальше пришлось бы говорить о годах, обстоятельствах, людях и судьбах, охваченных рамою революции.

О мире ранее неведомых целей и стремлений, задач и подвигов, новой сдержанности, новой строгости и новых испытаний, которые ставил этот мир человеческой личности, чести и гордости, трудолюбию и выносливости человека.

Вот он отступил в даль воспоминаний, этот единственный и подобия не имеющий мир, и высится на горизонте,

как горы, видимые с поля, или как дымящийся в ночном зареве далекий большой город.

Писать о нем надо так, чтобы замирало сердце и подымались дыбом волосы.

Писать о нем затверженно и привычно, писать не ошеломляюще, писать бледнее, чем изображали Петербург Гоголь и Достоевский, — не только бессмысленно и бесцельно, писать так — низко и бессовестно.

Мы далеки еще от этого идеала.

Весна 1956, ноябрь 1957

Борис Пастернак

КОММЕНТАРИИ¹.

Апеллесова черта. Впервые опубликовано: Временник «Знамя труда». М., 1918. Вошло в сборник Пастернака: Рассказы (М.—Л., «Круг», 1925) под названием «Il tratto di Apelle»; под первоначальным заглавием перепечатано в книге прозы Пастернака «Воздушные пути» (М.—Л., Гослитиздат, 1933). Печатается по тексту этого издания.

Использованное в «Апеллесовой черте» имя Релинквимини (Relinquitimī) — «псевдоним-эмблема» (по определению Пастернака в письме к А. Л. Штиху от 10 июля 1914 г.); «вы пребудете, вы останетесь» — приблизительный русский перевод этой формы латинского глагола. Этим именем Пастернак подписывал свои ранние, несохранившиеся произведения. См.: Е. В. Пастернак. Из ранних прозаических опытов Б. Пастернака. — В кн.: Памятники культуры. Новые открытия. Ежегодник, 1976. М., 1977, с. 107.

Письма из Тулы. Впервые опубликовано: «Шиповник». Сборники литературы и искусства под редакцией Ф. Степуна, № 1. М., 1922, с. 57—64. С незначительными стилистическими изменениями вошло в книгу Пастернака «Рассказы» (М.—Л., «Круг», 1925). Печатается по этому изданию.

с. 42. Прочти по Ключевскому~эпизод с Петром Болотниковым. — Речь идет об историческом эпизоде: 10 октября 1607 г. вождь крестьянского восстания Иван Болотников (у Пастернака ошибка в имени) сдался под Тулой, на реке Упе, войскам царя Василия Шуйского; описан в многократно издававшемся «Курсе русской истории» В. О. Ключевского (см.: В. О. Ключевский. Сочинения, т. 3. М., 1957, с. 47—48).

¹ Выражаем глубокую благодарность Е. В. Пастернак и Е. Б. Пастернаку за предоставление многих материалов, использованных в комментариях, и ценные советы. — С. С. Грешишкин, А. В. Лавров.

с. 43. ...*особый поезд в Астапове, с товарным вагоном под гроб...* — 7 ноября 1910 г. на станции Астапово Рязано-Уральской железной дороги умер Л. Н. Толстой. Пастернак вместе с отцом провожал гроб с телом писателя из Астапова в Ясную Поляну (см.: Л. О. П а с т е р н а к. Записи разных лет. М., 1975, с. 212).

Б е з л ю б ь е. Впервые опубликовано: газета «Воля труда», 1918, №№ 60, 62 от 26 и 28 ноября.

Образы и мотивы, впервые появляющиеся в этом раннем прозаическом фрагменте, находят свое развитие в последующем творчестве Пастернака («Детство Люверс», «Повесть» и др.); некоторые из имен персонажей (Гимазетдин, Галлиула) будут использованы им в позднейшей прозе.

с. 53. *Так вы знали Брешковскую?..* — По-видимому, имеется в виду Е. К. Брешко Брешковская (1844—1934), видная деятельница народнического движения, позднее — эсеровской партии.

Д е т с т в о Л ю в е р с. Впервые опубликовано: «Наши дни». Альманах, кн. 1-я, под редакцией В. В. Вересаева. М., ГИЗ, 1922, с. 121—167. С небольшой правкой включено в книгу Пастернака «Рассказы» (1925), затем без изменений перепечатано в его книге «Воздушные пути» (1933). Печатается по тексту этого издания.

Из числа других ранних прозаических произведений Пастернака «Детство Люверс» вызвало наибольшее число сочувственных откликов; при этом повесть воспринималась как наиболее характерный и законченный образец его прозаического стиля. М. А. Кузмин в статье «Говорящие», рассматривая «прекрасную, делающую событие в искусстве повесть Б. Пастернака» в одном ряду с такими произведениями, как «Детство» М. Горького, «Детство Никиты» А. Н. Толстого, «Младенчество» Вячеслава Иванова, «Котик Летаев» Андрея Белого, писал: «... интерес повести Пастернака не в детской, пожалуй, психологии, а в огромной волне любви, теплоты, прямоты и какой-то целомудренной откровенности эмоциональных восприятий автора. За последние три-четыре года «Детство Люверс» самая замечательная и свежая русская проза. Я нисколько не забыл, что за это время выходила «Эпопея» Белого и книги Ремизова и А. Толстого» (М. К у з м и н. Условности. Статьи об искусстве. Пб., 1923, с. 160—161). Он же отмечал в статье «Письмо в Пекин»: «Как это современно по жизненности, как ново и вместе как интересно тут преломляются Гёте и Л. Толстой! И как далека от протокольности при всей своей подробности описательная часть этой повести!» (там же, с. 165).

Аналогию между «Детством Люверс» и произведениями о детстве Л. Толстого проводил и Ю. Н. Тынянов в статье «Литературное сегодня»

(1924): «Все дано под микроскопом переходного возраста, искажающим, утончающим вещи, разбивающим их на тысячи абстрактных осколков, делающим вещи живыми абстракциями.

В этой неожиданной вещи — очень редкое, со времен Льва Толстого не попадавшееся, ощущение, почти запах новой вещи. Вещь быта должна была раздробиться на тысячи осколков и снова склеиться, чтобы стать новой вещью в литературе. В литературе, по-видимому, склеенная вещь прочнее, чем целая» (Ю. Н. Тынянов. Поэтика. История литературы. Кино. М., «Наука», 1977, с. 161).

В рецензии на сборник Пастернака «Рассказы» (1925) К. Локс, видя «необычайность» книги в том, что она держится «на границах дневника или исповеди (художника, конечно), почти физически ощутимой обнаженности всего душевного состава», особо останавливается на «Детстве Люверс»: «...его (Пастернака) единственная фабула — громкий, во весь голос, разговор о том, о чем мы не умеем говорить или говорим только шепотом. Поэтому семья и детство его основная тема, и повесть о Жене Люверс, ее медленном росте (мы чуть не сказали — долголетнем пробуждении) — не случайно удалась лучше других. Человек медленно прорастает сквозь дремучую толщу мира, его на каждом шагу окружают неслыханные чудеса, очень, впрочем, обычные — улыбка матери, сияние звезды и более прозаический свет лампы. Сквозь все это он, удивляясь, называет свое собственное имя и находит имена для окружающего. Этот момент нахождения имени или слова и есть начало того, что мы называем прозой или поэзией. Вот еще в каком смысле перед нами исповедь художника, погрузившегося в глубоко первобытную, почти дословесную жизнь ощущения, первого испытания. Так обуславливается особый способ рассказывания, движущегося описанием частных и деталей. Каждая частность и каждая деталь расположены как некоторое подневольное открытие, как необходимая работа нашего художественного сознания, с трудом прокладывающего свой путь сквозь обычное — необычайное, знакомое — неизвестное» («Красная новь», 1925, № 8, с. 286—287).

Очень высоко повесть Пастернака оценил М. Горький. В 1926—1927 гг. он написал предисловие к несостоявшемуся изданию перевода «Детства Люверс» на английский язык. В этом предисловии сформулированы важные выводы, характеризующие в целом поэтику прозы Пастернака:

««Детство Люверс» — одно из первых произведений Пастернака в прозе. Оно написано так же, как стихи его, тем же богатым, капризным языком, изобилующим «перегруженностью образами», задорным и буйным языком юноши-романтика, который чувствует свое искусство более реальным, чем действительность, и с действительностью обращается как с «материалом».

Все, что живет, движется, звучит, все, что видимо и осязаемо, Борису Пастернаку служит именно и только материалом для того, чтоб посредством описания и противопоставления «реальностей» он мог выразить свои эмоции художника, свою интуицию, домыслы о тайнах его внутренней жизни, о волнениях и горении его духа. Он чувствует себя живущим вне мира общезначимого и общепринятого, а замкнутым в самом себе. Он в своих глазах почва, для которой впечатления бытия являются только оплодотворяющим дождем. Солнце — в нем, это — его дух, его душа.

Его задача — рассказать о самом себе, о солнце в нем, о том, как он видит себя в мире. Он, конечно, видит себя центром мира, который оценивается им как мир его видений. (<...>).

Романтик Борис Пастернак, стремясь рассказать себя, взял из реального мира полурбенка, девочку Люверс и показывает, как эта девочка «осваивала» мир. На мой взгляд, он сделал это очень искусно, даже блестяще, во всяком случае — совершенно оригинально» («Литературное наследство», т. 70. Горький и советские писатели. Неизданная переписка. М., 1963. с. 309—310).

Рукопись «Детства Люверс» сохранилась в ЦГАЛИ (ф. 379, оп. 1, ед. хр. 25). В ней имеется целый ряд фрагментов, не вошедших в окончательный текст. Наиболее существенные из них опубликованы в кн.: Л. Флейшман. Статьи о Пастернаке. Времен, 1977, с. 118—129. Приводим один из этих фрагментов — отступление, в котором Пастернак пытается раскрыть поставленную в «Детстве Люверс» художественную задачу (ч. I, «Долгие дни», перед главкой V):

«Врачи облегчили романистам их задачу. Они сосредоточили внимание последних на созревании пола. Романист видит женщину и мужчину. Он пишет роман и обещает читателю повесть любви. Романист должен знать, что тот, кто умеет ампутировать, привык отождествлять кусок с образцом. Он — материалист только в том смысле, в каком материалист — торговец красным товаром, привыкший по отрезу судить о материи в цельной штуке. Но это — дешевый, цинически-наивный, лениво-доверчивый материализм. Производитель пропускает весь кусок перед собой и часто бракует. Он не воспитан на лоскутках. Он сомневается.

Мы тоже сомневаемся сейчас. Мы сомневаемся в том, чтобы животное развивалось по законам разложения животного на части, а тем более по законам разлагающегося животного.

Мы сомневаемся в правильности границ, положенных врачом материализму писателя. Мы сомневаемся в достоинствах такого материализма, в достаточной его глубине.

Мы позволяем себе думать, что весь решительно душевный инвентарь, весь, без изъятия, назревал и назрел в человеческой душе с той

же тягостной, кровавой матерьяльностью, какую, с легкой руки врача, натуралистам в романе угодно было сосредоточить в небольшом куске романического мяса — в поле.

Самые различные, самые отвлеченные идеи живого человека, даже и те, которые остались не наименованные им, и эти в особенности — от них всегда несло мясом, когда ни прикасались мы к ним. Мы говорим о прикосновении художническом. Существует другое, философское. Тогда они не пахнут. Тогда они не смеют пахнуть, но должны распахиваться, раскрываться ясно и отчетливо. Каким же мясом несет от идей при всяком художническом прикосновении? Человеческим. То есть: благородным, святым, философствующим, постепенно освобождающимся от вредной власти судьбы. Может быть, набредем мы когда-нибудь в человеке, по которому начали сегодня свое хождение, может быть, набредем мы когда-нибудь в нем на то место, которое пахнет капустой или подержанной книгой. Но пока не нашли мы такого. И нам кажется излишним защищать такой материализм. Зато мы не устанем твердить, что и бездонный, и в руках гения, он никогда не станет избыточен, но всегда будет материальной каплей в море материи. Намеренно ограничивать его — безумие. Это — о неуместности его сексуальных границ. Об достоинствах же его, истинного художнического материализма, скажем вот что. Он только тогда не лжет, когда то, что он говорит о человеке, человека возвеличивает. Надо заходить к человеку в те часы, когда он — целен. Надо смотреть на него через окошко браковщика. Надо смотреть, сомневаться, верить в эту материю и быть готовым браковать, когда надо. Во имя человека и его славы.

Верные слову, мы расскажем теперь, в какой обстановке родилась однажды в такой-то и такой раз в мире человеческой души одна из распространеннейших и безымяннейших идей. Это потребует времени. Это будет пассаж продолжительный, ряд фактов и описаний». (Рукопись ЦГАЛИ, ф. 379, оп. 1, ед. хр. 25, л. 30—32).

Несколько положений. Опубликовано в альманахе «Современник», № 1. М., 1922, с. 5—7. Печатается по тексту этого издания.

Статья связана с книгой стихов Пастернака «Сестра моя, жизнь» (1917) и написана как заглавная к его сборнику «Quinta essentia», упоминаемому в его анкете 1919 г.

Сохранился беловой автограф статьи (датированный: «19 XII 1918. Москва»), описанный в статье: Л. Ф л е й ш м а н. Неизвестный автограф Б. Пастернака. — Материалы XXVI научной студенческой конференции. Литературоведение. Лингвистика. Тарту, 1971, с. 34—37; в этой же статье характеризуются «Несколько положений» как эстетическая декла-

рация Пастернака, в ее совпадениях с платформами имажинистов и М. Кузмина и в полемическом отталкивании от футуризма.

Автограф имеет посвящение «Рюрику Ивневу, поэту, другу» и другое заглавие — «Квинтэссенция»; тексту предпослана «Историческая справка»: «История этого слова такова. К четырем «основным стихиям» воды, земли, воздуха и огня итальянские гуманисты прибавили новую, *пятую* — человека. Слово *quinta essentia* (пятая сущность) стало на время синонимом понятия «человек» в значении основного, алхимического элемента вселенной. Позднее оно получило другой смысл. Главки снабжены следующими заголовками: 1 — «Забота», 2 — «Нынешние извращения», 3 — «Книга», 4 — «Шум вечности», 5 — «Закон чудесного», 6 — «Оставьте меня», 7 (в опубликованном тексте части 6-й, со слов: «Не отделимые друг от друга...») — «Определенья», 8 (в опубликованном тексте — 7) — «Чистая поэзия». За 8-й следовали главки 9 и 10, не вошедшие в опубликованную редакцию статьи. Приводим их текст:

«9. *Gaudeamus*. Ритм. То, без чего она немислима.

Заунывна Вечная память. Ужасен вечный покой. Вечный жид — призрак равно потрясающий. Но, может быть, они не опасны. Их никто никогда не видал.

Зато виден воочию и воистину вечен тот Вечный Студент, которого всякий знает под именем Ритма, и который жив во всех решительно милостью божией поэтах.

Он сед и несчастен, и в своем волнении, смешном и величественном, потерял счет столетьям и факультетам. Но, как во времена дилижансов, он и теперь падает на колено перед возлюбленной и, бросив шляпу под фортепьяно, раскрывает ей свое сердце. Оно бьется для нее, и никогда не перестанет биться. Слава ей! Будут еще столетья. И факультеты. Оно не перестанет биться. Слава ему!

10. Снова забота.

А «свободный стих». это — слюна, на которую обращаешь внимание только тогда, когда она — *бешеная*. Только такая заражает меня. Тогда на короткое время я заболеваю *водобоязнью*, по излечении от чего здоровая *боязнь воды* заставляет меня бегать *vers libge'a*, на этот раз — всякого. О, только бы подальше от слюны! Надо беречь его здоровье. Сколько биться еще его сердцу! Сколько столетий впереди! Сколько факультетов. Подальше от вод и эссенций. Поближе к *пятой*.

Кончу, чем начал. Заботой».

Варианты автографа:

Главка 1 заканчивалась абзацем: «Мое замешательство понятно. При мне неумело назвали близкую родственницу. Сказав просто: «*книга*» — назвали бы сестру. Младшую. Моя старшая — Жизнь».

Главка 2 заканчивалась словами (после: «...как некоторой болезнью»): «и что таясь и кусая ногти, оно сверкает и сплит, из-за спины рентгенизируемое Господом Богом».

Главка 3 заканчивалась абзацем: «Потому что, мне кажется, скорее краскою, нежели в краску, вглядывается художник, больше гармониею, чем в гармонию, вслушивается композитор, не говоря уже о писателе, которому само слово, — если он — писатель, — говорит, на что оно ему дано».

Главка 6 (в автографе — 7), вместо «Начала эти не существуют отдельно» было: «Природа и человек. вот ось. Вот родники и вот цели».

с. 110. ...искусство — как фонтан, тогда как оно — губка. — 23 мая 1926 г. Пастернак писал М. И. Цветаевой: «Перебирая старую дребедень, нашел в сборничке 22 года две странички, за которые (<...> стою горой. Прилагаю, и ты прочти не спеша, не обманываясь формой: это не афоризмы, а подлинные убеждения, может быть даже и мысли. Записал в 19-м году. Но так как это идеи, скорей неотделимые от меня, чем тяготеющие к читателю (губка и фонтан), то поворот головы и отведенность локтя чувствуются и в форме выраженья, чем может быть ее и затрудняют» («Вопросы литературы», 1978, № 4, с. 259).

с. 111. Алджернон Чарлз Суинберн (Swinburne; 1837—1909) — английский поэт, драматург, критик, примыкавший к «прерафаэлитам», автор драматической трилогии о Марии Стюарт (1542—1587): «Шателляр» («Chastelard», 1865), «Босуэл» («Bothwell», 1874), «Мария Стюарт» («Mary Stuart», 1881), в которой воспеты страсти, сжигавшие шотландскую королеву, что явилось вызовом викторианским моральным устоям. В первой части трилогии идет речь о любви к Марии французского поэта-рыцаря Пьера де Шателляра, казненного в 1563 г. в угоду политической интриге. В 1916 году Пастернак перевел «Шателляра»; рукопись перевода была утеряна в типографии (см.: «Люди и положения», с. 448).

Три главы из повести. Опубликовано в газете «Московский понедельник» (1922, № 1, 12 июня). Печатается по этому изданию.

Текст представляет собой фрагменты из задуманной в конце 1910-х годов большой прозаической повести. Отдельные образы и мотивы этого произведения позднее найдут свое отражение в романе в стихах «Спекторский» (1931) и прозаической «Повести» (1929).

с. 116. Дева Обида. — Образ из «Слова о полку Игореве»: «Въстала Обида въ силахъ Дажь-Божа внука, вступила дьвою на землю Трояню».

с. 118. ...что-то про трубы. — «Трубы трубятъ въ Новьградъ» («Слово о полку Игореве»).

Воздушные пути. Впервые опубликовано в журнале «Русский современник» (1924, кн. 2-я, с. 85—96); вошло в книгу Пастернака «Рассказы» (1925) — проведена небольшая стилистическая правка, затем без изменений перепечатано в книге Пастернака «Воздушные пути» (1933). Печатается по тексту этого издания.

Кузмин Михаил Алексеевич (1875—1936) — поэт, прозаик, критик, переводчик, композитор. В статье «Говорящие» Кузмин отдавал предпочтение прозе Пастернака перед его поэзией. См.: М. Кузмин. Условности. Статьи об искусстве. Пб., 1923, с. 158—161.

В письме к другу Кузмина, писателю Ю. И. Юркуну, от 14 июня 1922 г. Пастернак признавался: «...я считаю родными себе тех людей, самый расцвет впечатлительности и способности выраженья коих совпал с началом войны. О них установилась аксиома какая-то «дореволюционности», «выслушанности читателями до конца», «высказавшего себя без остатка мастерства», «символизма, акмеизма, буржуазности» и т. д.». О том, что не в последнюю очередь в этих словах подразумевался и М. Кузмин, свидетельствует отзыв Пастернака о его книге стихов «Нездешние вечера» в этом же письме: «А сколько еще роящихся и не сроившихся элементов в «Нездешних вечерах»! Мне очень близок и дорог прием мгновенного и мимолетного затрагиванья пейзажа и задеванья за него в вещах большой лирической скорости и прямого сердечного назначенья» («Вопросы литературы», 1981, № 7, с. 228, 230; публикация Н. Богомолова).

П о в е с т ь. Отрывки из «Повести» были опубликованы в журнале «Красная нива» (1929, № 30, с. 24—25) и в «Литературной газете» (1929, № 13, 15 июля). Полностью впервые опубликовано в журнале «Новый мир» (1929, № 7, с. 5—43), без изменений вошло в книгу Пастернака «Воздушные пути» (1933). Печатается по тексту этого издания. В 1934 г. в «Издательстве писателей в Ленинграде» вышло в свет отдельное издание «Повести» с иллюстрациями В. Конашевича.

Сюжетно «Повесть» непосредственно связана с романом в стихах «Спекторский». Сам Пастернак считал эти произведения дополняющими друг друга и работу над ними вел параллельно. В 1929 г. он писал о «Спекторском»: «Часть фабулы в романе, приходящуюся на военные годы и революцию, я отдал прозе, потому что характеристики и формулировки, в этой части всего более обязательные и разумеющиеся, стиху не под силу. С этой целью я недавно засел за повесть, которую пишу с таким расчетом, чтобы, являясь прямым продолжением всех до сих пор печатавшихся частей «Спекторского» и подготовительным звеном к стихотворному его заключению, она могла войти в сборник прозы, — куда по всему своему духу и относится, — а не в роман, часть которого составляет по своему содержанию. Иными словами, я придаю ей вид

самостоятельного рассказа. Когда я ее кончу, можно будет приняться за заключительную главу «Спекторского» («На литературном посту», 1929, № 4—5, с. 119).

О х р а н н а я г р а м о т а. Впервые опубликовано: ч. 1-я — «Звезда», 1929, № 8; ч. 2-я — «Красная новь», 1931, № 4; ч. 3-я — там же, № 5—6. Отрывок, озаглавленный «Первые встречи с Маяковским», был опубликован в «Литературной газете» (1931, № 20, 14 апреля). Отдельное издание: Б о р и с П а с т е р н а к. Охранная грамота. «Издательство писателей в Ленинграде», 1931.

Пастернак включил «Охранную грамоту» в предварительный состав тома своей прозы «Воздушные пути» (М., ГИХЛ, 1933), однако издательство отказалось от своего первоначального намерения переиздать это произведение.

В архиве журнала «Звезда» (ИРЛИ) сохранилась наборная беловая машинопись первой части «Охранной грамоты». В ней имеется редакторское сокращение, которое Пастернак не восстановил в отдельном издании книги (конец гл. 8, после «...весь мой характер»): «Безличная уступчивость, которую я теперь разделяю со всеми моими современниками — по всему свету, вероятно, тоже временна. И, вероятно, в тот день, когда симптомы, отличающие землю XX-го века от Юпитера или Венеры, опять хлынут в мои стихи, этих неповторимых признаков неповторимого бытованья опять на стенах у меня не будет» («Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1977 год». Л., 1979, с. 194).

При подготовке отдельного издания «Охранной грамоты» Пастернак внес ряд исправлений, большей частью стилистического характера, по отношению к журнальному тексту. Наиболее существенные варианты журнальных публикаций:

с. 204. Ч. 1, гл. 6. *Вместо* «Скользнувши стеклами очков ~ потолочным сводам» *было*: «Скользнувши стеклами очков по часовым стеклышкам, либеральные Задопятавы всех толков подымали головы в обращении к хорам и потолочным сводам» («Звезда», 1929, № 8, с. 158; Задопятав — персонаж романа Андрея Белого «Москва» (1925), сатирически изображенный либеральный профессор).

с. 208. Ч. 1, гл. 7. *Вместо* «Потеряв его впоследствии из виду ~ вновь столкнулся с ним в Нехлюдове» *было*: «Клубок громких и независимых мыслей вмиг, на месте, без ненужных прикрас превращался в клубок спокойных слов, произносившихся так, точно достаточно было одного их звучанья, чтобы слово стало делом. Он думал вслух, т. е. с такую правильностью в следованьи мыслей, что большинству, для которого предрассудок стал вторым языком, оставался непонятен. Потеряв его впоследствии из виду, я невольно вспоминал о нем дважды.

Раз, когда, перечитывая Толстого, я вновь столкнулся с ним в Нехлюдове, и другой, когда на Девятом съезде Советов впервые услышал Владимира Ильича. Я говорю, разумеется, о последней неуловимости, т. е. позволяю себе одну из тех аналогий, на почве которых делались сближения с лукавым хозяйственным мужичком, и множество других, менее убедительных» (там же, с. 161).

Текст печатается по окончательной авторской редакции — наборному машинописному тексту, сохранившемуся в архиве Государственного издательства «Художественная литература» (ЦГАЛИ, ф. 613, оп. 1, ед. хр. 7378); на машинописи помета: «В набор. 16 IV 31 г.».

Варианты наборной машинописи (авторская правка):

с. 225. Ч. 2, гл. 4. *После* «Но в этом облегченьи мне было отказано» *зачеркнуто*: «И какая-то хроматическая тоска крушила меня, подступая и отступая верленоподобными рефренами, вся в навязчиво возвращающихся «ах, когда бы» и «о, если бы».

с. 242. Ч. 2, гл. 12. *После* «...основательно отоспаться» *зачеркнуто*: «Местре, последний участок террафермы, срываемой в воду с песком, станционными постройками и паровозом, упершимся в рельсы, чтобы не унесло ветром. Затем темнота и плесканье какой-то чернильной зыби под окнами. Ощущенье, точно идем по воде».

с. 253. Ч. 2, гл. 19. *Вместо* «...великолепно освещенном помещении ~ дождик внезапно перестал» *было*: «...великолепно освещенном бальном зале. Вдруг с воображаемого потолка стало слегка накрапывать, как на взаправдашней городской площади далекого севера. Но едва начавшись, дождик далекого города внезапно перестал».

с. 268. Ч. 3, гл. 8. *Вместо* «...в истории и в сотрудничестве с действительной жизнью» *было*: «...в истории и у людей, а не в описанных Свифтом государствах».

с. 278. Ч. 3, гл. 14. *После* «Каких только слонов не делают тут из мух!» *зачеркнуто*: «О когда бы только не эта новая ни с чем не сравнимая уязвимость полного душевного обнаженья».

Кроме того, Пастернаком было написано послесловие к «Охранной грамоте» (обращенное к Рильке), которое не было включено в окончательную авторскую редакцию книги. В автографе «Охранной грамоты» приписка после текста «Послесловья»: NB: Послесловье предполагал закончить. Остается недописанным, потому что упраздняется целиком и для печати не предназначается». Приводим его текст:

Послесловье

Если бы Вы были живы, я бы написал Вам сегодня такое письмо. Сейчас я кончил «Охранную грамоту», посвященную Вашей памяти, а вчера вечером меня просили из Вокса зайти по делу, лично касающе-

муся Вас. Из Германии для посмертного собрания Ваших писем затребовали записку, в которой Вы обняли и благословили меня. Я на нее тогда не ответил. Я верил в близкую с Вами встречу. Но вместо меня за границу поехали жена и сын.

Оставить такой дар, как Ваши строки, без ответа было нелегко. Но я боялся, как бы, удовольствовавшись перепиской с Вами, я не поселился навеки на полдороге к Вам. А мне надо было Вас видеть. И до этого я зарекся письменно обращаться к Вам. Когда же я ставил себя на Ваше место (потому что моя безответность могла удивить Вас), я успокаивался, вспоминая, что в переписке с Вами Цветаева, потому что, хотя я не могу заменить Цветаевой, Цветаева заменяет меня.

Тогда у меня была семья. Преступным образом я завел то, к чему у меня нет достаточных данных, и вовлек в эту попытку другую жизнь и вместе с ней дал начало третьей.

Улыбка колом округляла подбородок молодой художницы, заливая ей светом щеки и глаза. И тогда она как от солнца щурила их непристально-матовым прищуром, как люди близорукие или со слабой грудью. Когда разлитые улыбки доходило до прекрасного, открытого лба, все более и более колебля упругий облик между овалом и кругом, вспоминалось Итальянское возрождение. Освещенная извне улыбкой, она очень напоминала один из женских портретов Гирландайо. Тогда в ее лице хотелось купаться. И так как она всегда нуждалась в этом освещении, чтобы быть прекрасной, то ей требовалось счастье, чтобы нравиться.

Скажут, что таковы все лица. Напрасно, — я знаю другие. Я знаю лицо, которое равно разит и режет и в горе и в радости и становится тем прекрасней, чем чаще застасшь его в положеньях, в которых потухла бы другая красота. Взвивается ли эта женщина вверх, летит ли вниз головою, ее пугающему обаянью ничего не делается, и ей нужно что бы то ни было на земле гораздо меньше, чем сама она нужна земле, потому что это сама женственность, грубым куском небьющейся гордости целиком вынутая из каменоломен творенья. И так как законы внешности всего сильнее определяют женский склад и характер, то жизнь, и суть, и честь, и страсть такой женщины не зависят от освещения, и она не так боится огорчений, как первая.

Итак, я жил и принадлежал тогда семье. — Как я помню тот день. Моей жены не было дома. Она ушла до вечера в Высшие художественные мастерские. В передней стоял с утра неприбранный стол, я сидел за ним и задумчиво подбирал жареную картошку со сковородки, и, задерживаясь в падении и как бы в чем-то сомневаясь, за окном редкими считанными снежинками нерешительно шел снег. Но заметно удлинившийся день весной в зиме, как вставленный, стоял в блуждающей серо-бахромчатой раме.

В это время позвонили с улицы, я отпер, подали заграничное письмо. Оно было от отца, я углубился в его чтение.

Утром того дня я прочел в первый раз «Поэму Конца». Мне случайно передали ее в одном из ручных московских списков, не подозревая, как много значит для меня автор и сколько вестей пришло и ушло от нас друг к другу и находится в дороге. Но поэмы, как и позднее полученного «Крысолова», я до того дня еще не знал. Итак, прочитав ее утром, я был еще как в тумане от ее захватывающей драматической силы. Теперь с волнением читая отцово сообщение о Вашем пятидесятилетии и о радости, с какой Вы приняли его поздравление, и ответили, я вдруг наткнулся на темную для меня тогда еще приписку, что я каким-то образом известен Вам. Я отодвинулся от стола и встал. Это было вторым потрясением дня. Я отошел к окну и заплакал.

Я не больше удивился бы, если бы мне сказали, что меня читают на небе. Я не только не представлял себе такой возможности за двадцать с лишним лет моего Вам поклонения, но она наперед была исключена и теперь нарушала мои представления о моей жизни и ее ходе. Дуга, концы которой расходились с каждым годом все больше и никогда не должны были сойтись, вдруг сомкнулась на моих глазах в одно мгновение ока. И когда! В самый неподходящий час самого неподходящего дня!

На дворе собирались нетемные говорливые сумерки конца февраля. В первый раз в жизни мне пришло в голову, что Вы — человек, и я мог бы написать Вам, какую нечеловечески огромную роль Вы сыграли в моем существовании. До этого такая мысль ни разу не являлась мне. Теперь она вдруг уместилась в моем сознании. Я вскоре написал Вам.

Я боялся бы теперь взглянуть на то письмо, я его не помню. Сказать Вам, кто Вы такой, было самой легкой задачей на свете. Но если я заговорил и о себе, то есть о нашем времени, я едва ли справился с незрелой темой.

Едва ли сумел я, как следует, рассказать Вам о тех вечно первых днях всех революций, когда Демуланы вскакивают на стол и зажигают прохожих тостом за воздух. Я был им свидетель. Действительность, как побочная дочь, выбежала полуодетой из затвора и законной истории противопоставила всю себя, с головы до ног незаконную и бесприданную. Я видел лето на земле, как бы не узнававшее себя, естественное и историческое, как в откровенье. Я оставил о нем книгу. В ней я выразил все, что можно узнать о революции самого небывалого и неуловимого.

Посвящение «Охранной грамоты» памяти Рильке имело для Пастернака большой смысл; с именем любимого поэта он хотел связать свое важнейшее автобиографическое произведение, в котором высказал

собственные представления о природе художественного творчества. О первой, случайной встрече Пастернака с Рильке летом 1900 г. вспоминал отец поэта, художник Л. О. Пастернак: «...случайностью было и то, что мой сын Борис (тогда еще десятилетний гимназист), вышедший из вагона со мной на перрон станции, в первый и последний раз в жизни видел Рильке — еще молодого. И не снилось тогда ни ему, ни мне, что великий немецкий поэт так сильно в будущем повлияет на него» (Л. О. П а с т е р н а к. Записи разных лет. М., 1975, с. 148). 12 апреля 1926 г. Пастернак отправил Рильке письмо, в котором рекомендовал вниманию своего кумира М. Цветаеву (незадолго до того Пастернак прочел и восторженно воспринял ее «Поэму Конца»): «Великий, обожаемый поэт! (...) Я Вам обязан основными чертами моего характера, всем складом духовного существования. Это Ваши созданыя. (...) То, что я чудом попался Вам на глаза, потрясло меня. Известие об этом отозвалось в моей душе подобно току короткого замыкания. (...) До сих пор я был Вам безгранично благодарен за широкие, нескончаемые и бездонные благодеяния Вашей поэзии. Теперь я благодарю Вас за внезапное и сосредоточенное благодетельное вмешательство в мою судьбу, сказавшееся в таком исключительном проявлении». Это письмо, а также другие материалы об отношениях Пастернака и Цветаевой с Рильке в последний год жизни немецкого поэта включены в публикацию: Из переписки Рильке, Цветаевой и Пастернака в 1926 году. Публикация и комментарий К. М. Азадовского, Е. В. и Е. Б. Пастернаков. — «Вопросы литературы», 1978, № 4, с. 233—281. См. также письмо Пастернака к З. Ф. Руофф от 12 мая 1956 г. («Вопросы литературы», 1972, № 9, с. 170—171; публикация Е. В. Пастернак).

О связи между своим заочным знакомством с Рильке и замыслом «Охранной грамоты» Пастернак писал в еженедельнике «Читатель и писатель»: «В феврале 1926 года я узнал, что величайший немецкий поэт и мой любимый учитель Райнер Мария Рильке знает о моем существовании, и это дало мне повод написать ему, чем я ему обязан. (...) Я обещал себе по окончании «Лейтенанта Шмидта» свидание с немецким поэтом, и это подстегивало и все время поддерживало меня. Однако мечте не суждено было сбыться — он скончался в декабре того же года (...) Тогда ближайшей моей заботой стало рассказать об этом удивительном лирике и об особом мире, который, как у всякого настоящего поэта, составляют его произведения. Между тем под руками, в последовательности исполнения, задуманная статья превратилась у меня в автобиографические отрывки о том, как складывались мои представления об искусстве и в чем они коренятся. Этой работе, которую я посвящаю его памяти, я не придумал еще заглавия. Я ее еще не кончил. Размером в лист или полтора она явится в одном из весенних номеров «Звезды» («Читатель и писатель», 1928, № 4—5, 11 февраля, с. 4)

Первые опыты стихотворных переводов Пастернака из Рильке относятся к 1911—1913 гг. (см. публикацию Е. В. Пастернак «Первые опыты Бориса Пастернака» в кн.: Труды по знаковым системам. IV. Тарту, 1969, с. 239—281). «Реквием» Рильке в переводе Пастернака был напечатан в «Звезде» следом за 1-й частью «Охранной грамоты» (с. 167—170). Перевод второго реквиема Рильке «По одной подруге» был напечатан в «Новом мире» (1929, № 8—9, с. 63—69); см. также: Звездное небо. Стихи зарубежных поэтов в переводе Бориса Пастернака. М., 1966, с. 77—93.

Другие персонажи «Охранной грамоты» — Скрябин и Маяковский — были сопоставительно охарактеризованы Пастернаком еще в рецензии на книгу Маяковского «Простое, как мычание» (1916), написанной для несостоявшегося третьего сборника «Центрифуги»:

«Какая радость, что существует и не выдуман Маяковский: талант, по праву переставший считаться с тем, как пишут у нас нынче. (...) Артист такого типа и калибра, как Маяковский, не может не стать поэтом. Точно так же, *mutatis mutandis*, Скрябин стал композитором. Склонен думать, что такова вообще судьба всякого крупного современного дарованья.

Маяковский начинает понимать поэзию столь же живо, как когда-то по одному мановению очей схватывал мысли улицы и неба над нею. Он подходит к поэзии все проще и все уверенней, как врач к утопленнице, заставляя одним уже появлением своим расступиться толпу на берегу. По его движениям я вижу, он живо, как хирург, знает, где у ней сердце, где легкие; знает, что надо сделать с ней, чтобы заставить ее дышать. Простота таких движений восхищает. Не верить в них нельзя» («Литературная Россия», 1965, № 13, 19 марта; с. 18—19; публикация Е. Б. Пастернака).

Начало прозы 1936 года. Впервые полностью напечатано по рукописи в журнале «Новый мир» (1980, № 6, с. 175—205; публикация Е. Б. Пастернака). Печатается по тексту этого издания.

Второй вариант заглавия — «Начало романа о Патрике». В конце 1930-х годов Пастернак опубликовал несколько фрагментов из этого незавершенного произведения: «Из нового романа о 1905 г.» («Литературная газета», 1937, № 71, 31 декабря); «Два отрывка из главы романа «Уезд в тылу» (там же, 1938, № 69, 15 декабря); «Надменный нищий» («Огонек», 1939, № 1, с. 14—15); «Тетя Оля» («30 дней», 1939, № 8—9, с. 31—35).

В 1918 г., вернувшись с Урала, Пастернак написал роман объемом в 15 авторских листов. Повесть «Детство Люверс» — отделанное начало этого романа. Работа над романом затянулась с перерывами на долгие годы. В 1932 г. Пастернак сжег рукопись этого произведения. Однако

в 1933 г. он вернулся к замыслу воссоздать в прозе свое понимание исторических событий первой русской революции и первой мировой войны, причем одной из главных героинь нового произведения вновь должна была явиться уже взрослая Евгения Викентьевна Люверс (в замужестве — Истомина). Основная работа над романом пришлось на 1936 г. Фамилии некоторых персонажей (Громеко, Дудоров) использованы Пастернаком в его позднейшей прозе.

с. 314. *Булыгинский проект узаконивал крамолу.* — Речь идет о проекте выборного сословно-представительного законосовещательного (не законодательного) органа, подготовленном под руководством министра внутренних дел А. Г. Булыгина в первой половине 1905 г. (утвержден царем 26 июля). В результате революционных событий осени 1905 г. Булыгинская дума созвана не была.

с. 316. *...недавно состоявшийся Третий съезд~тогда еще новом расколе...* — В работе III съезда РСДРП (12—27 апреля 1905 г., Лондон) принимали участие только большевистские делегаты, меньшевики созвали сепаратную конференцию в Женеве. Тем самым был подтвержден фактический раскол в партии. Большевистские и меньшевистские печатные органы резко полемизировали между собой.

Г е н р и х К л е й с т. Печатается впервые по рукописи, датированной 1940 годом. Статья представляет собой предисловие к несостоявшемуся отдельному изданию Клейста в переводах Пастернака. См.: М. О. Ч у д а к о в а. Неизвестный корректурный экземпляр сборника переводов Б. Л. Пастернака. — Записки Отдела рукописей (Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина), вып. 39. М., 1978, с. 108.

Интерес к творчеству классика немецкого романтизма Генриха фон Клейста (1777—1811) Пастернак проявил уже в юношеские годы. Самые ранние наброски статьи о Клейсте относятся к 1911 г. (8 отрывков в тетрадях с конспектами университетских курсов). В анкете, датированной 15 марта 1919 г., Пастернак, характеризуя готовившуюся им книгу статей по вопросам поэзии, указал в ее намеченном составе статью о Клейсте (ИМЛИ). Летом 1914 г. Пастернак перевел по заказу Камерного театра комедию Клейста «Разбитый кувшин» (перевод опубликован в журнале «Современник», 1915, № 5). См. об этом переводе письмо Пастернака к М. Горькому («Литературное наследство», т. 70. М., 1963, с. 295—296). Позднее Пастернак создал новую редакцию перевода «Разбитого кувшина», которая вышла отдельным изданием (М.—Л., «Искусство», 1941). В 1918—1919 гг. Пастернак перевел три драмы Клейста — «Принц Фридрих Гомбургский», «Семейство Шроффенштейн», «Робер Гискар» (см.: Г. К л е й с т. Собрание сочинений в двух томах. М., «Всемирная литература», 1923). В 1939 г. Пастернак подготовил новую редакцию перевода «Принца Фридриха Гомбургского» (напечата-

на в кн.: Борис Пастернак. Избранные переводы. М., «Советский писатель», 1940, с. 3—110). Новая редакция перевода «Семейства Шроффенштейн» хранится в ЦГАЛИ (ф. 1038, оп. 1, ед. хр. 4229).

Освобожденный город. Поездка в армию. Второй очерк (в сокращении) впервые опубликован в газете «Труд» (1943, № 274, 20 ноября). Оба очерка, написанные в 1943 г., были опубликованы по рукописи Л. Озеровым («Новый мир», 1965, № 1, с. 164—167, 169—178).

Летом 1943 г. в составе писательской бригады (А. Серафимович, К. Федин, Вс. Иванов, П. Антокольский и др.) Пастернак предпринял поездку в действующую Третью армию, освободившую г. Орел и города Орловской области. Поездку Пастернака на фронт подробно описал Я. Хелемский в мемуарном очерке «Ожившая фреска» («Знамя», 1980, № 10, с. 123—141). Итогом этой поездки явились публикуемые очерки и стихотворения «Смерть сапера» и «Преследование», напечатанные в коллективном сборнике «В боях за Орел» (М., 1944, с. 137—142); позднее вошли в состав цикла «Стихи о войне» сборника Пастернака «На ранних поездках» (см. Б. Пастернак. Стихотворения и поэмы. «Библиотека поэта». Большая серия. М.—Л., 1965, с. 415—418).

Во время поездки Пастернак вел путевые блокнотные записи (впечатления, конспекты бесед и т. п.), легшие в основу очерков. Приводим одну из таких записей:

«Орел. Характер опустошения. Впечатление большого европейского города, снесенного целыми кварталами и улицами многоэтажных домов. Район вокруг *парка*. Могила полковника Гуртьева (308 дивизии), убитого под Опальковом. Soldatenheim. Обед в запасном полку. Садик среди развалин. Мины замедленного действия. При нас продолжали рваться дома.

Вечером совершенно сравненный с землей город Карачев. Чудо-вищность многочисленных каменных развалин, сложные горы щебня, создающие преувеличенное представление о городе. Он, наверное, кажется большим, чем был на самом деле. Среди женщин несколько фигур в платьях из нерусской материи. Об этих разрушениях, об ужасе нынешней русской бездомности, о немецких зверствах и пр. писали очень много и не жалея выражений. Истинная картина гораздо ужаснее и сильнее. Очевидно, о жизни нельзя писать изолированными извлечениями с изолированными чувствами, а надо привлекать все попутные мысли и соображения, поднимающиеся при этом» (семейный архив Б. Пастернака).

с. 358. *Его хорошо описал Всеволод Иванов.* — Имеется в виду очерковый цикл Вс. Иванова «Орлы» (в сб.: В боях за Орел. М., 1944, с. 143—166).

Поль - Мари Верлен. Написано к 100-летию со дня рождения французского поэта. Впервые опубликовано в газете «Литература и искусство» (1944, 1 апреля) с редакционной правкой и сокращениями. Полностью напечатано по рукописи в кн.: Поль Верлен. Лирика. М., «Художественная литература», 1969, с. 169—174. Печатается по тексту этого издания.

В 1938—1939 гг. Пастернак перевел семь стихотворений Верлена (см.: Б. Пастернак. Избранные переводы. М., 1940, с. 129—133). В сборнике Пастернака «Сестра моя, жизнь» разделу «Книга степи» предпослан эпиграф из Верлена: «Est-il possible, — le fût-il?» («Возможно ли, — было ли это?») — из книги «Romances sans paroles» («Песни без слов»), 1874 (Б. Пастернак. Стихотворения и поэмы. «Библиотека поэта». Большая серия. М.—Л., 1965, с. 117).

Шопен. Рукопись датирована: 11 февраля 1945 г. Написано к 100-летию со дня рождения Шопена; опубликовано в журнале «Ленинград» (1945, № 15—16, с. 22—23). Последняя авторская редакция напечатана в 1965 г. («Литературная Россия», № 13, 19 марта, с. 18—19; публикация Е. Б. Пастернака). Печатается по тексту этого издания.

с. 385. *Шопен реалист в том же самом смысле, как Лев Толстой.*— Параллель между образами Шопена и Толстого проводится Пастернаком также в стихотворении «Баллада» (1916, 1928). См.: Б. Пастернак. Стихотворения и поэмы, с. 96—100.

Николай Бараташвили. Написано как предисловие к книге: Н. Бараташвили. Стихотворения в переводе Бориса Пастернака. М., «Правда», 1946 (Библиотека «Огонек», № 9). Предисловие в ней было сведено к краткой издательской аннотации, напечатанной без подписи. В полном виде опубликовано Е. Б. Пастернаком: «Вживаясь в мир грузинского поэта». К девяностолетию Бориса Пастернака. — «Дружба народов», 1980, № 2, с. 267—268. Печатается по этому изданию.

Стихотворения великого грузинского поэта Николоза Бараташвили (1817—1845) Пастернак перевел в сентябре 1945 г. — по собственному признанию, «в течение 40 дней» (М. О. Чудакова. Неизвестный корректурный экземпляр сборника переводов Б. Л. Пастернака. — Записки Отдела рукописей <Гос. библиотеки СССР им. В. И. Ленина>, вып. 39. М., 1978, с. 111). 9 сентября 1945 г. Пастернак писал С. И. Чиковани: «<...> два дня как принялся за Бараташвили. <...> Я смотрел, что сделали в этом отношении раньше. <...> Попытка сделать ритмическую комбинацию из всех слов подстрочника уже произведена, и ее не стоит повторять. Из этого надо сделать русские стихи, как я делал из Шекспира, Шевченки, Верлена и других, так я понимаю свою задачу.

Надо дать, если возможно, нечто легкое, свежее и безусловное. Это многим покажется спорным, скажут — это слишком вольный Бараташвили, но это меня не пугает.

Я с полнедели уже как начал его и доволен ходом работы: мне не только не пришлось отступить от того, как я пишу последние годы, но, наоборот, Бараташвили оказался благодарным для того, чтобы сделать несколько шагов дальше в том же направлении. Я его сделаю быстро» («Вопросы литературы», 1966, № 1, с. 181—182).

Пастернак работал над переводами стихотворений Бараташвили в канун 100-летнего юбилея поэта, торжественно отмечавшегося 21 октября 1945 г. В этот день в тбилисской газете «Заря Востока» была напечатана заметка Пастернака о Бараташвили под названием «Великий реалист»:

«Наверное это сравнение уже делалось, и я повторю только чужое мнение, но из русских поэтов Бараташвили напоминает больше всего Баратынского.

В обоих случаях перед нами творчество, охватывающее картины природы и случаи жизни в некоторой идеализации, свойственной веку, и какой-то, веку несвойственный, ускользающий, горячий прида-ток.

Это — черта той оригинальности, о которой говорил Пушкин в приложении к Баратынскому, сводя ее к постоянному присутствию мысли у последнего; и замечательно, что именно она, а не какие-нибудь частности, рассеянные в тексте, заставляют нас видеть картины и сцены, в тексте не названные, но ярко открывающиеся в глубине за ними по непреодолимым законам, которым одинаково подчиняются деятельность художника и глаза потомков.

Это делает Бараташвили реалистом в большей степени, чем привыкли думать, и позволяет проступать сквозь любые его отвлечения чертам биографии, бытовому колориту, веянию живого обихода.

Его стихотворения, даже самые созерцательные, очень драматичны и носят тот личный отпечаток, который заставляет подозревать за каждой мыслью какое-то реальное происшествие, ее побудившее».

Стихотворения Бараташвили в переводе Пастернака выходили также отдельными изданиями в Гослитиздате в 1948 и 1957 г.

Замечания к переводам из Шекспира. Замысел статьи относится к 1939—1940 гг. Первоначальная редакция («Заметки к переводам шекспировских драм») датирована августом 1946 г. Впервые опубликовано в альманахе «Литературная Москва» ([кн. 1.] М., 1956, с. 794—809) с редакционной правкой и с сокращениями. Печатается по окончательной авторской редакции.

Статья первоначально предполагалась как предисловие к изданию:

Вильям Шекспир в переводе Бориса Пастернака, т. 1—2. М.—Л., «Искусство», 1949. В рукописи тексту предпослано:

«Разъяснения к замечаниям:

Выпуская после войны два тома шекспировских трагедий в моем переводе, издательство «Искусство» предложило мне написать к ним небольшое предисловие. Оно вылилось в форму отдельных и очень коротких замечаний к каждой переведенной пьесе и по поводу нескольких попутных занимательных вопросов шекспировской биографии.

Предисловие не увидело света. Мне хотелось бы ознакомить с ним круг читающих. Я предлагаю его почти без изменений, лишь дополнив его несколькими словами о «Макбете», переведенном позднее и о котором первоначально не было речи в предисловии.

Эту вводную статью я озаглавливаю «Замечания к переводам из Шекспира» для наибольшего соответствия заголовка содержанию.

Приводим также первоначальную редакцию первой главки «Замечаний...»:

«Общая цель переводов.

Переводы нескольких пьес Шекспира, печатаемые ниже, органически примыкают к нашим остальным работам. В книгах, вышедших под нашим именем до революции и в ее начале, мы пытались сказать свое сильное новое слово о природе и жизни в поэзии и прозе. Позднее появилась «Охранная грамота», очерк наших воззрений на внутреннюю суть искусства. Предлагаемые переводы из Шекспира дальнейшее приложение тех же взглядов.

В них совершенно так же, как в наших оригинальных работах, мы старались дать наиболее полное понятие о занимавшем нас предмете, в данном случае о подлежащем переложению подлиннике. Мы ставили себе целью как можно живее и непосредственнее схватить его существо и передать его с наибольшим сходством.

В конечном счете для художника безразлично, писать ли десятиверстную панораму на воздухе или копировать десятиверстную перспективу Тинторетто или Веронезе в музее, тут, за вычетом некоторых тонкостей света, одни и те же законы. Нарисовать ли в поэме о девятьсот пятом годе морское восстание или срисовать в русских стихах страницу английских стихов, гениальнейших в мире, было задачей одного порядка и одинаковым испытанием для глаза и слуха, таким же захватывающим и томящим.

За этой работой мы остерегались, как бы вызываемое ею ограничение не произвело в нашем круге затмения, обычного у работников узких отраслей. Убеденные в том, что настоящий перевод должен стоять твердо на своих собственных ногах, не сваливая своих слабостей на мнимую хромоту подлинника, мы предъявляем себе все требования,

обязательные для всякого самостоятельного литературного произведения».

Первой из шекспировских трагедий Пастернак перевел «Гамлета» — в 1938—1939 гг. (перевод издан в 1940 г.). Затем последовали: «Ромео и Джульетта» — в 1942 г. в Чистополе, «Антоний и Клеопатра» — в 1943 г., «Отелло» — в 1944 г., «Король Генрих Четвертый» — в 1945 г., «Король Лир» — в 1947 г., «Макбет» — в 1950 г. Главка о «Макбете» в «Замечаниях...» была дописана в 1956 г.

Параллельно с работой над переводами Пастернак выступал в печати с обоснованием своих переводческих принципов. См.: «Гамлет, принц Датский. От переводчика». — «Молодая гвардия», 1940, № 5—6, с. 15—16; Б. Пастернак. Мои новые переводы. — «Огонек», 1942, № 47, с. 13; Б. Пастернак. Заметки переводчика. — «Знамя», 1944, № 1—2, с. 165—166; «Новый перевод «Отелло» Шекспира». — «Литературная газета», 1944, № 6, 9 декабря. Отдельные заметки Пастернака о переводе Шекспира напечатаны в кн.: Мастерство перевода, 1966. М., 1968, с. 105—110. См. также: К переводам шекспировских драм. (из переписки Бориса Пастернака). — В кн.: Мастерство перевода, 1969. М., 1970, с. 341—363; Б. Пастернак и Г. Козинцев. Письма о «Гамлете». — «Вопросы литературы», 1975, № 1, с. 212—223. Шекспировские заметки Пастернака рассматриваются в статьях Л. Озерова «Заметки Пастернака о Шекспире» (Мастерство перевода, 1966, с. 111—118) и «Пастернак и Шекспир» (Шекспировские чтения, 1976. М., 1977, с. 176—183).

Люди и положения. Написано в мае — июне 1956 г. Первоначальное заглавие — «Вместо предисловия».

Опубликовано в журнале «Новый мир» (1967, № 1, с. 204—236) по позднейшей авторской редакции. Печатается по тексту этого издания.

В первоначальном варианте «Заключения» (весна 1956 г.), в частности, говорилось:

«Здесь кончается мой вступительный очерк. Я не обрываю его, оставив недописанным, а ставлю точку именно там, где с самого начала задумал. Я совсем не собирался писать историю пятидесятилетия во многих томах и лицах.

Я не распространил разбора на Мартынова, Заболоцкого, Сельвинского, Тихонова, хороших поэтов. Я ни словом не упомянул о поэтах поколения Симонова и Твардовского, таких многочисленных.

Я шел из центра теснейшего жизненного круга, намеренно себя им ограничив.

Написанного тут достаточно, чтобы дать понятие о том, как в моем отдельном случае жизнь переходила в художественное претворение, как оно рождалось из судьбы и опыта».

В архиве Н. В. Банникова, составителя того сборника стихов, для которого первоначально предназначался очерк, хранится черновая, карандашная рукопись главы «Сестра моя, жизнь», которую автор не включил в беловой автограф. Судя по содержанию, ее место — между главами «Перед первой мировою войною» и «Три тени». С пропуском главки 4 эта часть была опубликована в томе: Б. П а с т е р н а к. Стихотворения и поэмы. «Библиотека поэта». Большая серия. М.—Л., 1965, с. 631, 655). Приводим ее полный текст:

«СЕСТРА МОЯ, ЖИЗНЬ»

1

Ленин, неожиданность его появления из-за закрытой границы; его зажигательные речи; его в глаза бросающаяся прямота; требовательность и стремительность; не имеющая примера смелость его обращения к разбушевавшейся народной стихии; его готовность не считаться ни с чем, даже с ведшейся еще и не оконченной войной, ради немедленного создания нового невиданного мира; его нетерпеливость и безоговорочность, вместе с остротой его ниспровергающих, насмешливых обличений, поражали несогласных, покоряли противников и вызывали восхищение даже во врагах.

2

Как бы ни отличались друг от друга великие революции разных веков и народов, есть у них, если оглянуться назад, одно общее, что задним числом их объединяет. Все они — исторические исключительности или чрезвычайности, редкие в летописях человечества и требующие от него столько предельных и сокрушительных сил, что они не могут повторяться часто.

3

Ленин был душой и совестью такой редчайшей достопримечательности, лицом и голосом великой русской бури, единственной и необычайной. Он с горячностью гения, не колеблясь, взял на себя ответственность за кровь и ломку, каких не видел мир, он не побоялся кликнуть клич к народу, воззвать к самым затаенным и заветным его чаяниям, он позволил морю разбушеваться, ураган пронесся с его благословения.

Люди, прошедшие тяжелую школу оскорблений, которыми осыпали нуждающихся власть и богатство, поняли революцию как взрыв собственного гнева, как свою кровную расплату за долгое и затянувшееся надругательство.

Но отвлеченные созерцатели, главным образом из интеллигенции, не изведавшие страданий, от которых изнемогал народ, в том случае, если они сочувствовали революции, рассматривали ее сквозь призму царившей в те военные годы преемственной, обновленно славянофильской патриотической философии.

Они не противопоставляли Октября Февралю как две противоположности, но в их представлении оба переворота сливались в одно неразделимое целое Великой русской революции, обессмертившей Россию между народами, и которая в их глазах естественно вытекала из всего русского многотрудного и святого духовного прошлого.

Прошло сорок лет. Из такой дали и давности уже не доносятся голоса из толп, днем и ночью совещающихся на летних площадях под открытым небом, как на древнем вече. Но я и на таком расстоянии продолжаю видеть эти собрания, как беззвучные зрелища или как замершие живые картины.

Множества вострепнувшихся и насторожившихся душ останавливали друг друга, стекались, толпились и, как в старину сказали бы, «соборне», думали вслух. Люди из народа отводили душу и беседовали о самом важном, о том, как и для чего жить и какими способами устроить единственное мыслимое и достойное существование.

Заразительная всеобщность их подъема стирала границу между человеком и природой. В это знаменитое лето 1917 года в промежутке между двумя революционными сроками, казалось, вместе с людьми митинговали и ораторствовали дороги, деревья и звезды. Воздух из конца в конец был охвачен горячим тысячеверстным вдохновением и казался личностью с именем, казался ясновидящим и одушевленным.

Мне теперь кажется, что, может статься, человечество всегда на протяжении долгих спокойных эпох таит под бытовой поверхностью обманчивого покоя, полного сделок с совестью и подчинения неправде, большие запасы высоких нравственных требований, лелеет мечту о другой,

более мужественной и чистой жизни. и не знает о своих тайных замыслах и их не подозревает.

Но стоит поколебаться устойчивости общества, достаточно какому-нибудь стихийному бедствию или военному поражению пошатнуть прочность обихода, казавшегося неотменимым и вековечным, как светлые столбы тайных нравственных залеганий чудом вырываются из-под земли наружу.

Люди вырастают на голову, и дивятся себе, и себя не узнают, — люди оказываются богатырями. Встречные на улице кажутся не безымянными прохожими, но как бы показателями или выразителями всего человеческого рода в целом. Это ощущение повседневности, на каждом шагу наблюдаемой и в то же время становящейся историей, это чувство вечности, сошедшей на землю и всюду попадающей на глаза, это сказочное настроение попытался я передать в тогда написанной по личному поводу книге лирики «Сестра моя, жизнь».

С. С. Гречишкин, А. В. Лавров

К ИЛЛЮСТРАЦИЯМ

На форзацах — Дом Бориса Пастернака, вид из сада и интерьер. Переделкино, 1983. Фото И. Пальмина.

Фронтиспис — Борис Пастернак.

Рисунок Л. О. Пастернака. 1923.

СПИСОК РЕПРОДУКЦИЙ РИСУНКОВ Л. О. ПАСТЕРНАКА

Стр. 3. Борис Пастернак и его мать Розалия Исидоровна. Сангина. 1916.

Стр. 18. Борис Пастернак за фортепиано. Уголь. 1909.

Стр. 19. Объяснение. Карандаш. 1895 г.

Стр. 39. Парк Молоди. Пастель. Лето 1914.

Стр. 40. Молодой человек. Уголь. 1913.

Стр. 47. Улица в Туле. Уголь, 1901.

Стр. 48. Зимний пейзаж. Цв. бумага, уголь, мел. 1907.

Стр. 55. Слобода. Уголь. 1914.

Стр. 56. Жозефина Пастернак. Уголь. 1916.

Стр. 75. Вид из окна. Карандаш. 1889.

Стр. 76. Хамовники. Карандаш. 4 окт. 1898.

Стр. 108. За столом, спящая. Карандаш. 1890.

Стр. 109. За книгой (Р. И. Пастернак). Тушь. 20 дек. 1890.

Стр. 113. Концерт. Уголь. 1911.

Стр. 114. У окна. Карандаш. 1894.

Стр. 122. Пейзаж с церковью. Уголь. 1901.

Стр. 123. У моря. Уголь. 1911.

Стр. 135. Прибой. Уголь. 1902.

Стр. 136. Б. Пастернак. Уголь. 1918.

Стр. 145. Провинциальный город. Уголь. 1906.

Стр. 146. Москва, Мясницкие ворота. Карандаш. 1903.

Стр. 154. Кремль. Уголь. 1912.

Стр. 155. У фортепиано (Р. И. Пастернак). Тушь. 1890.

Стр. 163. Дом на окраине. Пастель. 1908.

Стр. 164. Спящая. Уголь. 1891.

Стр. 180. Музыкальное собрание. Карандаш. 1909.

Стр. 181. Под лампой. Тушь. 1891.

Стр. 190. За чаем. Акварель. Райки, 11 июля 1909.

Стр. 191. Станция Козлова Засека. Карандаш. 6 окт. 1898.

Стр. 214. Скрябин на репетиции «Прометей». Уголь. 1915.

Стр. 215. Борис Пастернак. Уголь, карандаш. 1918.

Стр. 240. Проф. Г. Коген на лекции. Уголь. Марбург, 1912 г.

Стр. 254. Венеция, Сан-Марко. Уголь. 1912.

Стр. 255. Кафе на бульваре. Цв. карандаш. 1898.

Стр. 284. Волхонка, д. 14. Карандаш. 1913.

Стр. 285. У ворот. Уголь. 1904.

- Стр. 297. Пара с пристяжной. Карандаш. 1903.
- Стр. 298. Мужской портрет (А. П. Новицкий). Карандаш. 1892.
- Стр. 303. Ворота усадьбы. Уголь. 1918.
- Стр. 304. В саду. Карандаш. 1918.
- Стр. 312. У Каменного моста. Сангина. Москва, 1912.
- Стр. 313. Читающая (Р. И. Пастернак). Карандаш. 1892.
- Стр. 321. Бульвар. Уголь. 1906.
- Стр. 322. Казачий патруль. Москва, декабрь 1905. Уголь.
- Стр. 338. Водовозы в Москве. Карандаш. 1892.
- Стр. 339. Спящий гимназист (Б. Пастернак). Ит. карандаш. 22.VI. 1902.
- Стр. 348. На диване (Р. И. Пастернак). Тушь. 1892.
- Стр. 349. Конная статуя. Цв. бумага, уголь, мел. 1912.
- Стр. 356. Замок. Цв. бумага, уголь, мел. 1912.
- Стр. 357. У дороги. Уголь, сангина. 1920.
- Стр. 362. Полевые работы. Карандаш. 1918.
- Стр. 363. На работу. Уголь, сангина. 1920.
- Стр. 378. Кавалерия на привале. Уголь. 1914.
- Стр. 379. Улица. Карандаш. 12 июня 1898.
- Стр. 383. В театре. Ит. карандаш, сангина. 1901.
- Стр. 384. Пианист. (А. Зилоти). Карандаш. 1910-е годы.
- Стр. 388. Венеция. Цв. бумага. Пастель. 1912.
- Стр. 389. Узкая улица. Цв. карандаш. 12 июля 1900.
- Стр. 392. Замок на горе. Цв. бумага, пастель. 1912.
- Стр. 399. Флоренция, мосты. Пастель. 1912.
- Стр. 393. Пейзаж с готической церковью. Пастель. О-в Рюген 1906.
- Стр. 412. Лондон, парламент. Уголь. 1 авг. 1907.
- Стр. 413. Москва, Красная площадь. Карандаш. 1894.
- Стр. 418. Мальчики (сыновья художника). Карандаш. 1898.
- Стр. 419. А. Н. Скрябин. Ит. карандаш. 30 окт. 1913.
- Стр. 426. Москва. Ит. карандаш, уголь. 1916.
- Стр. 427. Р.-М. Рильке в Москве. Уголь. 1928.
- Стр. 442. Л. Н. Толстой. Уголь. 1906.
- Стр. 443. На прогулке. Ит. карандаш. Райки, 1907.
- Стр. 458. Дровни. Карандаш. 1892.
- Стр. 459. Натюрморт. Уголь. 1918.
- Стр. 467. Москва-река. Уголь. 1919, зима.
- Стр. 468. Город издали. Пастель. 1912.
- Стр. 469. Факсимиле подписи Бориса Пастернака 1948 г.

СО Д Е Р Ж А Н И Е

<i>Д. С. Лихачев. Звездный дождь. Проза Б. Пастернака</i>	
разных лет	3
Апеллесова черта	19
Письма из Тулы	40
Безлюбье	48
Детство Люверс	56
Несколько положений	109
Три главы из повести	114
Воздушные пути	123
Повесть	136
Охранная грамота	191
Начало прозы 1936 года	285
Генрих Клейст	349
В армии	357
Освобожденный город	357
Поездка в армию	362
Поль-Мари Верлен	379
Шопен	384
Николай Бараташвили	389
Замечания к переводам из Шекспира	393
Люди и положения	413
<i>С. С. Гречишкин, А. В. Лавров. Комментарии</i>	470
К иллюстрациям	493

Борис Леонидович Пастернак

ВОЗДУШНЫЕ ПУТИ

М., «Советский писатель», 1983, 496 стр.
План выпуска 1982 г. № 125

Редактор

Н. И. САРАФАННИКОВ

Художественный редактор

Д. С. МУХИН

Технический редактор

Т. С. КАЗОВСКАЯ

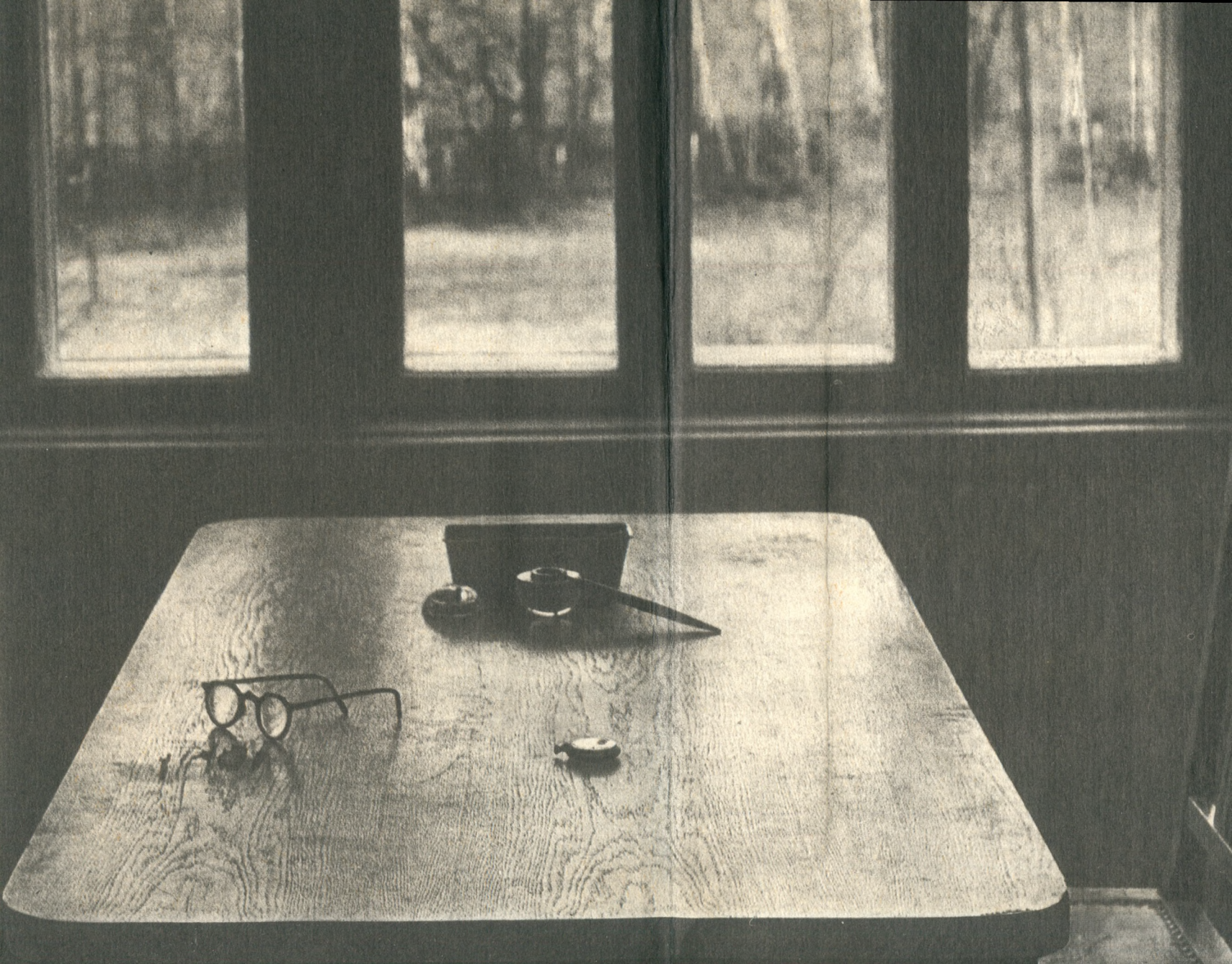
Корректор

И. Ф. СОЛОГУБ

ИБ № 3330

Подписано к печати 06.10.83. Формат 84 × 108¹/₃₂. Бумага офсетная 75 гр. Литературная гарнитура. Офсетная печать. Усл. печ. л. 26,04. Уч.-изд. л. 26,26. Доп. тираж 100 000 экз. (1-й завод 1—50 000 экз.). Заказ 2907. Цена 2 р. 20 к. Издательство «Советский писатель», 121069, Москва, ул. Воровского, 11. Ордена Трудового Красного Знамени Калининский полиграфический комбинат Союзполиграфпрома при Государственном Комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, г. Калинин, пр. Ленина, 5.

2-й завод 50 001—100 000 экз. Бумага офсетная 100 гр. Цена 2 р. 30 к.



2 р. 20 к.

